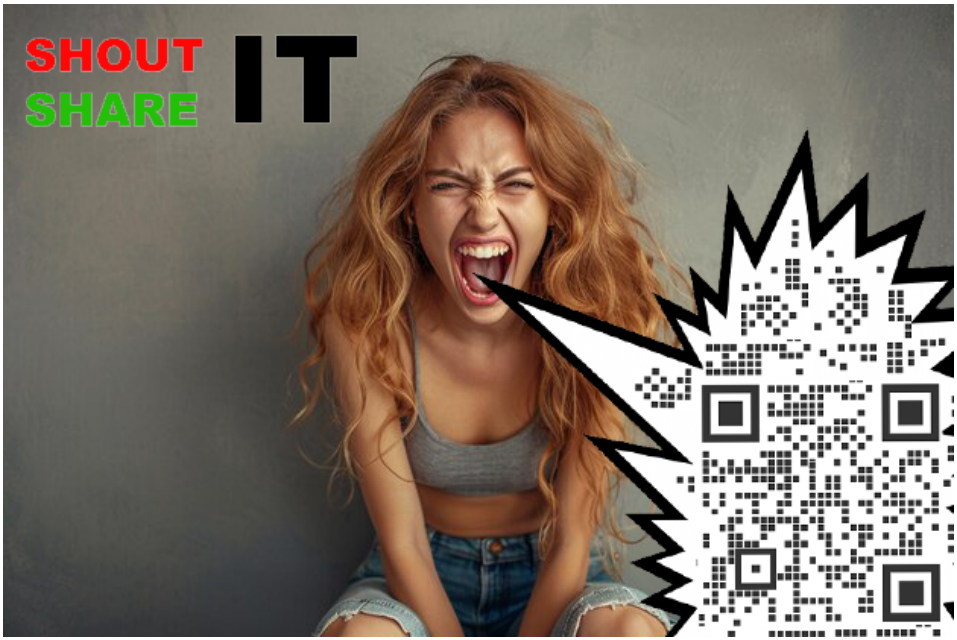
Семейный архив

Михаил Новиков

# ИЗ ПЕРЕЖИТОГО


SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Серию «Семейный архив», начатую издательством «Энциклопедия сел и деревень», продолжают уникальные, впервые публикуемые в наиболее полном объеме воспоминания и переписка расстрелянного в 1937 году крестьянина Михаила Петровича Новикова (1870–1937), талантливого писателя-самоучки, друга Льва Николаевича Толстого, у которого великий писатель хотел поселиться, когда замыслил свой уход из Ясной Поляны… В воспоминаниях «Из пережитого» встает Россия конца XIX–первой трети XX века, трагическая судьба крестьянства — сословия, которое Толстой называл «самым разумным и самым нравственным, которым живем все мы». Среди корреспондентов М. П. Новикова — Лев Толстой, Максим Горький, Иосиф Сталин… Читая Новикова, Толстой восхищался и плакал. Думается, эта книга не оставит равнодушным читателя и сегодня.


- Михаил Петрович Новиков
  - Пояснение автора
  - Первая часть
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14
    - Глава 15
    - Глава 16
    - Глава 17
    - Глава 18
    - Глава 19
    - Глава 20
    - Глава 21
    - Глава 22
    - Глава 23

- Глава 24
- Глава 25
- Глава 26
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 35
- Глава 36
- Глава 37
- Глава 38
- Глава 39
- Глава 40
- Глава 41
- Глава 42
- Глава 43
- Глава 44
- Глава 45
- Глава 46
- Глава 47
- Глава 48
- Глава 49
- Глава 50
- Глава 51
- Глава 52
- Глава 53
- Глава 54
- Глава 55
- Глава 56
- Глава 57
- Глава 58
- Глава 59
- Глава 60
- Глава 61
- Глава 62
- Глава 63
- Глава 64
- Глава 65
- Глава 66
- Глава 67

- Глава 68
- Глава 69
- Глава 70
- Глава 71
- Глава 72

- Вторая часть
  - Воспоминания о пребывании в Бутырской тюрьме в 1924–1925 гг.
  - 47
  - 48
  - 49
  - 50
  - 51

- notes
  - 1
  - 2

# Михаил Петрович Новиков
# Из пережитого

# Пояснение автора

В моих записках очень мало и литературного языка и хоть какой ни на есть литературной системы. Для того и другого у меня было мало знаний и навыка, а главное, не хватало времени и совсем не было подходящих условий «покоя и тишины», при которых только и можно бы было больше обдумывать и систематизировать написанное. А потому в них так много беспорядка и повторений как написанных с наскока, отрывками и урывками, по разным случаям из личной и политически-общественной жизни. Менялось время, менялись события и люди; менялись и мысли. А если и не менялись, то приспособлялись к более безопасному положению, отчего также получилось много путаницы и заметных противоречий. Не менялось только желание записать и отобразить хоть как-нибудь переживаемое. А потому на всех записях лежит печать отрывочности и торопливости. Ведь я же — крестьянин. Борьба за существование и за новые мысли и быт была для меня слишком тяжелая и непосильная, а постоянные гонения и травля все время держали начеку и мало давали покою и возможности для более серьезного и вдумчивого описания деревни и переживаемых смен и положений.

Мне хотелось, попутно со своей, описать главное — жизнь деревни в натуре, какова она есть без прикрас, как ее описывают заправские литераторы, а вышло все же так, что я больше пишу о себе, а не о деревне. Это и есть результат постоянной торопливости и страха: а ну не успею записать и главных моментов? Вперед думал, что о подробностях вспомяну после, когда буду перерабатывать черновики. Но у меня не было надежного места для их хранения и правильного подбора. И одни из них затерялись, другие взяты при обысках, третьи забывались, где спрятаны, и пропадали или находились после, через несколько лет, когда уже то же самое записывалось вновь, и таким путем по несколько десятков страниц пропадало даром.

Но я писал не для печати, а для интереса будущего потомства: внуков и правнуков нашей деревни, а потому при жизни своей и не мог думать получить от них похвалы или осуждения. Ну, а после, — думал я, — какое мне дело, кто как будет их понимать и относиться к их автору? Я — правнук старика Сысоя, и пусть мои правнуки поведут дальше и свои записи вперед, чтобы не потерять больше связи с этим Сысоем. Мало я сказал им о жизни прошлой деревни от этого Сысоя и до 1917 г., и хотелось бы это поправить, но я и опять переживаю новый страх: ну когда теперь возвращаться к давнему прошлому,

когда наступило такое новое настоящее, которое властно требует и своего отражения в записях, и тоже по-настоящему, без прикрас. А ну не успею, а ну умру раньше? Душевная потребность стучит: надо, надо, надо! А нужные к тому условия все отодвигаются день за днем, месяц за месяцем, и очень боюсь, что отодвинутся до самой смерти. Что делать? «Силе, нас гнетущей, покоряйся и терпи». Как старику, мне теперь трудно уже вновь создавать эти условия.

Очень мало я сказал в своих записях и о Л. Н. Толстом, о моих с ним встречах и беседах. Многое позабыто, а сочинять и врать не хочется. Не хочется и повторять то, что писал о нем раньше по разным поводам. Душевный был старичок и правдивый на редкость! И правду любил больше золота, не в пример нам, прочим. Жаль только, что так крепко был отгорожен цензурой от своего народа и остался для него в стороне, незнамым и неведомым.

Нет в моих записках и так называемого советского духа, и напрасно бы меня стали упрекать в этом. Им до 1917 г. не дышали, и о нем и не знали. Да и сущность его совсем не вяжется с крестьянскими интересами и упованиями, и совсем ему чужда как мелкому производителю и творцу своей личной индивидуальной жизни. И только теперь, когда я так много передышал и перестрадал и в этом новом для нас духе, я уже не стану настаивать на особой святости и правильности прошлой крестьянской жизни и не говорю, что вне ее нет больших радостей и интересов.

Этот наш мир, видимый и невидимый, слишком велик и разнообразен, чтобы было в нем прилепляться односторонне к каким-либо одним уголкам и профессиям и думать, что в них вся суть и спасение, и доступные радости. Жить можно по-всячески, и в любых условиях и обстановке можно находить себе и доступные человеку радости, и доступные интересы. Тем более человеку верующему, у которого интересы материального порядка не превышают интересов духовных, связанных с областью отвлеченного (а народ русский — народ крепко верующий).

«Жизнь есть сон, а смерть — пробуждение». И пока мы не разгадали этого сна, мы не можем не ожидать и этого пробуждения, в свете которого сами собой тускнею все материальные ценности, пусть даже и добываемые тяжелым трудом и жестокой борьбой за существование. Для верующего страшнее потерять веру в правду и лишиться опоры в Боге, а как сложатся внешние условия — это в конце концов и не так важно. Ибо вот: «Трудящийся достоин пропитания». А кто хочет жить своим трудом и не боится и не стыдится никакой и черной и

грязной работы — а таковы и есть все верующие, — тот твердо знает, что он будет жить в любых условиях материально-общественных отношений. И не только не станет уклоняться от артельного труда в своем коллективе, но в конце концов и поймет, и признает, что лучшая форма, самая правильная форма материальной жизни есть коммуна, где человек предоставлен не своим только силам и слабостям и подвержен всяческим болезням и стихийным бедствиям, но где один за всех и все за одного. Где ты всегда можешь быть больше застрахован от всяких бедствий и недостатков и обеспечен от несчастных случаев жизни. И где случайное сиротство твоих семейных не будет уже таким страшным бедствием, каким оно бывает в индивидуально живущих семьях.

Эта форма в конце концов регулирует и жажду личности в труде и приобретениях и не дает так сильно и властно возвышаться одному над другими, эксплуатировать и величаться, и тем самым создает лучшие условия для того самого равенства и братства, которые всегда и мерещатся в перспективе жизни у всякого верующего человека и которых он не может не признавать как желаемых. О чем мне и придется говорить во второй части моих записок.

Разговаривая со стариками нашей деревни, я был очень удивлен тем, что никто из них почти не помнил своих дедов, знали некоторые только о том, как звали их дедов, сделать же им хоть какую ни на есть характеристику никто не мог, точно они, не живя, пролетели над этой землей и не оставили никакого следа. Был дед Исай, и не стало Исая. А уж о прадедах хоть и не спрашивай, редко, редко кто мог припомнить их имена, а как они жили, что делали, откуда был их корень — все это было и для них покрыто туманом. Слышали они лишь о том, что их прадеды были не здешние, а перегонные. Неведомый им старый барин перегнал их на это место, а откуда и когда — на это уж никто не мог ответить. А между тем — все мы с этим согласились — было бы всем нам интересно знать, кто же были наши предки: прадеды — и прапрадеды — и откуда они появились на свете. И я тогда же дал себе обет написать историю своей жизни, по которой наши правнуки и праправнуки могли бы кое-что узнать о жизни их предков. Тем более что и сам-то я не знал своих дедов, а о прадеде только и мог узнать, что его звали Сысой, а что было до Сысоя и кто были его деды и прадеды, об этом ни в каких книгах не написано. Есть сейчас в нашей деревне восемь домов с его фамилией, и все они произошли от этого самого Сысоя, а дальше его не идут никакие рассказы. Другая причина, побудившая меня написать историю моей жизни, это была просьба Л. Н. Толстого.

Знакомясь с моими рукописями из первых моих опытов писаний, он говорил мне несколько раз: «Нет, это не то, этого вам писать не надо, вам надо только описать свою жизнь, я вас прошу об этом. У вас так много интересного, всяких испытаний, чего в моей жизни совсем не было. «Обязательно займитесь этой работой». Я уже старик, и мне очень жалко не выполнить его просьбы. Будет ли кому нужна такая работа — кроме внуков и правнуков, — я не знаю, а пока жив и есть сила, надо к ней приступить.

Оговариваюсь, что это не дневник и я пишу по памяти, а поэтому мои записи будут носить неполный и отрывочный характер[1].

*1922 г.*

# Первая часть

# Глава 1
# Раннее детство

Родился я в 1870 г. в бедной крестьянской семье. Отец мой, Петр Кузьмич Новиков, был внуком Сысою, был грамотный, пел на клиросе, любил выпить и от этой причины, живя на фабриках по зимам, ничего не приносил домой из своих заработков, и бедной матери, у которой нас было пять живых сынов, чтобы как-нибудь нас прокормить, приходилось по зимам молотить цепом по чужим ригам за 15–20 копеек и на эти гроши покупать у нищих кусочки. Покупать муку она была не в состоянии, а своего хлеба хватало только до Рождества и редко — до масленицы. Земли было у отца мало, а заработки свои он пропивал. А оброк был большой — выкупали надельную землю после воли — и с надела (в 2 $^{3}/_{4}$ десятины) сходило по 14 рублей, а цена хлебу была от 35 до 50 копеек пуд. Первое, на чем остановилась моя память, — это я роюсь вместе с братьями в купленных кусочках, выбирая какие получше и вступая в драку за них с братьями. Как младшего, меня бьют, и я ору и жалуюсь матери.

Чем мы, собственно, кормились, я не помню, но, кроме хлеба, у нас не было и своих картошек, а о крупах и каше мы даже не мечтали, считая это достоянием богатых, и если когда мать ухитрялась достать 10 фунтов крупы и сварить нам кашину, или кто-либо давал ей ведерко картошки, то у нас был настоящий праздник. В этот день мы смело глядели в глаза другим ребятам и начинали верить в свою звезду.

Молока у нас почти тоже не было, хотя корова и бывала. Но как-то выходило так, что зиму мы ее кормили, а весной продавали на хлеб или оброк и оставались без молока. О, жизнь нашей матери была сплошной мукой и нуждой, и как она вырастила нас, пятерых братьев, я теперь совсем не понимаю. Правда, свет не без добрых людей, матери кое-кто помогал: подавали по горшку молока, по ведерку картошки, по куску ситного, но все это было чисто случайно, вернее, от праздника до праздника.

Помню также, как меня высекла крапивой нищенка, которую звали Сашей Барановской, за то, что я просил взять меня в поле при возке навоза, сам же я был так мал, что не мог бежать за лошадью самостоятельно. Кроме этой Саши, был еще старик-нищий, которого звали Андреем Грешным, и другой — Филимон Архипыч, и на них-то все матери и воспитывали своих ребят, пугая их, когда нужно, этими страшными для нас именами.

Ходили еще тогда по деревне бродяжествующие цыгане, и уж в эти-то дни мы никак не решались плакать, и если чуть кто прицыкивал на нас, мы опрометью забирались на печь и сидели там молча целыми часами.

Боялись мы и Боженьки, которым, за отсутствием цыган или Андрея Грешного, стращала нас мать. «Бог отрежет вам ушко», — говорила она, и мы поневоле всегда прятали ножи и ножницы, чтобы обезоружить Боженьку им случай его гнева.

Но если Саша Барановская и Андрей Грешный пугали нас своей грубостью и озорством, не стесняясь постегать крапивой или отодрать за волосы, то Филимон Архипыч пугал нас только своей внешностью. Он был высокого роста, седой и бритый, и мы звали его николаевским солдатом, каким он и был на самом деле, так как сам же иногда рассказывал о севастопольской обороне, в которой участвовал лично, прослуживши на службе 20 лет по старому положению.

В угоду матери он хоть и не прочь был погрозиться, постращать нас, но человек он был добрый, особенный, любил говорить от Божественного Писания и рассказывать про подвиги святых угодников, и его всегда охотно слушали на деревне, а в особенности женщины, у которых всегда много семейного горя и раздоров. Говорил он хоть и не складно, но как-то мистически-проникновенно, отчего и всякое его простое слово казалось значительным. Но говорил он не всегда и не со всеми, а по настроению, когда его что-либо волновало и затрагивало. И не в одиночку, а где собирались люди кучами: на стройке новой избы или двора, на починке обществом дорог, при рытье колодца или на праздниках, когда женщины кружками сидят у дворов или собираются по соседям в хаты. Во всех таких случаях Филимон Архипыч был самым желанным человеком, и, если его вовремя умели разговорить и настроить по-хорошему, он охотно делился своими знаниями из писаний и вообще из душевных вопросов и болестей. Главное, он умел утешать в горестях и страдания; умел понятно говорить о долге жизни перед Богом; умел вдохнуть новую надежду в каждого, какое горе у кого ни было. Я запомнил, как он утешал мою мать, когда она плакалась ему на свою горькую долю и на пьяницу-отца (ее мужа), через которого она так много мучилась с нами, неся заботу и по хозяйству, и по нашему прокормлению. «Бог-то нас в терпении испытывает, матушка, — говорил он ей мягко и любовно, — всем определен свой крест. Господь-то и смотрит: кто как его несет? Кто с ропотом, а кто со смирением. А ты, небось, думаешь, что белый свет нам дан только хлеб на навоз пережевывать? Ишь, какая радость! Жили бы все в достатке, ели кашу с молоком да щи с

бараниной. Не болели бы, не умирали, не сиротились. Так, по-твоему, матушка? Этого бы ты хотела? Да ведь тогда, милая, и Бог не нужен бы был, про него, Милосердного, все бы и забыли. А толк-то какой? И жили бы как скоты несмысленные, и навозили бы только землю. А Бог-то не того от нас хочет, Он хочет, чтобы мы Его помнили и Его дело делали. Трудно, обидно, горестно, а ты терпи без ропота. Что будет завтра — ты не знаешь. А, может, завтра-то и твоя жизнь переменится! Не у тебя одной горе такое — тыщи мучаются, а ты что за такая, что своего удела не хочешь нести? Ты по нужде несешь, а угодники Божий по своей охоте в бедности жили и корешками питались.

Небось, слышала про Алексея, человека Божия. Он богатство оставил, жену оставил, чтобы послужить Господу, а мы такие себялюбцы, что и потерпеть не хотим. Терпеть надо, матушка! За терпение Бог невидимо наградит. Может, он тебя в детях обрадует и под старость покой найдешь».

Когда он входил в настроение, он перебирал многих угодников и пересказывал их тяжелые подвиги, понесенные во Имя Божие. И этим так заражал своих слушателей, что они готовы были слушать его без конца и, по его уходу из деревни, долго еще были под влиянием его рассказов, разнося их из дома в дом. А когда он этак-то утешал мою мать, я, на правах маленького, подбирался к его сумке и на его глазах выбирал кусочки. Филимон Архипыч не сердился и сам же из другой сумки доставал мне лепешку или кусок хорошего ситного, которые он отбирал для себя, и я с торжеством победителя делил эту лепешку между братьями.

Кроме того, по деревне ходили слепые с поводырями и пели нараспев божественные стихи, которым я тогда и научился раньше всех песен и молитв и которые очень любил. И хотя мать стращала нас и слепыми и говорила, что они посадят нас в сумку, но мы их совсем не боялись и гурьбою ходили за ними по деревне, наслаждаясь их даровым пением. К сожалению, в моей памяти с того времени остались только два стиха: «Милосердия двери отверзи нам» и «Да восплачется мать сырая земля», все же другие остались только в воспоминании как хорошие сны, содержание которых забыто безвозвратно.

В центр нашей деревни из леса выходят, соединяясь у «попова пруда», два глубоких оврага. Теперь они голы и неинтересны, во время же моего детства они были покрыты лесом и крупным ореховым кустарником и хранили в себе какую-то мистическую тайну. Тем более что в клину этих оврагов на бугре от «попова пруда» было так называемое «Власово подворье», и я смутно

помню избушку, сарайчик и самого деда Власа Ильича, жившего в густой заросли этого подворья.

Откуда и с какого времени появился в нашей деревне этот дед Влас, я сказать не могу, говорили, что он родом из соседней деревни и был во время оно крепостным дворовым, но точных сведений о нем никто не знал даже и тогда. Ходил он в старой монашеской свитке и в высокой остроконечной шапке и считался у одних полусвятым отшельником, спасавшимся и молившимся в своей пещере (которая одним концом начиналась из подполья его избы, и другим выходила в овраг), а у других — великим грешником в прошлом и химиком и обманщиком в настоящем. Но те и другие его боялись и почитали, а потому и не знали подробностей о его прошлом и даже не решались и расспрашивать об этом. Он считался и знахарем и святым и лечил духовно и телесно от всяких болезней и «порч» всех желающих, а потому в пропитании не нуждался, собирая всякое даяние от своей клиентуры.

В каких он был отношениях с семьями священника и дьячка, жившими близко к нему через болото и овраг, — история умалчивает. Однако гонениям не подвергался и, очевидно, как-то ладил, хотя и был им прямым конкурентом, так как лечил и молитвами и духовными увещаниями, как и попы. Лечил и разными майскими травами и цветами: полыном, ромашкой, зверобоем, сухими грушами и малиной, поставщиками которых ему были мы, дети, собирая их для него весь июнь, до Ивана Купалы. За пучок какой-нибудь травы или цветов он платил нам по 2, по 3 копейки, давая и нам заработок от своего ремесла. Нашими травами и цветами у него были увешаны все сенцы и потолки, а потому он и сам в такой подозрительной обстановке казался и нам, детям, и взрослым каким-то колдуном или волхвом-чародеем. Конечно, свой народ знал за ним кое-какие грехи: и выпивку, и сомнительную кухарку прислугу, и будто бы озорные словечки, которыми он гнал от себя назойливых просителей. Но чем дальше от нашей деревни во все стороны, тем большим авторитетом покрывалось его имя. И к нему действительно шли все болящие и унывающие из дальних деревень, и он всем помогал и утешал духовно. За ним прочно установилась заслуженная им слава «прозорливца», так как он наперед узнавал, кто и откуда к нему приходил, и с какими «болестями» и мыслями. И даже свои должны были считаться с фактами этого чудодея.

Приходили к нему с больными детьми, больные женщины, обиженные судьбою вдовы, тосковавшие по умершим детям матери, даже старики, брошенные сыновьями. И у него для всех

находилось и доброе слово утешения, и нужный пучок майской травки, которой он не жалел из собранных летних запасов. Но, с другой стороны, говорили втихомолку, что он «запивает» и с некоторыми алчущими обходится «дюже сердито», так что во второй, в третий раз к нему решались ходить не все и не со всякими пустяками. «Все равно Влас Ильич тебя по мыслям узнает и прогонит ни с чем», — говорили о нем обиженные им женщины. «Ты к нему только на порог вступишь, а он уже знает, зачем ты пришла и что тебе нужно, как ты от него укроешься?» «Дюже бывает сердит отец Власий, как зачнет тебя отчитывать и гнать, земли под собой не увидишь! И откуда он только твои мысли знает? Не то Господь вразумляет, не то с нечистым знается, никак понять невозможно!» И если дальние твердо верили в его святость и таким его и почитали, то ближние, наоборот, верили в него больше как в колдуна, знавшегося с нечистой силой. А мы, дети, имели перед ним прямо суеверный страх и боялись даже славить у него на Рождество Христово, хотя те, что решались на это, получали от него по 3 и по 5 копеек, вместо 1–2 копеек, как платили в прочих дворах.

Однако и наша ребячья вера поколебалась слишком рано, когда мне было не больше 6–7 лет.

Была у него цепная собака Белка, огромного роста, всегда яростно лаявшая на нас и на всех приходивших к нему со своею нуждой и чуть-чуть не кусавшаяся, когда посетители юркали в его сени.

А под Рождество случилась беда. Подошли два волка ночью и почти насмерть загрызли Белку. Цепь помешала им отогнать и утащить ее в лес. И она, вся окровавленная, выла и стонала весь день. Мы, дети, конечно, первыми прибежали утром смотреть ее в таком истерзанном виде и выли вместе с нею от жалости. И когда к нам вышла старуха, мы стали ее бранить и дразнить за то, что они с Власом допустили волков так изуродовать Белку. Правда, мы всегда очень боялись этой собаки, но, когда увидали ее в таком истерзанном виде, сейчас же приняли ее сторону против волков и готовы были не только кинуться за ними в погоню, но и изругать самого Власа.

— Кабы ее спустили с цепи, она не далась бы волкам, она сама бы загрызла волка, — говорил самый взрослый из нас мальчик, Костюшка Глагол, знавший лучше нас всех эту Белку.

— Одного бы загрызла, а другой ее загрыз, — возражал Васька Байбак, — кабы волк-то один был, она бы сладила, а с двоими ни одна собака не справится.

— Они двое, а трусы, боялись из сеней выйти: зажгли бы фонарь, волки и убежали, а Белку скорее в сенцы, а то с палками

побоялись, — рассуждал Воронин Матюшка. — Я с палкой и один бы их прогнал, а они двое струсили!..

— Сейчас-то ты шустер, а был бы с нами и с печки побоялся бы спрыгнуть, — оправдывалась старуха. — Мы отцом Власием только в щелку из сеней смотрели да в дверь стучали…

— Надо было не по двери стучать, а по ведру пустому грохать, — возмущались мы, — они бы и убежали…

В этот день, рассказывая матери с плачем про несчастную Белку, я возмущенно говорил ей:

— Какой же он святой, когда волка испугался и дал Белку загрызть?

— Да ведь волков-то, говорят, два было, — оправдывали мать Власа, — что же он мог с ними сделать?

— И их было двое, да Белка третья, — пояснял я с негодованием, — а они трое двоих испугались!..

Как бы то ни было, но с этого случая мы все возненавидели Власа и долгое время жалели издохнувшую Белку. И не умри бы он сам вскорости после этого, мы весной непременно забрались бы к нему в огород и подергали бы в отместку все цветы и репу, которые он сажал всегда на своем подворье. Даже сговаривались и его самого забросать грязью.

После его смерти вскорости открылся и весь секрет его прозорливости. Открылся не всем сразу. А как секрет и по секрету, вперед одному, а потом и всем на все деревни.

Все слышали, что у святого есть пещера, в которой он ночами молился и спасался, но видать этой пещеры никто не видел и подробностей о ней не знал. После же его смерти в два-три дня многие любопытствовали осмотреть эту пещеру и тут-то в натуре увидели, что другой ход из нее выводил в овраг и искусно маскировался в кустах. А в самой пещере была статуя Николая Чудотворца с красивыми стеклянными глазами, перед которой горела неугасимая лампада и стояли свечи. Тут-то Влас и отбывал свои вечерние бдения молитв. Но теперь не в них было дело. Жившая у него старуха после его смерти сбежала, боясь мести его родственников, и со страху успела проговориться другой старухе, как они с Власом обрабатывали доверчивую публику. Она рассказала, что Влас всякий раз спускался в подполье, как только лаяла собака и к ним подходил кто-либо из клиентов, а она вводила посетителя в комнату и мимоходом, прося обождать возвращения отца Власия, расспрашивала его подробно: кто он, откуда и с какой нуждой пришел. А он, батюшка (она звала его для авторитета батюшкой), сидел под полом и все слышал. А когда считал, что понял все, выходил пещерой в овраг и шел кустами на дорогу, а потом с громким пением псалмов как ни в

чем ни бывало подходил к сеням и входил в избушку на прием.

После этого разоблачения, подтвержденного пещерой с выходом в овраг, слава Власа Ильича быстро померкла, и памятью о нем остался не он, а его усадьба, которая и теперь зовется Власовым подворьем.

Его родные увезли избушку, разобрали пещеру (причем все диву дались на эту пещеру, так как никто не знал, кто и когда мог сложить ее Власу в таком пространном сооружении), а статую Николая Чудотворца отдали почему-то не в нашу, а в Лаптевскую церковь. Нам же, детям, остались надолго память о несчастной Белке и развалины пещеры с колодцем, к которым мы боялись подходить вечерами. Остались еще потом и вербы, с которых к Вербному воскресенью десятками лет со всего прихода приходили ломать вербу, а мы так «для духу» натирали ее еще и почками с тополя.

— Пускай Влас Ильич подслушивал, кто к нему с чем приходил, от этого в него сильнее верили и исцелялись, а все же было к кому прийти и свою душу открыть, и свое горе выплакать! — говорила убежденно моя крестная бабушке Анне, а теперь вот пустое место стало, и не к кому пойти, и некому внушение сделать. А народ и без того в пьянство ударился, и некому ему укороту дать. А я вижу и твой-то Петра Кузьмич (это мой отец) еще больше зашибать стал. От Власа Ильича никому худого не было, а польза была великая: того устрашит Божьим гневом, того помирит с семейными, того травками излечит.

Бабушка соглашалась с этими доводами и очень жалела Власа Ильича, и страшно осуждала ту старуху, которая протянула язык с его разоблачением:

— Словно кто ее за язык тянул, дуру старую, знала бы одна да и помалкивала!

А после Власа Ильича мужики, правда, как с цепи сорвались и стали еще больше пьянствовать, тем более что еще до смерти Власа умер старый священник, Михаил Семенович Татевский, которого я смутно помнил, — прихожане его боялись и уважали, а тут после него появлялись священники «набеглые», на короткий срок, и тоже пьющие, которые никаким авторитетом не пользовались и пили вместе с мужиками на всех праздниках и похоронках. А в особенности таким пьющим был Федор Иванович, который приходил в нашу избу к отцу, садился где попало, доставал полбутылку и пил вместе с отцом, а потом давал денег и снова посылал его за водкой. Бабы чуть не в глаза бранили этого попа, а мужики его уважали за простоту, за то, что он не гнушался мужиков и водил с ними компанию, и только посмеивались на жалобы баб.

Так же и мой отец, и крестный Зубаков, будучи большими друзьями и по выпивке и по церковному пению, возмущались на покойного Власа и его разоблачение в прозорливости учитывали для себя в лишнее оправдание своей выпивки. Крестный так и говорил отцу:

— Мы не монахи и не учители, мы на своих духовных отцов смотрим. Они пьют по рюмочке, а нам можно по стакашку; они по стакашку, а нам на двоих и бутылочку можно… Нам все простится. Мы народ не обманываем, ни как Влас, а за свои трудовые выпиваем… А Влас Ильич все-таки подгадил…

Отец соглашался и, как более начитанный, приводил даже цитаты из послания апостола Павла о том, что «вино веселит сердце человека».

— А Влас тоже чудачил, — говорил он тут же, — и пил по ночам, и за бабами бегал, а еще святой!

После Власа, само собой, авторитет учительства перешел к Филимону Архипычу. Но этот был бродячим нищим и не имел оседлости, а потому-то так интересовались его появлением в деревне.

Когда мне было годов пять, к матери пришла доживать свой век ее мать, а наша бабушка Макрина, с которой почему то мы особенно не ладили: она гонялась за нами, а я залезал от ней на дерево и оттуда дразнил ее языком. Приблизительно в это же время (то есть до школы) я ходил ночевать к другой бабушке, Анне (матери отца), жившей с ними рядом одинокой бобылкой. Где ее были родные — я не помню. Она, после попа и дьячка, первая в деревне имела самовар и пила чай из разных собранных ею цветов и трав, и когда она давала мне этого чаю с кусочком сахара, я об этом на другой день хвалился перед всеми ребятами деревни и считал себя гораздо счастливее и выше их. Вечерами она залезала на печку, а я пускал на столе волчки, сделанные ею мне из старых шпулек, а когда я засыпал, она меня любовно укладывала в постель, а сама становилась на колени и усердно молилась Богу. Я до сих пор помню тех угодников, которых она призывала в молитве. Тут был Макарий Египетский, Антоний Великий, Симеон Столпник, Митрофаний Воронежский, Зосима и Савватий — Соловецкие чудотворцы, все сорок мучеников и много других. Не меньше было и Богородиц, с Неопалимой Купины до Казанской. О, эти часы бабушкиной молитвы были для меня лучшими часами моего детства, в которые я научался тому смирению и признанию своего ничтожества и греховности перед неведомой нам силой, или тайной жизни и смерти, которые так необходимы человеку во всю его последующую жизнь, способствуя ему развивать в себе искру Божию и бороться с

окружающими нас злом и злословием. «Бездна улицы», со всей срамотой, пьянством и нищетой, потом прошла мимо меня и почти не коснулась своей тлетворной заразой и пустотой. И хоть впоследствии я отпал от православия (разумеется, внешнего), но вот перед этими бабушкиными молитвами благоговею всегда и с любовью их вспоминаю.

Я совсем не помню и не знаю даже по рассказам прошлого этой бабушки и не могу судить: была ли она великая грешница и отмаливала свои грехи, или была по природе такая богобоязненная и утешала себя молитвами в своей старости и одиночестве? Молчит земля, в которой лежат ее кости, и некому рассказать о ее жизни и упованиях. Только и слышал от посторонних старух, что ее муж, а мой дед, Кузьма Сысоич, был в свое время церковным старостой, и, как редкое исключение, был немножко грамотный и не пил и не курил, за что и был в почете у самого барина Дьякова, о котором уже сама бабушка много раз говорила моей матери, что «барин был человек незрячий и добросовестный, и сам не обижал понапрасну своих крестьян, и другим помещикам не давал их в обиду». Но отчего этот мой дед рано умер, я тоже не знаю. Оставшись еще не старой вдовой, бабушка свято блюла это вдовство, и я ни от кого из старух не слышал ее осуждения. Она-то меня еще маленьким научила молитвам и приучила ходить в церковь, к чему у меня и оставалась большая привязанность до самого совершеннолетия и военной службы. Жаль только, что жестокость последующих дней революции уничтожила и самое кладбище и все дорогие могилы, в том числе и могилу моей бабушки. И теперь для всей нашей деревни уничтожена всякая связь со своим крепостным прошлым, даже в родных всем могилах.

С этой бабушкой я ходил в леса за грибами, и два раза мы пережили великий страх. В то время водилось еще много волков и змей, которых мы постоянно видели в оврагах и лесах. Возвращаясь с грибами, мы сидели с ней на опушке леса, на берегу оврага; и вдруг неожиданно на нас наскочили волки. Бабушка крикнула мне: «Ложись и не дыши!» И сама тотчас же притворилась мертвой. Я обмер со страха, но памяти не потерял и отлично чувствовал, как волки обнюхивали меня, а потом поляскали зубами, немножко повыли и пошли от нас по оврагу.

В другой раз, почти на этом же берегу, пониже и на густой траве, мы так же с ней отдыхали, готовясь идти до дому целых две версты. Бабушка дремала, а я сидя рвал цветы. Вдруг слышу страшное шипенье и вижу огромную гадюку, которая быстро не ползла, а как-то перекатывалась по траве, высоко подняв голову, и прямо на нас. Мы были так поражены, испуганы, что долго не

решались вернуться за корзинками. И до и после этого случая мне приходилось много раз видеть и убивать змей, но никогда я больше не видел, чтобы змея нападала на человека, всегда она бежит от него и прячется в сухую листву и траву.

Кроме этих бабушек, у меня была и крестная мать Прасковья Михайловна, дьячиха, у которой было двое мальчиков, один уже учился в семинарии, а другой был мне сверстник, к которому я и ходил играть. Моя мать была к ним вхожа, приходила поплакаться на свою судьбу, а по зимам молотила цепом у них хлеб, а я так и совсем не выходил от них, пользуясь своим положением крестника. Здесь меня кормили, давали чаю, и я тогда же думал: вот кабы сделаться таким богатым, чтобы иметь свой хлеб, есть, сколько хочешь, картофеля и хоть один раз в день пить чай. У них было всегда много своего хлеба, а кроме того, дьячок с попом собирали четыре раза в год с крестьян пироги и по хлебу и дьячиха получала одну четвертую часть из сбора. Этими пирогами она часто помогала моей матери, чему мы очень радовались. Как дьячиха, моя крестная была привержена к церкви и православию и была нашей наставницей в делах веры. Она всегда набожно внушала нам страх Божий и приводила примеры божеских наказаний детей за непослушание родителям, в которых библейская легенда о медведице, растерзавшей детей за оскорбление пророка Елисея, была не на последнем месте. Все ее рассказы носили в себе элементы чудесного и таинственного и потому очень сильно действовали на детское воображение. Слушая их, я всегда давал себе обещание не грешить и быть святым, чтобы не попасть в ад или на зубы медведицы. Этим и объясняется моя набожность, которой я отличался с раннего детства и до 23 лет, времени моего отступления от православия. Она знала на память все праздники и во всякое время года твердила нам, сколько недель или дней осталось до того или другого праздника, и мы с ней вместе радовались этим праздникам и считали дни. Уже потом, будучи взрослым, я узнал, что ее радость праздникам основывалась на том доходе, какой они приносили им и деньгами и пирогами.

У нашей матери всех ребят было тринадцать (и ни одной девочки), из которых восемь умерло маленькими, а потому из нашей избы колыбельки не выходили, а за неимением девочек и я, и другие старшие братья всегда были няньками младших детей. У матери я перенял колыбельные песни и целыми часами пел их, закачивая ребят. В этом и проходило мое раннее детство. Мать уходила на свою или чужую работу, старший брат был уже в подпасках, а я сидел дома нянькой и возился с детьми. Все мы были, как говорится, мал мала меньше, а потому и орали кто

сколько хотел. И хоть мать и носила самых крикливых под куриную насесть заговаривать, но это нисколько не помогало. Не помогали заговоры и бабушек, тем более что у нас никогда не было вдосталь и хлеба, и каши, и, как голодные грачи, мы кричали по всяким пустякам и ссорились между собою.

Отца своего в раннем детстве я знал мало. Он уходил больше на фабрику и другие сторонние работы, а когда появлялся дома, то всегда больше пьяный, ругался с матерью, и мы всегда вцеплялись в него, не давая ему бить мать. К Пасхе все фабричные приезжали домой в суконных поддевках, в сапогах с набором и с галошами, в голубых и малиновых рубахах. На другой день по приходе каждого вся деревня уже знала, кто сколько принес денег, покупок, гостинцев. Ждали мы отца, как Бога, но он всегда приходил чист и пьян. И опять на оброки и на хлеб продавалась корова, а мы и на лето оставались без молока. Как мать жила, чем утешалась — не знаю, помню лишь, что по совету моей крестной она иногда подолгу молилась Богу, молилась и плакала, а около нее плакали и мы. С этого же времени у меня возникла та ненависть к пьянству, которая как меня, так и двух моих старших братьев оставила на всю жизнь трезвыми и бережливыми. Каждая добытая копейка и теперь считается мною частью собственного здоровья, через труд переведенного в деньги, и тратится с большой осмотрительностью. Тратить зря деньги и теперь считается равносильным трате зря своего здоровья.

Но был и еще более редкий случай, подтвердивший мне мою ненависть к пьянству. Моя мать, как и все деревенские женщины, участвовала у родственников на свадьбах, крестинах и похоронках, но что она там делала, я не знал. Но когда мне было 6–7 лет и меня мальчишки взяли на одну такую свадьбу, я с ужасом увидел свою мать в числе других ряженых, которые, по тогдашнему обычаю, должны были сопровождать молодых после «красного обеда» к колодцу за водой и обратно. Рядились по-разному. Мужчины медведями, красными лентами и, сидя верхом, гарцевали с дикими криками; женщины мазались сажей, цыганками и, сидя верхом на кочерге или помеле, с хохотом и визгом кружились вокруг молодых и верховых. И моя мать делала то же. Конечно, таких унизительных и срамных телодвижений и действий трезвые люди не могли делать и, вероятно для смелости, пили водку. Была ли выпивши и мать, я не знаю, но я так был поражен и оскорблен этим ее поведением, что сейчас же расплакался навзрыд и стал кричать, чтобы она шла домой. На меня наскочили другие ряженые и оттащили меня от места действия. Дома я ревел долгое время, пока не заболел. У меня

был жар, и в бреду я все требовал, чтобы мать шла домой. С этого времени я долгое время был диким и избегал говорить со всеми и даже с матерью, и она перестала быть мне такою дорогой и чистой, какой была до этого случая. С этого времени, кроме пьянства, я возненавидел и все такие деревенские обычаи, обряды и никогда и ни в каких не участвовал сам и не допускал их в своей семье.

Моя мать умела очень складно петь песни как свадебные, так и хороводные. А как раз против нашего дома, только через дорогу, был большой, так называемый «школьный луг», где всякий праздник и днем и вечерами сходилась молодежь и все желающие (а тогда этими желающими бывали даже некоторые старики и старухи) водить хоровод. Вперед сойдутся двое-трое и запоют: «На горе-то калина, под горою малина», а через 15–20 минут, глядь, собрался уже большой хоровод и поются громко и складно хороводные песни, из которых я особенно любил «На горе-то роща… березовая». Для матери только в них и была отрада, и в таких случаях она оставляла нас одних и уходила к хороводу, а нам говорила, что идет куда-нибудь за делом, чтобы мы не просились с ней. И пока я был так мал, что еще не интересовался никакими песнями и деревенским весельем, я очень злобился на нее за эти хороводы и через какие-нибудь полчаса бежал за нею на луг и с плачем тащил от хоровода, ссылаясь на то, что маленький Пашка обмарался, а теткина Аксютка лежит вся мокрая и орет.

Мать бранила нас и шла с неохотой домой.

А годов с семи я и сам полюбил мелодию хороводных песен и быстро стал усваивать их мотивы. После чего я уже не злобился на мать и, когда она уходила, просился с ней к хороводу. А если она не брала нас сама (по холодной или грязной и сырой погоде), тогда я сам закутывал в одеяло Пашку, а Аксютку сажал на тележку и с ними выходил к нашему сараю и через дорогу смотрел на хоровод и улавливал слова и мотивы песен. Матери кто-нибудь говорил, что «твои ребята раздетые сидят за костром», и она опять бранилась и загоняла нас домой. Зато в сухие и теплые вечера сама выводила всех нас на луг и сажала на бревна к хороводу, и мы с великой радостью смотрели на разряженных и поющих и бегали сами вокруг хоровода, попадая под ноги взрослым.

В эти годы моего детства началась русско-турецкая война, и я видел и слышал вой женщин и матерей при проводах на войну своих близких. Помню, как во всей деревне сушились для солдат сухари, которые потом сгнили в общественном амбаре (магазине, как их звали в ту пору). Помню даже, как в разговоре с

мальчишками я заявлял, что наши непременно победят турок. И, когда у меня спрашивали, почему я так думаю, я отвечал, что наши русские — настоящие люди, а турки не настоящие и что Бог у нас настоящий, а у них — нет.

# Глава 2
# Школа и церковь

Когда мне было годов семь, мой отец поступил сторожем в церковную сторожку, и я с этого времени стал маленьким адъютантом у священника, помогал отцу убирать церковь, топить печи, раздувать кадило, бегал за горячей водой, а потом, выучившись грамоте, читал поминанья о здравии и за упокой и потихоньку утаивал у священника по 2, по 3 копейки, подаваемые на поминаньях, а иногда даже по целой просвирке. Я видел, как он в конце обедни доедал «святые дары», подливая красного вина и закусывая просвиркой, я завидовал ему, но сам не мог решиться на это, хотя к этому была полная возможность. На боковых дверях у входа в алтарь были нарисованы сердитый Николай Угодник и Михаил Архангел с огненным мечом и мне всегда казалось, что они очень внимательно следят за мной. Один раз по неосторожности я прошел с дровами в алтарь не боковой дверью, а царскими вратами, которые были открыты по случаю Пасхи, и так перепугался, что не решался идти из алтаря и боковыми дверьми, боясь немедленного наказания огненным мечом от Михаила Архангела, и сидел в алтаре до тех пор, пока пришел отец и позвал меня. С этого времени я совсем сроднился с церковными службами и стал усердным православным. Одно, что мне трудно давалось, это так называемое «говенье». Я хоть и старался не грешить, хоть и хотел быть святым, но постоянный голод и соблазны наталкивали на грехи, о которых надо было говорить на исповеди, а это было стыдно. Я всегда откладывал неделя за неделей и доводил до последней недели — страстной, когда было много говельщиков, между которыми я проходил малозаметным, и когда кончалось это испытание моей детской совести, я радовался сильной радостью, сознавая, что на целый год освободился от такой муки. Тем более что вскоре наступала Пасха, к которой у нас появлялось откуда-то несколько кусков мяса, творог и молоко. В эти дни мы были сыты и в красных рубахах бегали по деревне.

В школу меня отдали 8 лет, и я очень прилежно учился, радуясь тому, что в ней я был не только равным другим ребятам, которые были, по-моему, богачи, но и обгонял их по ученью. Особенно любил выучивать Закон Божий и длинные стихотворения. Дисциплинарными взысканиями в то время были: оставление без обеда, оставление на ночь в школе с тем, чтобы вечером учить урок, запирание на 2 часа в чулан, поставление на

колени в угол и т. д., но меня это не пугало, так как я не любил баловать и водить компанию, а потому почти всегда был вполне исправным учеником. С этого времени стал петь в церковном хоре, и это пение доставляло мне и моей матери великое удовольствие, выдвигая меня на сцену равным другим детям и взрослым. Начиналось и кончалось ученье молитвой, в пении которой я также принимал участие в первых рядах. Здесь, в школе, мой идеал будущего благополучия несколько повысился. Я видел, как для учеников, которые по дальности ночевали по неделе в школе, варили в маленьких котелках черную кашу и картофель, которые они ели с маслом. Я облизывался и думал: вот кабы нам дожить до такой возможности. Учительницу Рысакову мы уважали и в ее присутствии вели себя чинно и тихо.

Кажется, на последнем году моего ученья случилось большое событие — царю Александру II оторвало ноги, и мы, дети, коленопреклоненно молились на панихиде об упокоении его души. В убийстве участвовал Рысаков, и наша учительница очень смущалась, что и ее фамилия была Рысакова, она прямо стыдилась своей фамилии и боялась смотреть нам в глаза. В народе также очень горевали и плакали по убитом царе. Ведь в то время много жило людей, знавших на своей шкуре крепостное время, и этого царя считали своим отцом и освободителем. Песня о «золотой воле» тогда была самой ходовой и любимой, как в школе, так и на деревне.

И хотя с освобожденья прошло уже 20 лет, но слова Манифеста: «Осени себя крестным знамением, русский народ, и призови Божие благословение на свой свободный труд» — еще у многих жили в памяти, а мы, дети-школьники, так знали их наизусть. Слова эти так были близки крестьянской душе, так отвечали ее внутреннему настроению, что долго помнились наравне с молитвами. С этого времени все вписали и в поминанья царя-освободителя за упокой души. Конечно не все по-настоящему воспользовались этой волей, многие спились, разорились и ушли из деревни в город, но никогда, ни тогда, ни после, за всю свою долгую жизнь я не слышал, чтобы кто из крестьян был недоволен этой волей и царем, давшим эту волю, так как воочию все видели и понимали разницу в положении до и после воли. Видели и понимали, кто отчего живет плохо и хорошо, и, во всяком случае, не считали эту волю причинами для плохо живущих. Правда, воля прибавила кабаков, но мужики не винили в том и кабатчиков, признавая открыто, что насильно никого в кабак не загоняют. Здесь (в школе) я выучился сносно читать и писать, выучил таблицу умножения, четыре правила арифметики, все обиходные молитвы. Знал кое-что о догматах и

таинствах и еще больше прилепился к церкви. Я знал, что для души полезно ходить в церковь, и хоть по утрам и не хотелось рано вставать, однако я нудил себя к этому и очень гордился тем, что я не такой, как другие мальчишки. Слушая иногда разговоры старух о существовании святой Троицы, я поправлял их с видом ученого, говоря, что Бог один, но в трех лицах, что Сын рождается от Отца, а Дух Святой исходит от Сына. Не помню, по какому случаю я был на базаре в трактире. Здесь подвыпивший дьякон стал меня публично экзаменовать по Закону Божию, и я так ловко ему отвечал, что он назвал меня молодцом и дал 5 копеек на чай. С этого случая я окончательно уверился в своей учености.

Каждый праздник перед обедней мы собирались в школу и под командой учительницы чинно и смирно шли в церковь. Здесь нас так же чинно расставляли в ряды и мы, певчие, торжественно входили на клирос, радуясь тому, что мы действующие лица и будем не только молиться, но и славить Господа своими голосами.

После обедни церковный староста приносил нам на тарелке нарезанных просвирок, мы брали по кусочку и довольные расходились по домам.

Вообще церковь со своим культом и ритуалами для меня лично была в то время большим и важным делом. Как действующее в ней лицо, она поднимала меня до уровня других, и я не стыдился своей бедности против других мальчишек и не прятался перед взрослыми. Как-то особенно скоро и выгодно для себя я усвоил из церковного учения и службы такое понятие, что для Бога все равны: и бедные и богатые, и что Бог любит людей не за их богатство, а за праведную жизнь, и об этой-то праведной жизни я и мечтал, отдаваясь церковным песнопениям.

Особенно помню, как я был поражен величием церковной службы, когда один раз на наш храмовый праздник Покрова к нам приехали из другого прихода «настоящие певчие» (себя мы не считали настоящими) и другие священники и даже дьякон (у нас дьякона не было) и служба была особенно торжественная. Когда певчие в стихарях вышли на средину перед алтарем и стали петь так называемое «запричастное», соответствующее празднику: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», моей радости не было предела и я бессознательно опустился на колени, хотя по принятому порядку этого и не полагалось. Это пение так врезалось в мою память, что я и теперь могу повторить его безошибочно. Но от времени я было забыл слова этого гимна и очень досадовал на это, так как не мог уже петь его всякий раз при хорошем настроении, что я иногда делал в поле за работой, и, как ни старался, не мог вспомнить за 30 лет ни разу. И только

уже 60-летним стариком, сильно болея тифом, не то во сне, не то в бреду, я увидел снова обстановку церкви и певчих, поющих этот гимн. И так это было четко и натурально, что я за ними стал тоже громко петь. Меня окликнули, и когда я очнулся, я знал эти слова от начала до конца, знаю и теперь.

# Глава 3
# От школы до фабрики

После экзамена я распростился со школой, но еще некоторое время продолжал быть адъютантом у священника: читал поминания в то время, пока он вынимал копием частицы за здравие и за упокой, раздувал кадило, даже «читал часы», а под Пасху, когда он ходил с разрешительной молитвой на молоко, мясо, яйца, я ходил с ним по приходу и носил лукошко с яйцами. В нашем доме в это время квартировал боровковский огородник (отец-то все еще жил в сторожке) с большой семьей. Были они старообрядцы и в нашего Бога, как говорили бабы, не веровали. Когда мы со священником подошли к нашему двору, он у меня спросил, идти ли ему к нашим квартирантам? Я замахал руками, говоря, что не надо, не примут, но тот не послушался и быстро вошел в сени и в избу. Я же не решился на это, мне было стыдно, но любопытство разнимало и меня, и мне очень хотелось знать, как наши жильцы отнесутся к этой молитве. Я приотворил немного дверь и стал осторожно наблюдать. Время было послеобеденное, семья отдыхала, и, когда он сразу, переступивши порог и не спросясь, стал читать молитву, они все испуганно вскочили и стали просить его не читать. «Мы вам больше заплатим, — говорили они, — только не читайте». Поп сконфузился и замолчал, хозяйка дала ему 20 копеек и 6 яиц, а полагалось 5 копеек и 2 яйца. Он взял и то и другое и, прижимая к груди яйца, боясь уронить, весь покрасневши от стыда, стал выходить в сени. Я быстро отскочил за дверь и стал за сеньми. Укладая в лукошко яйца, он сказал: «Вот, а ты говорил: не ходи! — За четыре двора сразу подали!»

Этот случай тогда же дал небольшую трещину в моей вере, и иногда, борясь с каким-нибудь соблазном, я подпадал ему и уже с более легким сердцем говорил себе: «Ну что же, не я один грешу, и поп грешит», — и меньше мучился за свои грехи.

Другой случай еще больше возмутил мою совесть на этого же духовного отца. Будучи еще в школе, я пошел с матерью говеть. Наша очередь к исповеди была вечером, когда в церкви было только несколько человек, ожидавших исповеди. Помолившись и исповедавшись, мать по бедности положила на аналой двухкопеечную свечку и двухкопеечную монету. Священник возмутился и бросил на пол эту монету, пригрозив матери лишить ее Святых Тайн. Мать велела поднять мне эту монету и взять себе на бабки. И хотя он своей угрозы не исполнил, давши

на другой день обоим нам Христова Тела, но мне все же было обидно за мать, и я перестал питать к нему уважение. Из святого отца и праведника он в моих глазах постепенно сделался простым человеком.

Праздник Пасхи был для нас, детей, настоящим Светлым Воскресением. С ним связывалось все хорошее, что было в наших душах. Возникали надежды на лучшее, прорезывалась тайна жизни и смерти, и мы всегда в эти дни ждали чего-то необыкновенного и были, как говорится, на втором взводе. К этому празднику съезжалась фабричная молодежь, строили качели, играли в бабки, в горелки, водили большие хороводы, к которым собирались даже старики и старухи, пели новые песни, играли на привезенных гармониках, плясали вприсядку по-городски, отчего у нас, детей, кружилась от радости голова, и мы на время забывали всю горечь нашей жизни. Тем более что к этому празднику нам кое-что давали добрые люди, и мать ухитрялась покупать 10 фунтов крупы и пшена и варила нам кашу. Все горе наше было в том, что у нас не было нужных обновок и нам не в чем было бегать по улице. Ходили мы у матери кое в чем, все больше в чужих пинжаках и рубахах, которые или давали ей родственники, или она покупала на базаре. Но в таком одеянии мы вовсе не походили на праздничных, и это нас угнетало. Но когда мне было годов 12, мать сшила нам с братом по кафтанчику из толстого сукна, приготовленного ею самой, и на Вербное воскресенье мы пошли в них в церковь. О, нашей радости не было конца, я прямо не видел под собой земли, мне все казалось, что и ростом я стал выше, и люди на меня смотрят как на ровного, и даже суровый Николай Угодник, около которого я пел на клиросе, одобрительно кивал мне головой и прощал мне старые грехи. А святым мне очень хотелось быть, на паперти висела тогда огромная икона Страшного Суда, и я всякий раз перед нею подолгу останавливался и рассматривал: за какие грехи и в каком порядке идут грешники в ад и как ликуют праведники, идя навстречу Господу Богу. Картина была так умно написана, что другого исхода тебе не оставляла, как только изо всех сил стараться попасть в Царство Божие. Ну кто же мог быть таким дураком, чтобы добровольно пойти в чертово пекло?

После обедни на Пасхе мы теребили отца, и он привязывал в сарае нам качели, на которых мы и качались до головокружения. Качали нас иногда и на больших качелях, но редко. Со мною произошло тут несчастье, чуть не стоившее мне жизни. Взрослые ребята так высоко меня подкинули, что я потерял равновесие и камнем с высоты 5–6 аршин ткнулся о землю и потерял сознание.

Ребята испугались и убежали. Долго ли я лежал — не знаю, но когда стал приходить в себя, то почувствовал такое блаженство, точно я находился в раю. Как что-то родное, давно забытое, я стал узнавать окружающее. Лежал я на спине и прежде всего увидал голубое небо с белыми облаками. «Да ведь это небушко, — подумал я, — а это вот наша лозина, а вон и двор». Я точно вновь родился и, радуясь всему, потихоньку сам дошел до дому. Но тут силы меня оставили, закружилась голова, и я снова впал в забытье. Мать совсем не знала, что со мною случилось, и сам я ничего не помнил, кроме того, что меня качали, и только ребята после сознались во всем.

С 10 лет я стал ходить на поденку на барский двор.

Вперед меня брали перебирать у погреба картошку и платили 5 копеек за день, а с 12 годов стали брать на молотилку, погонять лошадей, и тут уже платили 10 копеек. И когда таким образом мне удавалось заработать 30–40 копеек и принести их матери, моему счастью не было предела. Но такое счастье было редким, ребят, по возрасту старших, было в деревнях много, всем хотелось заработать, и меня часто отсылали домой. Потом, вырастая, в 14–16 лет, я также искал всякой работы. Тут меня уже брали возить снопы, солому, отгребать от веялки, возить дрова и т. п. и платили по 15–20 и даже по 25 копеек, и за два дня можно было заработать на рубаху.

Кроме поденки у помещика, я нанимался стеречь лошадей в денном за всех, кто меня нанимал, и также за 15–20 копеек.

В это время у нас в церкви жили «кутейники», дети старого дьячка, которого я не помню, они не пошли в семинарию и стали заниматься землей и пчеловодством. У них почасту прирабатывал и мой отец, когда лето бывал дома, и вообще с ними дружил. Они у нас не выходили из крестных и звали отца за это «лапшой». У них-то я имел монопольное право на сторожу лошадей в их очередь и даже плакал, если они нанимали другого. О, эти дни бывали также всегда настоящим праздником. Они меня кормили мясными щами, кашей, медом и давали с собою кусок меду и корзинку картошки. Ну разве это была не радость принести матери такую добычу? Не помню почему, но в то время и картошки садили по 2–3 мерки, и редко у кого их было много, вернее, хватало своих, а большинство весной покупало на семена у огородников, и опять не больше 3–4 мер, и у кого их хватало на всю зиму, тот считался богатым человеком. Мы же, кажется, по вине отца, нуждались больше всех и были совсем полунищими.

За свое детство я помню в своей деревне три кабака и всякий праздник около них, а в особенности у главного, «Вырцова», постоянно толклись и шумели пьяные мужики, и когда мать

посылала меня за отцом, я на первое время очень боялся туда ходить, а потом привык и сам же ходил отцу за вином. Тогда продавалась «разливная», из бочек, и я несколько раз кушал ее, отхлебывал глоток-другой, а потом, идя мимо колодца, доливал водой. Отец бранил кабатчика, а я делал вид, что ничего не знаю. Но она мне не нравилась, и, помимо моей ненависти к пьянству, я никак не мог понять, как это и зачем пьют мужики такую дрянь.

Около кабака затевались ссоры, драки, и я видел иногда дерущихся в разорванных рубахах и с разбитыми в кровь лицами. И, прибегая домой, с ужасом рассказывал об этом матери, давал себе новые и новые обеты не походить на пьяных мужиков. Такие же отношения у меня были и к табаку. Отец много курил, а изба у нас была шести аршинная, маленькая, и, когда он бывал дома, мы задыхались от дыма. Но однажды мой товарищ, тоже 11–12 лет, уговорил меня сделать пробу. Он тогда уже воровал у своего отца махорки и учился курить. Мы ушли из деревни в овраг, накурились до бесчувствия и долго лежали на траве, как отравленные тараканы, и потом меня стало рвать, и я плакал и бранил товарища. После этого до 19 лет я уже не делал больше опытов. Табак отталкивал меня больше водки.

С 7–8 лет я выучился играть в карты и потом, вырастая, все время на святках и по вечерам играл с другими мальчишками в так называемые «заноски» (занозки). Это разноцветные стеклянные бусинки, трешки и четверешки, нанизывающиеся на нитку. На копейку их продавали торгаши-тряпичники по 30 штук, так что проиграть много было нельзя. Проигрывал иногда на целую копейку, на две, после чего также плакал и боялся сказать матери правду. Но проигрывал мало, больше выигрывал, иногда на несколько копеек. Этих занозок у меня скоплялось по нескольку тысяч, и я их нанизывал на нитку длиною в 5–10 аршин. Вперед играли одни мальчишки, но с 14–15 лет смешивались с девицами и с игры в занозки переходили на другие игры. Играли в соседи, в короли, во вьюны и т. д. Когда кончались святки, кончались и такие игры в избах. С этого времени и по масленицу мы катались по праздничным вечерам на политых водою скамейках с гор, и тоже с девицами. А на масленицу днем и на лошадях, по очереди. В воскресенье, так называемое прощеное, ходили просить прощения у своих крестных, а затем весь пост, до Пасхи, никуда не ходили и никаких игр не устраивали.

Мой крестный Зубаков мужик был деловой, хотя и пил сверх положения. Со своим стариком отцом, Иваном Савельевым, они держали в аренде нашу общественную мельницу «колтыхалку», которая по зимам «грызла по три зерна», но и этим мужики были

довольны, так как это, с одной стороны, избавляло их от заботы о поддержании плотины, а с другой — давало возможность в самую распутицу и непролазную осеннюю грязь, по 2–3 мешочка молоть на своей мельнице. Кроме того, у них была крупорушка и маслобойка, и всю осень до зимнего Николы у них толпился народ, а мы, мальчики, пользуясь его добродушием, таскали с плиты жареные масляты, приготовляемые в жем, а также таскали и крупу целыми карманами.

Когда я приходил к нему «прощаться» на масленицу он, по обыкновению, был пьян, но и пьяный заставлял честь честью накрыть стол и подать мне целую стопу гречневых блинов, драчен и хороших селедок. А после того, как я по обычаю просил у него прощенья и целовался с ним и с его женой, он мне давал с собой фунт баранок. О, эти баранки! Какое искушение давали они мне и на долгое время! Ведь по заведенному порядку их надо было сохранять до Причастия при говении и закусывать ими в церкви, приобщившись Святых Тайн. А я уже говорил, что говенье меня тяготило, и я откладывал с ним до последней недели. Вот тут и попробуй целые шесть недель глядеть на эти баранки и облизываться, как лиса на виноград. Трудно это. Нет-нет, бывало, и согрешишь, и из 13–14 баранок половину съешь до срока. А другие матери, у которых были такого же возраста ребяты, всегда еще любопытничали у моей матери: «Твой парень баранки-то прощеные бережет или поел?» Мать покрывала мой грех и недостающие баранки заменяла другими. Казалось, надо бы радоваться, но я страшно мучился от сознания, что мать догадалась и покрывает мой грех перед другими.

У Зубакова был хороший голос, и он хорошо пел песни, и в особенности в церкви на клиросе. Был он грамотный, и любил говорить и слушать про божественное и чудесное, и много рассказывал всяких легенд, жаль только, что его сгубил кабак, который был так близок к его дому и мельнице. Запрет он, бывало, амбар — мельница мелет и без него, — а сам в кабак. Сгубил он его раньше времени. Темной и грязной осенней ночью он возвращался из кабака, попал в грязную канаву и так в ней и застыл, не мог выкарабкаться. Утром его подняли мертвого. Вскоре умер и его старик отец, и всем их нужным и не мудрящим производствам настал конец. Ни маслобойки и крупорушки, ни мельницы, ни плотины у нас больше нет, остался только ручей воды, который некому запрячь в работу.

Читает он, бывало, в церкви часы перед обедней или шестипсалмие в утреню: «Господи, да не яростию Твоею обличиши меня, ниже гневом Твоим накажешь меня…», — а я слушаю и радуюсь. И так у него выходило вразумительно, что и

непонятное становилось понятным. А то читает перед отпуском в обедни: «Хранит Господь вся кости и не едина от них сокрушится…», — а я слушаю и все перенимаю. От него-то я и набрался храбрости, чтобы самому читать часы и шестипсалмие, и у него научился читать Псалтирь по покойникам. Но на чтение «Апостола» так ни разу и не дерзнул, хотя и «Апостола» крестный читал особенно понятно, соревнуясь с моим отцом.

На Пасхе качались на качелях, водили хороводы, играли в горелки и затем до самого Покрова или Воздвиженья все летние праздничные дни проводили в таких же играх. Хорошее и веселое было время! Хороводные песни любили во всех деревнях и целыми ночами водили и пели. Выйдешь ночью на улицу и слышишь, как поют сразу в нескольких ближайших деревнях. Никакого озорства, сквернословия, за редкими исключениями, не было, и взрослые парни стыдились напиваться и хулиганить. Стыдились родных, девушек, даже друг друга, и друг перед другом старались быть на хорошем счету у взрослых. Существовал во всей силе страх Божий, и всем хотелось быть смирными.

Моя любовь к книжкам и чтению началась с того, что, еще будучи 11 лет, мне удалось перечитать «всю библиотеку» у моей крестной, которая состояла из 8 книжек: «Битвы русских с кабардинцами», «Пана Твардовского», «Английского милорда Георга», старого журнала «Пчела» за 1875 г., какой-то немецкой «Семейной хроники» (переводной) и двух книг из «Житий святых» — про Варвару, Христову мученицу, и Алексея, человека Божия. Дьячок, муж крестной, читать не любил и книжками не занимался, и эти 8 книжек, очевидно, привез из Тулы его старший сын Вася, учившийся в семинарии. Эти книжки открывали передо мной новые миры и какую-то новую сказочную жизнь, в которую, конечно, я верил по уши и которой хотел подражать. Этими книжками я, как говорится, настолько увлекся, что страстно захотел знать все, что только есть на свете, и с этого времени стал перечитывать все, что попадало под руки от умных людей. Помню, лет в 12–13 мы с братом Иваном бегали за книжками к одному старику в другую деревню, про которого по секрету говорили, что он 7 лет уже «не был на духу», то есть у исповеди. У него мы брали переводные английские и французские романы, журналы «Родина» и крестный календарь Гатцука. А у своего старика (городского, случайно жившего в нашей деревне) брали старые газеты «Новое время» и «Московский листок» и в них читали знаменитую повесть о разбойнике Чуркине. Затем брали из церкви «Четьи-Минеи» и зачитывались житиями святых. Брали еще какие-то повести у своей учительницы в школе, какие нам

почему-то не нравились. Почему? Мы и сами не знали, хотя из уважения к ней и прочитывали до конца. И хотя весь этот литературный материал с точки зрения современной критики не высокой марки, но он был слишком красочный, увлекательный и сильно действовал на детское воображение. Так или иначе, но он оставил глубокий след в развитии моей мысли и навсегда привязал меня к книжкам.

Когда мне было лет 9, мой старший брат Андриян был уже в подпасках два лета, затем жил у попа в работниках, а потом каким-то образом попал в Тулу служителем в земскую больницу, где и получал года два по 5 рублей в месяц. С этого времени мы стали «богатеть» — так говорили моей матери завидовавшие ей бабы, у которых ни мужья ни дети еще ничего не получали. Проходил месяц, и мать или сама шла за его пятеркой, или посылала меня. В 12–13 лет я ходил пешком в Тулу обыденкой и таким образом делал 62 версты в день. Брат кормил меня мясными щами, кашей, покупал белого хлеба с изюмом и давал свою месячную пятерку. Я всему этому был так рад, что забывал о боли в ногах от шестидесятиверстной дороги и был готов ходить всякий раз, когда это было нужно. Потом брат стал получать 10, а затем и 12 рублей (ему повезло по службе). Тут он уже давал матери по 10 рублей в месяц, и мы, скопивши их, построили себе 7-аршинную избу с двумя окнами (а до сих пор жили в шестиаршинной с одним окном), и с этих пор стали походить на людей. Я же до 17 лет жил дома, помогал в работе, пахал и косил с 13 лет, ходил на поденку, читал книжки, гонял по зимам зайцев, хотя не убил ни одного, и в этом проходило время. На зайцев мы делали привады и караулили их по ночам, по месяцу, из риг, из лесной сторожки, из делаемых из снега пещер. Зайцев видали много, но мне лично так и не удалось убить хотя бы одного. Своих ружей у нас не было, и мы выпрашивали у одного из стариков Никанорычей, Андрияна, он охотно давал нам плохое ружьишко, из которого можно было убить на ближнем расстоянии, а зайцы не подпускали и уходили на наших глазах.

Один раз, набравшись храбрости, мы с братом пошли их караулить ночью в большой лес, к стогам, и стали порознь в дубовых кустах с зимней листвой. Лес этот огромный, верст на пять. Не простояли мы и часу, как в одном углу завыл волк, ему стали откликаться из других мест другие. И подняли такой вой, стонущий и печальный, что мы не выдержали и позорно бежали домой по целику, напрямки, падали, топли в снегу, и нам все казалось, что волки идут за нами и лязгают зубами. Утром по следам мы видели, что волки действительно напали на наши следы и по ним подходили к самой деревне, а соседка, бабка

Дарья, со страхом говорила, как ночью выли собаки, чуя волков.

После школы меня как грамотея и певчего в церкви охотно стали приглашать читать Псалтирь по покойникам, и я с важностью знатока и ученого брался за это дело. Как-никак изба полна народу: и родственниками, и старухами, все охают и вздыхают, а я среди них как действующее лицо, читающее Священное Писание, и на меня обращают внимание.

— Чей это паренек-то, не Петра ли Кузьмича? — спрашивают родственники покойного из чужой деревни. — Ишь, какой учтивый и смышленый, весь в отца начетчик.

А мой отец тоже, как старый грамотей, пользовался славой и приглашался читать Псалтирь. Но он-то, конечно, ходил не из любви к искусству и к покойникам, а из того, что ему в таких случаях подносили первый стакан, а по окончании напаивали совсем пьяным.

Я слышу эту похвалу и внутренне радуюсь, делая вид, что ничего не слышу, а сам еще отчетливее произношу славянские слова псалмов: «Аще яко глух — не слышах и яко нем не отверзаяй уст своих…» или: «Живый в помощи Вышнего, в крове Бога Небесного водворится» и т. д. Причем, если я видел, что публика входит новая, особенно божественно настроенная, со вздохами и причитаниями, я, вне правил, раньше положенного срока, читал сорок раз «Господи, помилуй», «Отче наш» и положенное поминовение: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, новоприставленного (имя рек) где же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная…» и сам в это время истово крестился и кланялся, заражая этим и всю публику, ведя ее, так сказать, на поводке.

Правда, наука эта мне далась не сразу и на первом покойнике я много путал, и даже во время перерыва, когда родственников по обыкновению посадили на обед, я снова бегал к дьячку и Сергею Степановичу (мужу моей крестной) и спрашивал у него: через сколько псалмов считать кафизму и останавливаться на поминовении? По глупости, я думал, что это очень важно для покойника и что публика может заметить мою ошибку и сделать мне замечание.

Но тут случилось непредвиденное событие, которое еще больше подняло мой авторитет у старух, ночевавших со мною при покойнике, а потом разнеслось по всей нашей деревне.

Этим первым покойником, над которым я десятилетним парнем читал Псалтирь, был дед Илья Исаевич. Он тоже пил, но с умом, на свои, допьяна не напивался и не считался большим пьяницей. Наоборот, слыл за знахаря и чудака, пользовал чужую скотину от кил и всяких болезней. Его тоже слегка побаивались и

в глаза льстили, хотя он по своей шутливости и не был похож на колдуна и опасного человека. Ввиду его такой репутации, почтить его память и ночевать последнюю ночь у его гроба сошлось много родственников и посторонних старух, и изба была полна народу. Ночью по обыкновению все сидя спали и лишь при моих поминальных возгласах: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного» — некоторые просыпались и, зевая, начинали креститься и молиться, а когда я переходил на монотонное чтение нового псалма, они снова впадали в дремоту. Часа в три ночи и я стал дремать и делать перебои и не видел, когда под саван покойника (лежавшего уже убранным в гробу) подлез маленький котенок и как раз около его рук, сложенных крестом, стал шевелить саваном, пытаясь из-под него вылезть.

Я первый заметил это чудо и, оборвав чтение, впился глазами в лицо покойника. Страха я не чувствовал, так как заранее слышал, что в таком случае оживления стоит только ударить покойника Псалтырем по голове, и он снова уляжется в гробу и умрет снова уже по-настоящему. Я сжал в руках толстую книгу и приготовился к этому удару. Но мне было удивительно весело, так как показалось воочию, что Илья Исаич открыл глаз и весело и чудно мне подмигнул, точно хотел предупредить меня, чтобы я не боялся того, как он сейчас напугает всех старух и семейных.

Когда я оборвал чтение, две старухи нарочно закашляли, они подумали, что я задремал, и этим хотели пробудить меня к действию. Но увидев, что я не сплю, а стою на месте с книгой и смотрю на покойника, они со страхом приподнялись и тоже стали смотреть на него. В это время саван опять зашевелился, и старухи, взвизгнувши по-телячьи, выскочили в сени и на улицу и там уже закричали не помня себя от страха. В избе началось смятение, все стали просыпаться и, как только кто замечал, что покойник шевелит руками, так же с криком выскакивали вон. И я уже слышал, как под окнами кричали и гнали друг друга за попом.

— Беги скорее, свашенька, — кричала Прасковья Свирина тетке Дарье Орловой, — батюшка его окропит святою водой, он и успокоится, а так худо будет, ой, будет худо!

Изба в минуту опустела, и я в ней остался один на своем посту, как солдат с ружьем, твердо веруя, что чары покойника будут бессильны против удара его Божественною книгой. Бабы шумели, ахали, плакали, спорили, но от окон не отходили. Любопытство пересиливало и страх, и всем хотелось видеть, что будет делать покойник, когда встанет из гроба.

Если бы я струсил и тоже бы выскочил на улицу, тогда и они все шарахнулись бы во все стороны, но я стоял не шевелясь, и это

их ободрило.

— Смотри, смотри, сеструшенька, — со страхом говорила соседка Фекла, — парень-то наш не боится и стоит с книгой, как на часах! А покойник-то все шевелит руками!..

А мне совсем стало весело и смешно, так как я услыхал, как мяукнул запутавшийся котенок, и сразу понял, в чем дело. Не решаясь однако открыть саван, я потихоньку позвал его: «Кыс, кыс», после чего он завозился сильнее и выполз на лицо покойника. Тогда я его по-мальчишески любовно схватил и показал в окно бабам, а сам как не в чем ни бывало, стал читать новый псалом: «Господи, кто обитает в жилище Твоем? Или кто вселится во святую гору Твою? Ходяй без порока и делаяй правду…»

Старухи вернулись в избу и уселись по своим местам и со стыдом шепталися до утра, рассказывая попутно о всяких небылицах с покойниками, когда они вставали и ходили. Я же с той минуты чувствовал себя настоящим героем. И когда после этого в нашей деревне удавился у себя в сарае пьяный Алексей Сычев, и его, изрезанного доктором (было вскрытие трупа), уложили в гроб, я также без страха сменял дьячка при ночном чтении Псалтири, хотя к этому покойнику из страха не пришли и старухи, а было только двое-трое родственников.

После этого меня стали звать к покойникам подряд все, у кого не было своих близких грамотеев.

Читал по соседу Андрею, по другому соседу, деду Илье, но тут тоже был маленький инцидент. У покойника среди ночи почему-то под саваном свалилась рука с руки и страшно перепугала всех старух. Этого старика я любил за его простоту и незлобие и читал по нем один два дня и две ночи подряд, без сна, а на третий день, как певчий, пошел его провожать и отпевать в церкви. В церкви на меня напала такая сонливость, что я не мог ее одолеть и засыпал с разинутым ртом, а засыпая, гнулся и падал, так что меня насильно отвели под руки домой, и на погост я не попал.

— Ишь, как его дед Илья замотал, — говорили старухи сочувственно моей матери, — как бы с ним какого худа не вышло? Покойники тоже часто уводят за собою тех, кто им дюже пондравился. Ты не пускай его на погост, а то он его замотает.

А крестная после этого вразумляла:

— Никогда, дитятко, не берись читать один, обязательно двоим нужно, мало ли какой грех может случиться. Да и отдохнуть посменно можно. А то трое суток один да один, да разве это возможно?

А мать только радовалась, так как после каждого покойника я

приносил ей платок или полотенце, на котором я раскладывал Псалтирь, да и целый рубль деньгами. Это ли не заработок от покойников? А кроме того; по мне и мою мать звали всегда на поминальный обед после похорон, а это и для нее было большой честью перед народом.

В это же время, ежегодно, меня, совсем маленького, брали и на свадьбы у наших родственников, и мне выпадала почетная роль ехать в свадебном поезде с образом со стороны невесты, с ее родительским благословением, и участвовать опять же действующим лицом и в свадебном поезде, и в свадебном церемониале. И это в то время, когда мои сверстники могли только сидеть на полатях или на печи и оттуда глядеть на все перипетии свадебного обряда, как делал и я, когда не участвовал действующим лицом сам.

И как же я любил, как дорожил этой возможностью с полатей смотреть за всеми процессами этого церемониала. Особенно это было интересно после венца, на так называемом «красном обеде». Тут уже нет места слезам невесты и ее матери. Все кончено, и все должны только радоваться и веселиться. И величают тут не одних молодых, а всех гостей подряд, и для всех находят подходящие песни. Молодым споют: «А кто ж у нас большим барином, а кто ж у нас воеводою», или: «Как по садику-садику, тут катилися два яблочка». Просватанной девице споют: «Ах ты, елка, моя елка, елка зеленая», или: «Что не белая береза кудревая». Не просватанной запоют: «Уж мы ж тебе, свет-Марьюшка, давно говорили». Холостым парням поют: «На горе калина во кругу стояла», или: «Да кто ж у нас лебедин, да кто ж у нас господин». А когда величают женатых, то непременно споют: «У ворот сосна зеленая, у Ивана жена молодая» и т. д.

Слушаем мы эти песни и млеем от радости. Нам с полатей видно, как ломаются, чванятся гости, когда их величают, как они торгуются с девицами и заставляют их величать еще и еще. Нам видно, как хозяин с дружками перед каждой сменой кушанья вновь и вновь обносит гостей водкой и наливками и торжественно упрашивает: «Кушайте, сваточки и свашеньки, дорогие гости и гостьюшки, веселите наших молодых веселыми песнями и веселыми речами». А гости и сваты берут в руки стаканы и в тон хозяину возглашают: «Будьте здоровехоньки и будьте все радехоньки!» А потом каждый прикушает и скажет: «Горько, нельзя пить, подсластить надо!» И обращаются к молодым Те в угоду им целуются и кланяются. Но этого мало, их заставляют целоваться еще и еще: «Без Троицы дом не строится; без четырех углов изба не бывает; без пяти просвир поп обедню не служит», — говорят они при этом. И заставляют целоваться до пяти раз.

А потом, перед кашей, которая подается непременно в конце обеда, мать и отец невесты обходят всю женихову родню с дарами (с ситцем, шерстяными материями, с готовыми платьями и рубахами) и всех одаривают, смотря по возрасту и положению. И тут новая церемония: с дарами на подносе подходят к гостю и, низко кланяясь, говорят:

— Дарю тебя, сваточек, даром, не большим и не малым, малое примите, а большого не взыщите, чем богаты, тем и рады!

Гость принимает дары и отдаривает деньгами, которые кладет на этот же поднос. А девичницы наперебой с другими молодыми бабами величают гостей и со смехом торгуются с ними из-за расплаты, выпрашивают серебряную монету вместо медной.

Перед кашей хозяин с дружками в последний раз обходит гостей с водкой и торжественно и униженно просит «откушать». «До дна, до дна, не оставляйте на донышке зла», — подговаривает он пьющих.

После каши чашки накрывают целыми пирогами, и тогда только конец пиру.

А когда я участвовал действующим лицом, меня также величали и подносили рюмочку красного вина и также дарили дарами. Но это на «красном обеде», а когда жених приезжал за невестой к венцу, меня сажали за стол вместе с девичницами и приехавшие гости и дружки должны были выкупать у нас стол с невестой. Они гнали меня и грозили кнутом, а я все же не уступал и не сдавался, требуя, чтобы они выкупили невесту серебром, а не медью. И они клали в мой стакан двугривенный. И только после этого я выходил из-за стола, уступая невесту.

Отец невесты брал у меня из рук икону и благословлял ею жениха и невесту, опускавшихся на колени, причем говорил жениху:

— Даю тебе в жены свою дорогую дочку. Прошу любить и жаловать. Сам бей, учи уму-разуму, а другим в обиду не давай!

Потом благословляла и мать, и крестная, и меня и всех гостей снова сажали за стол и «на скорую руку» обносили вином, давали наставления: как и кому себя вести, а затем невеста, тоже наскоро, уходила в чулан и плакала там в последний раз, прощаясь с родными и с домом. Сейчас она должна была уезжать к венцу и в свой дом к отцу с матерью могла вертаться уже чужою женой, и только на время, как «отрезанный ломоть».

С этой иконой как «родительским благословением, навеки нерушимым», я шел впереди и садился почетным лицом в свадебный поезд и сопровождал невесту в церковь. А после венца молодой жене заплетали волосы на две косы и нас уже везли в дом жениха, где молодых встречали с хлебом-солью и осыпали

зерном, а у меня брали икону и торжественно ставили ее в передний угол на божницу к другим семейным Богам, в знак того, что новый, пришедший в их семью человек, становился их «сородичем» и равноправным, пришедшим к ним со своими Богами.

До войны 1914 г. у нас насчитывалось 65 дворов, а в 1880-х их было только 32. И когда меня после школы, как хорошего грамотея, заставляли на сходках писать общественные приговоры, я с того и начинал писать, что «мы, нижеподписавшиеся крестьяне села Боровково, Лаптевской волости, Тульского уезда и губернии, собравшись в числе 25–30 человек от 32 всех домохозяев, в присутствии нашего сельского старосты (имя рек) слушали предложение о том-то и о том-то, или просьбу о том-то и о том и постановили единогласно то-то и то-то: отказать или удовлетворить».

О чем в то время говорили на сходках и зачем собирали? В январе-феврале — для раскладки оброка и учета старосты, для чего приезжал старшина с писарем. В марте — для найма пастуха. В апреле — для разрешения тому или другому члену общества в выдаче паспорта, в выдаче приговора на семейно-имущественный раздел и дачи усадьбы, для найма десятского и ночного сторожа на лето. Причем все эти просьбы, если они удовлетворялись, кончались постановлением просителем или нанятым человеком четверти или полведерки водки, которую с большой радостью и охотой и распивали тут же, на сходке, закусывая кусочками черного хлеба.

В начале июня собирались для установления срока пахоты пара и возки навоза. На Петров день шли делить пайки лугов и оврагов, и последнее — на Покров решали, когда и с какого срока пахать под зиму ржанище.

На всех этих немногочисленных сходках староста делал напоминания недоимщикам об уплате выкупных, «чтобы не дожидаться, когда у тебя старшина продаст овцу или корову». Но таких у нас было мало. Постоянно в недоимщиках у нас значились три пьяницы: Антон Баранов, Василий Жучков и Василий Воронин. За ними их еще отцами, после воли, к 80-м годам, накопилось более 400 рублей оброку, и в силу круговой поруки обществу в 1881 г. пришлось продать молодой еще лесок в 50 десятин за 1800 рублей и уплатить эту недоимку. Заплатили за год за всех и текущий оброк, потом попили винца на сходках, и леска не стало. Его срубил и продал болотовский Морозов.

А через 20 лет они снова накопили такую же недоимку, и в 1900 г. обществу вновь пришлось расплачиваться за них своими доходными от кабака деньгами (кабатчик Вырцов платил в год по

100 рублей за разрешение иметь в селе кабак). Другие крестьяне всегда выкручивались сами и большой недоимки не накопляли, так что я не знал ни одного случая, чтобы в нашем селе делали продажу за недоимку. Старосту, Илью Осипова Гремякина, подпаивали водкой, прося «повременить». В холодной один-два дня сидели, а продажи не было. «Ты меня водкой сколько ни угощай, а оброк платить надо; я за тебя не пойду сидеть, а ты пойдешь, — гнусаво говорил староста своим ухаживателям. — Повременить я могу, а совсем простить только царь может».

Для лучшего действия земские начальники потом додумались сажать в холодную не каждого в своей волости, а гонять в соседнюю своего же участка, приноравливая эту «отсидку» к какому-либо большому празднику, в особенности к престольному, и объявляя об этом через старост заранее. Конечно, кому же была охота сидеть свой праздник в холодной, и они изворачивались и платили.

Да и вообще-то выкупные платежи за землю платились охотно, в особенности во вторую их половину, с 1890-х годов. Мужики землей жили и ею дорожили и понимали без понуждения, за что они платят. Так что понуждать приходилось только пьяниц. Менее пьющие (непьющих совсем, кроме нас, трех братьев, не было) платили осенью с продажей хлеба или приплода от скота и недоимку на другой год не запускали. Даже мой отец на моей памяти сидел в холодной очень редко, и к нему других репрессивных мер не применяли.

По тогдашнему положению о выкупе крайней мерой понуждения было право общества снимать землю с неисправного плательщика и передавать другим до тех пор, пока он не уплатит. Но и эта мера была применена единственный раз к Осипу Мухину, который также из-за пьянства накопил недоимку в 80 рублей, а имел три надела. С него сняли два и отдали моему отцу, раз у него было четыре сына и все подрастали. Через пять лет он все же уплатил, и ему землю вернули.

Об этой крайней мере мужики крепко знали и не допускали до ее применения.

А потом, в числе этих 32 домохозяев совсем пьяниц было мало — пять-шесть человек, остальные жили не богато, но сносно. Имели свой хлеб, овощи, молоко от коровы (а то и от двух), имели на году убойного поросеночка; трех-четырех и больше баранов от приплода, так что лето жили с молоком и яйцами, а зиму со свининой и бараниной. Берегли «харча» и к покосу. А оброки платили частью с отхожих промыслов, уходя на зиму на фабрики, и с лишнего хлеба и скота.

А для отхожего промысла у нас были свои причины. Еще при

крепостном праве в 50-х годах барин Дьяков выстроил ручно-конную суконную фабричку, на которой работали наши же крестьяне и имели от этого доход, так как, кроме отбывания этой работой прямой барщины три дня в неделю, за остальные три дня получали жалованье по 30–40 копеек в день, что при тогдашней дешевизне на все товары и продукты было совсем не мало, тем более что обходились всем своим, от хлеба, картошки и мяса до лаптей и домотканых рубах и кафтанов включительно, и деньги были нужны, главное, на оброк и на водку в разные праздники.

Фабрику эту у Дьякова держал в аренде маленький фабрикантик Никандр Сувиров. Потом они не поладили, и Сувиров тогда же перекочевал под Москву, и его трое сыновей: Ваня, Володя и Николаша (как их за глаза звали рабочие) — стали иметь свои небольшие фабрики. К ним-то наш народ и приспособился ходить на зиму на работу и после воли. А наша фабричка в Боровкове была продана и разобрана. И теперь от нее остались только канавки и яма, где лошадьми крутился сукновальный привод, а от барина, Валериана Николаевича Дьякова, остался лишь маленький памятник в церковной ограде и хорошая память у стариков. И моя бабушка Анна ничего не могла припомнить о нем дурного, кроме утверждения, что барин был «справедлив».

— Бывало, в праздник позовут девок и молодежь водить хоровод в саду против дома, а сами выйдут на крылечко и любуются. Вынесет, бывало, барыня пряников и конфет и станет нас оделять гостинцами, а мы в шутку деремся, шумим, хохочем. А то скажет: «Играйте в горелки!» И сами хохочут, как мы друг другу не поддаемся, бегаем, бегаем, визжим, в кусты прячемся. А на Троицу, бывало, господа заранее сговорятся: в чьем лесу нам гулянье устраивать, венки завивать и хороводы водить, и в этот лес молодежь сходилась, бывало, со многих деревень. Туда и господа на тройках приезжали любоваться, и с нами вместе за руки брались и хоровод водили. Большие хороводы тогда водили и песни хорошие пели! Видим, бывало, барыня с барышней едут, мы и запоем им встречную:

Из боярских из ворот выезжает тут холоп,
А навстречу холую сама барыня идет…

Бывало, к хороводам-то и старики со старухами сходились. Вся деревня сходилась на молодежь любоваться. Старики-то в хоровод выходили и платочками махали…

— Конечно, по зимам плохо было, — переходила бабушка на более грустные мысли, — когда до Рождества, а когда и до

Аксиньи-полухлебки (февраль) молотить на барщину ходили. Молотилок тогда не было, цепом молотили. В работе-то ничего, цепы нагревали, а плохо у кого дети грудные были. Тебе бы воздохнуть, а тебе ребенка кормить принесли. А у кого дома не с кем было оставить, в ригу и колыбельку брали. На улице мороз, а в люльке ребенок копается. Уж барыня-то, бывало, ахает, охает, когда ребенка с голыми ручками увидит, сама на него дышать станет, отогревает; велит принести какие найдутся шерстяные вещи старые и ими ребенка окутает… Добрая душа была наша барыня!.. Конечно, и умирали грудные от простуды, а что поделаешь? Бывало, только перекрестишься и скажешь: «Слава тебе, Господи, что Господь прибрал и руки тебе развязал! Кто им рад-то, грудным!..»

Однако, пересказывая об этом, давно и для нее прошедшем времени, бабушка никогда ничего злобного не привносила в свои рассказы, никого не бранила, а всех поминала только добром и с уважением. Прямо видно было, что ничего злобного и тяжелого и не осталось у нее в памяти о прошлом. А выдумать, конечно, от себя она не могла ни того, ни другого. Да ей этого бы и не пришло в голову.

# Глава 4
# Фабрика

Но наконец пришло время уходить из дома мне. Мои товарищи, ушедшие на год-другой раньше меня на фабрики в Москву, приходили к Пасхе в малиновых шерстяных рубахах, в сапогах с набором и калошами, в суконных пиджаках и казакинах, а я все был кое в чем, в обносках с чужого плеча, а потому так же захотел «быть похожим на людей» и стал проситься на сторону. Мать попросила соседских ребят, и я с ними после Пасхи поехал на фабрику. О, это для меня было страшное время: уйти из родного гнезда, от родной семьи и очутиться в одиночестве с чужими людьми. У меня сердце разрывалось на части, и пока я не сел на машину, мне все не верилось, что я на это решился бесповоротно. Была Красная Горка, теплая и светлая ночь, на лугу водили хороводы и пели «Травушка муравушка, зелененький лужок», так все было красиво и привлекательно, а я, как Каин, должен был покидать и родную деревню и родную семью. Украдкой я плакал всю дорогу до станции, плакала и мать, уговаривая меня воротиться. Я бы и воротился, но было стыдно от товарищей и, давши матери слово вернуться, если мне будет плохо, простился с ней. Другой мир людей и другая обстановка поглотила меня, и я в ней затерялся со своими горькими думами. На фабрике (у Гилле в Измайлове, за Преображенской заставой) дня два еще не было набору, и мои товарищи ходили в трактир с другими товарищами, которых они знали, а я сидел в рабочей спальне один. Вся эта новая и чуждая мне обстановка тяготила меня и убивала, и я опять и опять принимался плакать украдкой. По каморкам пели песни, крупно, по-пьяному разговаривали, а я сидел как приговоренный и думал о родной деревне и семье. Разгул фабричных меня совершенно не интересовал. И я между ними чувствовал себя, как в лесу. Через два дня меня взяли ставильщиком на большую прядильную машину; работа состояла в замене пустых катушек другими, с бумагой, и я первые две недели выбивался из сил, чтобы поспеть с этой работой. Катушки ежеминутно сходили в разных местах стайки (всех их было, кажется, 900), и я опрометью носился кругом прядильной пары, вспоминая святых. Кроме этого, за смену надо было подметать два раза пол, приносить корзиной цельные катушки с ровницей и два раза, подлезая под нитки и сгибаясь в три погибели, обтирать тряпкой налипший около веретен на каретке крахмал и в то же время другою рукой обтирать пух под цилиндрами, тянущими

нитку. С непривычки, я много раз ткался носом об пол или рвал спиною нитки, за что всякий раз бранил меня прядильщик.

Как новичок, я должен был купить бутылку подмастерью смирновской, чтобы этим снискать его ко мне расположение. К тому же Иван Мартыныч любил выпить и показать себя добрым начальником.

Работа была в две смены, по шесть часов каждая, и это сильно вредило здоровью. Все время от усталости я чувствовал себя сонным и разбитым, так как спать приходилось очень мало. Работала одна смена от 10 утра до 4 дня, а другая смена с 4 дня до 10 ночи, и с 4 утра до 10 часов дня. Ну разве заснешь с 4 до 10 вечера или с 10 до 4 дня? К тому же от спален до фабрики была верста, надо было за полчаса вставать и собираться, а потом надо было из этого же времени приготовить горшки, пообедать, попить чаю. Ляжешь на два-три часа из всей шестичасовой смены и не спишь, и только за полчаса станешь засыпать, а тут трещотка на смену, опять вставай и иди. От такой неравномерной и бессонной жизни весь народ на фабрике был тощий, испитой, как больные. Был в нашей спальне один веселый парень по прозвищу Щиголь, после колотушки, минут за двадцать до смены, он выходил на коридор с тальянкой и, громко играя и подпевая частушки («Как сударушка дружка провожала до лужка» и т. д.), шел на фабрику. Чтобы идти версту с музыкой и пением, за ним горохом высыпали на улицу люди и сразу преображались: из хмурых и сонных становились веселыми и бойко и задорно подпевали под тальянку. Это одно бодрило и скрашивало наши ночные хождения на смену и со смены и возбуждало унылый дух. К тому же и праздники проходили весело, по каморкам пели и плясали. А в общей спальне собиралась вся лучшая молодежь, танцевали, играли во вьюны, пели хором. А летом к тому же водили хороводы, о которых я и теперь вспоминаю с любовью. По своим годам я в них не принимал еще участия, но, слушая и наблюдая, я забывал около них все свое прошлое и уносился в сказочный мир. Двести-триста человек разряженной молодежи составляли такие хороводы и очень стройно и весело водили их и пели.

Пар восемь выходили в хоровод и по смыслу песни являлись действующими лицами хоровода. В особенности я любил слушать «На улице дождик, большой, сильный, поливает», которую всякий раз просил петь кто-либо из крупной фабричной администрации (из немцев), со своими семьями приходившей по праздникам слушать и смотреть эти хороводы. Выходили к хороводам и все фабричные, от малого до старого, полторы тысячи человек. В этих песнях выливалась вся грусть и душа русского человека. В ней он весь со своей мечтой и поэзией.

В фабрике было душно от пыли и газа. В этот мой первый год фабрика освещалась газом, но на второй (1888) год с весны перешли на электричество, и газовой вони не стало.

Работа в фабрике была сдельная. Мне в месяц приходилось от 11 до 13 рублей. Присучальщику — от 12 до 17 рублей, а прядильщику — от 17 до 27 рублей. На ленточной, бамбросах и трепальной зарабатывали от 12 до 17 рублей, самоткачи на паре станков — тоже до 17 рублей, а на трех — до 24 рублей. Все были на своих харчах, артели почему-то не было, и было всем много хлопот самим готовить горшки и носить в кухню. Харчились по-разному, на 5, на 6, на 7 рублей со всем, с чаем. Кроме хлеба и черной каши с маслом, варили щи, суп, кто с мясом, кто с селедкой, кто со снятками. Но, чтобы еще больше удешевить харчи, многие обваривали кипятком селедку, стоившую 3–4 копейки, и хлебали, вместо супа. Делали также и мы. Я был в рваном белье и обуви, и все это должен был здесь наживать, но в то же время я ухитрялся каждый месяц посылать домой по 4–5 рублей. Я настолько дорожил каждой копейкой, помня домашнюю нужду, что, когда в первый большой праздник мои товарищи позвали меня в Черкизово в трактир, где были песенники, я наотрез отказался. А в другой раз пошли в Москву и от заставы сели на конку. Я на конку также с ними не сел, жаль было 3 копейки, и пошел один пешком (ходили к родственникам).

Здесь мне нашелся подходящий товарищ, Ваня Калашников. Мать его была из старообрядцев и воспитывала его в страхе Божием. Он был старше меня и развитее. С ним мы вели долгие споры о том, как надо жить. Мы видели кругом пьянство, грубость, озорство, но где выход — не знали. Его какой-то родственник знал о рабочем движении и, приходя к нему, увлекал его будущими планами социал-демократов, говорил о предстоящей борьбе, о бывших тогда арестах рабочих, но мы с ним не соглашались, спорили и склонялись больше к религиозному просвещению, и в этом для себя видели спасение (о других у нас забот не было). Ходили с ним в церковь, затем два раза он водил меня на Рогожское кладбище, в церкви которого миссионеры устраивали спор со старообрядцами. Я так был настроен консервативно к разговорам о свободе веры, что никак не мог понять, зачем это допускают ихним начетчикам срамить нашу веру и хвалить свою. Мне казалось гораздо проще посадить их за это в тюрьму, а всем людям приказать быть православными. Кроме того, Ваня водил меня в Москву в Румянцевский музей, в Успенский собор, в Храм Христа Спасителя, где я, как новичок, поражался всему виденному благолепию. Ходили еще в лес, называвшийся «Зверинец», куда, кроме фабричных, приезжало

много народу из Москвы в летние праздники. Здесь же бывали летучие митинги эсдеков, разгонявшиеся обычно полицией.

В этом году, осенью, праздновали 1000-летие Крещения Руси. Под этот день спросили у рабочих, будут ли они праздновать или будут работать? «Разве мы не православные?» — закричали рабочие и решили праздновать. Но решили не сразу. В огромной толпе рабочих были социал-демократы, и я слышал, как первый же голос из них громко стал возражать:

— Не поддавайтесь, ребята, на поповскую удочку. Это для них и капиталистов разные праздники и крещения выдуманы, а рабочему этого совсем не надо, а вы будете день прогуливать, нам и без того платят гроши!

Представитель фабрики, делавший этот опрос, тоже загорячился:

— Вам убыток, а хозяину барыш, если фабрика простоит день — сказал он. — Ну что же, работать, так работать! А только хозяин спрашивает и на молебне быть не обязывает, а только кто по желанию!

Тут выступил старый прядильщик Савелий Матвеевич и, волнуясь и повышая голос, торопливо перебил:

— Так жиды рассуждают о нашей вере, что она нужна попам и фабрикантам! Они свое царство потеряли, им и наше разрушить хочется. А мы русские люди, мы понимаем, что все наше царство вокруг веры православной собиралось; вокруг церквей и монастырей; а не будь у нас православной веры, не было бы и нашей Расеи!

— Да ведь если мы откажемся праздновать этот день, мы насмеемся не только над верой, но и над своими сородичами: дедами и прадедами, — поддержал его молодой ткач, — а они что же, разве глупей нас были? Праздновать надо, всем праздновать!

Поддерживали и социал-демократа, но не твердо. И когда директор сказал, что для желающих работать он найдет неотложную работу по двору и в кочегарке, пускай они заявляют ему сейчас, — так ни одного человека не вышло и не записалось на работу.

Не помню даже чем, я заболел и попал в фабричную больницу на неделю, где было так чисто и уютно. Хорошо кормили. Узнавши, что я хорошо читаю, доктор принес мне книжек из рабочей жизни, читая которые, я начинал понимать мечты социалистов о грядущем переустройстве жизни и почему они считают себя правыми. Мой кругозор расширялся.

Я отсчитывал день за днем и заранее радовался той радости, которая придет для меня к Пасхе, когда становилась фабрика и

рабочие на одну-две недели разъезжались по домам. Родная семья и деревня с нашей постоянной нуждой отсюда, со стороны, казались мне прямо раем, а работа на фабрике — каторжными работами. В особенности весной, когда окружающее поле кругом дороги, от фабрики и до спален, покрывалось травой и цветами, нам было убийственно тоскливо. Ожидая смены за воротами фабрики, мы отходили с Ваней Калашниковым за канаву на луг, садились на цветущую траву и оба плакали. О чем, собственно, мы плакали, мы и сами не знали. Тоска деревенских ребят, лишенных естественных условий и радостей деревенской жизни на родине, в семье и на родном поле, инстинктивно прорывалась в этом плаче.

— Если мы не уйдем вовремя в деревню, — говорил он мне плача, — мы сделаемся такими же пьяницами, как и все фабричные, и должны будем работать постылую работу, а в праздники пить и озорновать!

И он все просил меня не приклеиваться к фабрике. У него не было отца, и они с матерью не имели уже в деревне оседлости, и мне его поэтому было особенно жалко. Я ждал Пасхи, мне было чего ждать и куда поехать, а они, такие несчастные, должны всю жизнь существовать без надежды на собственное гнездо в родной деревне. Может ли быть большее горе для деревенского человека: жить без радостей на чужбине и тосковать по родным полям и деревне!

И наконец я дождался этого дня. Получивши расчет в четверг на Страстной, мы с лихорадочной поспешностью собрались с товарищами и поспешили на вокзал. Но здесь было такое скопление, что невозможно было войти в него, пришлось сидеть на улице. Это было так мучительно, что невозможно и передать. Наконец часов в 12 ночи, сели и поезд. О, с этой минуты все было забыто, весь мучительно пережитый год расплылся в туман и развеялся, а весь мир и вся жизнь с окружающими людьми стали так значительны и прекрасны, и я сам для себя и для других — мне так казалось — стал очень важным и нужным человеком. О, сколько радостных волнений я пережил за эту обратную дорогу, не могу и передать! Мне все казалось, что поезд идет черепашьим шагом и нам никогда не доехать.

На станции было много наших деревенских, встречавших каждый своих родных, и я бросился к ним, как к самым дорогим и милым мне людям. А дома моей радости не было конца. Мать плакала и не верила, что я живой вернулся с фабрики. Я ей показал из сумки все свои обновы: «тройку», шерстяную рубаху, ватное пальто, сапоги. Побывши немного дома, я побежал в сарай, в ригу, на кладбище, в любимый овраг, где с самого

детства каждую весну я находил первые цветы. Мне все казалось, что я теперь ничего не найду и ничего не узнаю. Но, к моему удивлению, вся деревня оказалась на своем месте и все в ней было по-старому, точно она и не знала, что я целый год не был в ней и прожил на фабрике. Могилы, канавки, бугры, старые ветлы — все было на своем месте и все радовалось мне и улыбалось.

Эта Пасха первая, которая в моей жизни была такая значительная. На этот раз я был уже взрослым парнем и был одет, как и все, и мне не стыдно было ходить по деревне, звонить в колокола, качаться на качелях, водить хоровод и вообще быть на людях. И я ходил от одного места до другого с видом важной персоны, потихоньку присматриваясь: обращают ли на меня внимание другие? Неделя прошла, как во сне, и я не успел опомниться, как пришли товарищи опять стали сговариваться об отъезде, и хоть на этот раз можно было и не ездить, так как старшие братья жили в Туле и в доме помогали, но чтобы в деревне не сказали, что я боюсь Москвы и согласен болтаться в деревне, я снова уехал на ту же фабрику. Но, проживши три месяца, расчелся и поступил на другую, к Сувирову, за Тверской заставой, около Тушина, где также жили наши деревенские ребята. Они-то меня и определили в красильную, где красили сукна.

Фабрика эта была суконная, и людей на ней было меньше. Здесь работа была помесячная, 13 часов в сутки, и мне положили только 10 рублей. Зачем я ушел с первой фабрики, я, собственно, и сам не знал. Говорили недовольные, что здесь живут только те, кто «не почитает отца и мать», а житье на всех других фабриках хвалили. И я этому, по глупости, поверил. Но, проживши несколько дней и на этой, — услыхал ту же самую поговорку, те же самые жалобы и недовольство, и те же самые похвалы всем другим фабрикам. Послушал я к тому же и соседского старика Андрея, жившего со своим сыном в эту весну в Измайлове. Он расчелся, чтобы сходить на покос в деревню, и мне посоветовал идти к Сувирову, расхваливши тамошнее житье. Зашли мы с ним на прощанье в Обуховский трактир в Черкизове, где были песенники, заказали чаю, два фунта ситного и за 5 копеек селедку, которую насилу съели вдвоем — так она была велика, послушали «Долю бедняка» и «Прощайте, ласковые взоры», которые тогда только что вышли и распевались на всех гуляньях. Послушали, разумеется, за счет других, сами же мы никогда бы не решились истратить на песни по 10 копеек. Старик был тоже скупой и жил в нужде от пьянства.

Этот старик был большой подхалим и низкопоклонник. Перед сильными, нужными ему людьми он издалека снимал шапку и

кланялся с умильными причитаниями. Со своими же семейными и детьми был нечист на руку и грубо озорноват, как и с посторонними, от которых не ждал для себя никакой выгоды. В свое время его брат ходил на Севастопольскую войну ратником и там погиб, и он получил за него, как односемейный, 500 рублей пособия от казны, и моя мать говорила, что они всей семьей на радости пили две недели без просыпу, пили с ними дружки и родственники. И несмотря на то, что водка была дешевая, 4 рубля ведро, они все же ухитрились пропить сто рублей. Потом он все же выстроил избу, двор, сарай, ригу. Причем еще в процессе работы пропили более ста рублей. В остальном ни на чем в хозяйстве не сказались эти деньги, и он, как и все пьющие, жил плохо и свою бедность и пьянство передал по наследству и своему сыну Василию (о нем речь впереди). Не помогла ему и его сыну хорошая удобренная земля, которой у него было четыре надела и которую он настоял общественным стадом скота, будучи несколько лет кряду пастухом. Говорили даже, что он был нечист на руку и резал чужих овец и ягнят, когда они забегали к нему на двор при вгоне стада и оставались на ночь, не отысканные хозяевами с вечера. А Иван Васильевич, кутейник, при мне рассказывал моему отцу, как он его поймал в своей риге около навеянного вороха, а он ночью насыпал мешок и все пыхтел, силясь поднять его на плечи.

— Мне, — говорит, — стало его жалко, и я громко сказал: «Погоди, Андрей Матвеевич, я тебе помогу, а то ты поясницу сломаешь!» Он бросил мешок, а сам в ноги и давай упрашивать: «Прости Христа ради, попутал меня окаянный!» У меня и не хватило совести по шее ему дать. Так и отпустил его с миром. Лукавый был старик!

# Глава 5
# Вторая фабрика

Я снова оказался новичком и должен был привыкать и к новой работе, и к новым порядкам, и к новым людям. Но, благодаря товарищам, мне все это далось и скоро и легко, и я уже не плакал, как маленький. Они меня познакомили со здешней молодежью, которая, к слову сказать, оказалась значительно хуже и серей против молодежи Измайловской фабрики, которой я там привык любоваться по праздникам. И спальни, и сами работы, и сами люди — все здесь оказалось и грязней и убоже, а уж о красильщиках нечего и говорить, они ходили, как чумаки, испачканные краской. Но праздничного разгула с озорством и пьянством здесь оказалось значительно больше. Чуть ли не поголовно всякий праздник фабричные отправлялись в трактиры: в Тушино, в Петрово, в село Спас, которые были недалеко от фабрики, а возвращаясь вечером в спальню, все были навеселе и шумели и гудели по-пьяному. Конечно, с этим весельем связывалось у фабричных все самое лучшее, когда они, так сказать, жили для себя и собственного интереса, но я этого не признавал и не мирился с их пьяным весельем.

Песни, хороводы я страшно любил. Люблю и всех, кто поет песни от души, но зачем непременно надо покупать бутылку и горланить вокруг нее зря и нескладно! То ли бы дело сидеть за чаем с баранками и как следует, с душою распевать песни. Или водить хороводы и распевать хороводные. Вот это веселье, так веселье! И никто трезвый никого не обидит и не выругает, и никто не истратит себе же во вред лишней копейки. А ведь поди дома у каждого нужда, а они позволяют себе эти гадости. И я досадовал на всех. Досадовали и на меня, что я отделяюсь от них и не вожу компании с ними, а главное, что у меня остаются деньги, а у них они тают.

Работа моя, как и у всех красильщиков, была грязная, но несложная, она состояла или в верчении деревянного барабана над котлом с краской, по которому все время из котла в котел кружилось красящееся сукно, или в запрудке его веслом в котле по мере опускания барабана. Тяжело лишь было накачивать огромные котлы водой ручными насосами да колоть толстые поленья дров для подтопки котла.

Место здесь было веселое, открытое. Сзади фабрики был молодой лес, где мы гуляли по праздникам, впереди, высоким берегом по реке Всхоне шла дорога до села с высокой и красивой

церковью. С этой высоты далеко было видно по Москве-реке, и вообще место для прогулок было красивое. Здесь в свободное время я также читал книжки без всякого разбора: и жития святых, и сказки, и романы, что только попадалось под руку, писал письма неграмотным, а по праздникам торжественно ходил в церковь. Как ни сбивали меня товарищи насчет хождения в трактир, весь первый год я упорно сидел в спальне и никуда не ходил.

В это время мой старший брат перешел из Тулы в Москву лакеем к князю Волконскому, и я очень часто ходил к нему, избавляясь этим от соблазна товарищей, которые продолжали гнуть свою линию. К святкам 1889 г. передовая молодежь задумала разучить для представления «Царя Максимилиана», и я также был взят в эту компанию. Зачем, почему? Я и сам не понимал, вероятно, как книжный человек я нужен был для списывания ролей. По своей же боязливости я вовсе не соответствовал той роли Гусара, которую должен был играть в этой сказочной комедии. Плохо ли, хорошо ли, не знаю, но я играл, и через это стал более заметным человеком. Мы ходили по спальням, к мастерам, в Тушино и во Спас по трактирам, и тут я впервые должен был вместе с людьми пить чай и мед в трактире. Ничего не поделаешь, положение игрока обязывало. После этого мои товарищи и по работе и по игре все чаще стали смеяться над моей трезвостью и стали звать меня монахом. Звали меня всегда с собой и в глаза говорили, что если я не берусь с ними водить компанию, то я буду самый настоящий дурак и в конце концов и все будут считать меня дураком. Даже старый подмастерье Круженков, любитель спиртного, серьезно говорил:

— Ну, что ты, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Люди попьянствуют вместе, покурят, а ты все один, как заколдованный. Самое хорошее дело не отставать от других и быть артельским парнем!

Такая философия хоть и не была мне по нутру, но все же сильно действовала на мой глупый разум. Я серьезно стал беспокоиться за то, что меня и впрямь будут считать за дурака, и я из-за этой ложной боязни стал учиться курить, а потом кое-когда и раскушивать по глоточку водки. Но тут снова наступила Пасха (1890 г.), и я уехал домой. В семье и около своей деревенской молодежи, не зараженной фабричной философией насчет дураков, мне такая философия показалась дикой, чудовищной, и я опять вошел в свою колею трудового и бережливого человека.

Тем более что на этот раз пошел на фабрику не прямо после Пасхи, а задержался на месяц дома около своей молодежи. И за

этот короткий срок я снова весь обновился духом и решил не поддаваться ни на какие насмешки фабричных товарищей. На этот раз меня и на фабрике взяли в цветную красильную, где красились более мелкие сукна в разные цвета, и жалованье положили 10 рублей 50 копеек. Да и работа здесь была легче. Были насосы из паровой, и не надо было руками качать воду. На этой фабрике была артель ткачей, месячных, и даже женская, и харчи сходили дешево: 4 рубля 20–50 копеек. Расхода я не имел никакого, сам стирал белье и даже мыла доставал вареного, здесь же. А потому и здесь я мог 4–5 рублей сберегать для дома. У других же почти ничего не оставалось от такого жалованья, и они забирали у старосты так называемыми «подхарчишками» на водку и разный расход, и в получку им ничего уже не приходилось. Но был и такой старый рабочий Травкин, который не пил и берег копейку, как и я. Он работал в промывной и получал только 11 рублей. За 30 лет он и на таком жалованьи скопил 300–400 рублей и считался первым богачом. Его из зависти не любили, но при первой нужде и необходимости занимали у него деньги. Он давал и был этим очень доволен. В эту осень был товарный кризис. Товар не шел, и фабрика на месяц стала. Какой же тогда поднялся вой в тех семьях, в которых обычно не береглась копейка. Все сразу растерялись, заметались, точно случился пожар. У кого была связь с деревней, те уехали, но большинство оставалось и изнывало от нужды. К Травкину обращались, как к спасителю, выпрашивая у него по 5 рублей. И из маленького и незначительного человека он для всех стал нужным и большим. На этом случае я наглядно видел: как могут люди страдать от неуменья беречь копейку. Я также не уехал и легко пережил эту безработицу.

Этим летом в моей жизни произошло событие. Как-то вдруг и невзначай мне понравилась одна девушка, и я почувствовал к ней такое влечение, что не мог и дня провести без того, чтобы ее не видеть и с ней не говорить. Удивительно мне было и самому, что, видя ее уже больше года, я совсем не обращал на нее внимания и не выделял от других. Со всею молодежью я знался, водил хороводы, играл в горелки, во вьюны и соседи, и до этого момента все девушки для меня были равны. Она даже со мною вместе играла в «Царе Максимилиане», и я ее не видел. А тут как-то в момент все переменилось, и я почувствовал, что жить один я больше не могу, что все мои мысли, слова и поступки привязались к ней и не отходили больше никуда. Был праздник, вечером вся молодежь вышла на фабричный двор, в хоровод. Я же оставался в спальне и читал книжку. У меня были два томика пушкинских стихов и поэм, которые я знал почти наизусть. Она

проходила мимо меня по узкому проходу от стены, мимо нар, и остановилась, чтобы узнать, что я читаю. Мы сейчас же собрались идти к хороводу, но все не шли и разговаривали без конца. Мимо нас ходили, но никто не обращал внимания. Было 10–11 часов вечера, хоровод смолк, люди разошлись по спальням (казармам), а мы все сидели на нарах на виду у всех и тоже не обращали ни на кого внимания, кажется, просидели далеко за полночь. Она была сирота. Ее мать умерла раньше времени от пьяницы отца, жившего также по фабрикам и в это время где-то скитавшегося. А здесь, у Сувирова, она жила со своими старшими сестрами, из которых одна была уже замужней. С этого вечера я не мог думать больше ни о чем и совсем перестал играть и водиться с молодежью. Незадолго перед этим я опять было стал курить — из боязни остаться дураком, как говорили старшие. Товарищи мне нарочно давали папирос. И я настолько уже втянулся, что через два часа чувствовал, что мне чего-то недостает, а рука сама протягивалась на полку и находила припрятанные папиросы. Но после знакомства с этой девушкой я забыл о папиросах, побросал их и растоптал ногами и никогда уже больше не возвращался к ним. А уж к водке и подавно. И то и другое было бы для меня теперь преступлением, унижающим мое достоинство в глазах моей невесты. Чтобы только не оскорбить ее, я готов был на все подвиги и лишения. Конечно, если бы мы оба не были тогда глупы, то не было бы никакого горя, мы были свободны, и никто не вправе был нам мешать и втираться в наши отношения. Но, как это всегда бывает в таких случаях, нас скоро заметили и стали преследовать насмешками. Пошли всякие пересуды и разговоры, которых мы по своей простоте очень боялись, и, вместо того чтобы совсем открыто ходить друг к другу в помещение, мы прятались от людей и возбуждали еще больше насмешек и подозрений. Тем более что в своих отношениях мы шли вразрез с принятыми на фабрике обычаями: не ходили в трактиры, не пили вина, не ссорились, не ходили в лес и дорожили своими чистыми отношениями. А это-то и раздражало окружающую нас среду и возбуждало к нам насмешки и зависть. Каждый праздник, днем и вечером, мы подолгу сидели в рамах (на которых сушились сукна) и больше никуда не ходили. В этом прошла зима, и к Пасхе я уехал домой. Но без невесты мне и дома на этот раз показалось невесело и не интересно, и я не чаял, когда пройдет неделя. А ей смеялись в глаза и уверяли, что я ее так же брошу, как и другие, и больше не приду на фабрику, что ее страшно тревожило и волновало, в особенности перед сестрами.

После Троицы моя мать затеяла идти в Новый Иерусалим молиться Богу и по дороге зашла к нам на фабрику смотреть мою

невесту. И так как ее родные были согласны, то нас благословили образом, чем, так сказать, официально оформили нас как жениха и невесту. Этой же осенью мы повенчались (1891 г.). Старший брат приехал к нам из Москвы на извозчике, который и возил нас в Спасскую церковь к венцу. И даже людей набежало по обыкновению много. Теперь все это кажется таким простым и ценным явлением, но тогда мы были глупы и не знали, куда деваться от любопытных глаз.

Священник предварительно долго ломался и не хотел венчать, находя не в порядке документы со стороны невесты. Но когда я согласился вместо 5 рублей «по положению» заплатить ему 8, он согласился. Но по своей душевной простоте он поверил мне на слово, что через месяц доплачу ему 5 рублей, а пока что я уплатил только 3 рубля. К стыду своему сознаюсь, что я так и заклинил ему эти 5 рублей до сего дня. А теперь его уж нет на свете.

Свадьба мне стала недорого, ровно 6 рублей. На 3 рубля купил водки и на 3 закуски. А после как ни просили подгулявшие «дружки» и родня — давая даже взаймы денег, — но я наотрез отказался, удивляясь и теперь на свою тогдашнюю храбрость. Конечно, такая нищенская свадьба была осуждена на все лады и меня даже стыдили в глаза, но, странно, это нисколько меня не задевало и не тяготило и мне было совершенно наплевать, что о нас говорят другие. И шести-то рублей мне было жаль, но что поделаешь, иначе по нашей глупости мы не смогли бы оформить свадьбы и быть признаны мужем и женой, и надо было поступиться девятью рублями. Да и все это событие казалось нам чем-то большим и сильно волновало.

На Пасху (1892 г.) мы в деревню не поехали, а остались «световать» в Москве, у брата. Ходили по церквам, в Третьяковскую галерею, в музей.

# Глава 6
# Третья фабрика

Весной 1892 г. мы поступили на фабрику Полякова, в 20 верстах от Москвы, недалеко от села Павшина. Здесь была отделочная бумажных и шерстяных тканей, и мы работали в стригальной шерстяных материй. Работа легкая, но очень утомительная по своему напряжению. Рабочий день был 12 часов, и платили нам помесячно: мне 11 рублей 50 копеек, а жене — 9 рублей. Как и на всех бумажных фабриках, народ здесь был как-то поприличнее и почище, чем на суконных. Фабрика примыкала к огромному сосновому лесу, в глуши которого была какая-то заброшенная беседка, где и собиралась в летние праздники вся фабричная молодежь для игр и хороводов, к ней обычно собиралось много и пожилой публики. Лес так манил своей красотой, что в праздничные дни в него ради прогулок шли и старые и малые, и не только фабричные, но и из окрестных деревень. Для виду многие брали корзиночки, как будто они шли не гулять, а собирать грибы. Но на звуки хороводных песен, которые в лесу казались издалека еще милее и красивее, чем на фабричном дворе, как бабочки на свет, все сходились к этой беседке и до самого конца любовались разряженной молодежью и ее хороводными действиями и пением. Как молодожены мы не нуждались еще ни в каких развлечениях, но поэзия этих лесных хороводов соблазняла и нас, и мы тоже приходили сюда и принимали в них участие. А около шоссе (тоже с лесу) стояла небольшая старинная церковь, тоже охотно посещавшаяся фабричными. В этой церкви и в этом лес пахло какой-то седой древностью и таинственностью, что особенно и привлекало сюда людей. И мы с женой почти всякий праздник приходили сюда к обедне.

За нижними воротами был огромный пруд, в котором водилось много ужей. При купаньи они появлялись около людей и плыли с ними рядом на поверхности, и кто этого не знал, страшно пугался, думая, что это змеи. Пережил и я от них большой страх.

На этой фабрике мы прожили только пять месяцев и в октябре приехали в деревню. В ноябре я должен был являться по призыву на службу. За пять лет моих скитаний по фабрикам наша семья выросла и выбилась из нужды. Старшие братья давно поженились, и один из них отделился от отца. Был уже взрослый и меньший. Пошли обычные нелады и ссоры, от которых больше

всего терпела моя жена, как привезенная с чужой стороны (она была Звенигородского уезда Московской губернии) и не имевшая в моей деревне никакой родни.

# Глава 7
# На службе

По счастью или несчастью, будучи принят как «лобовой», я попал в писарский класс и в числе двенадцати человек был оставлен при управлении Тульского уездного воинского начальника. Канцелярская стихия меня интересовала как деревенского обывателя, а потому мне все эти знания давались легко, тем более что в казарме на нас смотрели как на нестроевых и только для приличия учили еще гимнастике, стайке, поворотам, маршировке и т. д. И этому я учился с охотой, имея тайную надежду сделаться унтером. На фабрике недовольные своей жизнью фабричные смотрели на военную службу как на спасение и на возможность через нее «выйти в люди», а потому я также мечтал «выслужиться» и пойти в урядники или городовые, о чем мечтала и вся фабричная молодежь того времени. И так бы это и случилось, если бы я не узнал в это время, что есть какой-то граф Толстой, который хорошо пишет, о книжках которого говорили по секрету, что они «запрещенные», а потому и интересные. Но тут случилось новое происшествие. Учивший нас письмоводству делопроизводитель Марсов заболел, и всех нас, учеников, откомандировали в Ливны, Орловской губернии. Было это в январе 1893 г. В Ливнах, также при управлении воинского начальника, мы пробыли всю зиму и лето до октября. Здесь обстановка была другая, месяца два нас тянули в струнку, напоминали о дисциплине. Водили по городу с песнями на прогулку, часто заставляли маршировать, гоняли даже на стрельбу весной и всячески подчеркивали, что мы солдаты, и к тому же «зеленые», и когда на Пасху пустили на пять дней в отпуск, то я точно вновь родился и не чувствовал под собою земли, вырвавшись из казармы. Хотя, в сущности, обижаться было не на что. Само начальство было хорошее, не придиралось и не чванилось. Полковник Черевко был веселый и добрый человек и смотрел на нас, как на ребят, и вразумлял добродушно. А Пчелинский (штабс-капитан) любил выпить и, чувствуя свой грех, не обращал внимания на наши. Здесь я познакомился с новыми товарищами, с новыми мыслями и стал, так сказать, понемногу вылезать на свет Божий из уголка своих фабрично-деревенских понятий. От нечего делать мы в праздники ходили в церковь, а некоторые становились даже петь. Но были и безбожники, которые над нами потихоньку подсмеивались и внушали неверие.

Как-то среди лета в Ливны приносили какую-то чудотворную

икону. Под колокольный звон масса народу вышла ее встречать в степь, за пять верст. И, когда ее проносили на носилках (сама она ходить не умела, хоть и чудотворная), народ ложился на землю за полверсты от нее и лежал ниц, пока она не проносилась над ними. С этого времени безбожники еще больше подсмеивались над нами и над нашей верой, сообщая в то же время сумму рублей, которую ливенские попы заработали на этой иконе.

В октябре этого же года нас послали в Орел на экзамены. Жили мы там месяца полтора до распределения по военным учреждениям и от нечего делать ходили по городу. Как-то прошел слух, что в соседней со сборным пунктом церкви будет служить архиерей, и меня это так заинтересовало, что я тотчас же с другими товарищами пошел ко всенощной (до сих пор я еще не видел архиерея). Но, к нашему горю, его там не оказалось, нам же назвали другую церковь, на другом конце города, где назавтра должен быть храмовой праздник, а теперь служилась архиерейская всенощная. Было грязно, темно, шел мелкий дождь, но мы не раздумывали и чуть не бегом пошли отыскивать эту церковь. Однако архиерея не оказалось и здесь, и мы снова пустились в монастырь, где жил архиерей и где он на этот раз должен был служить всенощную. Было уже поздно, около 9 часов вечера, и нас на подворье не пустили, сказали, что владыка утомлен службой и ушел к себе на покой. Так нам и не удалось повидать владыку. Зачем, собственно, нам это было нужно, я теперь не знаю, вернее всего, что мы испытывали свою веру и хотели знать: как на ней отразится влияние архиерейской службы.

Против сборного пункта на улице была часовня, в которой дежурили монахи, и один из них бранился скверными словами на прохожих, не клавших копейку в его кружку. Об этом знали все наши товарищи и смеялись лишний раз над нашей верой. И в лице архиерея нам хотелось видеть настоящего верующего для подкрепления своей веры.

После того, как мы все (около 60 человек) сдали экзамен и выслушали похвалы начальства, мы так были рады, что решили все сообща идти в церковь и отслужить благодарственный молебен, тут даже и неверующие смирились и дали согласие и по 10 копеек с души. Но и тут не обошлось благополучно. Кому служить? Насчет Спасителя согласились сразу, а насчет Богородицы вышел спор. Каждому хотелось свою. А кого звали Николаем, тот предлагал Николая Угодника, на чем настаивал и отец дьякон. Чтобы выйти из положения, священник громко стал служить акафист «Всех скорбящих радости», на чем мы сразу и примирились и стали усердно молиться.

После экзамена наше настроение приподнялось, со дня на день мы ждали циркуляра о распределении кого куда. У нас вдруг возникло чувство товарищества, что вот мы сейчас, как одна семья, а через день-два разлетимся в разные стороны и никогда не увидимся. Нам как-то стало жалко друг друга. Мы стали подолгу беседовать, пели песни, пускались в философию, спорили о религии и вообще вели себя как самые серьезные и взрослые люди. В это время из Воронежа приехал начальник 16-й местной бригады, генерал-лейтенант Насветевич, который пожелал видеть всех нас, будущих писарей. До сих пор никто из нас не видел еще генералов, а тут вдруг сам генерал хочет нас видеть! Можно себе представить, с каким страхом мы готовились к этому смотру!

— Вы не робейте, — внушал нам старый кадровый унтер, — ешь глазами начальство, и все будет хорошо!

И действительно, наука пошла впрок. Начальство осталось нами довольно и назвало нас даже «молодцами».

Этому генералу относительно меня была еще раньше бумага из штаба округа о назначении меня туда при распределении, о чем я скрывал от товарищей. Он вспомнил об этом на смотру и вызвал меня по фамилии.

— Это ты назначаешься в штаб округа? — спросил он милостиво.

Стыдясь товарищей, я ему смущенно ответил:

— Так точно, ваше превосходительство!

— Надеюсь, что ты оправдаешь доверие Москвы! — сказал он.

— Постараюсь, ваше превосходительство, — ответил я, краснея от стыда.

После этого я вырос в глазах товарищей, которые очень завидовали мне.

В половине ноября получился наконец циркуляр, и всех нас разослали по военным учреждениям.

# Глава 8
# В московском окружном штабе

Полковник Перекрестов, который просил из штаба о назначении меня туда, осмотрел меня очень подозрительно со всех сторон и остался недоволен. Уж очень от меня пахло простым мужиком, одетым в серую шинель, что вовсе не соответствовало службе в штабе, где писарями в большинстве были дети купцов, управляющих, разных подрядчиков и т. д. и на нас, мужиков, совсем не походили. Однако в короткое время своей старательностью я снискал его расположение, и через год, в обычное производство в старший разряд, когда мне дали новый мундир с галунами и нашили два лычка, он назначил меня старшим по отделению взамен уходившего в запас Балакина (маленький фабрикант) и хлопотал перед начальником штаба Духониным об утверждении меня в этой должности. Здесь я столкнулся с совершенно новой обстановкой, людьми и их взглядами, которые, как это всегда бывает, всячески старались обработать новичка и подчинить своему влиянию и, встретив решительное сопротивление с зачатками нового мировоззрения, были очень удивлены и озадачены. Людям городской складки, с уличной моралью, совсем было непонятно, как это можно, имея в кармане деньги, не доставлять себе на них доступного удовольствия в питании, куреве, в хождении по пивным и театрам и т. д., в чем вообще проводили праздничное время мои новые товарищи по штабу. Здесь все писаря получали в месяц от 4 до 6 рублей жалованья, к Рождеству и к Пасхе по стольку же наградных, а потому все могли иметь деньги помимо получения их от родных. Но, как и всегда и везде, у моих товарищей деньги не держались и им часто приходилось занимать до получки. У меня же они не переводились и были всегда на все нужное и необходимое. Как и на фабрике, товарищи звали меня на гулянья, в портерные, трактиры, театры, предлагали папирос, белого хлеба, но я упорно отказывался. Они обычно за чаем ели калачи и слоенки, а я демонстративно брал черный хлеб и ел его рядом с ними, объясняя, что иначе поступать я не имею права, так как дома и моя семья и мои родители живут в большей нужде, чем я, и не имеют даже такого хорошего питания, какое имею здесь я. Такое мое рассуждение было для них ново и никак не переваривалось. Они возражали, что они на военной службе, они солдаты, а потому им все позволено. Я же говорил наоборот, что если мы солдаты, то мы и должны держать себя в строгости, как

монахи, а иначе нам грош и цена.

— Да, по-твоему, что же: и колбасу есть нельзя? — говорил мне писарь Жильцов (сын торговца, любивший колбасу). — Стану я своей душе отказывать в этом!

Я над ним смеялся и пояснял, что душу колбасою не кормят, что для души-то и нужна такая над собой выдержка, чтобы человек не вдавался ни в какие излишества и стоял бы выше потребностей пуза, не чревоугодствовал.

— Ишь, какой Толстой появился! — посмеялся надо мной другой писарь, Алимов (сын богатого торговца). Какую мораль проповедует! Тебе с ней в монастырь надо, а не к солдатам в штаб. Мы народ веселый, любим пожить, а о смерти успеем подумать…

— Вот так и граф Толстой, — поддержал его Шапошников, любитель выпить, — сам вперед нагулялся, попил, покутил, а теперь молодежь трезвости учит!

Я впервые услыхал здесь о Толстом и, стыдясь своего незнания, стал осторожно наводить разговор, чтобы из-под руки узнать: что это такое за Толстой?

— Э, да он Толстого не знает, а берется нас морали учить, — говорил писарь моего отделения Косицын, очень умный и вдумчивый человек, который хотя и не отличался трезвостью, но осуждал пьянство и считал его свинством человеческой жизни. — Нет, тебе непременно с ним познакомиться надо, — говорил он мне серьезно, ты хорошим учеником ему будешь и до настоящего дела дойдешь.

— Да, да, — смеялись другие, — с Толстым только познакомься, он тебя до острога доведет, через него многие в Сибирь попали.

— Ты Косицына не слушай, — говорили они мне, — он сам на каторгу собирается и тебя доведет…

И тут начинались споры о Толстом, который, по мнению большинства, был лжепророком, через которого многие попали в тюрьму и ссылку.

— Настоящие пророки сами в тюрьму идут, а он других посылает, — злобно говорил Забелин (старший над всеми писарями и типографщиками штаба).

— Он не виноват, что его не сажают, он в пустыне не скрывается, а живет в Москве, — защищался Косицын.

— Он-то граф, а ты-то гнида, его не тронут, а тебя-то в порошок сотрут, — горячился Забелин, метивший сам в чиновники.

— В порошок стереть можно людей, — равнодушно поправлял Косицын, — а истину не сотрешь и этим никому не

докажешь, что истина перестала быть истиной.

— Ну, ты, брат смотри, сам не заговорись до острога, — угрожающе кончил Забелин по адресу Косицына, стараясь говорить тоном начальства.

Однако после таких разговоров мои товарищи стали доставать мне толстовские книги цензурного издания, а по секрету говорили, что есть книги запрещенные, которые Толстой печатает за границей и которые гораздо интереснее этих, и все судили и рядили: где бы достать эти книги?

Так или иначе, но через эти разговоры я, мало того что узнал о существовании Толстого, но и приблизился к нему душой, находя оправдание своей морали в его произведениях. Я узнал, что по зимам он живет в хамовническом переулке, но идти к нему долго не решался, считая себя совершенно ничтожным перед таким авторитетом и личностью.

А к тому же и боялся, напуганный товарищами. По праздникам я ходил в Румянцевский музей, в Третьяковскую галерею, в Политехнический музей, ходил по книжным лавкам, выискивая те или другие книжки, которые мне советовали прочесть, ходил на Девичье поле смотреть им народное гулянье и оттуда, как бы мимоходом, заходил и Хамовнический переулок, чтобы хоть пройти мимо дома, в котором жил Толстой.

# Глава 9
# Испытание веры

Но самое главное, чем я занялся, попавши в Москву, это испытание моей веры, с которой я связывал, как для себя, так и для людей вообще, возможность действительного спасения, как в этой жизни, так и в будущей. Будучи строго православным человеком, я не отделял, вернее не исключал этого будущего, как действительного бытия, только в совершенно других условиях. С большим интересом, благоговением и любопытством я ходил в кремлевские соборы, в монастыри, в Храм Христа Спасителя, где всегда была архиерейская служба и такое дивное пение, которое приводило меня в восторг и уносило мои мысли куда-то высоко-высоко, ко всему тому лику святых и ангелов, которых я видел кругом себя в храме и которых помнил по церковной истории. Не может быть, говорил я сам себе, чтобы это величественное и таинственное, что наполняло мою душу в церковной музыке и обстановке, чтобы все это не имело связи с прошедшим и будущим вечного человеческого духа, и если врут попы про тот свет и рай, то во всяком случае тайна жизни и смерти не кончается с уходом человека из этой жизни. Потом, после, я имел много споров с людьми об этих предметах, много передумал своих дум, но от этой основной мысли не отказался.

Посещая женские монастыри и слушая ангельское пение монашек, я много думал об их судьбе, как отреченных от мира, и, с одной стороны, завидовал им, а с другой — жалел их. Жалел о том, что они, отрекшись от мира, не знают радостей и волнений мирской жизни, не знают семьи и всю жизнь должны быть одинокими бобылками, предоставленными своим одним и тем же думам о будущей жизни. В чистоту их личной жизни я верил безусловно и спорил убежденно с товарищами, которые пытались набросить тень на их поведение.

Относясь прямолинейно ко всем явлениям жизни, касавшимся человеческой совести, я не допускал возможности такого грубого ее нарушения. Правда, я помнил бранчливость монаха в Орле, но то мужчина, который мог быть и в нетрезвом виде, для женщин же, по-моему, было совсем невозможно нарушать свой сан и обет перед Богом, раз они постоянно в трезвости.

Хорошо зная русскую историю, я любил все старинное и с особым удовольствием ходил в Успенский собор, который своей внутренней мрачностью приближал мои мысли к этой старине.

Тут я видел гробницы царей и патриархов, гробницы святителей московских, и все это отзывалось в моей душе какой-то особенной связью и близостью к ним. Жизнь наших предков и жизнь нашего государства вставали живыми картинами в моем воображении и точно переходили из одного угла в другой между мрачными сводами храма.

В погоне за стариной я даже отыскал старинную церковь Спаса на Бору, находящуюся на внутреннем дворе царского дворца, о которой я знал по «Юрию Милославскому» Загоскина, и с большим интересом посещал ее, отдаваясь целиком старым впечатлениям прочитанного когда-то романа. То было время моей первой молодости, когда так хотелось много мечтать и думать, когда и прошлое и настоящее нашей жизни, и нашей истории, и нашей веры не разделялось так резко на грани, когда так хотелось думать о себе, что ты не последняя спица в колеснице, а тоже что-нибудь и значишь на этой русской дороге и в этом необъятном и великом русском государстве.

О том, что солдат есть «пушечное мясо», что мужик есть «навоз» или «дойная корова», на котором так приятно и весело живут и едут богатые и властвующие классы, об этом в то время еще разговору не было, и мои мысли не смущались такой философией.

Не понравилась мне только торговля святою водой монахами, которую я обнаружил в церкви Ивана Великого, на втором этаже, когда на Пасху ходил по кремлевским соборам и когда все церкви бывают открыты. В трех углах церкви стояли у столиков монахи, и после того как остальная публика обходила всю церковь и прикладывалась к иконам, подходила она и к этим монахам. Один все время нарезал кусочками просфоры и оделял по кусочку подходящих, за что ему доброхотно давали и пятаки и семитки. Другой имел на столике два сосуда с красным вином и водой и, подливая вина в воду, давал испить по небольшой рюмке. Этому тоже клали даже серебряные монеты. А третий имел только один сосуд с водой и давал захлебнуть из мелкой чашечки, в которой подают на жертвенник теплую воду священникам, при составлении ими «даров», причем у него была другая установка: платить за воду вперед, а не после, как у первых двух монахов. Товар его был самый дешевый, но и им он угощал не всех поровну, а в зависимости от положенной монеты.

Сходя из церкви по боковой лестнице вниз, я слышал, как один купец грубо сказал: «Ишь, черти, за воду и то деньги берут!»

# Глава 10
# Как я увидал царей

Через год, как я попал в Москву, осенью 1894 г. Александр III умер в Ливадии, и его мертвые останки по дороге в Питер завозили в Москву и поставили в Архангельском соборе для поклонения и прощания не то на два, не то на три дня (не помню). Когда его в катафалке везли с вокзала в Кремль, войсками и народом были заполнены все улицы и дворы, а нас, штабных писарей, поставили жалонерами на Мясницкой улице, в руки нам дали флажки с нумерами, по которым и строились различные депутации во время хода процессии. Помню одну старуху, которая насмешила всю улицу. Чтобы занять место, она, наверное, еще с вечера устроилась на дровах, за невысоким забором, с подушками и одеялом, и спала крепким сном, несмотря на шум улицы. И когда процессия уже приближалась, стоявшие рядом с ней толкнули ее ногами и сказали, что царь едет! Она вскочила вместе с одеялом, вся взъерошенная, со сбившимся платком, и никак не могла прийти в себя и оправить свою одежду.

— Ах, Господи, умыться бы надо! — всплеснула они беспомощно руками, обводя кругом испуганными глазами. Вид ее был такой комичный, что, насколько ее было видно, вся улица загоготала веселым смехом, забывши на время и царя. Шум этот сейчас же привлек внимание наружной охраны, и с обеих сторон моментально подъехали жандармы, чтобы узнать, в чем дело. Им указали на старуху, которая, не выпуская из рук одеяла, подбирала его концы, на которые наступали толпившиеся рядом с ней на дровах. Жандармы замахали на нее руками, приказывая публике оттеснить ее назад, с глаз долой, но она упорно сопротивлялась, чем вызывала громкий смех.

В эту минуту подходила уже головная колонна войск с траурной музыкой, и все замерли на месте, забывши старуху. Проходили казаки, кавалерия, пехота, юнкера, гусары и т. д., затем шли депутаты от разных учреждений в орденах и лентах и удивительных шляпах, похожих на лодки. Даже вели рыжего коня, на котором ездил покойный царь.

Затем показались убранные в траур лошади и открытый катафалк с гробом царя, а за ними, в свите придворных и министров, шел новый и живой царь. Я так был поражен всем этим зрелищем, что царя-то и не приметил. Узнал только министра Ванновского и Воронцова-Дашкова, портреты которых

висели в штабе. И когда мне указал его стоявший недалеко товарищ, то мне в первую минуту стало как-то обидно. Я ждал царя на коне, в золотых доспехах и орлах, а он был совсем маленький офицер, в серой шинели и барашковой шапке, как у солдат, и шел пешком самым незаметным человеком из всей своей свиты.

Снятые со своих мест разводящим тотчас же за проходом процессии, мы пошли вольно за нею следом. И когда, проходя мимо Иверской, царь зашел в часовню и, сделавши земной поклон, приложился к иконе, я страшно этому обрадовался. Обрадовалась и вся публика. Сам я уже сомневался в святости икон и избегал их лобызать, но для русского царя считал это высшей необходимостью и долгом и, не сделай бы он этого, я бы отрекся от него.

В эту же ночь, вместе с товарищами, в длинной, более версты, очереди, мы ходили прощаться с мертвым царем в Архангельский собор, и я очень хорошо рассмотрел знакомый по портретам облик Александра III. Был темный слух о том, что он умер от пьянства как сильно пивший. Мне было стыдно, я не хотел этому верить, не допускал возможности, чтобы и цари могли заниматься такой пакостью, как и дурные и темные мужики, но вид его большого сине-багрового носа на бледном лице подтвердил мне этот слух. Я по опыту уже знал, что у непьющих покойников носы бывают такими же белыми, как и лицо, а у него был темно-синий. Мне так его стало жалко, я оробел и чуть не расплакался, остановившись на месте, и только окрик дежурного, взявшего меня за рукав и просившего всех проходить скорее, заставил меня опомниться и пойти за проходящими людьми.

Все время, пока мертвый царь находился в соборе, огромные толпы народа и днем и ночью наполняли Кремль и прилегающие улицы, не успевая в линии очереди подойти к праху царя. А когда его повезли обратно, на вокзал, на проводы устремилась вся Москва, выказывая свои верноподданнические чувства. Воодушевление особенно проявлялось среди офицеров, так что, когда после проводов в зале штаба собрались все офицеры штаба и некоторых других частей и шли возбужденные разговоры о совершившихся событиях, полковник Перекрестов повышенным голосом сказал:

— Если бы социалисты видели такую картину проявления народом любви к своим царям, они бы устыдились своим злонамерениям нарушить монархию в России!

— Эти выродки и подонки человеческого общества, — поддержал его рыжий генерал с большими усами (начальник 1-й кавалерийской дивизии), — с ними нужно вести решительную

борьбу, а не такую, как ведет наше правительство!

Из поднявшегося спора о социалистах и исходящих от них смут в народе и умах третьего сословия я мог понять только, что их считают прохвостами, лентяями и дармоедами, не умеющими своей работой устроить свое положение и цепляющихся за модные новинки по переустройству государственных порядков в расчете при дележе чужого добра захватить себе львиную долю. Не зная в то время близко и основательно марксистской идеологии, я не мог решить: кто прав и в чем тут дело? Любопытство же мое было сильно возбуждено, и я стал искать случая ближе познакомиться с этим течением.

# Глава 11
# Знакомство с Толстым

За эти зиму и лето мне удалось прочитать несколько толстовских рассказов, повестей и романов, но все только русского издания (то есть цензурных), которые сильно действовали на мою душу и заставляли даже плакать, но в разговорах с товарищами весь вопрос вертелся вокруг его книжек запрещенных, и главное, «Исповеди» и «В чем моя вера?», о которых студенты говорили тогда вслух, а интеллигенция шепотом, но достать их так и не удалось, и я решил идти к Толстому хотя бы затем, чтобы просить этих книжек.

В это же время один мой товарищ достал мне книжку Мордовцева «Живой товар», тоже запрещенную, из которой я узнал, что проституция у нас существует легально, с разрешения правительства и под контролем медицинского надзора. Глупый человек! Я так был этим обижен за женщину, так возмущен действием правительства, что как-то сразу потерял в него веру, а потерявши веру в правительство, я ощутил, что и вера в Бога по церковному учению сделалась сразу какою-то тусклой и необязательной.

Я не буду подробно описывать своих встреч с Толстым, так как это можно читать в моих о нем воспоминаниях. Скажу лишь коротко, что, когда я переступил порог его дома в Хамовниках, у меня закружилась голова и я чувствовал себя каким-то школьником, пойманным на месте преступления. Он меня встретил на лестнице, собираясь уходить на прогулку, но ради меня вернулся в свой кабинет и усадил на кожаный диван. По привычке к титулованию всякого начальства я его хотел козырнуть сиятельством, но он сразу же оборвал меня и сказал, что всякие титулы придуманы с низменными целями власти одного над другим, чванства и бахвальства; они мешают людям понимать друг друга, разделяют людей, а потому и должны быть оставлены.

Расспросив меня о том, где и кем я служу, он сказал мне, что он, с одной стороны, очень рад моему приходу, но с другой — всегда будет бояться за меня. «Уж как-то так выходит со всеми моими знакомыми, — сказал он, — что все они из-за меня попадают в тюрьму». Я тогда хоть и не обратил на это внимания, но предсказания были верные и сбылись.

Толстого я спрашивал о религии, и он объяснил мне смысл христианского учения по Евангелиям, сказавши попутно и о том,

что препятствует людям жить по христианку учению. Препятствия эти суть: законы государства, основанные на насилии; законы и установления церковников и законы улицы, обычаев и мод. За исполнением всего этого у человека нет ни времени, ни воли думать о своих обязанностях к Богу и ближнему, их исполнять. Но что человек, как сын Божий по духу, *совершенно свободен от всех этих пут*, приказов и условностей и вполне может жить по-Божьи, лишь бы не боялся людских пересудов и угроз.

Книжек своих запрещенных он мне не дал, говоря, что он не хочет сажать меня в тюрьму, а что в казарме, пусть и писарской, они через два-три дня попадут к жандармам и мне будет очень плохо.

На первое время он посоветовал мне перечитать Евангелие, чтобы лучше понимать, что в них людского, и что Божеского. «А то, — сказал он, — ко мне идут многие беседовать о религии, а когда спросишь, читали ли Евангелие, то оказывается, что читали очень мало, или совсем не читали». Я тогда же купил себе всю Библию, но как ни старался, всю не одолел, так в ней много всякой небылицы, повторений и вымыслов. Чтение же Евангелий производило на мою молодую душу очень сильное впечатление. Я плакал и радовался, точно впервые узнал и нашел эти книги. Медленно и постепенно церковный Христос Бог, не совсем понятный и доступный простым смертным, превращался в моем сознании в великого мудреца и мученика, который стал мне гораздо ближе и понятнее, чем прежний Христос Бог, натворивший так много небывалых чудес и улетевший на небо. Я тогда же стал понимать, что среди нас, православных, очень мало настоящих христиан, все же вообще притворяются и только ради внешней красоты и показа прикрываются христианской вывеской и именами, с этого же времени я стал тяготиться военной службой и тем обманом солдатской присяги, которую они должны были принимать на кресте и Евангелии под приказом и принуждением военных законов. А дальше, когда стал узнавать и от Толстого, и от товарищей, что есть такие люди, которые отказываются и от присяги и от военной службы, я очень полюбил их и восхищался их духовными подвигами, ради которых они несли большое страдание, находясь по тюрьмам и дисциплинарным батальонам.

Первые такие люди, о которых я узнал, были Ольховик и Середа, осужденные военным судом в Иркутский дисциплинарный батальон, и учитель Дрожжин, умерший в Воронежском дисциплинарном батальоне.

# Глава 12
# Секретное дело №5

Второй раз я не скоро пошел к Толстому. Пробужденное им во мне сознание так много дало уму работы, что я прямо горел и день и ночь в своих новых мыслях. Надо было передумать все свое прошлое, разобраться в настоящем и определить правильную линию и мысли для будущего. И только из ряда вон выходящий случай через три-четыре недели после моего первого посещения Льва Николаевича, побудил меня вновь отправиться к нему, но уже не с пустыми руками, а с секретным делом № 5 «О вызове войск для содействия гражданским властям», к которому я имел доступ по своей службе, как старший писарь строевого отделения штаба, отпирая секретный шкаф подобранным ключом. Переписка же и без того была мне известна. В эти годы (1893–1895) и у нас, в России, быстро разрасталось рабочее движение и очень часто выливалось в открытые забастовки на больших фабриках, и хотя почвою для них были только еще экономические требования, но все равно они преследовались по закону и подавлялись военной силой. Газеты об этом молчали, не смея пикнуть, и это-то меня особенно возмущало. Были случаи посылки рот для усмирения фабричных, которым давались приказы стрелять боевыми патронами; были убитые и раненые, но об этом никто ничего не мог знать, кроме тех, кто близко жил к этим местам или на самих фабриках. В это же время (весною 1895 г.) была забастовка и на большой фабрике Корзинкина в Ярославле, которая продолжалась несколько недель и особенно беспокоила тогдашнее начальство от становых до министров включительно. Губернатору были даны сверхзаконные полномочия и придумывание таких мер, которыми можно было бы сломить упрямство рабочих. Он вывешивал объявление о трехдневном сроке, после которого все нежелающие работать должны были получить расчет и уходить с фабрики. По его приказу хозяин закрыл лавку, артельные кухни и стал выселять из квартир (из спален) вперед одиночек, а потом и семейных. Этому распоряжению семейные не подчинились и стали кидать камнями в присланных стражников. Тогда были вызваны две роты 11-го гренадерского Фанагорийского полка, только что перевооруженного новыми трехлинейными винтовками. Рабочим был дан срок для очищения квартир, но они стояли толпою на дворе и не двигались с места, загипнотизированные новенькими солдатскими ружьями. Был слышен плач женщин и детей и отдельные выкрики обезумевших

рабочих. И после двух залпов холостыми патронами, внушивших уверенность (как доносил губернатор) в том, что их только пугают и убивать не будут, обеим ротам (бывшим в составе 45–47 рядов каждая) было приказано зарядить ружья боевыми патронами и сделать залп в упор по толпе. Было выпущено 180–190 пуль, но убитым оказался только один рабочий и 46 человек ранено. «Солдаты, доносил начальник гарнизона, — инстинктивно избегали кровопролития и стреляли или под острым углом внизу, или через головы, причем ранения получались с рикошета, так как двор был мощеный и пули отскакивали, не могши уходить в землю от камней. Из 180 гренадер Его Величества только один свято исполнил присягу и выстрелил по цели, убивши наповал 54-летнего рабочего, все же остальные оказались слабыми по своей подготовке».

После этого донесения у нашего штабного начальства явилась блестящая мысль «исследовать новые трехлинейные винтовки на пригодность поражения человеческого тела», и в таком духе, с ведома и разрешения военного министра Ванновского, был послан телеграфный приказ начальнику гарнизона города Ярославля и старшему врачу военного госпиталя произвести такое «исследование» и сделать подробное донесение. После этого «коноводов» арестовали, некоторых прогнали с фабрики, остальные приступили к работе. Раненых же забрали в госпиталь для лечения и исследования, причем в донесении подробно описали: кто и куда был ранен, сколькими пулями, каких лет, и как протекало лечение. В конце доклада, делая заключение, врачи признали, что с точки зрения врачебной новые винтовки очень хороши, так как ранения навылет мягких частей тела тонкой никелированной пулей для жизни не опасны и скоро и легко излечиваются, хотя бы таких было несколько (было здесь два случая, когда один человек получил 12 и другой 14 ранений). Если же пули бьют в кости, то сами дробятся, осколки никеля расходятся по телу и такие раны в большинстве смертельны и не могут составлять больших затруднений врачам во время войны, так как на фронтах не будет условий, чтобы делались сложные операции.

Доклад этот через Ванновского «был повергнут к стопам Его Величества», на котором «Оно изволило» собственноручно начертить: «Очень рад, что труды ученых не пропали даром». Верному же гренадеру (фамилию забыл), выстрелившему по цели, была объявлена монаршая благодарность перед всем полком с отдачей в приказе по округу и выдана награда в 25 рублей и часы с портретом Его Величества.

Будучи возмущен до глубины души всей этой историей с

испытанием винтовок на братьях рабочих, я и пошел вечером с этим делом к Толстому, будучи уверен, что он опубликует эти факты в заграничных газетах, что им отчасти и было сделано. На этот раз у него было более десятка посетителей: были студенты, рабочие, семинарист, два пожилых с длинными бородами старообрядца, одна пожилая барыня и один седовласый старик в очках, похожий на ученого мужа. Лев Николаевич познакомил меня со всеми и усадил на кожаный диван, в то же время чутко прислушиваясь к общему разговору. Студенты спорили о преимуществах гегельянства над теорией Фихте; другие, наоборот, в корне отвергали их философию и говорили, что теперь все дело в развитии теории Дарвина и учения Ницше о сверхчеловеке. Толстой хмурился, досадуя на ненужную болтовню о модных для того времени теориях, пытался переводить разговор на христианское учение, из которого, по его мнению, только и можно было вывести достойную человека трудовую и правильную жизнь в условиях русского крестьянства, но его не слушали, каждый пытался передать ему свои мысли и планы о лучшем будущем из тех новых ученых теорий, какие в это время были в моде. Старообрядцы хихикали и доказывали Льву Николаевичу, что только в их кругу живет еще истинная вера и благодаря ей их молодежь живет и воспитывается в более нравственном положении, чем все другие пьяницы и трубокуры. «Мы своим детям внушаем страх Божий, — говорили они, — любовь и уважение к старшим, к старым Священным Писаниям и Преданиям, а ваши теперь вон чем занимаются, безбожие проповедуют и глупости всякие от ученых дураков слушают». Рабочие также стояли за стариков старообрядцев и очень недружелюбно относились к разговорам студентов. «Теперь много разных смутьянов шатается и все себя за ученых считают, — говорили они, — у добру-то они тебя не приведут, а в тюрьму того и гляди; кого ни послушай, а дорога одна…»

Семинарист говорил покаянную речь о своей худой и развратной жизни, о домах терпимости, к которым он имел прикосновение, о том, что ему было дано какое-то видение, в котором он увидал все мерзости своей жизни и, главное, ложность изучаемых им наук, и теперь он решил уйти из семинарии и заняться более честной и трудовой жизнью.

— Но от старой жизни, кроме грехов, у меня остались много долгов, и я пришел просить у вас 150 рублей, — обратился он неожиданно к Толстому, — заранее надеясь, что вы мне поможете распутаться с моей старой жизнью.

— Я вот тоже Лев Николаевич — начала было пожилая барыня, державшаяся все время в стороне, — у меня дочь кончает

учительский институт, а мы так бедны, так бедны…

Встретив недружелюбные взгляды рабочих, барыня не договорила. Всем стало неловко, разговор оборвался.

Толстой нервно ходил взад и вперед, а потом, остановившись против рабочих, сказал: — Что бы вы стали делать, если бы у вас, как у меня, ежедневно просили бы денег, а не указывали, откуда их брать. У меня два выхода: или просить у жены, чтобы она повысила аренду на мужиков и давала бы мне на эту помощь, или повысить цены на мои книжки и таким путем собрать лишние деньги, а я и сам не знаю, правильно бы это было или нет.

Рабочие заволновались и грубо стали выражать недовольство на этих просителей, в особенности на семинариста. Много, дескать, тут разной шапши найдется, помогай не поможешь; на черную работу не идут, а все норовят в белоручки попасть и на господское положение встать.

— Я пытался откликаться на эти призывы, — сказал Лев Николаевич, — но ничего не вышло, просителей изо дня в день стало так много, что если бы у меня был неразменный рубль, то все равно у меня не хватило бы времени, чтобы вынать из кошелька рубли и удовлетворять просителей.

— Но вы можете сделать исключение, — настойчиво сказал семинарист, — одному из сотни…

— Об этом я и хотела просить, — робко сказала барыня…

— Нельзя сделать этого, — возразил Лев Николаевич, доставая из стола большую связку писем, — вот, не угодно ли прочесть любое, — пояснил он, — автор каждого письма, как и вы, непременно просит сделать ему исключение, а общая сумма просимых только этими письмами денег превышает раза в три стоимость этого дома, а такие письма я получаю ежедневно, ну что мне с ними делать?

— А вы, Лев Николаевич, не очень-то с ними церемоньтесь, — сказал, запинаясь, один из рабочих, которому хотелось гораздо проще выразить свою мысль, но он стеснялся, боясь оскорбить присутствующих.

— Главное, в господа все лезут, — сказал другой, — ну и помогай им себе на шею сесть…

— А вы что скажете, — обратился Лев Николаевич к старому старообрядцу, — как бы вы тут стали поступать?

— В Писании сказано: раздай имение свое и иди за мною. — Трудна эта дорога, а дорога верная, — сказал старик.

— Ишь ты, как легко другим-то внушать: «Раздай!» — негодовали рабочие, — а поди сам и пятачка пожалеет…

— Свое имение, — сказал Толстой, — а у меня как раз своего-то и нет, я сам приживальщик у своей жены и детей.

— Ну что жена, жена не помеха! — возразил старик, в Писании сказано: «А жена да боится своего мужа…»

— Сказано, а она все же не боится, и если бы я предложил ей раздать все имение, она ни за что бы не послушала, что же мне с ней делать, по-вашему, употреблять насилие, но это запрещается в том же Писании?

Старик стал приводить новые тексты из Кирилловой Книги, но семинарист резко перебил:

— Никакого насилия и не надо, Лев Николаевич, бери дороже за писания и помогай, что вам стоит написать для меня десять строчек?..

Рабочие угрожающе посмотрели на семинариста, точно готовясь выставить его вон. Лев Николаевич смутился, было видно, как ему неприятен весь этот разговор, в котором личное пристрастие просителей мешало правильному решению вопроса.

— По вашим глазам я уже вижу, что вы меня не осуждаете за отклонение такой помощи, а вот давайте спросим, что думают об этом крестьяне, — сказал он, обращаясь ко мне.

Я сказал, что помощь обязательна только в крайней нужде, когда человеку грозит смерть, голод, холод и т. п., а вовсе не тогда, когда ему хочется улучшить свои дела или положение, а иначе и богатый человек, задумавший какое-либо предприятие, может оказаться в нужде и попросит тысячу или десять. В Писании о такой помощи не говорится. По-моему, говорю, обязательно спасать человека при угрожающей ему опасности; дать кусок хлеба при голоде; дать рубаху или старую одежду при холоде. Помогать же выходить в господа и я не согласен, так как работать и кормиться можно всякой, и черной, работой.

Старообрядцы стали объяснять Льву Николаевичу преимущества их старопечатных богослужебных книг, против новых церковных, доказывая, что в старое время больше было святости и благочестия в самой Церкви, но он их перебил, сказав:

— Святость не в книгах, а в доброй жизни. Богу нужно служить не по книгам и не молитвами, а самою жизнью. Помните в Евангелии слова Христа о том, что спасутся не те, что подолгу и правильно молятся, повторяя: «Господи, Господи», а те, что слушают Его закон и исполняют.

Рабочие жаловались Льву Николаевичу на свою жизнь, на свою работу, он им сказал:

— Я вполне разделяю с вами тяжесть вашего положения, но в жизни рабочих есть целая бездна дурного и скверного, в чем они повинны и сами. Если бы они вели трезвую и более облагороженную жизнь в свободное от работы время, они могли бы жить гораздо лучше, а то ведь, я знаю, и из того малого

заработка, который они имеют, они половину пропивают в трактирах или тратят на щегольство себе же во вред, а от этого и живут в постоянной нужде и раздорах. Мы вообще склонны все свои недостатки и недовольства валить на других, а все ли мы сами делаем для своего благополучия в своих условиях, — об этом мы и не думаем. А с этого-то и надо всегда начинать.

Прощаясь со мною, Лев Николаевич просил меня быть осторожным и не носить ему больше секретных бумаг.

— И сам не увидишь, как попадешь к жандармам, — сказал он мне на лестнице — а я рад вам и боюсь за вашу судьбу.

# Глава 13
# О монастырской жизни

Продолжая испытывать свою веру, я в одно ухо слушал о тех ее противоречиях и отрицательных сторонах в жизни церковников, о которых так охотно болтала и так много знала окружающая меня молодежь, а другим ухом ловил те крупицы ее истины, о которых так много рассказывается в церковной литературе, в легендах и повестях из жизни простого народа и в рассказах странствующих нищих. И хотя Толстой также успел объяснить мне, что в Православии и во всех других больших верах много лжи и намеренного обмана, но и он не сказал мне ничего отрицательного, касаясь сущности самой веры. И только после того, как в эту зиму кто-то из товарищей добыл и подсунул мне «Исповедь» Толстого, а затем и его «В чем моя вера?», после этого мое сознание прояснилось, и я стал лучше разбираться во лжи и истине религиозных верований. Но как бы много я ни слышал отрицательного, а иногда и прямо пикантного из жизни монастырей, я никак не хотел этому верить, не хотел унизить их огромного влияния на духовное развитие русского народа. Пускай отдельная личность творит грех, делает преступления и всякую мерзость, но идея монастырской жизни на основе отрешения от мирских соблазнов и утех во имя подчинения своей личной воли воле выше стоящей силы, эта идея со всеми ее чистыми и возвышенными помыслами и жизнью — пусть ею живут двое-трое из ста — никогда не переставала привлекать меня своей красотой и величием подвига. А потому все время моего пребывания и Москве я не переставал посещать праздники монастырских храмов и умиляться на монастырскую братию. Беседуя, и частности, с монахами, я слышал от них много печального и горестного из их личной жизни, о том, что в конце концов привело каждого в монастырь, и находил все это таким естественным и справедливым. В самом деле, куда же было бы деваться человеку после того, когда смерти, болезни, войны и всякие другие несчастные случаи и напасти отнимают у него все радости и интересы мирской жизни? Один выход — идти в монастырь и найти успокоение в братской жизни с другими такими же несчастными людьми и всем вместе подчиниться воле Бога или судьбы и находить утешение и развлечение в исполнении строгого устава и монастырских песнопений. Другой, более лучшей формы жизни для всех обездоленных судьбою нельзя было бы и придумать.

А говорить о грехах, что говорить, зачем, разве не одинаково грехи проникают в жизнь каждой отдельной личности и семьи, уродуя жизнь и заставляя страдать всех причастных и к этим грехам и к этим семьям? И чем больше я слышал насмешек над монастырской жизнью отдельных монахов, тем более проникался уважением к их коммунальному братству вообще, тем более мне хотелось повторять:

«Не судите, и не будете судимы!» Пускай и внутри монастырей живет грех и обычная житейская суета, что делать, где взять святости на грешной земле! Но своею идеей внутреннего мира, отрешения от мира и его соблазнов, своим устремлением духовных взоров от земли к небу, к солнцу правды, Христу, своим внешним спокойствием и величием — миллионы простых и темных духовно людей находили в них утешение и духовную опору в своих жизненных страданиях и тоске. Здесь они сливались в одну общую молитву перед неведомой силой жизни и просили себе помощи и откровений. Отсюда они уходили обратно в мирскую жизнь с новой энергией и верой и разносили эту веру по всем отдаленным углам темной деревни. Пускай нет в мире святых людей, пускай в монастырских гробницах истлели мощи праведников, как тлеет все тленное в мире, но это нисколько не умаляет их подвигов и не мешает приходить к их могилам всем нищим духом, измученным и обездоленным жизнью. Пускай даже подвиги этих праведников сильно преувеличены стоустой народной молвой, но их идеализация в сознании темных людей вполне соответствует их душевному настроению и поэзии и открывает в их духовных потемках единственный путь святой и праведной жизни для примера и подражания. Иначе, куда направлять свои взоры, за кем идти и у кого учиться? Я верил и верю, что путь к добру и Божеской правде идет только через религию (то есть через признание над нашей жизнью высшей, неведомой, но чувствуемой нами силы Духа — Бога, в котором и сосредоточивается тайна жизни и смерти, так плохо и неясно понимаемая нами) и что все такие праведники и мудрецы жизни служили и будут служить вехами на этом пути, хотя бы они формально и принадлежали к разным религиям. И хотя в это время я не только знал о существовании марксизма, о котором шли горячие споры в среде учащейся молодежи, но и достаточно хорошо в нем разбирался, но когда смельчаки из так называемых «передовых» пытались доказывать, что в недалеком будущем марксизм станет краеугольным камнем в новом устройстве человеческого общества и заменит собою религию, — мы (большинство моих товарищей) с сожалением смотрели на них как на душевнобольных и даже не сравнивали этой науки с

религией, считая ее наукой самых никудышных людей, отлично усвоивших арифметику, но не умевших собственным трудом и бережливостью устроить свое положение. Христианство со своим Евангелием, апостолами и мучениками; Православие со своими отшельниками, монастырскими старцами и подвижниками; Христианская Церковь вообще с проповедью любви и мира всепрощения, самопожертвования и самосовершенствования — как может все это перестать быть жизненным руководством измученных горем и нуждой и забыться ради какой-то сухой арифметической выкладки социализма? До низости таких отступников, таких безыдейных и безнравственных людишек, отрекавшихся от веры отцов ради какой-то новой арифметики, нам казалось, не доходили еще никакие варвары.

Не раз и не два, чтобы лучше понять это противоречие истории и науки, я брался за «Капитал» К. Маркса, с упрямством перечитывал его более ясные страницы, но, как и Библию, всего так и не одолел. Уж слишком сухою материей казались мне открываемые им истины.

Но работа, или, как говорят, эволюция мысли, шла своим чередом, захватывая в поле зрения все более широкие горизонты, открывавшиеся в это время. Я радовался своему положению штабного писаря; радовался своей семье, которая была в это время в деревне и которой я мог помогать 3–4 рублями в месяц; радовался своей возможности учиться, ходить по монастырям, музеям и соборам, возможности видеться с Толстым, и — вдруг наступило что то другое, темное и неожиданное, что сразу перевернуло все мои возможности, переменило место моего жительства и столкнуло с совершенно новыми людьми и в новой обстановке.

# Глава 14
# Подготовка к коронации

Началось с того, что все газеты разом заговорили о предстоящем в мае 1896 года Всероссийском торжестве коронования Николая II. Еще зимою начались приготовления, переписка, исполнение заказов на цветные материи и т. д. Строевое отделение штаба, в котором я находился, завело несколько специальных дел по коронации и вело большую работу по учету частей войск как московского, так и других округов, которые должны были прибыть на коронацию. Велась и большая переписка с гражданскими властями организационного характера с представлением смет и расходов по устройству декораций, площадок, украшению улиц и т. д., из которых я видел только одно, что собираются творить пир на весь мир, чтобы ухлопать такую уйму народных средств, собравши которые, надо было оголодить 10–15 губерний. Не понравилась мне эта затея с такими расходами, и, как домовитый крестьянин, я стал к ней в оппозицию, осуждая вслух эти приготовления. Откуда взялся слух не знаю, но слух этот называл цифру в 47 миллионов рублей, которую собирались истратить на это торжество. Как было примириться с этим крестьянину, зная, что в деревнях на эти затеи, под угрозами наказаний, выколачивают оброки? Я не мирился, высказывая вслух свое суждение, об этом же я писал и в письмах к родным и знакомым. Но, по счастью, все это сходило с рук до поры до времени, и несчастье пришло с неожиданной стороны. Еще почти за год до этого мой брат Иван, живший в Туле на фабрике, по моему письму познакомился с Толстым в Ясной Поляне и время от времени ходил туда за книжками (так называемыми запрещенными). Дочь Льва Николаевича, Марья Львовна, установила с ним соглашение, чтобы он мог брать такие книжки в самой Туле, у некоей Холевинской, бывшей, кажется, врачом на патронном заводе, о чем она ей и написала. За этой «либеральной женщиной» — как о ней говорили в Туле, — как и водилось в то время, была усиленная слежка жандармского управления, которая в конце концов кончилась ее высылкой в Астрахань, где она, как было слышно, умерла. В начале апреля этого года у нее был обыск, при котором было найдено это письмо Марьи Львовны, по которому, в свою очередь, охранка произвела обыск и у моего брата и захватила мое письмо с осуждением коронации. Была Пасха, я из штаба приехал в отпуск в деревню, и в это-то время жандармы в сопровождении

прокурора, исправника и станового, рано утром нагрянули к нам в деревню и, как водится, перерыли у нас все сундуки, чердаки, книги и даже навоз и нагнали страху не только на нашу семью, но и на нашу деревню. При обыске нашли самую страшную книгу Льва Николаевича «Царство Божие внутри вас» и маленькую брошюрку крестьянина Бондарева «Торжество земледельца» с моими на ней пометками и приписками. Моя мать стала топить печку, но ей запретили, и она все время вслух ворчала на них, угрожая горячей кочережкой. До обыска в деревне московские жандармы явились с обыском в штаб, но меня там не было, а начальник штаба генерал Духонин, очень обиделся на них и не разрешил делать обыска в помещении. В деревне, ознакомившись с моим отпускным билетом, жандармы меня не арестовали, но когда я приехал в штаб, там меня уже ждали и тотчас же заперли в карцер. На другой день приказали сдать все дела по отделению и взяли на допрос к генералу Бутурлину (он был для поручений при командующем округом Костанде), допросом устанавливалось мое знакомство с Толстым, с очень умным, но и опасным, по выражению генерала, человеком. При таком дружеском допросе я осмелился сказать, что Толстой учит только добру и ничего в нем худого нет.

— Это мы знаем, — сказал мне генерал, — но государство живет не добром, а солдатчиной и налогами, а Толстой не признает ни того, ни другого, а от его доброй жизни нет никакой пользы. Умен-то он умен, да для нас-то его добро не годится, он просто с ума сошел, и его надо было давно посадить в желтый дом, чтобы от него не сходили с ума другие. Вот как ты.

Ни о чем другом на допросе меня не спросили.

Снова на другой день за мной приехали жандармы и в темной карете с темными занавесками увезли меня на допрос в жандармское управление.

Здесь предъявили обвинение в оскорблении Величества и в осуждении коронации. — «Как ты смел, будучи на военной службе, осуждать намерение Государя возложить на себя корону? — говорил мне участвовавший при допросе прокурор. — Тебе стыдно, ты русский, и притом солдат и православный.

Оправдываясь, я говорил, что против самой коронации я ничего не имею, но что расходы велики и не нужны.

— Что же, по-твоему, царь-то пешком что ли должен в Москву прийти и гостей с собой не позвать? — упрекал меня жандармский полковник.

Я сказал, что на билет не много надо, а что гости тоже за свой счет могли бы приехать. А то вот, говорил, газеты трубят: торжество, торжество! а небось, с крестьян не сбросят пятачка из

оброка на это торжество. 47 миллионов пойдут в 47 карманов, и для них будет настоящее торжество, а крестьяне, как говорится в сказке, там были, мед пиво пили, но по усам текло, а в рот не попало. Какое же для них торжество? Надо было, говорю, объявить ради коронации сложение налогов в счет этой траты, тогда бы и крестьяне радовались, а то радость, радость, а радоваться нечему.

Такому моему рассуждению начальство не придало значения и не обиделось, наоборот, повеселели и стали между собою смеяться, а прокурор сказал:

— Вот если бы такие мысли у наших министров были, тогда бы нам и займов не надо делать, а когда они у мужика, да еще у солдата, дело совсем плохо, министр Ванновский не похвалит такого солдата.

Другой жандармский офицер сказал:

— У нас, слава Богу, Государь самодержец, и ему не надо у мужиков спрашивать, куда и на что деньги тратить. Россия только и жива самодержавием, а не станет у царя этого права, нас и вороны-то заклюют и по косточкам растащут. С таких, как этот, — кивнул он на меня, — спросить нечего, он ничего в политике не понимает, а вот когда господа дураками прикидываются и таким темным сочувствуют, этим никак простить нельзя.

Со мною вступили в частную беседу, и прокурор спросил:

— Ну, как в вашей деревне, не бунтуют против господ?

Я сказал, что хоть не бунтуют, а жить нельзя, господа во всем дюже притесняют народ. Земли мало, оброки большие, чем жить неизвестно, а тут еще штрафы господские.

— У вас песня одна, — сказал он, — господа притесняют, а вот когда мужики господам разный вред и неприятности делают, об этом никто и не говорит.

На мое изумление, как это может быть, он сказал:

— Лакей мне мундир испачкает, кухарка обед сырой подаст, дворник дрова неровно наколет, отчего угореть можно, горничная нужную бумагу со стола смахнет. Все это каждый день бывает, это не выдумки.

Я согласился, но указал на разницу в этих случаях. «Господа, говорю, за эти провинности всегда мужиков прогнать могут и других нанять, а мужики господам за их притеснения ничего не могут сделать».

— Ишь, он какой, — кивнул он на меня жандармскому полковнику, — его ни в чем не поймаешь, он во всем прав, а еще ротмистр говорит, что он темный и ничего не понимает в политике. Эти темные нас проведут и выведут, пока мы об их темноте раздобарываем.

# Глава 15
# Церемония разжалования

Министр Ванновский, которому было сообщено о моем деле, телеграфно распорядился разжаловать меня в рядовые и перевести в Варшаву, в распоряжение генерал-губернатора Бобрикова. Время было горячее, приближалась коронация и министр не имел времени продумать, куда меня девать, и сделал большую ошибку, пославши неизвестно зачем в Варшаву, где и без того было много «беспокойных». Приказом по штабу операцию разжалованья поручалось произвести штабс-капитану Полякову при полном собрании всех писарей и типографщиков штаба. Выстроивши команду и прочитавши приказ, Поляков обратился с речью такого содержания:

— Вы, штабные писаря, совсем развинтились и совсем забыли о воинской дисциплине. Главная заповедь солдата — это не рассуждать! Сделают нам деревянного бога и скажут: молитесь! И мы должны молиться! Я первый подойду и поклонюсь! Вот какими должны быть солдаты! А то рассуждать… на коронацию деньги тратят… вы эти художества оставьте…

Излив свое красноречие и запнувшись на последних словах, он покраснел и резко крикнул:

— Новиков, шаг вперед! И, подскочивши ко мне, стал торопливо спарывать галуны с моего мундира и кидать на пол. Я сказал, что можно бы этого не делать, а просто дать мне мундир без галунов и нашивок.

— Молчать! — крикнул он, — не твое дело! Солдаты должны видеть, как армия поступает со своими художниками!

После этого обряда мне было приказано собирать свои вещи и выходить на двор, где уже стояла парная казенная повозка с кучером и четырьмя жандармами.

Усадивши меня в середине, они сели по углам и обнажили шашки, делая друг другу условные знаки и принимая меня за очень большую птицу, о которой надо было очень серьезно заботиться, чтобы она не улетела на ходу.

Как я ни был обескуражен против товарищей обрядом разжалования, но, когда ехал по Москве при такой усиленной охране, меня разбирал смех и так подмывало кричать: «Эй, берегись, везут Стеньку Разина!»

На Брестском вокзале нас встретил жандармский офицер, и тотчас же, проведя на линию, заперли меня в какой-то темный вагон, а через час, в сопровождении уже только двух жандармов,

меня повезли в Варшаву на обыкновенном пассажирском поезде, в отдельном купе вагона. И надо было видеть великую заботу и тревогу моих провожатых, чтобы понять, как не даром дается им их служба и добываемый ею кусок хлеба. Публика из молодежи очень скоро заметила мою охрану и при всяких удобных случаях пыталась заговорить со мной, они же, как наседка цыплят, загораживали меня собственными телами от публики и таинственно, еле слышным шепотом, говорили: «Нельзя, нельзя, это важный государственный преступник!» Они верили этому сами и очень гордились перед публикой, что им доверили такую важную птицу. По крайней мере, и на вторую ночь пути, когда я просыпался среди ночи, они оба сидели около меня и не решались даже подремать по очереди. И только в Смоленске, Минске и Брест-Литовске звали дежурных жандармов и по очереди уходили в буфет за покупками.

В Варшаве меня привели вперед в штаб округа, но там меня не приняли и приказали вести в канцелярию генерал-губернатора. Здесь также долго спорили и не хотели принимать.

— И зачем только к нам шлют таких крамольников, — горячился дежурный офицер, — нам тут со своими не справиться.

— «Ну, на что ты нам нужен? — в упор спросил он меня.

Я сказал, что об этом знает только Его Высокопревосходительство министр Ванновский, его, мол, и спросите.

— Ванновский нам не указ! — резко сказал офицер, звоня в телефон.

Получивши откуда-то приказ принять меня и отправить в девятый павильон, он взял бумаги и жандармов и выдал им расписку в приеме меня. Жандармы повеселели и, уходя, даже кивнули мне на прощанье. А ко мне им на смену тотчас же были позваны другие, здешние. Меня ввели в большую комнату, рядом с канцелярией, и оставили с жандармами. Минут через пять вышел другой офицер и, любопытствуя, стал ходить взад и вперед. Затем вошел другой, третий, пятый, шестой. Все они искоса поглядывали на меня, их разнимало любопытство, но заговорить никто не решался, боясь унизить свое достоинство.

— А, этот самый московский художник? — выходя из двери канцелярии сказал рыжий полковник, с огромными усами.

Офицеры обрадовались и, окружив его, заговорили о коронации.

— Каков, — кивнул он в мою сторону. — Государь император закон принимать хочет, а такие вот выродки напротив идут.

Другие офицеры заговорили о Толстом, о том, что через него много учащейся молодежи сбивается с пути и уходит в

подпольную работу против правительства…

— И чего с ними церемонятся наши министры, — вспылил полковник, — я бы их всех таких мерзавцев, — кивнул он на меня, — перестрелял бы, как собак, и их чертова апостола привязал бы на цепь!..

— Ну, это, полковник, вы Россию срамить хотите, этак нельзя, — возразил ему капитан с черным бархатным воротничком, — Толстого за границей знают, шум пойдет…

— Нам заграница не указ, господин капитан, — язвительно заговорил опять полковник, — заграница давно с ума посошла, а у нас, слава Богу, еще монаршая власть существует… Заграница нас не спасет, а нам ее спасать придется!..

— Я с полковником совершенно согласен, — сказал совсем пожилой офицер с седыми баками, — когда порка была, никаких социалистов не было, все в Бога верили и царя чтили, а не стало порки, так изо всех щелей разная нечисть полезла и о всяких свободах заговорила. Всыпать бы ему полсотни горячих, — кивнул он на меня, — он бы сразу и забыл про все эти художества, а с ним волынку крутят, по железным дорогам катают…

Другие офицеры стали возражать седому, что виноват не я, а Толстой, а Толстого правительство бережет себе на погибель и ничего против него не предпринимает.

— Об этом я и говорю, — сказал седой офицер. — Зверей в клетках держат, а этот лев рыкает, что вздумает, а такие вот глупцы, — опять кивнул он на меня, — ему радуются и распространяют всякую ересь.

Офицеры, споря между собою, стояли ко мне так близко, что я не мог удержаться и возразил седому офицеру:

— Толстой, — сказал я, — учит только добру и Божеской жизни, и, если бы все его слушали, на земле бы был рай.

— Молчать, сукин сын, — крикнул на меня рыжий полковник, — я тебя застрелю, как куропатку!

Я возразил, что этим они не докажут, что застрелить хорошее дело…

Я хотел говорить еще, хотел сказать, что убийство во всех случаях остается неисправимым преступлением, но полковник от меня отошел, рассвирепев и не зная, что сказать. В это время отворилась дверь из канцелярии и в дверях показался генерал, с очень умным и выразительным лицом.

— Господа офицеры, — сказал он внушительно, — прошу заниматься делом, а не разговорами.

Полковник юркнул в дверь первым, а все другие офицеры громко рассмеялись, посмотрели на меня и пошли в разные

двери. Через час приехала карета с темными занавесками и меня повезли в крепость.

# Глава 16
# Крепость. 9-й павильон

Насколько помню, крепость находилась на берегу Вислы, где у реки огромные песчаные отмели. Все это я увидел мельком, при выходе из кареты. Меня подвезли к подъезду громадного белого дома, двери которого растворились точно сами собой и тотчас же затворились за мною. Меня поместили в нижнем полуподвальном этаже, в чистенькой белой камере с железной кроватью и столиком, на котором лежала огромная книга («Нива» за 1893 г.), хлопнули дверью, и я остался один.

Часа через три ко мне пришел дежурный офицер и учинил очень подробный допрос: чей, откуда, звание, род занятий, зачем приехал в Варшаву, где учился и т. д. А уходя, коротко сказал: «К нам тебя посадили неправильно, скоро уедешь». Было это в конце апреля (1896 г.), а числа 10–12 июня меня вывели из этого здания и сдали на руки двум солдатам конвойной команды, которые после повели меня через весь город и через мост, на Прагу, и сдали на пересыльную гауптвахту при управлении Варшавского воинского начальника. Я так полюбил свою беленькую комнатку в девятом павильоне, где к тому же хорошо кормили, давали всяких книжек, что я не совсем обрадовался своему переводу. К тому же я знал, что население гауптвахты очень текучее и каждый день придется привыкать все к новым и новым людям.

Здесь находилось всегда 30–40 человек солдат, которые ждали суда или после суда очереди в тюрьмы, и главным образом, поляки и евреи. Здесь я узнал, как жестоко и несправедливо поступало русское начальство с местным населением, не выполняя своих же законов.

Здесь находился молодой поляк, которого взяли в солдаты неправильно, он был один сын у престарелых родителей и имел право на льготу первого разряда. Но его взяли и отправили в Житомир. И он в полку и родители в Варшаве исходили все места по начальству, до канцелярии генерал-губернатора включительно, давали взятки, но все это не помогало. Тогда он убежал пешком из Житомира, из полка, и пришел в Варшаву, надеясь лично доказать, что он взят не по закону. Но его судили как за побег и приговорили к трем годам дисциплинарного батальона; каждый день к нему на гауптвахту приходили старики родители, принося обед, их допускали со двора к окну, где мы сидели в общей камере, и они все время плакали, смотря на сына в окно. Плакал и он, и другие. Одно было здесь хорошо.

Ежедневно приходили от еврейской общины очередные спрашивать, сколько здесь евреев, и на такое количество также ежедневно приносили обед. Евреи приглашали и всех желающих, и у нас получалась общая братская трапеза. Иногда приходил раввин и утешал заключенных, говоря по-русски:

— Не унывайте и не ропщите на свою судьбу, — жизнь без страданий невозможна, и чем их больше и чем они больше, тем ценнее сама жизнь и тем меньше в ней греха и пороков. Каждому в книге жизни написано свое, и никто не в силах изменить написанного.

Здесь я очень и очень был удивлен и поражен еврейской религиозностью, так как в среде и русских солдат, и русского народа не встречал ничего подобного. Каждый еврей имел свой молитвенник и в положенное время не пропускал молиться и днем и ночью. Иногда они молились вместе, вслух произнося свои молитвы. Я закрывал глаза, и мне казалось, что я слышу общий еврейский стон и плач перед Богом жизни о своем потерянном отечестве и родине и нарушенном доме Израиля.

О, как скорбны и жгучи их молитвы! В куче нам было веселее, мы читали, негромко пели, рассказывали свои истории, всячески бодрились, но у каждого из нас где-то вдали оставались жены и дети, отцы и матери, а впереди каждому предстояла или одиночная тюрьма, или 3–4 года дисциплинарного батальона, а потому иногда, как-то сразу, на всех нападала тоска, каждый замыкался сам в себе со своим горем и, лежа на нарах, начинал вздыхать и утирать слезы. Наступала тишина над этими тоскующими душами, точно какой-то демон человеческих страданий спускался из неведомых миров и покрывал всю камеру своими черными крыльями. Мучительно жутко было в эти часы общих страданий.

# Глава 17
# Старый знакомый

Здесь у меня опять случилась неожиданная радость. Оказалось, что полковник Черевко, у которого я был писарским учеником в городе Ливнах, был переведен сюда и теперь был здесь и воинским начальником, и комендантом гауптвахты. С ним вместе приехал сюда на сверхсрочную службу и его старший писарь Стахонов, который по документам канцелярии узнал о моем здесь пребывании и пришел ко мне на гауптвахту. О, моей радости не было конца, когда меня позвали в канцелярию и полковник Черевко, как родной отец, стал жалеть меня и расспрашивать о моем положении.

— Твое дело в таких руках, — сказал он, выслушавши, — куда я не имею доступа, но тут я хозяин и сделаю для тебя, что могу, хотя я и не имею права, но я на свой страх перевожу тебя к писарям в помещение, а днем ты будешь работать у меня в канцелярии. И меня тотчас же перевели. Чтобы сделать мне удовольствие, писаря водили меня в город смотреть его красоту. Город действительно очень чистый и красивый. Из всех улиц я запомнил только одну Иерусалимскую, и ту площадь с памятником, которая поражала своей красотой при переходе моста черва Вислу, с Праги. Водили они меня смотреть и памятник Муравьеву, которого поляки прозвали «вешателем» за его жестокое подавление восстания в 1863 г. Водили также два раза в католические костелы, где я с большим удовольствием слушал органное пение и музыку. В день коронации 14 мая весь город был убран красивыми арками и декорациями, что вперемежку с флагами придавало ему особенную красоту. Но на другой же день стало известно о происшедшей давке на Ходынке, причем говорили, что там погибло более трех тысяч человек. Праздничное настроение сменилось жестокой критикой царского правительства, не сумевшего предотвратить несчастье. А мне почему-то на душе стало легче, и я не удержался, чтобы не сказать писарям: «Вот, я говорил, что не надо таких расходов на коронацию, кабы туда не приманывали гостинцами, никакой бы давки и не произошло». Даже сверхсрочный Стахонов, так любивший идеализировать царскую власть, и тот притих и перестал нападать на меня за осуждение и критику царской власти. А тут к тому же дня через два католическое духовенство устроило какую-то траурную процессию с черными крестами, статуями и хоругвями, за которой прошло десятки тысяч народу

со стройным, но непонятным мне пением. Процессия эта прошла по всей пражской стороне, в траурных одеждах. Была ли она обычной религиозной процессией, какие устраивают католики в большие праздники, или это была траурная демонстрации по погибшим во время коронации — об этом мне так и не удалось узнать ничего определенного.

Еще до этой давки меня возили в жандармское управление на допрос, при чем мне предъявлялись мои пометки в книжке Бондарева, отобранной при обыске. Бондарев рассуждал в ней между прочим о той хитрой механике с деньгами, при которой правительство требует с населения деньги, а делать их запрещает под страхом каторжных работ. Это место мною было подчеркнуто при чтении и сделана выноска на полях: «Если бы насильники цари не требовали с нас деньги, то мы могли бы жить и без них, но они требуют не деньги, а наш скот и хлеб, который мы вынуждены обменивать на деньги».

Давая объяснение прокурору, я показал, что было бы гораздо лучше, если бы люди жили по христианскому закону, не применяя насилия, тогда было бы больше святости и справедливости в жизни, и никто бы не мог друг друга эксплуатировать, как прежде.

— До сих пор мы ничего не имели в своих руках, чтобы обвинять тебя, — сказал мне прокурор, — а вот это выражение «насильники цари» дает нам право привлечь тебя за оскорбление Величества, которое для тебя особенно тягостно как для солдата и штабного писаря, хотя оно и заочное, и выраженное для себя.

После же коронационной давки, через неделю, меня снова взяли на допрос и тот же самый прокурор более дружески сказал:

— Теперь мы отказываемся от своего обвинения тебя за оскорбление Величества и направляем все дело в собственную канцелярию Государя, предоставляя ему самому судить о том, есть здесь оскорбление или нет. Мы полагаем, что теперь к тебе отнесутся очень снисходительно и гораздо мягче, чем если бы *этого* не было.

Попутно и здесь заговорили о Толстом, о его влиянии на учащуюся молодежь, о совращении верующих и умалении авторитета не только властей предержащих, но даже и царского достоинства.

— Это дьявол в образе человека, — выразился жандармский полковник, — и чего только его не пристрелит какой-нибудь порядочный человек? На правительство надежды мало, оно ведет себя, как будто само боится этого еретика.

— Виновато не правительство, а ученые истуканы, эти они берут под свое покровительство таких сумасшедших, сказал

другой офицер. — А правительство само не знает, по ком угождать…

— Покойник Александр III не велел его трогать, — сказал прокурор, — вот и распространяют заразу на свою голову.

Я осмелился вступить в разговор и сказал, что, по-моему, наоборот, Толстой настоящую христианскую жизнь показывает и разный мусор с ней очищает и чем скорей его поймут, тем скорей на земле рай водворится.

Начальство переглянулось, всем стало весело, а прокурор торжественно сказал:

— Рай — это хорошо, а плохо то, что этот ваш рай будет гробовою крышкой великой Российской Империи, до которой всем толстовским последователям нет ровно никакого дела.

— А их еще щадят, с ними разговаривают, — добавил полковник, — а о целости государства и думать забыли…

# Глава 18
# Протоиерей Ковальницкий

В это доброе старое время считалось аксиомой, что, кто верит в Бога по-православному, тот верит и в святость и незыблемость властей предержащих, а у кого понижается или видоизменяется вера в Бога, изменяется и вера в начальство. Исходя из этих соображений начальство пожалело меня и задумало наставить меня в истинах Православия, надеясь, что через это ко мне вернутся и крепкие мысли веры в начальство. Как-то в конце мая за мной явились два конвойных и, приняв под расписку, повели меня к настоятелю православного собора в Варшаве, академику протоиерею Ковальницкому, очень старому и уважаемому ученому богослову.

Что начальство писало в препроводительной записке с конвойными, мне было неизвестно, но, судя по радушному приему отца протоиерея, писало хорошо. Ковальницкий провел меня в богато обставленный кабинет с коврами и мягкой мебелью, велел подать самовар и сладких сухарей и лепешек, попросил конвойных выйти и с ласковостью отца стал меня расспрашивать о моем прошлом и настоящем. А прослушав мою коротенькую повесть с разжаловании в штабе и высылкой в Варшаву, он сказал:

— Очень, очень жалею о тебе. Теперь твои товарищи по штабу получают награды за участие в коронации, а ты вот стал как арестант, и впереди у тебя либо тюрьма, либо ссылка.

Я возразил, что не жалею о том, что я не был участником и такого торжества и такого позора, иначе на всю жизнь было бы стыдно думать об этой давке…

Отец Ковальницкий схватил меня за руку и перебил:

— Так не надо говорить, друг мой, ты этим еще больше навредишь себе и никогда не вернешься в свою семью. *Этого* ведь могло и не быть, а если и случилось, значит, на то была воля Божия, ведь ты веришь же в Бога, читал в Евангелии, что без воли Божией не может упасть и волос с головы?

Я сказал, что в Бога я верю, но чтобы все то насилие и неправда, которое власть проявляет над населением и неугодными ей людьми, сажая их в тюрьмы, ссылая и вешая, чтобы все это было угодно Богу и чтобы на это была воля Бога — в это я решительно не верю. И если это допустить хоть на минуту, то, говорю, вся христианская вера и жезнепонимание сейчас же теряют всякий смысл и значение и перестают быть руководством

к святой и праведной жизни. Ибо какая же связь — говорю — между учением Христа о непротивлении злу злом, о прощении своих врагов, о том, чтобы люди не судили друг друга, как одинаково грешные, и той, скажем, коронацией и давкой трех тысяч людей, которые ровно ни в чем не виноваты, или теми тюрьмами и казармами, в которых каждое правительство мучит людей взаперти и заставляет их и думать и говорить в своих интересах?

— Так вон ты как рассуждаешь, — удивился Ковальницкий, — теперь вижу, мой друг, что, несмотря на твою молодость, тебя уже успели совратить с истинного пути злые люди и тот безобразник граф Толстой, какому место давно в сумасшедшем доме. О, Господи, Господи, сколько же молодых людей успел он совратить своим вольнодумством и заставил их страдать по тюрьмам!..

Я сказал, что еще до знакомства с Толстым я уже думал этими мыслями и не находил связи христианского учения с действием власти, основанной на насилии, а что Толстой только подкрепил эти мои мысли.

— Но ты же читал в Послании апостолов, что всякая власть от Бога и что властям надо повиноваться?

В этом-то и дело, говорю, что это наставление о повиновении всяким властям апостол написал в тюрьме, когда его самого посадили, а на воле он не говорил этого. А Христос так прямо говорит: у вас, моих учеников, пусть этого господства и власти друг над другом не будет совсем, а кто хочет быть первым, пусть он всем будет слуга, как последний.

— Так понимают только отступники и враги русского народа, — волнуясь заговорил Ковальницкий, — и первым наш общий враг и безбожник, граф Толстой, а верные сыны отечества и Православной Церкви веруют и понимают Святое Писание так, как его понимали святые отцы и вселенская греко-российская Церковь. Это он, рыкающий богохульник, вздумал колебать основы русской государственности, Православную веру и Церковь и поселил вольнодумство в таких вот молодых и неопытных людях, как ты, заставляя мучиться по тюрьмам и ссылкам…

Я перебил его возражением, что, во-первых, мучит людей не Толстой, а правительство и церковь, помогающая гнать и преследовать не согласных с ее мнением, а затем, во-вторых, вольнодумство это принес не Толстой, а те самые отцы Церкви, которые вскоре после смерти Христа стали учить не так, как хотела тогдашняя власть и большинство архиереев, а более правдиво и достоверно; были пелагиане, несториане, ариане и другие, и все они не были согласны с большинством и не

сходились ни в Таинствах, ни в понятиях о существе Иисуса Христа и его Матери, ни даже в самом учении, и что с тех пор во всем христианском мире всегда были об этом разногласия, и Толстой тут был вовсе не первый.

Все больше волнуясь, Ковальницкий стал обвинять Толстого в том, что он не только соблазняет малых сих из простого народа в вопросах веры, не только стал в положение гонителя Православной веры и Церкви, но что он расшатывает и основы нашей государственности, отрицая присягу, военную службу и сознательное повиновение властям, чего раньше не делали никакие святые отцы ни в Православии, ни в католичестве.

— Разве у нас в нашей русской Церкви мало было святителей и святых угодников, которые были собирателями земли русской и всячески спасали и помогали ее устройству и никто из них и никогда не указывал на то, что ее законы противоречат основам Христовой веры. Разве Сергий Преподобный, Радонежский, не помогал своему Государю в борьбе против татар, а митрополит Филипп — против поляков? Разве они были христиане меньше Толстого?

Я сказал, что об их христианстве ничего не знаю, но что они были обыкновенные грешные, а не святые люди, об этом хорошо известно. Здесь я напомнил отцу протоиерию, что так называемых святых объявлял не Бог, а люди, и непременно с согласия правительств. И объявляли их неспроста, а по государственной надобности, когда были неудачные войны, голод и другие бедствия, когда надо было отвлечь внимание народа от этих бедствий. Как, к примеру, Иван Грозный приказал в один год объявить более десяти святых, когда надо было доказать, что русская Церковь настолько самостоятельна, что больше не нуждается в духовном руководстве греческих ученых и архиереев, после того как сами они были завоеваны турками и потеряли Константинополь. Так что для меня, сказал я, их авторитет ровно ничего не доказывает, так как мы знаем из истории древней христианской Церкви, что она также не благословляла войны, запрещала в них участвовать и даже отлучала тех солдат, которые на войне делались убийцами.

— По-вашему, что же, — сказал Ковальницкий, — и Христос был такой же анархист и разрушитель государственного порядка, как граф Толстой, а однако ты знаешь, он не запрещал платить подати, когда говорил: «Отдавайте кесарево — кесарю, а Божие — Богови». По-вашему, всему человеческому обществу надо снова превратиться в дикое стадо, без всякого порядка и управления?

Я возразил, что Христос про кесаря говорил, не уча народ, как нужно относиться к власти, а говорил жандармам, которые

его ловили в словах, а потому этот разговор совсем не убедителен. В учении же своем к народу он прямо говорил: «Цари царствуют над вами, и разные князья и вельможи величаются, а у вас (в христианском обществе) пусть этого не будет совсем, а больший пусть будет как меньший». И воевать христианам не с кем, так как своих врагов они должны прощать и любить, а не распарывать животы штыками и не расстреливать.

— Вы возлагаете на плечи народа бремена неудобоносимые, — сказал отец протоиерей, — народ так жить не может, у него должны быть пастыри и начальники, он должен оберегать и защищать свое стадо и свои интересы.

Я отвечал, что я это вполне понимаю и ничего против этого не имею, если бы только такого жестокого и насильнического порядка церковь и духовенство не освящали бы от Имени Божия и не считали бы вполне нормальным и справедливым. Если люди такие же животные, которые должны защищаться от своих врагов и отстаивать свои интересы, то им нужны и тюрьмы, и крепости, и оружие, и всякий обман, и хитрость, но тогда причем тут Бог и христианское учение о любви и мире, о всепрощении и непротивлении злу злом? Тут ясно и слепому, что Божеские законы и человеческие расчеты и выгода вместе не сходятся и нужно принимать или одно, или другое. А вам, говорю, как представителям христианского учения, нужно добиваться такой автономии в проповеди, при которой вы так бы прямо об этом и говорили, а не умаляли бы Христово учение в угоду государству и власти, иначе никакого толку от вашего пастырства нет, что вы и сами отлично видите.

— Дорогой мой, — сказал, придвигаясь ко мне, Ковальницкий, — что же мы тут можем сделать, раз такой порядок повелся с незапамятных времен. Мы такие же невольники у государства, как и вы, солдаты, и можем о Божеском законе говорить только вообще, не касаясь государства и его прерогатив.

По-моему, говорю, вы должны в своей проповеди больше всего разъяснять народу, что суть христианского закона не в том, что вы называете богослужением, и не в исполнении внешних обрядов и так называемых таинств, а в том, чтобы действительно бороться со своим злом и эгоизмом и не участвовать ни в каком насилии, грабежах и убийствах, по чьему бы приказанию они не делались…

— Да если я хоть раз осмелился бы сказать такую проповедь, — испуганно перебил он, — мне бы так же связали руки, заткнули рот и стали бы, как и тебя, гонять из города в город, а у меня жена, дети, всякому своя рубаха ближе к телу…

— Совершенно верно, — согласился я, — по животному страху и человеческой слабости мы так вечно и остаемся рабами сильных мира, но так это и давайте признавать, а не прикидываться ангелами и не искажать Христова закона в угоду своей слабости и выгоде. Своя шкура ближе к телу одинаково и у всех животных.

Ковальницкий схватил меня за руку и сильно волнуясь сказал:

— Ну ты бы что стал делать на моем месте? только подумай, пойми и не криви душой…

Я сказал, что прежде всего изменил бы свой облик, остриг бы волосы, переменил покрой одежды и пошел бы искать работы, какой ни на есть, лишь бы прокормиться и не быть в ложном положении.

— А ты знаешь, что лишенного сана священника, а тем более отказавшегося, будут гнать отовсюду и не примут даже на поденную работу? — сказал он с горечью.

При вашей старости, говорю, я пошел бы на базар торговать калачами и булками, все же работа…

Ковальницкий обиделся и с нотою гнева перебил меня:

— Тебе хорошо говорить про торговлю калачами, как ты крестьянин и солдат, — волнуясь говорил он, — будешь ли ты в казарме, будешь ли ты в тюрьме, тебе везде дадут 2–3 фунта хлеба, щи и кашу, а ты гляди и дома-то того не всегда имел. А наше дело совсем другое, после долгих лет ученья, упорных трудов службы, семейной зависимости, как можно стать нищим торговцем и быть довольным таким положением?

Наступила пауза, мне показалось, что отец протоиерей утирает слезы и мучается новыми мыслями.

— Я тебе доскажу до конца, — точно очнувшись сказал он, — чем бы кончилась моя жизнь, если бы я навлек гнев начальства и был бы лишен сана… Меня, наверное, жена задушила бы собственными руками, если бы это случилось. Ведь от всей этой обстановки, — окинул он глазами дорогую мебель и ковры, — ничего бы тогда не осталось, и жене пришлось бы идти в прачки, не всякая женщина могла бы это простить…

Мы оба нагнули головы и долго сидели молча, каждый по-своему передумывая наш разговор. Но мы все же радовались тому, что друг друга поняли и сошлись на человеческой слабости.

— Да, да, друг мой, — сказал Ковальницкий, — жизнь пережить не поле перейти, а ты знаешь что и Господь наш Иисус Христос впадал в слабость и молился о том, чтобы чаша страданий прошла мимо Его. А мы-то, мы-то что, мы все проникнуты грехом и человеческой слабостью, как может Он

осудить нас!

Затем Ковальницкий переменил разговор, оправился и спросил, не бывал ли я в православном соборе, где он служит, и, узнавши, что нет, просил меня непременно посещать его богослужение, пока я нахожусь в Варшаве.

— Я тогда буду хлопотать за тебя перед начальством, только ты сам дай мне к этому повод. Думать мы будем так, как сейчас думали, а делать нужно совсем другое, иначе ты пропадешь ни за что, а мне тебя жаль, как сына.

Я был очень рад этой беседе, к тому же и самому мне хотелось побывать в русском соборе и самому все видеть, а потому я охотно дал слово исполнить и свое и его желание.

# Глава 19
# Философ Стахонов

Сверхсрочный писарь Стахонов, узнавши, что меня водили для беседы с академиком Ковальницким, позвал меня к себе в квартиру и с большим интересом расспрашивал про эту беседу.

— Отец протоиерей, — сказал он, — человек умный, ученый, его даже уважает католическое духовенство, я за тебя так рад, так рад, что ты удостоился такой чести. Батюшка, наверное, станет о тебе просить в Петербурге. Он ведь и там пользуется известностью.

Я передал ему нашу беседу, он вперед не поверил, пришел в ужас, но, подумавши, согласился.

— Что же, в самом деле, ангелы мы что ли, чтобы от нас можно было требовать святости жизни, — сказал он, мы дикари, стадо животных, и слава те, Господи, что среди дня друг друга не кусаем и даем друг другу дорогу. Вот относительно власти с ее насилием я и сам никак не могу решить: что от нее, пользы больше или вреда? И лучше или хуже стали бы жить люди при полном безвластии?

— О! — воскликнул он, — если бы ты знал, что здесь творит власть над поляками, каждый день все новые ужасы. Их ведь пачками каждый день арестуют и ссылают в Сибирь. Они ведь ждут не дождутся, когда наших прогнать можно будет. Ну и резня же тогда будет, страшно и подумать! Где же тут думать о христианской любви и прощении, когда обе стороны друг против друга ножи точат и вооружаются!

— Но тогда к чему все наше паспортное христианство? — сказал я. — Звери мы, так под такой вывеской и жить надо, а не загораживаться христианской и не обманывать людей обрядовой видимостью. Нам недостает жизненной правды и справедливости в распределении богатств земли и природы, недостает общественного и международного миролюбия, недостает внутреннего мира и сознания своей ничтожности и зависимости от неведомой нам Высшей воли а мы все это хотим заменить звоном колоколов и солдатскими парадами, да такой легонькой верой, которая в том и состоит, чтобы на людях показать свою набожность. Веруем Христу Богу, Богородице, ангелам и угодникам, а живем, как свиньи, и мучим друг друга, как дьяволы. К чему все это?

— Согласен, согласен, — сказал Стахонов, — я постарше тебя и так же все время над этим думаю. Но твоими думами я уже

передумал, пыл молодости прошел, я теперь дальше думаю, что гораздо будет хуже для этого громадного человеческого стада, если от него отнять и Бога Христа, и церковную веру. Теперь он хоть кое-когда да умилится, вспомнивши Христовы страдания или муки угодников, а тогда ему и взоры устремить будет некуда, когда душа затоскует или какое горе пристигнет. Я на себе это знаю, как, бывало, горе какое хватит, так и терпенья нет, возьмешь и напьешься, а теперь и я себя сдерживаю, стыдно думать про Бога и христианское милосердие, а кончать пьянкой. Какая-никакая вера, а она тебя в стыд повергает и дает время одуматься.

Дальше Стахонов объяснил мне, как он понимает Христа Богом.

— Я, говорит, тоже с попами не лажу и свои мысли имею. Христос для меня Бог не в том смысле, что Он рожден и не сотворен что Он чудеса творил, это все, разумеется, пустяки и выдумки, чтобы людей запугать, но Он для меня Творец нового человека из зверя, ангела; Он своим учением творит нового человека и показывает всему миру, каким он должен быть. В этом смысле и признаю его Богом. Ведь в старом мире человек не призывался на такие подвиги и жертвы, как со времени Христа. Любить врагов и благословлять проклинающих нас, стремиться к совершенству Отца Небесного — этого раньше не предлагалось человеку. Попы говорят: «Христос Бог, а мы так не можем». Но они врут и в том и в другом. Христос на себе самом испытал все эти подвиги, а если возможно одному, возможно и другому, а они только славят Христа, кланяются ему, но не учатся у Него. В этом их коренной грех и неправда. А против их богослужений в храмах я ничего не имею, иначе когда же и где бы люди нашли время и место, чтобы побольше подумать о своих грехах и скверностях жизни. Конечно, я согласен, что службы эти можно было бы пересочинить и сделать более интересными, но это дело будущего, а пока важнее начать пересочинять соответствующую жизнь.

Стахонов был очень интересный человек, мудрец в своем роде, и я очень сожалел о нем, уезжая из Варшавы.

# Глава 20
# Решение канцелярии его величества

Вопреки моему и его желанию, мне так и не пришлось побывать в православном соборе на службах Ковальницкого. Через несколько дней после этого меня вызвали в жандармское управление и прочитали распоряжение собственной Его Величества канцелярии, коим предписывалось в срочном порядке выслать меня в Тургайскую область в распоряжение военного губернатора под строгий надзор. Распоряжение это мне прочитали с облегченной душой, радуясь, что так просто отнеслись ко мне в Петербурге. После этой давки они, видимо, и сами мне сочувствовали.

— Это для вас великое счастье, что вас не лишили воинского звания, — сказал мне адъютант, — могло быть значительно хуже. А теперь, где бы вы ни были, вас не имеют права держать дольше срока службы вашего года. Совсем пустяки, — добавил он, справившись в документах, — не больше одного года, как и в запас. Это вам год на учебу дается, людей посмотрите, города, степи киргизские…

По возвращении на гауптвахту в эту же ночь меня от правили на вокзал для следования по назначению, но уже не с жандармами, а с ефрейтором и двумя рядовыми Варшавской конвойной команды, которые утром другого дня благополучно сдали меня в Брест-Литовске в распоряжение коменданта, заведовавшего передвижением войск, который собственноручно запер меня в карцер в подвальной части вокзала, приказавши дать мне горячей пищи до отхода поезда в Минск. В Минске, через день пути, меня временно отвели на пересыльную гауптвахту, где было более ста человек солдат и других вольных артистов, ухитрявшихся тут же своровать что-нибудь у простоватых солдат. Тут стоял такой гомон, пляски, песни, брань, что я был очень рад, когда за мной пришли новые конвойные, с которыми через полтора суток я благополучно доехал до Москвы без всякой пересадки. Дорогой я пытался много раз поговорить с моими конвоирами, но всякий раз старший из них, понижая голос, таинственно объяснял мне, что им по уставу вступать с арестованными в разговоры строго воспрещается, а уж в особенности с политиками, которых они сопровождают одиночно, по особым распоряжениям.

— Мы понимаем сорт людей, — говорил он чуть слышно, — а только устав не позволяет; вам все равно, ваше дело решенное, а

нам под суд идти не хочется, мы — солдаты, и с нас строго спрашивают, а то мы бы и рады душой, ведь мы такие же человеки.

В Москве со мною также не задержались. На гауптвахте в Крутицах, где было и управление воинского начальника, вероятно по документам, меня узнали писаря, которых я знал по штабу, они опасливо заговорили со мной, удивляясь тому, что я живой перед ними. «После твоей высылки, — говорили они, — был упорный слух о том, что ты умер в дороге, и начальство запретило о тебе всякие разговоры». И в этот же день начальство, во избежание новых разговоров, быстро отправило меня с конвойными на Нижний. В это время в Нижнем была Всероссийская выставка и город был украшен флагами и арками, а поле выставки представляло сплошной лес украшений. Пристань вся была забита пароходами, тоже украшенными флагами. Города я не знал и не знал, куда меня ведут. Везде были толпы народа, и моим конвойным стоило большого труда расчищать мне дорогу. Из-за того что и они сами не знали, где находится начальник гарнизона, комендант станции дал им проводника солдата, и они все трое, с шашками наголо, пугали честной народ своими резкими окриками: «Сторонись, конвой идет! Сторонись!» И честной народ, пугливо расступаясь, в упор рассматривал меня со всех сторон, делая соответствующие реплики: «Подумаешь, какого Чуркина пымали и шумят на всю улицу», — слышал я возгласы. Помню, что меня провели к реке вниз, потом через реку по мосту, который держался на плотах и лодках, а затем пошли в гору. На горе была стоянка трамвая, только что устроенного и пущенного со дня выставки. Затем от начальника гарнизона с новыми документами и провожатыми меня посадили на пароход общества «Меркурий», который торжественно и отплыл на Казань в 6 часов вечера, приветствуемый и с пристани, и с других встречных и окружавших пароходов. Такая картина для меня была нова, и я с удовольствием наслаждался ею, радуясь, что за казенный счет путешествую и по Волге. Дело было в июне, вечер был ясный и теплый, мои провожатые и сами не сидели внутри парохода и вместе со мною до темной ночи находились на палубе. По отплытии нам очень часто встречались пароходы с разряженной публикой, ехавшей на выставку, которая в каком-то восторженном экстазе приветствовала наш пароход, крича и махая белыми платками.

На рассвете другого дня я видел, как с левой стороны тихо и бесшумно сливалась с Волгой, ниже Казани, многоводная река Ветлуга, проплывали мимо красивые приволжские городки

Васильсурск, Чебоксары, Козьмодемьянск и неописуемой красотой расстилался весь бесконечный простор левобережья с дальними и ближними поселениями. Какой простор и красота!

# Глава 21
# Казанский госпиталь

В Казани меня привели почему-то в окружной штаб и там распорядились подвергнуть предварительному испытанию в госпитале, прежде чем отправлять в Азию. В госпитале я провел почти весь июль. Меня выслушивали, брали на исследование мочу, кровь и т. п. Доктора ко мне относились очень хорошо и отстояли для меня право ходить, как и все по саду, без особого надзора, на котором настаивал начальник госпиталя, смотревший на меня подозрительно. Помещались больные в летних бараках, в саду где было очень много цветов и клумб, и мы жили как в раю, гуляя по саду. Одно омрачало меня, рядом со мной лежал больной солдатик, который отказывался от пищи, ссылаясь на боль в животе. Доктора каждый день его ослушивали и осматривали и все не находили у него никакой болезни, и все в один голос называли его симулянтом. Раза три лечили его электричеством, доставали желудочный сок, после чего он и совсем еле-еле дышал. Каждый день собирались у его постели по трое-четверо и все рассуждали, что с ним делать. Даже грозили отдать под суд. Я запомнил его фамилию: Сероев Иван, из Уфимской губернии. Я много раз пытался расспрашивать его о его болезни, о его родных, о службе, но он упорно отмалчивался и только на вопрос, есть ли у него мать, оживлялся и охотно говорил: мамаша есть. Как-то ночью, к утру, он протянул ко мне руку и, давая конверт, прошептал: «Напиши маме, что я умер». И на мой недоуменный вопрос, что с ним, тихо-тихо и радостно сказал: «Сейчас я буду помирать, за мной пришли… я вижу». И, смотря мимо меня в угол, еще радостнее сказал: «Напиши ей, что я ее люблю». Я подумал, что он в бреду, и хотел идти за дежурной сестрой, но через минуту сосед мой поднял руки и опять торопливо заговорил: «Мама, мама, ты со мной, мама, не уходи!» Затем поднес правую руку на лоб и стал поднимать на плечо, чтобы перекреститься, но рука упала на живот, и он умер. Глаза его все время смотрели вперед, точно он и впрямь глядел на свою мать. В конверте я нашел письмо от его матери и ее адрес, по которому я и известил ее о смерти сына, со всеми подробностями, умолчавши лишь о том, что его взяли в анатомию для исследования причин смерти.

В отдельном бараке и под особым надзором здесь помещались студенты, исключенные из Казанского университета и подвергнутые испытанию о годности их к военной службе. Они

были гегельянцы крайнего направления и Толстому не сочувствовали.

— По Христову учению людям жить стало тяжело, жизнь усложнилась, и лучше живется по-дьявольски, а потому по-дьявольски и бороться нужно, а Толстой не борется, а только обличает и призывает к самосовершенствованию, — говорили они.

Мне они советовали изучить Дарвина, чтобы лучше знать о необходимости этой борьбы за лучшую жизнь. Но я им возражал, говоря, что если мы в центре жизни поставили борьбу, то конечно придется до тех пор уничтожать друг друга, пока на земле не останется один человек. А с другой стороны, говорил я им, думать, что борьбою поправишь дело, это все равно более грубейшее суеверие, чем церковное о будущей жизни, и скорее будут правы попы, чем социалисты, так как поповский рай более близок и возможен, чем рай социалистический, так как борьба никогда не кончается, а потому рай через борьбу — полная утопия.

Странные были люди: веря в борьбу, они ни за что не хотели быть солдатами и всячески симулировали. На комиссии доктора настаивали на том, что по своему здоровью я не гожусь для климата Средней Азии, а потому мне надо дать шестимесячный отпуск для поправления здоровья. Они находили во мне малокровие первой степени, но председательствующий генерал досадливо оборвал их, сказавши, что он этого допустить не может.

— Его ссылают в наказанье, — метнул он в мою сторону, — а мы освободим его от этого. Да можем ли мы идти наперекор Его Величеству?

Доктора смутились и, не возражая, согласились с мнением его превосходительства. И на другое же утро я поплыл дальше на Самару в сопровождении двух конвоиров. Опять те же красивые виды и широкий простор. Но постепенно, с принятием в себя многоводной Камы, правый берег Волги стал возвышаться, и за ним уже ничего не было видно, как за высокой насыпью. Повышалась плоскогорьем и левая степь, скрывая время от времени далекие виды. И когда к вечеру Волга стала заворачивать влево, обходя Самарскую петлю, река глубоко ушла в берега, обмывая Жигулевские горы. Тут самое узкое место в ее берегах, сплошь покрытых мелким лесом и кустарником. От близости берегов все время кажется, что мы стоим на одном месте, а берега бегут мимо нас, перегоняя друг друга. Самое высокое место правого берега, оканчивающееся к тому же как бы вышкой, и зовется утесом Степана Разина. К Самаре берега снизились, и

снова открылись безграничные виды на степи, а сама царица-река тоже стала безгранично широкой.

В Самаре меня провели с шашками наголо через весь город, даже парком, в котором я видел памятник Александру II, и сдали начальству пересыльной гауптвахты. А на другой день, сменивши конвойных, меня привели на вокзал железной дороги, и мы отбыли на Оренбург. И тут степи, степи и степи, которые изредка перемежались небольшими плоскогориями. На всем пространстве в 400 верст я едва насчитал полтора десятка селений. Мне казалось, что здесь можно было основать целое государство, не помешая никому, а между тем на моей родине мужики живут в тесноте и имеют для посева не более как по 4–5 десятин в яровом и озимом, а половина деревни и того меньше. И странно после этого, от таких просторов, говорить о нашем малоземелье, только и нужно организованное переселение.

Оренбургское начальство встретило меня неласково и не сразу сообразило, куда меня деть, так что мне долго пришлось стоять в прихожей канцелярии воинского начальника под охраной приставленного ко мне часового.

Как и в Варшаве, офицеры, выходя из канцелярии, рассматривали меня со всех сторон, не зная, как заговорить. Вышел полковник, назвал меня московским художником и объявил, что так как дальше, в Тургайскую область, нет ни железной дороги, ни водных сообщений, то я должен буду следовать туда пешком с общим этапом арестантов, который пойдет туда, до Орска, через два дня. Затем заговорил о Толстом, назвал его сумасшедшим и стал объяснять офицерам всю преступность русского правительства, которое оставляет на свободе таких развратителей.

— Если каждый молокосос, — кивнул он на меня, — станет рассуждать о том, что не так делает правительство, а царь будет слушать всех умников, да этак нам и капут сделают. А Толстой так прямо и зовет всех в дураков превратиться и ждать с хлебом-солью, когда и немцы, и турки к нам на печку придут. Не моя власть только, — сказал он, подойдя ко мне вплотную, — я бы вам всыпал по сотне горячих, вы бы у меня шелковыми стали.

А другие офицеры, не обращаясь ко мне, стали доказывать друг другу, что Толстой со своим непротивлением и космополитизмом не выдерживает критики.

— Стоит только государству остаться без армии, — сказал один из них, — как сейчас же другое государство проглотит его и поработит, а он нам мир и любовь проповедует!

Я, конечно, понимал их вполне, хотя они говорили меж собой, но своим разговором они хотели доказать мне, что они,

военные, самые первые и нужные люди, а потому не правы все те, которые смеют думать, что и без военных люди могут жить на свете, не поедая друг друга.

На другой день меня повели в канцелярию военного губернатора Тургайской области, которая в то время была в Оренбурге. Его превосходительство внимательно осмотрел меня с ног до головы и сказал, что он назначает меня в форт Карабутак, где нет политики.

— Предупреждаю, — строго добавил он, — что мы здесь никаких художеств не терпим, здесь тебе не Москва, а степь, в которой мы полные хозяева.

# Глава 22
# С казачьим конвоем до Карабутака

Была ясная и жаркая погода начала сентября, когда я вышел из Оренбурга с общим этапом на Орск в сопровождении конвоя. Правда, всех нас, арестантов, было только семь человек, но все было честь честью: подвода для вещей и больных, три пары конвойных и один конный казак, и на всякий случай везлись на подводе наручни. Кто были мои товарищи по несчастью — не знаю, так как разговаривать нам воспрещалось, а меня к тому же заставляли идти сзади шагов на пять, и разговаривать было неудобно. Помню только, что меж ними были подросток мальчик и старик, его дед, обвинявшиеся в конокрадстве; была одна старая женщина, которая половину пути ехала на подводе, ссылаясь на нездоровье; остальные трое были татары-башкирцы, очень плохо говорившие по-русски. В день мы проходили по 20–30 верст, смотря по расстоянию попутных казачьих станиц, в которых были этапные дома при станичных правлениях. Дорога шла по берегу Урала, то уклоняясь далеко влево, то опять подходя к нему. После трех-четырех дней стали видны отдаленные горы, которые чем дальше, тем все больше сходились друг к другу и иногда образовывали сплошные массивы. А некоторые, очень высокие, стояли поодиночке и были видны за 20–30 верст. Помню, одну такую называли Змеиной горой, другую Верблюжьей, третью горой Святого источника. Через 6–8 дней пути горы сгрудились вместе, и мы стали незаметно подниматься все выше и выше, и когда через несколько дней переходили главные хребты Уральских отрогов, то с их верхушки открылась чудесная картина волнующегося моря. Это все были горы, горы и горы, на сотни верст пространством, которые были подернуты синеватой дымкой, отчего и казались не горами, а волнующимся морем.

Здесь нам около какой-то старой часовенки сделали привал, и мы в большом безмолвии созерцали эту красоту, точно мы попали на небо или куда-то на другую планету, где и забыли все свое горе. Из пройденных нами казачьих станиц и поселков, остались в памяти только немногие: Никольское, Ильинское, Верхне- и Нижнеозерное, Губерлинская и Подгорное. После пройденного за день маршрута нас запирали на ночь в небольшие избушки при станичных правлениях с крошечными окнами, в которых были грязные нары и так много паутины, что невозможно было прислониться к стене, чтобы не выпачкаться. Но

и такой ночлег и уют усталым людям был очень дорог, мы находили каждый себе место, сметали пыль и паутину и укладывались спать, и вот какова сила привычки, наутро было жаль расставаться со своим логовом и паутиной, и, уходя, я любовно смотрел на эти избушки, думая о том, что и в них оставалось по кусочку моей жизни. Кормили нас хорошо, спасибо русскому народу, в каждой станице к нашему шествию выходили женщины и дети и наперебой предлагали нам горячих лепешек, пирогов, молока, сухарей и даже мяса.

Я не хотел брать, было стыдно, но дети так просили, что жаль было обидеть их своим отказом, и я брал, было видно, что своих нищих здесь не было, а народ жил зажиточно и они с радостью делали подаяния проходившим арестантам. Вместо риг, я видел много скирдов старого хлеба.

Любопытное явление: как-то в эти ночи мне снился сон, что я заблудился в каких-то горах и долго искал из них выхода, и случайно, завернувши за какой-то выступ, вышел на дорогу, причем передо мной открылась огромная равнина с протекавшей по ней рекой, а за рекою был как на ладони красивый беленький городок. Через несколько дней после этого на последнем переходе к Орску, когда мы прошли по всем горным проходам и вышли к берегу Урала, сон мой оказался наяву со всеми подробностями. Перед нами так же вокруг показалась равнина Урала, а за ним красивый белый город Орск с несколькими церквами. С этого места открывался далекий простор и вид на бесконечные зауральские степи, в которых уже не маячили кресты церквей и не было видно никаких поселений. Около Орска по деревянному мосту перешли Урал и ступили на азиатскую сторону. Моих спутников сдали в полицейское управление, а меня воинскому начальнику и объявили, что дальше, в степь, я пойду с конным казачьим конвоем и меня через некоторое время и сдали ему на руки. Мои новые охранники, вместо того чтобы ехать тотчас же по назначению, переехали на постоялый двор, и, пошептавшись меж собой, трое из них отправились в известный им притон «погулять с барышнями», а одного оставили со мной. День был базарный, и мой сторож отпустил меня на базар посмотреть город и закупить хлеба, сказавши, чтобы я купил не менее чем на 12–13 дней, так как в степи купить будет негде до самого Карабутака.

— Уйтить тебе тут некуда, — сказал он дружески, — ступай один, а я спать хочу, мы тут подгульнули малость…

Город Орск издали был очень красив, а когда я пошел по нему на базар, то весь этот город превратился в большую деревню малороссийского типа: плетневые дворы и белые мазанки —

домики. На базаре, кроме огромного количества возов с арбузами, дынями и тыквой, и частью с солью, я почти ничего не видел. А соль так в больших комьях, на подобие мутного льда, лежала по улицам вместо тумб, отделяя тротуары. Арбузы продавались на выбор по копейке за штуку, а подряд два на копейку. Возами шли от 50 до 65 копеек за воз. Их здесь солят и едят круглый год солеными с жареными пельменями и белым хлебом. Ржаного тут совсем не едят и не продают на базаре. Мясо так дешево, по 3–4 копейки фунт, и пельмени едят, как у нас картошки.

Вернувшись на постоялый двор, я не нашел своего сторожа, он тоже ушел «гулять», и лошади были одни. Оказалось, что было 14 сентября, Воздвижение, и в городе праздновался престольный праздник, а поэтому в нем было так шумно и весело, и приезжие на базар хуторяне-хохлы, и горожане гуляли во славу Божию, при неизмерном изобилии плодов земных и их дешевизне. На меня никто не обращал внимания, и я улегся вечером в казачью повозку. Двое казаков вернулись поздно ночью и на пьяном наречьи весело и цинично разговаривали о своих похождениях у какой-то вдовы Силанихи. Другие двое вернулись утром и ткнулись спать. И только часов в 10–11 собрались в путь.

Вперед мне приказали идти пешком за повозкой, в то время как трое конвойных окружали меня верхами, но оказалось, что их лошади идут так ходко, что я не успевал за ними идти, а время было упущено, день они уже прогуляли из маршрута, и надо было торопиться, чтобы попасть вовремя. По выходу из города надо было переходить через реку Орь вброд, моста не было, и меня поневоле посадили на повозку. Река здесь очень широкая, но глубина не более аршина, и хотя мы и подмочили свою кладь на повозке, но это скоро все высохло. Из степи в Орск и на Оренбург идут большие караваны верблюдов с грузом проса или шерсти, а на повозках в степь почти никто и не переезжает, а потому и моста здесь не строят. Когда мы перебрались на другую сторону, казаки поехали рысью и я так и остался сидеть в повозке до вечера.

Жилья никакого больше не было, и ночевали прямо и степи, в тех местах, где попадалась хоть небольшая лужа воды или маленькое озеро.

Через два дня пути стали попадаться киргизские стоянки, три-четыре юрты, очень похожие на стога сена, и туг же по степи пасся скот: лошади, коровы, козы и, главное, овцы с длинной шерстью и хвостами, и верблюды. А просторы, просторы! и солнце палит на безоблачном небе. Когда мы проехали верст сто, то стало казаться, что на всей земле и нет никаких городов и

селений, а есть только одни ровные степи, которым нет конца и начала. Остановившись на ночевку, мы кипятили чайник, набирая сухой помет, отчего чай особенно приятно попахивал. Спать я ложился прямо на землю, а около меня становился казак с ружьем. Я всякий раз их уговаривал, чтобы они ложились спать и не мучили бы себя этим караулом. Я им говорил, что я сам боюсь, как бы они от меня не убежали, а не только мне от них бежать: куда я денусь в степи, не зная дорог!

Но на мои уговоры я слышал только один стереотипный ответ: «Нельзя, не полагается, ты ночью зычишь, в тебе злой дух». Вперед я не мог понять, причем тут злой дух, и почему не я боюсь четырех вооруженных казаков, а они меня. Но потом и сам стал слышать свой ночной крик и бред и не понимал, почему это со мной творится. Каждую ночь снятся страшные сны, в которых всякий раз меня душат и я, вырываясь и борясь, кричу не своим голосом, что и дало повод казакам говорить, что во мне злой дух. Но потом все это объяснилось. Ночи были холодные, и я одевался с головой плащом, который мне давали казаки, так вот когда заснешь и передышишь весь воздух, то от недостатка его под плащом и станешь задыхаться, а к этому-то случаю и снится, что тебя душат какие-то разбойники. Я объяснил это казакам, но они были люди темные и не поверили мне. Хотя я больше и не кричал, оставляя нос не закрытым, для воздуха, но они так и не отменили караула надо мной и всю ночь выстаивали посменно, прямо было стыдно, ты лежишь, а около тебя человек стоит и дремлет. О чем они говорили дорогой и вечерами? Прежде всего и больше всего о том, как они погуляли в Орске, кто и как обращался со своею барышней и какая из них самая завлекательная, а затем вспоминали, как они гуляли и праздновали праздники у себя на родине, будучи холостыми, и, разумеется, говорили на нецензурном языке, от которого мне было стыдно. Вспоминали своих товарищей, которые раньше их отслужились и, придя домой, узнавали об измене им женами. И все пытали друг друга: кто и как из них поступит со своей женой, если также, вернувшись со службы, узнает об ее неверности. О прощении и не заикались, а все придумывали способы, как лучше будет заколотить жену насмерть, но чтобы самому не попасть за это в тюрьму. Об этом только и говорилось всю дорогу. А когда я вмешался в разговор и стал доказывать, что верность и мужу и жене одинаково обязательна, а что они же сами ходят к чужим женщинам и не один раз, а потому не могут требовать верности и от своих жен, мои спутники пришли в такое негодование и азарт, что даже сразу не могли и говорить, поперхнулись на первом слове, не зная, чем бы это огорошить меня в моих доводах.

Наконец один сказал, что в Писании говорится, что муж глава жены, а раз глава, так он хозяин себе. Другой прибавил, что еще сказано: «А жена да боится своего мужа», а казаку этого не сказано; третий сказал, что казак вольная птица и у бабы не спрашивает, что ему можно, а что нельзя, а четвертый тоном полного победителя пояснил, что к хлопцу ничего не пристает, а у жинки дите появляется.

Мое замечание их так обозлило, что они еще злобнее стали говорить на эти темы, заранее давая друг другу слово запороть своих жен насмерть в случае их неверности. Темный и грубый народ! За две недели пути с ними я только и слышал от них рассказы о пьянстве, чужих бабах и воровстве. Ни о чем другом они не умели говорить, будучи в тоже время твердо убеждены, что от своих грехов они могут очиститься в любое время, сходивши к попу «на дух».

За это время трое верховых два раза отъезжали с дороги в сторону и привозили по барану, воруя их у киргизов, тут же на дороге их резали, снимали шкуру и жарили на остановках. Один раз они были замечены, и следом за ними прискакали четыре конных киргиза и стали с бранью отнимать у них зарезанного барана. Один из них кричал, что он судья и знает, кому на них жаловаться. Старший приказал своим подчиненным взять ружья на изготовку, снял фуражку и, крестясь, сказал: «Вот вам крест, что ухлопаю всех на месте, если вы не уедете в степь». Киргизы перепугались и молча отъехали. Они очень верят русской божбе, и их на этом здесь обманывают все, кому не лень.

Когда приходилось нам утрами проезжать мимо киргизских становищ, еще издали было видно около каждой юрты: как истуканы, не шелохнясь, сидели женщины, покрытые белыми покрывалами и творили намаз. Казаки смеялись над ними, озорновали, но они не шевелились и продолжали шептать молитвы.

На одной ночевке, в версте от дороги, всю ночь у киргизов праздновалась свадьба и пелись на непонятном нам языке киргизские песни. Но мотивы были такие хорошие, что при звездном небе и бесконечной степи казалось, что мы слышим какое-то ангельское пение. Казаки мои были тоже в восторге и, не утерпев, сели на лошадей и поехали на свадьбу. Вернувшись через час, они были навеселе и с удовольствием рассказывали оставшемуся около меня часовому, как их там приняли и угостили. Вообще, если бы не было на свете водки, не было бы и казака.

Местами нам попадались зимние землянки киргизов, вырытые в буграх, по берегам высохших ручьев и небольших

возвышений: 4–5–10, не больше. В них они спасаются от зимних холодов, в то время как скот стоит прямо в загонах, без всякой защиты от ветра и морозов.

Хорошо в такой пустыне! Лежишь ночью с открытыми глазами, над тобою бездонное небо с яркими звездами, кругом широкая степь. Где-то далеко крякают дикие утки, гуси; заревет диким голосом верблюд, и опять безмолвная тишина, и опять глубоко-глубоко уходишь в самого себя и сливаешься воедино с этим бесконечным и таинственным миром. Здесь нет никакого шуму и суеты; нет бешеной погони за наживой, нет торопливой беготни по службам и магазинам, нет ничего искусственного, что так усложняет и загромождает жизнь человека в городе. Здесь человек — подлинный сын природы, которой он живет и от которой только и зависит.

К вечеру тринадцатого дня мы наконец пришли в форт Карабутак, место моего нового чистилища и испытаний.

# Глава 23
# В форте Карабутак

Маленькая, почти игрушечная крепость Карабутак стояла на старой караванной дороге, ведущей с Оренбурга на Ташкент. Построена она была во время присоединения Туркестанского края для поддержания спокойствия и повиновения в бродячем киргизском населении и теперь оставалась уже простым этапно-опорным пунктом для проходящих время от времени военных команд и казенного имущества. На двух ее углах с маленькими башенками, выложенными из дикого камня, стояли даже две старые пушки, обращенные в сторону пологой степи, далеко-далеко видимой с высокого берега ручья того же названия, на высоком берегу которого она и была слеплена. Были ли когда в употреблении эти пушки — никто мне об этом сказать не мог. Показывали только небольшой курган в степи, в версте от фронта, где, как говорили, был зарыт русский офицер, убитый когда-то киргизами.

В самой крепости было небольшое здание для постоянного караула, охранявшего денежный ящик, который, в свою очередь, стоял под небольшим навесом, где и укрывался от сырости и холода часовой. За стеной крепости была большая одноэтажная казарма, в которой и располагалась рота солдат. Дальше была казенная церковь, лазарет, провиантский склад, канцелярия и квартира коменданта, а в четверть версте — поселок из двенадцати маленьких домиков-мазанок, в которых помещались почта и кое-кто из русских, кормившихся и около солдат, и около киргизов, которые сюда привозили для продажи кумыс, просо, баранов и вязанки для топлива крупного тростника с озер или мелкого колючего хвороста, называемого «чилигой». Была здесь даже торговая лавочка купца Чернова, сосланного сюда из Петербурга за какие-то проделки. Впрочем, здесь и все начальство, состоявшее из попа, доктора, коменданта и его помощника, все также было из высланных: кто за пьянство и картежную игру, кто за распутство и неблагонадежность. Делать им здесь было нечего, и от скуки и безделья они усердно пили и играли, чередуясь между собою. Кроме них и купца Чернова, шестым был почтмейстер, а потому шесть дней в неделю каждый вечер проводился ими по старой среди, и только седьмой день оставался для вытрезвления, в который полагалось пить дома.

Когда меня привели в канцелярию, было 5 часов, а потому капитан Лангут был уже в градусах (с большим красным носом)

и, сознавая свою слабость, встретил меня довольно добродушно, сразу признался, что здесь все они ссыльные, а потому я должен вести себя тихо и смирно, без всяких художеств.

— Отсюда до Бога высоко, а до царя далеко, а потому мы здесь имеем всю полноту власти! Мы с тобой еще поговорим! — сказал он, сдавая меня на руки фельдфебелю Тугбаеву, которому дал короткое наставление — глядеть за мной в оба и без присмотра не выпускать меня из казармы.

— Он нам прислан по царскому повелению под строгий надзор, — внушительно сказал он Тугбаеву, — и мы за него будем в ответе.

Солдаты приняли меня очень подозрительно и с большим любопытством меня рассматривали и следили за мной, желая скорее разгадать и найти во мне что-то особенное, что непременно, по их представлению, должно было быть, иначе, думали они, зачем бы так далеко от Москвы пригонять сюда обыкновенного человека? Все они были пермяки и вотяки, народ простой и малограмотный, а потому и очень любопытный, тем более в их одно образную жизнь я входил какой-то новинкой, да еще секретной. Был конец сентября 1896 г. На солдатском огороде копали картошку, свеклу, лук, а потому никакого ученья и занятий не было, и я недели две ходил туда и сюда, под присмотром дневального, знакомясь с местностью. А когда начались занятия, я садился с ними и незаметно переводил разговор на что-нибудь другое, боле интересное, рассказывал им, что сам знал из астрономии, геологии, природоведения, о других странах и людях и т. п. И как-то выходило так, что солдаты забывали свою «словесность», время проходило и они расходились. И хотя на первое время фельдфебель и выражал опасения, что таким отношением к службе мы нарушаем устав, но я им пояснил, что нам прежде всего нужно не мучить себя уставами, а жить так, как нам удобнее, интереснее и с большей пользой, а по уставу поступать только для виду, на глазах начальства, только чтобы не попасть под ответственность. Всем это понравилось, и мы стали жить больше по-людски, чем по-солдатски. Тоже потом вышло и вообще со всей службой. Я рассказал им, что в этой службе нет ничего хорошего и полезного для жизни и что она направлена только к тому, чтобы из человека сделать послушного болвана, не умеющего рассуждать, а потому мы должны относиться к ней так себе, слегка, не вкладал своей души и не забывая своего человеческого достоинства. Никто из этой службы не строил себе карьеры, и потому такое рассуждение всем пришлось по душе, в том числе и взводным и фельдфебелю, и за глазами начальства все старались не тяготить себя ею. А

начальство пило горькую и тоже старалось не мешать солдатам. Кроме караула у денежного ящика, здесь еще были два ночные поста, один у церкви, а другой у провиантского склада. И в дождь, и в зимнюю стужу солдаты сменялись меж собой, мерзли и мучили себя хождением кругом этих строений, не смея сесть и подремать, я их убедил, чтоб и здесь не мучили сами себя.

— Вы хорошо знаете, — сказал я им, что здесь около казармы, никто не придет ломать церковь или склад, а потому чего же ради все время ходить кругом и бить сапоги, когда можно просто просидеть и подремать спокойно свою смену.

После этого один за одним постовые стали спокойно сидеть и дремать на своей смене.

Усмотревши из сопроводительных бумаг обо мне, что я безбожник и не верую по-православному, комендант прежде всего распорядился каждую субботу, вечером, посылать меня для убеждения к священнику, в его дом. Но этот нумер не пошел дальше двух посещений. В противоположность варшавскому протоиерею, священник здесь был молодой, ражий, и больше всего любил свое хозяйство (у него было пять коров, две лошади, подтелки, и засевалось 5–8 десятин земли). Поговоривши со мной с полчаса, он сказал прямо, что ему не выгодно терять время на разговоры со мной. Что он больше всего мечтает не о правой вере, а о том, чтобы попасть на более доходное место.

— Мой товарищ по семинарии, — сказал он, — в Уральске, по три тысячи в год откладывает, а я здесь и трехсот не соберу. Народу здесь нет, киргизы магометане, а от вас, от солдат, как от козла молока, никакого доходу. А рассуждать об истине веры — это не мое дело, для этого у нас есть Государь Император, ученые богословы, митрополиты, профессора, а наше дело их слушать и не рассуждать.

Переговоривши с Лангутом, он отказался меня убеждать, сославшись на мою безнадежность, но водить меня в церковь вместе с солдатами настоял. И когда с осени начались занятия, в расписание было включено каждую субботу водить солдат в церковь ко всенощной. Мне приказывали становиться в строй и идти вместе с другими.

Но тут вышло новое, непредвиденное для начальства осложнение. Они не додумались до того, чтобы в расписании занятий подробно оговорить, что нужно каждому солдату делать в церкви, а из этого и пошли новые на меня наскоки и угрозы начальства. В церкви всегда получались такие картины: по ходу службы священник становился на колени, за ним грузно опускался комендант, а за ним горохом сыпались на пол и все солдаты, и я оставался один на ногах, как командир надо всеми

поверженными, что, разумеется, приводило в ярость и попа, и начальство, перешептывались обычно и их «дамы». Мое поведение шло вразрез с установившимся этикетом службы и смешило солдат, а поделать со мною было ничего нельзя. Не стать же приказывать, как и что делать в церкви. Нагибаясь при земных поклонах лбом до пола, и поп, и комендант снизу вверх злобно ели меня глазами и делали знаки, чтобы я также стал на колени, но я делал вид, что ничего не замечаю и продолжал спокойно стоять.

А тут пошло и другое: у меня разболелись глаза, доктор положил меня в лазарет, но упорно не верил в мою болезнь и жаловался коменданту, что я симулирую, растираю нарочно глаза, чтобы и этим досадить начальству. В письме к родным я описал свое здесь положение и сделал всем характеристику, наподобие тому, как Хлестаков описывал тех, кто принял его за ревизора. Я не знал, что мои письма вскрывают, а оно было вскрыто на почте и передано коменданту. На другой день был праздник, и, когда рота вышла из церкви, комендант принял парад и, сверкая глазами, крикнул:

— Новиков, шаг вперед!

По обыкновению, он был под мухой и от него пахло водкой.

— Ты, что же это, пакостник, опять художеством занимаешься! — тыча мне под нос кулаком, заорал он. — Да я тебя!.. Да я тебя!.. — еле выговаривая, выкрикивал он, — завтра мы тебя расстреляем, вот там, за церковью, я здесь царь и Бог, у меня есть инструкция, и ты это знаешь!.. по 18-й статье!.. ты бунтовщик… изменник!..

Доругавшись до слез, пьяный комендант обратился за сочувствием к солдатам:

— А, братцы! Он, сукин сын, недоволен, что царь-батюшка 47 миллионов на коронацию истратил, у его, дурака, не спросился. Дурак он, братцы?!

— Так точно ваше высокоблагородие! — гаркнула рота!

— А что, у вас царь-батюшка удержал хоть грош из вашего жалованья себе на коронацию?!

— Никак нет, ваше высокоблагородие! Сполна получаем!

— Скотина он, братцы?!

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Истощив все свое начальническое красноречие и язвительные названия по моему адресу, Лангут приказал Тугбаеву вести роту в казарму, а сам, присоединившись к группе женщин, вышедших из церкви, возбужденно стал рассказывать им о своем безвыходном положении.

— Вот, полюбуйтесь на московского художника, что

прикажете с ним делать? расстрелять? У него дети, сироты будут! И так оставить нельзя!..

— В чем дело, капитан, вы расстроены, что случилось? — спросила его жена смотрителя лазарета, за которой здесь все ухаживали.

— Он про нас художества сочиняет в письмах…

— Ну это пустое, — сказала она, — в письмах мы все друг про друга пишем, и если их не читать…

— И если еще насильно не водить людей в церковь, — перебил ее купец Чернов, — то и от этого греха меньше бывает.

У купца этого был сын, гимназист, который незаметно для других выискивал случаи поговорить со мной то за казармой, то в овраге под крепостью и всегда передавал мне о том, как относится ко мне здешнее «общество» и кто держит мою сторону. И в этом отношении его отец был один из первых. Правда, «птица» я был небольшая, но так как, помимо пьянства, здешнему обществу нечем было жить, то по нужде приходилось интересоваться мной.

# Глава 24
# Царский день и чарка водки

В декабре эта история повторилась самым глупым образом. На Николин день был праздник войсковой части, расположенной в Карабутаке. С вечера были у всенощной, и я опять стоял над всеми молящимися, как командир, привлекая внимание «общества». На этот раз в церкви было все начальство и все частные, кто только жил в форту. Командир наблюдал за мной все время, и, когда посередине службы вместо Евангелия стали прикладываться к праздничной иконе Николая Угодника, я пошел вместе с другими и тоже приложился (с одной стороны, я хотел оказать свое усердие, а, с другой — узнать, какое впечатление это произведет на солдат и начальство). Командир быстро подошел ко мне и приказал идти за ним. На паперти он меня остановил и, приставляя кулак к моему носу, быстро, быстро стал меня бранить на все корки. Тут опять повторились угрозы и расстрелять, и зарубить меня шашкой. Мое усердие к Николаю Угоднику он понял как насмешку и рассвирепел до белого каления.

— Ты над нами смеяться! Ты нашу веру опровергать! — причал он в исступлении.

В это время был мороз до 30 градусов, а он был в одном расстегнутом мундире и без фуражки. Я начинал дрожать от мороза, но он, согреваемый вином, не чувствовал холода. К нам вышла одна любопытная барыня, его кума, и, точно обрадовавшись ей, капитан заговорил:

— Вот, кумушка, полюбуйся, умный дурак Новиков! он опровергает нашу веру, а сам икону целует! А! ну скажите на милость: какой же умный человек станет к иконе прикладаться?! Это он, язва, нам на смех делает!

— Оставь его, куманек, — сказала барыня, — ты сам опровергаешь. Ну, подумай, что ты выводишь?..

И довольная тем, что поймала его на слове, она вошла в церковь. Уже пропели «Слава в вышних Богу»; уже пели «Свете тихий, святые славы», — а капитан все ругался и не шел в церковь.

— Ваше Высокоблагородие! — тревожно окликнул высунувшийся фельдфебель. — Его благородие поручик Сумаруков спрашивает, выводить ли роту, служба кончилась.

Капитан быстро вошел в церковь, надел шинель, фуражку, сделал знак выводить солдат, и, когда они вышли и хотели,

пользуясь ночью, бежать врассыпную, он грозно крикнул:

— Рота, стройся! Смирно! Новиков, шаг вперед! Повторив снова все свои ругательства и угрозы и снова рассказав солдатам, что я не доволен коронацией, он к этому кричал, что я безбожник и опровергаю православную веру.

— Вы видели, братцы, как он, еретик, приложился к иконе?

— Так точно, ваше высокоблагородие, видели!

— Скотина он, дурак?!

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Язва, зараза, сумасшедший?!

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Сукин сын, мерзавец?!

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Солдатам было весело, и они тоже намеренно усердствовали в ответах.

Выискивая еще новые посрамления, он приплел Толстого и стал рассказывать солдатам, что вот есть такой сумасшедший, граф Толстой, какой загубил не одну сотню таких вот, как я, дураков, Что он зараза, антихрист, христопродавец, и т. п.

— Кабы была моя власть, — кричал он, задыхаясь от волнения, — всыпал бы я им по сотне горячих, они бы у меня шелковыми стали, а то одно не хорошо, другое не хорошо!

— Правильно я говорю, братцы? — спрашивал он солдат.

— Так точно, ваше высокоблагородие, дружно вторили те.

Им было весьма любопытно и весело от таких бесед, хотя они ровно ничего не понимали, чем я провинился и за что меня тянет и ругает начальство. Не понимали и все другие, вольные, видевшие меня в церкви и теперь стоявшие поодаль, в куче, и горячо споривишие между собой.

Я все время должен был держать под козырек, и у меня уже отмерзли кончики пальцев, онемели и ноги. Солдаты тоже приморозили ноги, и, несмотря на неоднократную команду: смирно! — плясали и стучали ногами. Адъютант и доктор вполголоса говорили коменданту, что вредно держать солдат на таком морозе, но он их не слушал и гнал прочь.

— Я здесь начальник отдельной части, — кричал он, — и потому прошу не вмешиваться в мои действия!

Повторив еще сотни раз одно и то же и всплакнув по обиженном мною Государе, он склонился на просьбу подошедших женщин и отпустил солдат.

Когда мы пришли в казарму, было около 11 часов. Почти у всех солдат примерзли портянки к ногам и с большим трудом стаскивались сапоги. Почти все также обморозили уши, носы, щеки. У меня к тому же зашлись от холода и пальцы на правой

руке. В казарму принесли снегу и более часа оттирали повреждения. Но несмотря на это никто из них не упрекнул меня в случившемся. Наоборот, все были веселы и смеялись над пьяными выходками коменданта. Утро принесло еще большее несчастье.

В Николин день была торжественная обедня, во время которой я стоял столбом; затем капитан принимал парад. После чего в казарме был накрыт стол, поставлена водка и соленые арбузы на закуску. Сюда пришло все начальство во главе с попом; и здесь отслужили молебен о здравии Государя, пропели многая лета царице и до всего начальства включительно; поздравили солдат с праздником, заставили прокричать ура, затем выпили и закусили и стали пропускать всех в очередь, давая по стакану вина. Но пропустивши человек двадцать, ушли, оставивши Тугбаева распоряжаться до конца. Солдаты шутили, радуясь водке, и многие наперебой просили меня отдать им мою долю. Я отказывался, говоря, что через это, кто выпьет два стакана, лишний раз выругается и будет болеть голова; говорил, что сам выпью, но они не верили и смеялись. Когда до меня дошла очередь, я взял стакан и хотел отдать его кому-либо из солдат, но ко мне так много потянулось рук, что я растерялся и не знал: кому же отдать? Отдашь одному — все другие обидятся.

В это время около печки, из-под полу, выскочила мышь и стала бегать кругом печки. Я сказал, что это она поздравляет нас с праздником и пришла за своим стаканом, а так как фельдфебель ей не даст, то вот я и жертвую ей свою долю и выливаю в ее норку. Поднялся хохот. Смеялись над теми, кто протягивал руку за моим стаканом и не получил.

— Он всех поровнял, никого не обидел, — сказал взводный Стерхов.

Тут начался оживленный спор о том, хорошо или дурно я поступил. Нашелся шишок и донес капитану. Видим, в окно бежит он в расстегнутом мундире и без фуражки, а в руках обнаженная шашка.

— Рота, стройся! Новиков! шаг вперед! — заорал он во всю глотку и стал в исступлении топать на меня ногами и стучать об пол концом шашки.

— Братцы, что же это такое, — плачущим голосом обратился он к солдатам, — ну скажите, что же это он сделал, мерзавец? Царь-батюшка для нашего праздника пожертвовал нам по чарке водки, а он, мерзавец, насмеялся, царский подарок мышам вылил. Каково это?

Солдаты молчали и не знали, как отвечать.

— Вы, братцы, рады нашему празднику?

— Так точно, ваше высокоблагородие, рады!

— И благодарны Государю за угощение водкой?

— Так точно, ваше высокоблагородие, весьма благодарны!

— А, сукин сын! А он не доволен, надсмеялся. Нет, я тебе не прощу такого издевательства. Стой и не шевелись, сейчас изрублю шашкой!

И он стал махать ею над моей головой, сбивая фуражку, и бегать кругом, точно помешанный.

— Этой шашкой я зарубил двадцать поляков в польское восстание, — кричал он в бешенстве, а сейчас зарублю двадцать первого! Стой и не шевелись!

И приставлял конец шашки то к моей груди, то к голове, смотрел на меня в упор злыми глазами. В это время прибежал адъютант Сумаруков и стал грубо уговаривать своего начальника, пригрозивши сообщить начальнику уезда. Капитан опешил и стал доказывать, что за такой патриотический поступок ему ничего не сделают, что иначе он теряет престиж власти перед солдатами.

— На это есть суд и дисциплинарные взыскания, а не личное самоуправство, — резко отчеканил поручик, — отдай под суд!

Поднялся спор, оба кричали и доказывали, что каждый из них лучше другого знает свои обязанности и военные законы.

— Хорошо, господин поручик, — злобно сказал капитан, — я завтра вас обоих упеку, вы будете тогда знать, как учить старшего в чине!

— Фельдфебель, — резко сказал он Тугбаеву, — поставить к нему, — кивнул он на меня, — временный караул на три смены, а завтра я донесу военному губернатору, чтобы от нас убрали этого художника, довольно! Такому мерзавцу не место среди честных людей! А вы, господин поручик, идите вон из казармы, я вам приказываю! с вами счеты у нас впереди!

Ко мне поставили часового, который днем водил меня обедать, за кипятком, в уборную, а ночь посменно стоял около моей кровати с ружьем. Солдаты присмирели, им было меня жаль, и только Тугбаев утешал:

— Ты не бойся, — говорил он, — наш капитан человек добрый, пошумит, пошумит да и остынет. Ведь это он все спьяну.

Наутро он вызвал меня в канцелярию и, будучи болен с похмелья, слабым голосом сказал:

— Ну, хорошо, Новиков, я тебя прощаю на этот раз, если ты только не будешь больше меня бесить и расстраивать. Я понимаю: кто Богу не грешен, царю не виноват! Все мы грешные! Ступай!

Солдаты радовались за меня ото всей души, а Тугбаев больше всех, радуясь, что сбылось его предсказание.

— Я тебе говорил, что это он спьяну, а так он добреющей

души человек, не обидит и мухи.

# Глава 25
# Солдатский спектакль на Рождество

После этих напастей ко мне со всех сторон стало хорошее отношение. Гимназист Чернов передал мне, что все «общество» на моей стороне и бранит в глаза капитана, и только священник за него и вполне оправдывает его наскоки и угрозы.

К Рождеству солдаты задумали устроить спектакль, бросили всякое занятие и учили роли. Я им в этом помогал, как умел, и оказал большую услугу. Начальство этому сочувствовало, желая блеснуть перед киргизами своим добрым отношением к солдатам, а также и удивить их развитием. И хотя мне было запрещено играть на сцене — чтобы не показывать меня перед публикой как опального, — но Тугбаев своей властью разрешил мне разучать песни, которых я знал больше других, а также и поверять роли солдат, участвовавших в игре. Для сцены устроили возвышение, купили на 8 рублей 80 аршин ситца и обтянули ее с двух сторон. Спектакль удался на славу, много съехалось на него из степи киргизской знати в огромных шапках и цветных халатах, и все они были в восторге. В особенности удались мои песни. По окончании спектакля киргизы долго не расходились и на ломаном русском языке благодарили нас за игру. Какие ставились пьесы — теперь не помню, а из всех песен, певшихся в антрактах в начале и конце каждой пьесы, помню только три-четыре: «Хорошо было детинушке», только что входившая в моду «В ногу, ребята, идите», «Калина с малиною», «Вдали тебя я обездолен». Этими песнями и игрой мы внесли большое оживление в степную жизнь заброшенного уголка и надолго заставили говорить о себе.

Потом начался 1897 год. Год всеобщей переписи. Нашему адъютанту, поручику Сумарукову, областной комиссией по переписи было поручено произвести таковую в районе трех киргизских волостей, прилегавших к Карабутаку. Работы было много, и поручик взял меня на эту работу, заплативши впоследствии мне 10 рублей. К нему вызывались волостные писаря и аксакалы из их зимних становищ, и с их слов мы записывали требуемые сведения. Записывая имущественное состояние киргизов и сумму уплачиваемых ими податей, я обратил внимание на их неравномерность. Так, к примеру, имевший 5 верблюдов, 80 баранов, 5 лошадей, 4 коровы — платил за них 10 рублей в год, а имевший вдвое меньше скота платил тоже 10 рублей. А некоторые и совсем не платили. На мое

недоумение волостной писарь (кстати сказать, все эти писаря были поставлены из русских, тоже пьяниц и картежников) по секрету объяснил мне, что у них насчет этого просто, кто даст наперед барана, с того мы и уменьшаем, а за 10 рублей и совсем ничего не берем. Волостных аксакалов (старшин) никто не поверяет, и все это пока остается на нашей совести. Это ничего, оправдывался он, оброк здесь пустяковый, а живут они вольготно.

Перед масленицей опять вышла история, с теми же последствиями. Внушая солдатам понятия о лучшей жизни с безусловной трезвостью, трудолюбием и бережливостью, я вступал с ними в спор на тему суеверий, церкви и смысла Священного Писания и резко оспаривал их возражения насчет того, что все сотворено Богом для людей: и вино, и табак, и что сам Христос из воды сделал вино на браке, в Кане Галилейской, а потому, стало быть, и не грех все это употреблять для развлечения. Я сказал, что это враки попов для оправдания своего пьянства, что Христос был не для того, что бы подделывать из воды спирт; и что если бы он делал такие фокусы, то его бы привлекли к ответственности. Что вообще духовенство за две тысячи лет исказило Христово учение и вместо учения о новой, трезвой и доброй жизни, сочинило одни новые длинные молитвы и службы и ими покрывает свою худую и пьяную жизнь, хотя Богу это и не нужно.

Разговор мой дошел до попа, тот пошел к коменданту и возбужденно стал жаловаться ему на меня, что я растлеваю православную веру и совращаю солдат.

— Если ты, капитан, не примешь решительных мер против его ереси, то к нам не только вольные, но и солдаты перестанут ходить, — говорил он ему.

Как бешеный прибежал капитан в казарму. Скомандовал: «Рота, стройся! Новиков, шаг вперед!» — И начал орать на меня во всю глотку, называя меня и антихристом, и крамольником, и художником, и еретиком.

— А, братцы! — с дрожью в голосе обращался он к солдатам. — Он еретик, мерзавец, нашу веру опровергает, он и тут хочет по-своему делать. Он хочет нам водку пить запретить, что будто Писание запрещает (он все перепутал и не знал, что говорить). А кто у нас Писания толковать поставлен, как не священники, а он что за поп, куда он пезет со своим еретиком Толстым, их пороть надо, пороть! Так, братцы?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — вторила рота.

— А, братцы, он говорит, что русскому человеку не надо водку пить и Богу молиться, да ведь мы без этого как черви пропадем и плесенью пропахнем… И без Бога ни до порога, и

Руси веселие пити есть. Так святой князь Владимир говорил, а не какая-нибудь шентропа. У нас святые угодники пили и нам не запрещали, а он, скотина, насупротив идет, свинья он, братцы?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Выливши на меня все свои ругательства, он стал жаловаться солдатам на свое положение, что его в Петербурге забыли и не дают следующего чина целых семь лет, и не переводят из этой щели в другое место.

— Ну и черт с ними совсем навсем, — выкрикивал он пьяным голосом, — есть у меня восемнадцать тысяч, а когда до двадцати доложу, так и в отставку; пускай другой послужит в этой проклятой степи!

— Вы, братцы, не смотрите, что я пьян, — теперь все пьют, даже курица, я пьян, а службу знаю и вас не обижаю. Ну скажите, кого я обидел? — спрашивал он солдат. — Вот и этот художник, — метнул он на меня злыми глазами, — его зарубить надо, на Сахалин сослать, а я только ругаюсь, свои нервы креплю из-за солдатишки паршивого! Верно я говорю, братцы?

— Так точно, ваше благородие! <…>

# Глава 26
# Половодье

Приближалась весна, все меньше и меньше солдаты занимались своей службой и все больше стали разговаривать об уходе в запас для срока службы 1892 г. С самого начала марта уже полетели перелетные птицы, и днем и ночью был слышен их крик, точно здесь и для них была большая дорога по почтовому тракту.

Во время половодья, хотя здесь снегу было и немного, но ручей наш, на высоком берегу которого стояла крепость, сильно вздулся, и на Благовещенье (25 марта) все население форта, и начальство с женами и детьми, и солдаты — все пришли к нему полюбоваться его шумом и разливом. Каждый вслух делал свои замечания и старался прихвастнуть, на каких реках он видел половодье и плавал на льдинах и какие видывал беды от разливов. Начальство сидело рядом с солдатами и держало себя попросту.

— И черт нас занес в такую дыру, вот вам и все удовольствие, сиди да гляди, как ручей бурлит, — сказал капитан, обращаясь ко всем сразу. — Как евреи на реках Вавилонских: сиди и плачь, тут сам черт с горя сопьется, а не только мы, грешные…

— Идем же ко мне, господа офицеры, не в очередь, — сказал, вставая, купец Чернов. — Сегодня праздник весны, птичку на волю выпускают, а мы тут сами в неволе, а посему нам Бог велел: пей и жди, когда тебя выпустят…

И, когда начальство ушло, взводный Стерхов сказал:

— Разве и нам для такого праздника складчину сделать?

— Вам можно складчину, — посмеялся рядовой Романов, — вы по 1 рублю 20 копеек получаете, а нам по 22 копейки в месяц отваливают, на махорку не хватает…

— Хорошо, братцы, начальством быть: пей каждый день и все деньги будут, а за что получают — неизвестно!

— Эко метнул, начальство! Из начальства и все государство состоит, — сказал Романов, — а мы — скотина Божия…

# Глава 27
# Разговоры о вере

С этого момента для меня настали как будто совсем мирные дни. Начальство держалось в стороне, солдаты шутили, придумывали для этого какие-либо острые и недоуменные вопросы. После начальственных разговоров об истине Христова Воскресения они стали развивать эти мысли и на другие догматические вопросы о Таинствах, о мощах, о почитании икон, о пресуществлении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. Для меня эти все вопросы были уже более или менее ясны и страшны в своей обнаженной правде. Для солдат же они были покрыты густою тайной, а потому и были самыми любопытными. Тем более что здесь, в степи, кроме Романова, ни у кого из них не было личных интересов, жизнь была пуста и однообразна, а потому они как-то вдруг и ухватились за разрешение вопросов веры. К тому же была почва в прямом невежестве священника, избегавшего говорить с солдатами о предметах веры и отказавшегося говорить со мной лично, как после проговорился фельдфебелю, из-за того, что боялся быть посрамленным «от солдатишки».

Занятое очередными праздничными вечерами с пьянкой начальство и солдат не беспокоило ученьем, и мы праздновали восемь дней кряду, до понедельника Фоминой недели. За эту-то неделю у нас и возникли разговоры о вере. Как самый начитанный, их начал Романов. Он видел и понимал, что капитан, хоть и пьяный, но говорил о Воскресении Христа не для шутки и обмана солдат, а очевидно и сам искренно мучился в этих вопросах.

— А что бы ты сказал капитану, если бы он спросил тебя прямо: веруешь в Христово Воскресение, или нет? — спросил он меня на другой день праздника в кучке других солдат, собравшихся кружком?

Христа люблю, почитаю, Им себя поддерживаю, — стал отвечать я, — но за Бога его не считаю, как Он и сам не считал себя за Бога. «Отхожу ко Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему» — вот его слова к ученикам. А как простому человеку, говорю, какое же ему могло быть воскресение, раз человека убили до смерти. Людей особенных по природе я не знаю, а потому и не могу верить в их воскресение.

— Так, стало быть, нам и нет спасения, — печально сказал Стерхов (ефрейтор), сидевший рядом, — пропадем как черви

капустные!

— Какого спасения? — переспросил я.

— Ну какого, награды в будущей жизни за хорошую жизнь, за все муки наши и надежды.

— Много у нас с тобой этой хорошей жизни, — возразил Тугбаев, подсаживаясь рядом, — есть за что и награду получить?

— Нет вообще-то, — поправил его Романов, — есть жизнь вечная, загробная, или это только бреховня поповская?

— А ты говори, да не проговаривайся, — оборвал его взводный Пермяков, — а то и тебе капитан голову отрубит своей шашкой…

— А вы не кляузничайте, — в свою очередь оборвал его Тугбаев, — не люди мы, что ли? Или и про свою веру поговорить не можем?

— А ты нам не мешай своими угрозами, — вспылил Романов, — это вопросы не службы, а души человека, каждому в своей вере разобраться хочется: вечна жизнь у Бога, или все суета и тлен?

— А если Христос не Бог и не воскрес, — лукаво спросил Пермяков, — за что же Его тогда почитают и преклоняются?

— А ты, Новиков, понимай, зачем это он тебя спрашивает: он, как фарисей, еще спросит: позволительно ли платить кесарю? — сказал добродушно Тугбаев, давая сразу понять всем, что он сам на моей стороне, а не за Пермякова.

Я разъяснил, что <…> чтить Христа и учиться у Него нужно, ибо Он принес людям такой закон, или учение о жизни по-Божьи, живя по которому, люди не только не стали бы убивать, насиловать и грабить и обманывать друг друга под разными соусами и вывесками, но и просто обижать и ненавидеть, так как все люди равноправные сыны Бога и все одинаково ему повинны. А дорог Он нам за ту жертву собой, на которую Он пошел совершенно добровольно для подтверждения правильности своего учения, а на это бывают способными лишь только избранники судьбы, а не такие как мы с вами. Если бы Христос дорожил больше, как мы, своей телесной жизнью, а не своим учением, Он мог бы избежать ареста, мог бы и оправдаться и на суде, но Он, как вы знаете, и не пытался оправдываться, и не бежал от ареста.

— Правильно, Новиков, и моя душа любит Христа как за нас пострадавшего, а только мы-то трусы и продажны, ни за какой закон не пойдем на смерть. От отца с матерью, от Бога отречемся, лишь бы свою шкуру спасти, — сказал взволнованно рядовой Красноперов (он тоже был и развитой и грамотный).

— Как же не пойдешь? Пойдешь! — перебил Тугбаев торжественно. — Вот будет война, пошлет царь, и умрешь за него

и отечество!..

— Брось, Тугбаев, — сказал просительно Романов, — мы говорили про душевное, про Божеское, я хочу знать о вечности, о будущей жизни, а ты тоже мешаешь и на солдатский устав поворачиваешь, или он тебе не надоел за пять-то годов?

— По приказу-то все пойдем, — оживился рядовой Ефремов, — потому куда же тебе деваться? Не пойдешь — верная смерть, а пойдешь — можно в кустах просидеть, либо ночью в плен убежать. А объяви о добровольности — пожалуй, и воевать некому будет. Душа-то человеческая никакой войны не принимает, она хочет жить, а не умирать.

— Вот, — говорю, — Христово-то учение в том и есть, главное, чтобы не делать того, что душа не может принять, и лучше самому погибнуть от насильников, а только бы не быть в их числе.

— Да, тут загадка мудреная, — сказал Тугбаев, — подай, Господи, да тебе, Господи, мы можем петь, а на жертвы ради веры в Христа никто не пойдет, и никто этому не учит. Научили нас попы молитвы читать да в церкву ходить, а про Христовы законы и не разъяснили. А этак ведь и евреи молятся, и татары и штунда всякая, и все поют и молитвы читают, а чья вера правильная, мы и знать не знаем, да и попы не знают, а только каждый свою веру нахваливает, а всех других бусурманами зовут.

Я сказал, что правой веры и быть не может, если нет жизни хорошей и правой, что правая вера познается праведной жизнью; и если жизнь дурная: грубая, пьяная, воровская, насильническая — причем тут слова о правой вере? «Вера без дел добра мертва есть», так и апостол говорит. А теперь, говорю, слушайте о главном: о жизни вечной, или будущей.

В прямом смысле об этом люди ничего не знают, как не знают ничего и об окружающей нас тайне жизни и мира, и тайне жизни и смерти, и все их знания об этом со всей их наукой равны одной сотой а остальные девяносто девять сотых от них скрыты. А раз так, то кто же может, не солгавши, сказать, что в этой огромной тайне скрытого нет иных возможностей жизни, кроме той, какую мы чувствуем в своем теле? Никто этого сказать не может!

Второе — это безудержная жажда к правде, к справедливости, заложенная в человеческом сознании и совести. То самое сознание, которое упорно верит и хочет этой правды, и томится, и тоскует, когда вместо нее видит кругом насилие, злобу, грабеж и ненависть. Если бы я спросил вас в отдельности каждого, хочет он этой правды в будущем, в вечности, хотя бы ему пришлось чувствовать там и осуждение за свою пакостную жизнь здесь, или хочет просто полного уничтожения со смертью тела, — я уверен,

что все вы скажете: хочу этой вечности и правды, о которой тоскует душа даже разбойника и злодея. Ну как, по-вашему, верно?

— Пущай меня Господь судит и наказывает, а только я хочу новой жизни и нового воскресения ради этой правды и вечности, — сказал добродушно Тугбаев. И сказал так искренне и просто, что никто не возразил ему шуткой. Все настроились очень серьезно и стали вздыхать. Уж если разбойник на кресте поверил и покаялся, а нам-то чего страшиться, Господь простит и помилует.

— Я непременно хочу жить вечно, понимать Бога и видеть Его правду, — подтвердил Красноперов.

— Этак и все хотят и желают, — вставил простодушно ефрейтор Стерхов, — всем правды и живота хочется, душа этого просит, а то, что мы тут, живем в потемках и едим друг друга. Ишь, у нас какая правда: за рюмку вина готовы голову отрубить! Нешто в этом есть какая правда?

— А вы думаете наш капитан не желает этой правды и вечности, он, поди, больше нас мучится за свою пьянку, — сказал Тугбаев. — Вот если бы он это слышал, непременно к нам бы присоединился. Также и генералы, и начальство разное. Ведь это все наша обряда на них, а на деле все голые родятся, и все человеки равные, и все душу имеют…

— Смотри, Тугбаев, — засмеялся Романов, — не пришлось бы и тебе отрубить голову вместе с Новиковым, ты что-то нынче как дите малое.

Тугбаев побледнел, растерялся и не сразу опомнился.

— Пущай отрубают, — сказал он полушепотом, — лишь бы самого не приневолили другим отрубать!

— Ну, вот, — говорю, — раз никто умирать не хочет и душою, как и телом, в том числе и любое начальство, — в этом и есть верный признак бессмертия души. Умирает все, что подлежит тлению, а душа тлению не подлежит, так как она не от земли и глины, а от Духа Божия.

— А вот студенты ни в Бога, ни в черта не веруют и никакой души не признают, — сказал взводный Стерхов, — я с ними с Казани на пароходе ехал. Они говорят, что ничего на свете нет, кроме материи: земля да глина…

— Да, но материя не мыслит, не чувствует, не рассуждает, не тоскует и не радуется — возразил за меня Романов, — а это все в нас и есть, что от материи отличает. Откуда это берется, ты бы их спросил — из воздуха, или из глины?

— Они говорят, что об этом никто ничего не знает, не дано знать нам…

— Не знать — это одно, а говорить, что души нет, — это совсем другое, — сказал я, — и ребенок, когда родится, ничего не знает, что у него есть мать, что он человек и ему жить надо, однако он куксится, требует, ищет и находит, что ему нужно и о чем он ничего не знает. В вопросах потусторонней жизни и души мы тоже слепые щенки, хуже родившегося ребенка, но и наше чувство и совесть требуют правды и вечности, ищут ее, и поверьте, наша надежда нас не обманет и найдет эту правду и вечность.

— Истинно, — подтвердил с чувством Тугбаев. — А ведь иначе что? Нет Бога, нет души, нет и ответственности, тогда каждый злодей, что хочет, то и делает, и никакому душегубству не будет предела и запрета!..

— Не только предела, но нет и смысла в жизни, кроме животного: жрать, спать и давить друг друга, — согласился и Романов. — Сейчас и то становится тоскливо и скучно душе, если подумаешь, что все наши надежды напрасны. А что бы было с людским стадом, если бы в нем и не возникали надежды? Стадо зверей и все!

— Да, — говорю, — если бы не вера в Бога, тогда в человеческом обществе и не могла бы возникнуть никакая духовная культура: ни гимнов, ни преклонения и почитания перед тайнами окружающего нас чуда — мира; ни музыки, ни поэзии и искусства, ни самой грамоты. И люди на веки вечные так бы и остались стадом животных. А начальство что, оно мучится теми же вопросами, как и все, и имеет и ту же тоску, и ту же надежду. А только им об этом думать некогда. Они заняты, как актеры, и властью, и командованием, и пьянкой, и чинами, и орденами, а ведь это все напускное, одна мишура и тряпки! А когда они на время прозреют, они больше нашего мучатся и тоскуют. Их совесть гложет за всю их ложь жизни и за все эти тряпочные наряды и отличия, потому что все это занимает только до тех пор, пока туманом глаза застланы, а как чуть болезнь какая прихватит, тут и все генералы слепыми щенками себя чувствуют, и все их чванство сразу пропадает, тут и они за Бога хватаются и Его помощи ждут.

— Безбожники до Христова рождения были, а не только студенты безмозглые, — вставил Ефремов. — Царь Давид так и псалом начинает: «Рече безумец в сердце своем: несть Бога!» — Эва! С коих пор народ мутят!

А я считаю, что безбожники не от большого ума так говорят и не от глупости, а просто от лени, подумать не хочется, в душу к себе заглянуть: что ты такое есть на свете и зачем жить должен? А думать станешь да ночью на звезды посмотришь, сейчас и Бога

около себя почувствуешь. Душа к своему Творцу и потянется.

# Глава 28
# Выход из египта

На Пасху опять был парад, после которого в казарме был накрыт большой стол, и на нем были разложены пасхи, куличи, крашеные яйца, три четверти водки. Все начальство явилось в парадной форме и в приподнятом настроении. Похристосовались, выпили и закусили. Поднесли и солдатам. От избытка чувств и выпитой водки капитан прослезился и расчувствовался перед солдатами.

— Мы здесь все ссыльные, братцы, сидим в такой норе. Тут и поговорить-то не с кем. Придут косоглазые: аман-тамар, аман-тамар! — а больше ни ты им, ни они тебе! Тут, братцы, мы все равны, чем мы от вас отличаемся, что пьянствуем, водку пьем? О, не завидуйте, братцы, не радость, а беда наша в этом! Вы тут по три года, а капитан Лангут девятый досиживает; вам в июне смена придет, а мы бессрочные, издохнешь — так и закопают в степи…

— Он, братцы, нашу веру хулит, — кивнул он на меня, — а мы только и живем этой верой, только в ней и утешаемся. Свиньи мы, звери, а в Христа верим и на Него надеемся… Воскрес Он, и нам спасение… А не воскрес, — при этом капитан посмотрел на меня злыми глазами, — пропадать нам, как червям капустным. Так я говорю, братцы?

— Так точно, Ваше Высокоблагородие! — с чувством гаркнула рота.

— Вот вам и доктор скажет, — перевел капитан на доктора. Он, кажется, истощил все свое красноречие и взывал о помощи.

Доктор был тоже не речист, но делать нечего, надо было говорить, что Бог на душу положит.

— Наше счастье и наша сила, — сказал он, — в нашем единении: мы веруем все, веруем кучей и все вместе надеемся…

Доктор запнулся и, чтобы скрыть смущение, быстро налил и выпил еще рюмку, оглядел всех и продолжал:

— И если наша надежда истинна… Мы спасены! Мы жили не задаром… Мы не одиноки, с нами Христос Бог наш! А вот такие, — посмотрел он на меня, — отбились от общего стада, и в этом их несчастье, и куда они придут, нам неизвестно, да и самим им неизвестно…

— Известно нам всем одинаково, — примиряюще сказал поручик, — а что мы не обязаны без строгой критики принимать новых теорий и идей — это вот всем известно, тут нужно много

поработать умом.

Затеяв свою праздничную философию, Лангут был не в духе, так как не знал, как ему кончить, и, когда поручик так умно кончил, как это ему казалось, он был очень доволен, тем более что у них была своя служебная неприятность, о которой все знали. После этого он заставил роту спеть трижды «Христос воскресе из мертвых», перецеловал еще некоторых, в том числе и меня, и отпустил всех праздновать Пасху.

Смена новобранцев обычно приходила сюда к 20-м числам июня, и мы хоть это и знали, но еще за месяц стали готовиться к отъезду. Пешком до Оренбурга — 500 верст — идти не хотели и заранее за свой счет наняли киргизов везти нас на повозках, по пяти человек на каждой, и для удобства обладили эти повозки рогожами, чтобы спастись от июньской жары. Получились длинные цыганские кибитки. Взяли они с нас по 5 рублей с человека за все 500 верст. После Николы за мной перестали надзирать, и я целыми днями бродил по степи, уходя с другими моими товарищами иногда верст за шесть-восемь от казарм. На каменистых берегах ручья водились серые маленькие змеи, а по ручью, в глубоких омутах (впадинах), ежеминутно попадались большие черные черепахи, которые, прежде чем нырнуть в воду, удивленно смотрели на людей, точно хотели подействовать на них своим гипнозом. В расщелинах каменистых берегов здесь росла так называемая кузьмичева трава. Ходили мы и до киргизских стоянок, располагавшихся по низинам, к нам всякий раз выбегали чумазые ребята и просили: «Хлиба, хлиба!» — единственное слово, которое они с малолетства знали по-русски. Хлеба они никогда не имеют, питаясь молоком и жареным пшеном и просом, а потому наш хлеб им казался гостинцем, и они с жадностью поедали даваемые им нами кусочки. Взамен они охотно предлагали свой кумыс, и мы, чтобы не обидеть их, понемножку кушали, делая вид, что пьем. Их кожаная посуда, в которой хлюпал кумыс, не располагала к его питию, да и сами они все, нам казалось, были и грязные и оборванные. Подходили взрослые киргизки, с закутанными по-чудному головами, и говорили нам: аман-тамар (здравствуй, друг), кайда барасын (куда идешь), — на этом и кончалась наша беседа, ни мы, ни они не знали других общепонятных выражений и только с любопытством рассматривали друг друга.

Смотря на эту голую, каменистую степь и на ее чумазых с маленькими глазками обитателей, мне хотелось думать, что они здесь живут тоже как ссыльные, по какому-то недоразумению, отбывая срок, и что здесь нет никакой настоящей жизни, а лишь какая-то кара небесная забытых Богом людей. Они, наоборот,

думали обратное. Думали, что вся жизнь только в их степном Туркменистане и Киргизстане и что только они настоящие люди, а все остальные варвары и их злейшие враги. Сознавая свое превосходство, они часто повторяли любимую ими фразу: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его», которую выучивали говорить по-русски. Мне говорили, что они с жалостью смотрят на других людей, которые не разделяют их веры. Вне ислама, по их представлению, не может быть ничего хорошего, а также что все вне их веры лишь какое-то недоразумение.

Чем ближе приближался срок нашего выхода из этого Египта, тем более мы волновались и не знали, как провести оставшиеся дни. Никто из нас не считал себя здесь на своем месте, и чем ближе был конец, тем больше всем казалось то недоразумение, по которому мы находились здесь, за тысячи верст от настоящей жизни, и тем скорее мы желали выйти из этого недоразумения. Чтобы оставить по себе память, я выломал ломом каменное сиденье в высоком уступе берега, за крепостью, и высек там свои инициалы. Конечно, это было глупо, не стоило несколько дней трудиться над вырубкой камня, но хотелось что-то сделать, и другого не придумал. Наконец почта, пришедшая с Орска, принесла известие о том, что смена к нам идет и через 5–6 дней будет в Карабутаке. Целыми днями мы кружились вокруг наших повозок, давно уже стоявших за казармой, и все придумывали еще новые удобства с ними. И хотя нам совсем было нечего делать, мы суетились, куда-то шли, торопились высказывать друг другу свои замечания. От ученья и работ солдаты нашего года были освобождены за неделю.

Смена пришла в пятницу, а в воскресенье были назначены проводы уходящих в запас. Было нас человек тридцать. В казарме был хаос, никто никого не признавал и не слушал: одних собирались провожать, с новыми знакомились; следующий за нашим годом радовался, становясь на наше место, как на последний год службы. Вещи нами были уложены с утра, пришли и киргизы-подвозчики с верблюдами, и наш обоз был готов в путь часов с восьми. С 8 часов началась торжественная обедня в церкви, на которой опять присутствовало все русское население форта. Мы были в центре внимания. В 10 часов мы сели за последний прощальный обед, с водкой, тостами и речами начальства; кричали ура; пели многолетие царю, даже хотели «качать» капитана, но он был грузный, и у нас ничего не вышло. Да и он сам боялся, что мы его уроним и ушибем. Наконец построили роту у казармы и с барабанным боем пошли вон из форта. Обоз наш шел впереди. Пройдя с версту, остановились. Начальство стало прощаться и говорить соответствующие речи.

Капитан плакал. Опять команда: «Новиков, шаг вперед!» и напутственное слово капитана:

— Ты, братец, на мне не взыщи, я пью и себя не хвалю. Ругался, да, ругался, а я совсем человек не злой и о твоих детях помнил.

Подумавши, как что-то припоминая, он продолжал:

— А главное вот в чем, я хоть и пьяный, а все знаю, как ты здесь жил и чем дышал. Ты, может, и хороший человек, а все же помни: такие правительству не нужны, такому тебе и дома будет плохо от становых и урядников; над тобой все крючки надзирать будут, кто служить думает, а теперь прощай.

Затем нас перестроили на две шеренги, и капитан зычно крикнул: первая направо, а вторая налево шагом марш! И под барабанный бой мы отделились и пошли по почтовому тракту одни. О, это была незабываемая минута высшего напряжения и нашей радости, которую все переживали в это время. Кто-то сразу запел «В ногу, ребята, идите», и все подхватили не сговариваясь и так стройно пели, точно это было не 32 человека из разных губерний, а одна живая душа, вырвавшаяся на волю. После одной песни запели другую, третью. И только когда не стало видно больше форта и казармы, мы все, не сговариваясь, вдруг остановились и, как глупые ребята, стали кататься по земле, в дикой радости. Ненавистная казарма, служба, степь с этой минуты оставались позади, а впереди была Россия, своя деревня, своя родная семья, свой народ. Прощай, Киргизия!..

Первым опомнился Романов, спросивши громко:

— А где же наш фельдфебель Тугбаев?

— Тугбаев — шкура, изменник, остался на вторительную, — отвечал взводный Стерхов. — Я ему так и сказал: «ты шкура!»

И все принялись негодовать на унизительный, с точки зрения солдат, поступок Тугбаева. Потом мы взапуски кинулись догонять наш обоз. И громадные уроды верблюды, и узкоглазые киргизы-проводники в огромных разноцветных шапках и халатах на этот раз казались нам такими милыми, славными, что мы были готовы их целовать. Занявши свои места в кибитках, до самого вечера мы не проронили друг с другом ни слова. Каждый ушел сам в себя от всего пережитого и предавался сладостной мечте о встрече с родными. И только негодовали на великанов верблюдов, которые так медленно и монотонно шагали по степи, не понимая нашего нетерпения. Вечерами мы разводили огонь, кипятили чайники и пели без конца песни, поощряемые к тому же и киргизами, которые оказались для меня очень музыкальным народом. Верст за сто до Орска в нашем обозе произошел скандал. Рядовой Тюлькин избил свою жену и выгнал ее из повозки. Он был

надсмотрщиком зданий от инженерной дистанции, занимал отдельное помещение и выписал к себе жену еще за год.

Обоз остановился, и мы все стали упрашивать Тюлькина подвезти свою жену до Оренбурга или хотя до Орска, где она могла бы приискать себе работу, что иначе ее в степи изнасилуют и убьют киргизы, так как здесь не у кого искать помощи и защиты. Но все наши уговоры не привели ни к чему, Тюлькин не соглашался и придумал для оправдания новую версию: стал уверять всех, что она ему не жена, а любовница, а настоящая жена у него в деревне. «Кому, — говорит, — она жалка, тот и бери ее к себе». Мы с Романовым взяли ее в свою кибитку и подвезли до Орска, а затем дали ей 6 рублей, чтобы она могла доехать самостоятельно до родины. Нам было очень стыдно от киргизов за такой его поступок, а они возмущались больше нашего и прищелкивали языком, твердили: «Никорошо, никорошо, рус».

В Орске совершенно неожиданно нас встретил наш фельдфебель Тугбаев. После нашего ухода он заскучал, бросил службу и, заплативши 35 рублей, обогнал нас на почтовых. Общей нашей радости не было конца.

— Как остался я один, без вас, — говорил он покаянным тоном, — так на мне и повисли слова Стерхова: «ты шкура!» Хожу, а мне тяжело, словно и впрямь на мне шкура… Бросил все и покатал за вами, черт с ними, с деньгами!..

Хотя нам и казалось, что верблюды идут страшно медленно, но день был огромный, и от солнца до солнца они все же проходили по 50 верст, и на одиннадцатый день доставили нас в Оренбург. В пути по степи я, по своей неопытности, получил себе болотную лихорадку, от которой и дома не мог избавиться более года. Жара была невыносимая, и мы без разбору купались в каждом озерке, которые изредка попадались на дороге. Но это не помогало, и я искупался прямо в мундире и брюках. Вода была холодная, но и желтая, с отвратительным запахом гниющего болота, и это мне не прошло даром, тем более что я не разделся, а мокрым лег в кибитку, чтобы дольше не мучиться от жары. С этого же вечера лихорадка и стала меня трясти через два дня на третий и не отставала более года.

В Оренбурге мы пересели из повозок в вагоны и до Самары опять все вместе доехали благополучно. А отсюда наши дороги расходились. Мои товарищи поехали на Уфу, а я один — на Сызрань и Тулу. Прощайте, друзья по несчастью, прощайте, самарские степи! Наконец я на родине и дома!

# Глава 29
# В своей деревне

С этого времени в моей жизни начинается новая страница в отношениях ко мне окружающей деревни. Я отпал от внешнего Православия, то же собиралась делать и моя семья, и на меня стали смотреть как на отступника. Но, прежде чем записать эти страницы, мне хочется в коротких словах сказать о стариках своей деревни, с которыми мне пришлось бороться за новый быт жизни, в основе которого лежала безусловная трезвость, безусловная бережливость и безусловное трудолюбие. Старики эти были: Петр Герасимович Гуляев, умный и деловой старик, применявший в своем хозяйстве наемный труд и живший зажиточно; Михаил Тимофеич Вырцов, кабатчик, ходивший старшиной и певший на клиросе. Оба эти старика были набожные и почти не пропускали ни одной церковной службы. Ставили помногу свечей и усердно молились. Они были столпами деревни и руководили общественным мнением. Были три брата Буланниковы: Захар, Андриан и Петр Никанорычи, любившие выпить; был Осип Михалыч, Соколов Никита, Сычев Федор, тоже сильно пьющие; были два брата Ивана Андреича I и II, оба пьяницы. Да и вообще в то время, с 1880-х по 1900 год я в своей деревне не знал ни одного трезвого человека. Пили все подряд, а потому так охотно верили в Бога по-православному и справляли с пьянством все большие церковные праздники: Троица, Покров, Рождество, масленица, Пасха — были обычными днями пьянства. Но пили мужики не как теперь, не ради самого пьянства, а как считали себя православными, которым будто бы так и полагалось честь честью справлять свои праздники с гостями и водкой, и что иначе, по их понятиям, и быть не могло. Иначе они были бы тоже отступниками от веры отцов. Само собой, пьющая деревня и эти старики не могли мне простить ни моей трезвости, ни моего трудолюбия, ни моего вольнодумства в вопросах веры, и когда я стал работать в праздники, деревня насторожилась и стала вперед через моих родственников и попа действовать на мою мать и жену, доказывая им все беззаконие моего поведения и подкрепляя свои уговоры страшными рассказами о том, как там-то и там-то, такого-то и такого наказал Бог пожаром, падением скота, болезнью или другою напастью, и что то же самое будет и со мной, если я не раскаюсь. Пасха 1898 г. была теплая, уже было можно работать. К нам под утреню приходили с вечера мужики из другой деревни, чтобы во время попасть к утрени и мне с ними

пришлось спорить.

Я говорил им, что Христос воскрес не для того, что бы Ему служили обедню, а потом целую неделю обжирались бы мясом убитых животных и пили бы водку, — для этого Он не стал бы не только страдать и умирать, но и совсем не пришел бы в мир, — а для того, чтобы люди жили по-Божьи, не пьянствовали бы и не ругались в семьях, а жили бы мирно в любви и согласии.

— Мы так не можем — возражали мне мужики, — нам только бы Богу помолиться, да праздник честь честью спраздновать, больше мы ничего не знаем. У нас в празднике все радости и свиданья с родными.

— А не можете, нечего и вывеску христианскую носить, — говорил я им, — ибо все остальное ни к чему не ведет и Христу совсем не мило.

— Мы так, как наши деды и прадеды веровали, — возражали они, оправдываясь, — а ты их в ногах топчешь.

— Однако, — говорю, — мы не дедам и прадедам служить хотим, а Христу, а Христу-то этим и не служишь. Христу жизнь нужна трезвая и разумная, а не ваши пьяные праздники.

Когда в эту Пасху носили иконы, я копал у себя в проулке землю, готовя под посадку ранних овощей, ко мне подошел церковный староста Увар Иванович и удивленно сказал:

— Да разве нонче работают, а? Ведь по деревне святые иконы ходят… они и к тебе сейчас придут, а ты и встречать не готовишься…

Я весело сказал, что отродясь не видал таких икон, которые бы по деревне ходили, и если ваши ходят, то я их с удовольствием приму и целовать стану.

— Да, мы их носим, — поправился староста, — знамо, они сами не ходят.

— А тогда какой же в них интерес, — говорю, — если они даже ходить не умеют, таких мне не надо. Лучше, — говорю, — сами приходите, мы побеседуем, а с иконами что мне делать, раз они мертвые? И когда я действительно их не принял, и Царицу Небесную со свитой угодников пронесли мимо, бабы так и ахнули со страху, и в этот же день ждали, что с неба сойдет огонь и попалит мой дом.

— И чего это соседи-то смотрят, — рассуждали они, — от него ведь и им гореть придется!..

— Господь не допустит невинных, — говорили старухи, — Он его невидимо накажет, отступника!..

И только Роман Коршунов решал иначе, проходя мимо ворот с иконами, он обронил словечко: «Сжечь бы его, сукина сына!» А так как Бог не наказывал, то они решали, что это Он меня

испытывает и ждет моего покаяния и, стало быть, им надо тоже подождать:

— Нам за него не отвечать перед Богом, — стали они утешать сами себя, — Бог лучше нас знает, что делает…

Такое рассуждение было мне на руку, оно примиряло обе стороны и сглаживало озлобление темных людей. Но так рассуждали только бабы, мужики же сразу стали злобиться из зависти, что я не беру к праздникам водки, не разоряюсь и никого не угощаю ей, в то время как им самое меньшее Пасха становилась в 15 рублей. Этого они не могли переварить двадцать лет и долгое время, по праздникам, нарочно приходили ко мне с поздравлением и просили поднесть рюмочку, и, когда я отказывал, ругались и грозились.

— Мы выпьем для праздника, нам и весело, мы все вместе и гужуемся, а ты все один да один, как окаянный. Этак одни черти живут! — ругались они.

А некоторые из них считали своей обязанностью пьяными подходить к моему дому и сучить кулаки и ругаться на «чертей толстовцев». Особенно этим любил заниматься старик Сычев. Подойдет и орет, что на ум взбредет:

— Вы черти, вы дьяволы, антихристы, христопродавцы, вас в острог надо, в Сибирь, на каторгу! Вы народ весь развратили! Вы с нами водиться не хочете, зазнались, деньги копите… Душить вас надо!..

Это было бы не так страшно, но худо было в той срамоте и гадких ругательствах, которыми пересыпалась эта бранная философия, про Юхонца.

В эту весну я посеял немного рассады и лишнюю кое-кому продал и раздал так. Капуста как у меня, так и у других выросла очень хорошая, и все увидели, что Бог меня не наказал за мою праздничную работу, а, наоборот, наградил. С этого года я не бросал сеять рассаду годов двадцать к кряду, и у меня ее покупали не только свои, но и из других деревень. А до этого никто ничего не сажал на огородах, кроме картошки, и все думали, что у мужиков это не пойдет, а только у огородников, а на меня глядя, и многие стали сажать разные овощи, и я с первого же года стал нужным человеком. Кроме того, как хороший канцелярист, я стал писать мужикам прошения и приговора, по которым почти всегда выходило в судах и у начальства в их пользу; брал я за этот труд только 25 копеек за прошение, а приговор писал даром, и ко мне стали обращаться многие даже из соседних волостей, и мой стаж нужного человека поневоле стал расти в глазах крестьян. Просит поп за венчание со старыми долгами 10–15 рублей, идут родные жениха ко мне, и я пишу

архиерею жалобу; делятся братья между собою, и я им пишу раздельный приговор; не платит один другому по какому-либо поводу дома, идут ко мне, и я пишу жалобу в волостной суд и т. д. Но это однако не спасало меня от ругани пьяных. Пьяные на мне отводили душу и, где бы кому ни пришлось, ругали, сколько хотели. Ругали, конечно, из зависти, что я не несу у себя на плечах бремя кабака, пьяных обычаев и праздников, а они не имели силы избавиться от них. Но эти ругательства меня не беспокоили, я на них смотрел как на неизбежное. Как на опилки при работе, радуясь тому, что происходит какая-то работа.

# Глава 30
# В Ясной поляне

В августе 1897 г. я посетил Льва Николаевича в Ясной Поляне, и нашей радости не было конца. Прежде всего Лев Николаевич спросил, не били ли меня при аресте, при отправке и в Карабутаке. И я рассказал ему все, что со мною было.

— Мое сердце чувствовало, что с тобой случится это несчастье, — сказал он мне. — Когда я случайно узнал, что тебя арестовали и сослали, — говорил он мне любовно, — я несколько раз, проходя мимо штаба, справлялся о тебе у дежурных жандармов и случайных солдат, но никто ничего не знал и ничего не мог мне сказать о твоем деле, а потому я и не мог хлопотать о тебе. Даже не знал точно, где ты находишься.

В этот раз Лев Николаевич рассказывал о гонениях на так называемых сектантов в связи с миссионерским съездом в Казани осенью 1896 г., на котором было постановлено отбирать детей у отпавших от Православия родителей и отдавать их на воспитание в монастыри или православным родственникам при их согласии. Ему уже были известны случаи отобрания детей у многих сектантов на основании этого постановления. Он возмущался этим насилием и писал и в газеты, и разным министрам, протестуя против такой жестокости.

Рассказывал он мне и о духоборах, которые были недавно поселены в Закавказье на плохой земле, и как они там хорошо устроились и разбогатели, благодаря своей трезвости и трудолюбию. И как их также преследует правительство и никуда не разрешает выезжать из своих деревень, чтобы они не могли заражать других своим учением; рассказывал про учителя Дрожжина, который отказался от военной службы по христианским убеждениям, был осужден за это в Воронежский дисциплинарный батальон и там умер; о таких же отказавшихся — Ольховике и Середе, которые находились в Иркутском дисциплинарном батальоне. Лев Николаевич посоветовал мне познакомиться с соседним помещиком И. В. Цингером, который бывал у него и искал его знакомства.

— Я их знаю всех трех братьев, — сказал он мне, — один из них Иван Васильевич, хочет учиться простой крестьянской работе, чтобы не жить барином, вот вы там будете друг другу полезны.

Я рассказал Льву Николаевичу о том, как его ругало начальство и в Москве, и в Варшаве, и в Карабутаке, и все жалело, что оно не вправе им распорядиться и его выпороть и посадить в

тюрьму.

— Военные люди самые простые и откровенные, — сказал он, — они что думают, то и говорят, не так как все другие господа и чиновники, которые сами не знают, каких мыслей им держаться во всякое время, военные лучше других сознают всю ненужность и вредность их службы, а потому они больше других принимают на свой счет всякую критику общественного строя и не мирятся ни с какой философией.

— Чиновники, пишущие бумаги, подчас еще сами не знают, насколько нужны для жизни народа их бумаги, у военных же нет никакого сомнения в совершенной бесполезности их работы. — А дальше сказал:

— Почему-то принято у них винить меня за те аресты и ссылки, которым подвергаются молодые люди, бывающие у меня, а то правительство, которое чинит эти насилия, совершенно остается в стороне, точно я, а не оно творит все эти насилия, да и сам я ни от кого не прячусь… Ваш карабутакский священник — самый честный человек. Он прямо говорит, что добивается трехтысячного дохода в год, и больше ничего. Другие же это свое главное желание скрывают под разными соусами служения общему благу, хотя оно у всех одно и то же, только одному нужны три тысячи, а другому пять-десять.

Я стал говорить Льву Николаевичу о том, как в деревне мужики пьют и от пьянства живут в постоянной нужде.

— В этом большое несчастье народа, — сказал Лев Николаевич, — но мужики все же лучше господ, они пьют и все же сами себя кормят, а господа пьют еще больше, но сидят на чужой шее. Мужики пьют от невежества, от неуменья заняться чем-то лучшим, а для господ все дороги открыты, а они-то еще больше лезут в пьянство и разврат. А ваш капитан совсем добрый человек, если бы он хоть капельку верил в свое призвание как военного и в надобность церковной веры, он конечно пристрелил бы вас собственными руками, но он — как и все — служит только для того, чтобы иметь известное положение и нажить двадцать тысяч.

Прощаясь со мною, Лев Николаевич набрал мне целую связку книжек для деревни и просил навещать его время от времени. Кроме того, он дал мне переписывать его рукопись «Христианское учение», которая в то время не могла печататься из-за цензурных условий и распространялась в рукописных списках. Я переписал их более десяти экземпляров.

# Глава 31
# Знакомство с И. В. Цингером

С этого же времени, то есть с осени 1898 г., я познакомился с Цингерами, время от времени проживавшими в соседней с нами деревне Мелеховке. Два брата из них были доцентами при университете (Московском): один, Николай, по ботанике, другой, Александр, по физике. А третий, Иван, не кончивши курса технологического института, поселился в имении и начал «чудить», как говорили о нем в деревне. Чудачества эти были в том, что он открыто осуждал господскую жизнь с прислугой и батраками вообще и помещичью в частности, называя в то же время дворян вымирающим поколением, и сам брался за всякую грязную работу или, вернее, учился ей. Говорил, что все должны на себя работать сами, а что землевладение есть грех и уродливый нарост на здоровом теле. Само собою, также отпал от Православия и осуждал духовенство. Женился он на сестре своей мачехи (то есть он и его отец имели женами родных сестер) и, чтобы опроститься, вместе с женой ушел из барского дома вперед в сторожку, в лес, под названием Дивисилка, а затем в этом же лесу выстроил себе крестьянский дом и двор и хотел жить «трудами рук своих». А так как у него это не выходило и чтобы оправдать свое бытие в глазах мужиков, он устроил в другой избе плетельную мастерскую, а сам все время хлопотал по сбыту корзин и мебели и доставке прута. Для этого он выхлопотал у министра Ермолова субсидию и насадил ивовую плантацию более десятины в поле и часть в огороде, который был у него здесь же, против дома, на лесной поляне. Но, как бывшему барчуку, ему эта крутня скоро надоела, и он хотел от нее избавиться. А потому с первого же знакомства он стал звать меня к себе учить его работать и вести крестьянское хозяйство, прельщая тем, что за землю мы ничего платить не будем, а, что наработаем, будем делить пополам. Однако я долго не решался, но дома у нас пошли нелады, мать не давала нам по средам и постам молока, даже ребятам, я все же брал самовольно и из-за этого, и из-за ребят, было много греха, а так как, кроме отца, дома жил еще и брат Павел, семнадцати лет, то я и решил на время уйти к Цингеру, хотя старший брат, Андриян, живший в это время уже в Москве, у князя Волконского, противился моему уходу. Он получал хорошее жалованье и не хотел сам идти в деревню, а на отца, как пьющего, он не надеялся, на брата Павла тоже. И я ушел, обещая долю своего оброка все же уплачивать вовремя.

К Цингеру я пришел в марте 1899 г. со своими лошадью и коровой, и с его стороны тоже были лошадь и корова. Сам он был с внешнего вида сильный и здоровый человек, и я очень удивлялся, как он уставал через 10 минут от всякой трудной работы и выпивал в это время по горшку молока. Я его в первый же день заставил очистить весь навоз около дома, которого было без меня накоплено много. Он смирился и стал работать. Но когда пришла пахота и надо было вставать в 4 часа утра, мой ученик сбрендил и никак не мог встать раньше 8–9. Я уеду с четырех утра пахать, а он спит до восьми, и, сколько его не будят, — он только мычит и ворочается с боку на бок. А потом, наконец, встанет в 8–9 часов, пока раскачается и напьется чаю и придет меня сменять, в это время уже надо бывало отпрягать на обед. Так он, не пахавши, и идет обратно. После обеда попашет часа два-три и опять я сменяю его до вечера, а он уже никуда не годится и валится спать. Плательщики (Николай Демьянов, Журавлев, Хоркин) над ним смеются: «Тебя, — говорят, Михаил Петрович доделает до ручки, он тебя не доживя веку в гроб вгонит». Посеяли мы с ним в эту весну $2^1/_2$ десятины овса, $^3/_4$ десятины гречи и столько же картошек. Земля была еще, но я не надеялся на него в уборке и побоялся сеять больше.

После сева мы стали работать на огороде. Я все хотел, чтобы Цингер равнялся со мной, и тащил его на всякую работу, но он, поработав час-два, под тем или другим предлогом уходил на барский двор и засиживался по полудня. Я ему стану выговаривать, а он оправдывается: «Мое, говорит, барское пузо так и тащит меня туда. Ах, как там хорошо: скажешь Ивану — подай самоварчик, подай закусить — так все сейчас же и появляется на столе, протягивай руки да ешь. Хорошо там жить! Очень хорошо! А Савелью скажешь: запряги лошадку — через 10 минут готова, садись и поезжай».

А когда я его стану серьезно бранить, что он, назвавшись груздем, не хочет лезть в кузов, он сейчас же убегал на барский двор, бранил там всех подряд за их дармоедство и приводил ко мне и жену, и сестру, и свояченицу: «Возьми их, Михаил Петрович в работу, — говорил он мне, — не черта им сидеть там дармоедничать, пускай хоть нам помогают». И я и им находил работу. К нему приезжали семьи других помещиков посмотреть на его чудачества, он ругался и на них и их заставлял полоть грядки. На его чудачества приезжали посмотреть и его знакомые из господ, и в такие дни совсем было некогда работать: сидели и спорили целыми днями и ночами. Спор, конечно, шел о Толстом и его учении о самосовершенствовании, об опрощении жизни от тех наростов «цивилизации», от которых теперь задыхаются даже

средние люди господского пошиба, не говоря об аристократии и чиновниках. Господа, конечно, были с этим опрощением не согласны и говорили, что это опрощение есть возврат к дикости, что если все будут сами на себя работать, то некому будет служить обществу и управлять государством. Иван Васильевич над ними смеялся и уличал в глаза:

— Какое вам дело до общества и государства, — говорил он им, — ваше дело самих себя обслуживать и не сидеть на шее других, а как сложатся общественные отношения и будет ли тогда государство — это вас не касается. Вы отвечаете за правду и неправду своей жизни, а не отвлеченных понятий об обществе и государстве. Так могли говорить только пастухи, а вас никто не нанимал и не просил лезть в руководители, ведь вы самозванцы. — И когда господа уверяли, что без государства и народу будет хуже, чем теперь, Иван Васильевич смеялся на них и брил, как говорится, в глаза:

— Вы не виляйте, — говорил он им, — и не загораживайтесь народом. Народ сам себя кормит и будет кормить, при всяких условиях будет он отлично жить и без вас. Народ не запугаешь ни анархией, ни монархизмом, и ему совершенно наплевать, будет ли какое государство или не будет, и на власть ему наплевать: кто ни поп, тот и батько, только бы меньше грабили. Нам же, господам, это страшно. А ну как не будет 20 числа для получения жалованья, и таких мужиков-дураков, какие теперь идут к нам и в батраки, и в лакеи? Ну посудите сами. Что тогда будет, и что станется с нашим отродьем?

Такие разговоры через помещиков дошли до губернатора, и его вызвали к предводителю дворянства для предупреждения, где настоятельно советовали «перестать якшаться с мужиками и не разводить толстовскую анархию», кроме того, было предписано местному приставу наблюдать за нашей жизнью вообще: что мы делаем, что говорим, кто к нам ходит и т. п. А потом, после того как у нас родился ребенок и мы с женой его не понесли к попу крестить, было предписано и попу следить за нами и увещевать и наставлять в истинах Православия.

Приедет становой на паре, с колокольчиком и бубенчиками, походит с нами по хозяйству, попьет чайку, побеседует дружеским образом и уедет, а тем временем урядник пройдет по деревне и наведет справки о нашей «вредной пропаганде». Священник же села Денисова, в приходе которого мы жили, был пьяница и в пьяном виде приезжал нас «увидеть». Тоже пили чай и беседовали о религии, спьяну Михаил Михайлович (так звали попа) начинал ругаться на Цингера и упрекать его за то, что он водится с мужиками и разной сволочью. За это слово Иван

Васильевич брал попа за шиворот, выводил, сажал из дома на тарантас, привязывал веревкой и нахлестывал по лошади. Лошадь была умная и всегда в целости привозила попа домой.

А когда мы были на работе, пьяный поп перепугал мою жену и ребят своей руганью, и она стала от него запираться. Стуча дверью, он орал, что здесь живут антихристы, дьяволы, окаянные, что нас всех надо крестить, а на ребят повесить кресты.

Один раз они были вместе со становым. Пили чай, беседовали. Становой положил на стол кобуру с револьвером, а рядом Михаил Михайлович положил крест (он возвращался с требы, и крест был с ним). Цингер, чтобы подшутить над ним, завел разговор о том, кто из них больше зарабатывает: крестом или револьвером? Становой, тоже в шутку, стал хвалиться, что он зарабатывает гораздо больше, чем священники. Михаил Михайлович не сдавался и доказывал обратное.

— Если мне докажут, — сказал он, стукнувши по столу кулаком, — что этой машинкой, — он ткнул в кобуру, — можно заработать больше, чем крестом, я сейчас же переменю службу и пойду в становые.

В один его приезд Цингера не было дома, а я строил ригу и прибуравливал слеги к стропилам, будучи на верху. В дом его жена не пустила, а сказала, чтобы он шел ко мне, на стройку. До обеда был дождь, было сыро и мокро, а вокруг вкопанных столбов и совсем была мокрая глина. Он подошел ко мне и стал требовать, чтобы я слез к нему вниз.

— Сниди ко мне, окаянный, для беседы, — кричал он на меня. — Мне архиерей бумагу прислал, требует, чтобы я тебя в веру православную привел, а я что с тобой сделаю, раз ты ни в Бога, ни в черта… окаянный ты, антихрист.

Я стал просить его, чтобы он влез ко мне по лестнице наверх и подержал бы слеги, а то одному было трудно. «Мы будем и работать и беседовать», — сказал я ему. Михаил Михайлович стал подходить к лестнице, но упал на грязную землю; стал хвататься за столб, чтобы встать, но опять падал на скользкой земле и долгое время не мог встать, ругаясь в то же время скверными словами.

— Ну вот, Михаил Михайлович, — сказал я ему, — я хожу по верху, по мокрым слегам и то не падаю, а ты на земле и то падаешь, ну чему же, — говорю, — ты можешь научить меня хорошему, в чем меня будешь убеждать?

— А ты сниди ко мне на землю, тогда и поговорим…

Нет, — говорю, — не сниду, мне некогда, надо ригу строить…

— Я так и архиерею напишу, что ты, окаянный, со мной и говорить не хочешь, пускай он сам приезжает тебя устыдить! —

кричит Михаил Михайлович.

— Да что, — говорю, — вы ко мне пристали-то, что я должен вам что ли?

— Должен! Должен! Ты должен своего ребенка окрестить, он у тебя щенок некрещеный! — запальчиво кричал он.

— Но я же, — говорю, — не поп и крестить не умею.

— Ты должен его ко мне принести, а не хочешь, загордел, так я на дому могу, мы с тобой по-семейному, одной минутой, даже можно через обливание…

— Никакой потребности не чувствую к этому, — говорю. — Мне этого не нужно, ребенку тоже не нужно, зачем же и ради чего я это стану делать? Кому это нужно?

— Кому это нужно, — передразнил он меня, — это нужно государству! Для государственного порядка нужно!

— Глупости это, Михаил Михайлович ты городишь, — говорю. — Министерство внутренних дел не катехизисом руководствуется и вряд ли в таких крещениях нуждается, там дороже всего оброки ценят: платишь — значит, и хорош…

— Так не дашь крестить? — запальчиво кричит Михаил Михайлович.

— Не дам, — говорю, — и потому, что ты с сердцов утопить его можешь, и потому, что ребенок вырастет и недоволен будет. Пускай тогда сам делает, как хочет, а то вот, — говорю, — меня крестили, а теперь пристают: почему я Богу не молюсь, в церковь не хожу, так потом и к нему приставать будут. А будет некрещеный — никто приставать не станет.

Уходя от меня, Михаил Михайлович на этот раз грозил мне острогом, Сибирью и опять называл антихристом и христопродавцем. Весь он был в грязи, и встречные крестьяне только вздыхали и покачивали головой, глядя на своего духовного отца.

Становой, в свою очередь, всякий раз, приезжая к нам, спрашивал меня, какой я веры? Я вперед принимал это за шутку и не отвечал. Но в следующий раз, он опять ставил этот же вопрос, а на мой вопрос, почему он это спрашивает, он наконец открылся, что он имеет бумагу из консистории, которой поручается ему расследовать: какая новая секта появилась у нас на Дивисилке и к какому толку мы себя относим?

Я сказал, что мы совсем бестолковые и не затем отпали от одной веры, чтобы присоединяться к другим. Мы просто сами по себе…

— Ну как-так сами по себе, — возражал становой, — таких у нас в государстве нет, а непременно все какое-либо название имеют. Ну там католики, магометане, жиды, баптисты,

евангелики, или еще какие, надо же нам знать: кто как верует?

— Да вам-то что за дело, — говорю, — кто во что верует, что вы ко мне пристали, как слепой к тесту?

— Как что за дело, — горячится становой, — черт вас тут знает, какую вы новую веру придумали, а может вы скажете, что и начальства не надо, и становых тоже?

— А разве уж и такая вера есть, чтобы в начальство не веровать? — спрашивает Цингер со смехом.

— Есть, — с ужасом говорит становой, — всякая сволочь в подполье развелась, а потому нам и важно на всех ярлык навесить, чтобы заранее знать, кто опасен и кто нет. Если кто, скажем, штунда, так штунда; молокан — так молокан; беспоповец, так беспоповец, марксист — так марксист, так мы и знать будем, — миссионеры всех разберут: кто каков — а вот об вас что написать, мы затрудняемся…

— Нам писать ничего не надо, — говорит Цингер, — а если вам нужно — пишите, что Бог на душу положит…

— Ну, мы вас в штунду не отнесем, — смутился становой, — я запишу вас в толстовцы, надеюсь, спору не будет?

— Хоть в магометане пишите, бумага все терпит, — смеясь веселым смехом, говорит Цингер.

— Я и сам смеюсь на такие вопросы, — вторит Александр Степанович (так звали станового), — и сам понимаю, что все это недостойно и глупо, а что я поделаю, раз из губернии бумагу пишут!..

И стоило приставу окрестить нас этим именем, как через какие-нибудь 2–3 недели во всей округе нас стали величать толстовцами.

# Глава 32
# Потуги И. В. Цингера

Как я ни старался собственным примером втянуть в крестьянскую работу Ивана Васильевича Цингера, но он все время лытал от работы и не делал в ней никаких успехов. Когда, к примеру, мы стали возить навоз и он стал накладывать его вилами, то через какой-нибудь час весь раскисал и начинал ругаться на то, что до сих пор не могли придумать как-нибудь или разрезать его на мелкие куски, или поднимать рычагами, чтобы не нести такого тяжелого труда, отрывая его руками.

— Ну разве это не дикость, не бессмыслица? — говорил он возмущенно, — так раскапывать его вилами и отрывать, как чертову бороду? Уж наверное ни немцы, ни американцы этого не делают! — Мы с женой с его рассуждением соглашались, но пока что, говорили, что пока все же навоз-то накладывать нужно, раз нет для этого других приспособлений. Он с досадой бросал вилы, притаскивал рычаги и делал попытки поднимать рычагом прямо от земли, весь пласт, но, конечно, кроме смеха, из этого ничего не выходило, он понимал это сам и, ругаясь, уходил с работы. Делала безуспешные попытки с этим и его жена.

Во время навозной возки нужно было особенно рано вставать, но мой Цингер никак не мог делать таких подвигов и продолжал бранить свое барское пузо. Чтобы побороть себя в этом, он ложился спать на голых досках, но и это не действовало, и на досках храпел до 8 часов беспробудно. Для этой же цели он заставлял обливать себя водой, стрекать крапивой, но все ничего не выходило. Его жене, Екатерине Алексеевне, было за него стыдно, и она однажды сказала: «И охота вам, Михаил Петрович, так самому себя мучить? Куда торопиться, можно выспаться, а потом и работать часов с девяти». В это время моя лошадь от облепивших ее оводов сорвалась с привязи и в запряжке вбежала во двор.

— Смотри, говорю я ей, сейчас еще 8 часов, а уже от оводов хоть бросай возку, а как же мы будем работать в обед? Не от радости, — говорю, — мужики встают в 4 часа, а сама работа этого требует.

Вперед мы установили очередь на кухне, и его жене через день надо было тоже мыть посуду и убирать кухню. Конечно, мы пришли к господам, а не они к нам, нам пришлось подчиняться их режиму насчет тарелок, но когда его жене пришлось мыть кучу посуды, она сразу увидала, как много лишней работы от этих

тарелок и согласилась, что лучше наливать всем в одну чашку, как в деревне, и тогда будет гораздо меньше работы на кухне.

За пахоту он брался охотнее, но, пройдя 3–4 круга, снова начинал рассуждать: «И почему не могут придумать плуга с сиденьем, чтобы не надо было все время ходить за плугом, ведь этак к вечеру без ног останешься». А когда я заставлял его боронить и на поле никого не было, он садился верхом и так и ездил взад-вперед по пашне. Лошадь, по прозванию Комарь, была мала ростом, и он, сидя на ней, недоставал немного до земли ногами; но случайный прохожие все же видели его за такой работой, и в деревне смеялись над ним от души, выговаривая и мне: почему мой ученик верхом боронит?

— Мы боимся, что под ним издохнет твоя лошадь, — говорили они, смеясь, — а он упадет вместе с ней и тоже подохнет. Ведь тебя тогда по судам затаскают, скажут, барина догнал до издоху.

Во время сенокоса он брал с собой большой горшок молока и, покосивши 15–20 минут, пил молоко, поглаживая себя по пузу.

— И что это за идиотство косить траву своим горбом, — рассуждал и здесь он, — когда есть машины, ведь это же лошадиная работа, над ней в один час скособочишься и издохнешь. Ну, скажем, в лесу нельзя пустить косилку, или в оврагах, так там и косить не надо, пускай скот пасется, а мы должны косить только посевные травы.

Для облегчения себе в этой работе он снимал рубаху, верхние брюки и косил в нижних кальсонах. Косили мы в лесу, и как раз в такую пору, когда было много грибов, и деревенские бабы и девки очень часто проходили мимо.

Завидев голого человека, они с криком бросались бежать и хохотали над ним по всему лесу. Но и голому ему косьба давалась трудно, и он с половины работы уходил домой.

Под моим нажимом и чтобы доказать людям полную власть над собой, Иван Васильевич захотел бросить курить и, чтобы сразу отстранить от себя соблазн, приказал лесному сторожу распространить слух о том, чтобы курящие мужики не смели не только приходить к нам в дом, но и проходить мимо. И сколько же вся эта история наделали смеху! Через 3–4 дня Цингер не выдерживал и страшно хотел курить, но табаку не было, и поневоле надо было терпеть. В это время проходил случайно кто-нибудь из мужиков, обходя подальше наш дом. Цингер стрелою пускался за ним вдогонку в надежде попросить у него табачку, но мужик, помня его наказ, думал, что это он бежит его колотить за нарушение наказа, и также стрелою пускался от него прочь, и когда Цингер все же настигал, он орал благим матом на весь лес:

«Ой, батюшки, убьет!! Ой, батюшки, караул!» И такая гонка иногда была на целую версту. Настигнув еле живого мужика, он просил у него табаку, вместе с ним курил и возвращался как ни в чем не бывало. А тем временем по деревне уже рассказывали новость: Цингер в лесу убил человека; или хотел убить, но не догнал; или убил, но не до смерти.

Если в такое время к нему приезжали знакомые, им он тоже ставил ультиматум: не курить, иначе сейчас же убирайся. Они соглашались, и он нарочно держал их по полдня, наблюдая потихоньку за тем, как они мучатся без курева.

Такие опыты над собой он повторял несколько раз, но все безуспешно. Срывался и опять начинал курить. За работой я иногда забывал об его опытах и не обращал на него внимания. А он снова бросал и через несколько дней делался настоящим дурачком, который на все смеется и ни чем не интересуется. Иногда я принимал его за больного и участливо спрашивал: «Что с вами, Иван Васильевич?»

— Да я же 5 дней не курю, а вы и не видите, — страдальчески говорил он, — найдите мне хоть окурочек!

Я со смехом говорил: «Я 10 лет не курю и то не выставляюсь, а он 5 дней не курит. Люди на костры шли, самоубийством кончали, а он от щепотки говна не может отстать и у ней в рабстве находится! Ну, какой же ты после этого человек и хозяин над собою?» Мне это было только смешно, но он так и не мог отстать от этой привычки до смерти.

Считаясь либералом первой степени, он так рассуждал насчет своего землевладения:

— Вот, нас обвиняют, что мы помещики, завладели землей и не отдаем ее крестьянам. А крестьяне разве отдают или отдадут другим, что у них есть лишнего? И почему мы должны быть героями и сделать такую жертву первыми? Взять чужое гораздо легче, чем отдать свое, и пускай они берут первыми, не дожидаясь нашей отдачи, тем более что у них к этому есть нужда, а у нас к отдаче никакой нужды.

О своей дворянской породе он говорил откровенно:

— Мы вымирающее племя, между нами нет ни одного здорового человека, тот идиот, тот неврастеник, тот алкоголик, тот самодур. И все это от отсутствия здорового физического труда; мы все жиреем как свиньи, рыхлеем, и в нас мало здоровой крови.

И когда я говорил, что ему по его внешней комплекции не будет и веку, он горько улыбался и доказывал мне, что ему и жить-то осталось несколько лет. И так это и вышло. В 36 лет он заболел сахарной болезнью, и как ни лечился (даже ездил со

Л. Л. Толстым в Каир, в Африку), все же умер в Москве, в Екатерининской больнице. Мир его праху! Он был вполне искренним человеком, и если не мог побороть до смерти своего барства, то и не скрывал этого ни от себя, ни от других и этим самым обличал свою дворянскую братию…

Кроме господ Фланденов, Ильинской барыни и рыжей княгини Оболенской, Лизы Херодиновой (все это в нашем Тульском уезде), с ним дружили братья Гуревичи из Маеровки и время от времени приезжали к нам в лес для бесед за полночь, на политические темы.

# Глава 33
# Похороны некрещеных детей

Когда у нас здесь, в лесу, родился второй ребенок, которого мы так и не крестили, и он через 2–3 недели умер, мы хотели похоронить его на своем Боровковском кладбище, до которого было не более пяти верст. Я обратился за разрешением к становому, но он сказал, что это его не касается, а является делом только попов. Тогда я пошел к своему, боровковскому, прося разрешить похоронить без их участия (отпевания) на нашем кладбище. Владимир Алексеевич (так его имя) сказал, что он против ничего не имеет, но что для этого нужно еще разрешение от Михаила Михайловича, в приходе которого мы жили в лесу, на вынос покойника из его прихода. Михаил Михайлович был пьян и встретил меня злобным ругательством:

— А, крестить, так поп не нужен, а хоронить — понадобился! — кричал он мне в исступлении. — Нет тебе никакого разрешения, ты нас не признаешь — и мы тебя тоже!

Я сказал, что в данном случае я обращаюсь не как к священнику, а как к чиновнику, прося не службы, а бумажки.

— А ты умен, тебе попы не нужны, тебе нужен только чиновник, ну и ступай от меня к черту, я тебя не признаю совсем…

Поругавшись с полчаса, он хлопнул дверью и ушел от меня. На другой день я опять пошел к приставу, спрашивая его, как мне поступить: ехать ли к архиерею, или он тут что-либо сделает?

Пристав послал меня опять к Михаилу Михайловичу и велел ему сказать от своего имени, что он не вправе задерживать без погребения покойника, если у него нет никаких оснований подозревать насильственной смерти, что иначе он сообщит о его действиях губернатору.

Во второй раз Михаил Михайлович был еще пьянее и еще озорнее стал ругаться и плевать на меня издали.

— Ты крестить ко мне не приносил своего ребенка и хорони без меня. Я ничего не знаю, был ли он у тебя, умер ли. Я подозреваю, подозреваю, ты его задушил, антихрист, а ко мне пришел покрыть твой грех! Нет, пускай он протухнет, ты тогда узнаешь, как без попов жить!

Я сказал, что в таком случае пусть напишет в полицию, потребует следствия.

— Я ничего не знаю и знать не хочу, — кричал он снова, — пускай полиция сама мне вперед напишет, а так я не верю, был ли

ты там. Вы дьяволы, черти, сволочи! вы ни в Бога, ни в черта, окаянные! Штундисты!

Ругаясь, он топал ногами, стучал по столу кулаком, бегал из угла в угол, наконец стал ко мне вплотную спиной и стал тереться как лошадь о стену.

— Ты мне что, — выкрикивал он, — я с тобой не хочу и разговаривать передом, я вот стану задом и буду стоять, ты столб, а не человек, я о тебя и обопрусь…

Его ругань была слышна на улице, и в избу стали собираться мужики и подростки. Они радовались моему унижению и готовы были по первому его слову наброситься на меня и растерзать. Его работник дернул меня за рукав и грубо сказал:

— А ты, приятель, ступай пока цел, а то с тобой еще беды наживешь, чай, видишь, народ волнуется… вы, нехристи, и не ходите к нам!

И когда поехал домой (я был верхом), ребята-школьники бросали в меня грязью и травили собаками.

В третий раз я пришел к Михаилу Михайловичу с бумагой от пристава, в которой он официально требовал или дать мне разрешение на похороны ребенка вне его прихода, или сообщить мотивы отказа. И снова напоминал, что за такие скандалы он будет вынужден донести о нем губернатору.

Михаил Михайлович на этот раз лежал больной с перепою и, увидев меня в дверь, замахал на меня руками и хотел опять гнать, но его попадья прочитала ему бумагу и что-то сказала на ухо. Он, кряхтя и охая, приподнялся и подписал заготовленное для меня раньше разрешение на вынос ребенка из его прихода.

И только вечером четвертого дня я схоронил ни в чем не повинное дитя на Боровковском кладбище, исходивши 84 версты дороги за этим разрешением. Давая, со своей стороны, согласие на эти похороны, Владимир Алексеевич с стесненным сердцем сказал:

— Ты, Михаил, только там, в уголке, где хоронят умерших без исповеди, ну там… понимаешь?..

— Понимаю, — говорю, — чтобы, значит, отдельно от православных… с мытарями и грешниками.

Конечно, я похоронил бы ребенка и в саду, но пристав сказал, что на это разрешения не дадут, а за самовольные похороны привлекут к ответственности.

Но этими мытарствами дело не кончилось, через 2–3 недели приезжает урядник с бумагой из консистории и ставит мне вопрос: на каком основании я самовольно похоронил своего ребенка без церковного напутствия? Но когда узнал, при каких условиях были похороны и что ничего в них не было

самовольного, он не стал составлять протокола, а сказал, что меня вызовет становой.

Становой вызвал и, показывая мне эту бумагу, смеясь, спросил:

— Ну, что же мы с тобой им ответим? Ты, наверное, и сам не понимаешь своей вины, а она все же есть. Ты просил разрешения на похороны в другом приходе, но не просил похоронить без церковного напутствия, а это тоже предусмотрено законом, вот ты и попался!..

— Но ведь я же не православный, — настаиваю я.

— Что написано пером, того не вырубишь топором, — говорит он, — ты-то себя не считаешь православным, да тебя-то считают. Подай об этом заявление.

— Ну, что бы тебе стоило окрестить тогда ребенка, — укоризненно сказал становой, — а теперь вот заварил кашу и расхлебывайся. Еще привлекут к ответственности…

— Да ведь если бы ребенок был крещеный, — говорю, тогда бы и отпевать его было надо, тогда-то уж я действительно был бы виноват, похоронивши без попа. Ведь этак от них и всю жизнь не отвяжешься.

— Да и спокойнее бы было, — сказал наставительно становой.

Что он ответил консистории — не знаю, но больше меня по этому поводу не вызывали.

# Глава 34
# Не смей работать в праздники

Весна 1899 г. была теплая, сухая, на Пасху как раз было время сеять и пахать. Мелеховские мужики на Страстной запахали, но в пятницу бросили, и земля осталась сохнуть, не боронованная и не сеянная на целые восемь дней Пасхи. Мой Цингер на первый день работать отказался и с восьми утра ушел на барский двор. А я после обеда (обед на Пасху ранний) поехал боронить с тем, что бы с понедельника начать сеять. Часов в 10 утра, неподалеку от меня, по дороге из Денисова на Мелеховку, прошла процессия с иконами и пением: «Христос воскресе!» По установившемуся обычаю Михаил Михайлович обходил с иконами вперед богатых и начинал с помещичьего дома Цингеров. «Богоносцы» видели меня в поле за работой и пришли в ужас. На деревне они сейчас же сообщили об этом мужикам и старосте, и староста тотчас же распорядился послать десятского и двух понятых, чтобы согнать меня с поля.

Вижу издалека, идут мужики торопливым шагом, в руках у всех палки. Подходят, здороваются нехотя и, перебивая друг друга, наставительно говорят:

— У тебя что же, разве и праздника нет, и Христос не воскрес? Аль тебя барин на барщину выгнал?

Я пробую шутить, говорю, что я затем и в поле выехал, чтобы видеть, как Христос полетит на небо. Но все же, говорю, — не видел, или Он не воскрес, или я просмотрел Его дома. А с барином у меня очередь: я сегодня, а он завтра. Небось, — говорю, — его не придете с поля гнать!

— Ну, если, говорят, у тебя не воскрес, то у нас воскрес, чай, видел, святые иконы как шли, убирайся с глаз долой, пока цел, а то за ноги растащим.

Вижу, что мужики не шутят, а все приходят в злобу, я им про закон. Говорю, что таких правов нет, чтобы работать запрещать в праздники, тем более что я работаю на помещичьей земле, а не на надельной, и сюда деревенский староста не имеет права вмешиваться. Я им говорю, а они моих лошадей отпрягают, сняли хомуты и пустили. «Иди, говорят, за ними пока цел, лучше на грех не наводи. Это мы тебе по барину потачку даем, а кабы ты сам по себе, не то бы было». Егор Крючков мужичонка маленький, а тут так и петушится, того гляди в драку полезет. Так и пришлось мне на другой день вместо работы к становому ехать про закон спрашивать. Порылся он в законах и дал справку, что

на основании такой-то статьи, такого-то тома законов воспрещается принуждать в праздники работать наемных людей. Добровольная же работа не возбраняется. Давая справку, становой сказал:

— И что тебе за охота идти против течения? Ну что им стоит избить тебя в поле, крутись потом с тобой, да еще и виноватого не найдешь. Ну кто за тебя пойдет в свидетели?

Но все же записка подействовала, и хоть в отдельности многие пьяные грозили мне избиением, но никто уже не решился сгонять меня с поля, и я свою работу с успехом окончил на этой праздничной неделе. Стояло все время ясно, сухо, дули сильные ветры, и, когда мужики очухались от праздника и с понедельника-вторника Фоминой приступили к работе, земля уже заколенела и плохо поддавалась разработке, а потому их пахота и сев были никудышные, что они видели и сами. Они завидовали нашим всходам и говорили, что, знать, я колдун, что поторопился поскорее посеять. Но их зависть нашла себе удовлетворение в появившейся молве, что у нас «все равно ничего не вырастет». Молва эта началась с того, что бывшая у нас на Красную Горку в гостях Лиза Херодинова, более всех возмутившаяся нашей праздничной работой, с жаром стала уверять всех присутствующих, что Бог не допустит такого посрамления и непременно накажет нас полным неурожаем. «Все равно у вас ничего не вырастет, вы увидите сами, — убежденно говорила она, ссылаясь на толстовский рассказ «Свечка», в которой Бог наказывает смертью приказчика за такую же праздничную работу. Мужикам эта молва пришлась по душе, и они ее охотно разносили по всем деревням, переделывая на разные лады и заранее суля нам несчастье. И даже во время уборки, когда мужики косили свой дрянной овес, поросший травой и пухом, а я возил уже копны хорошего и чистого овса, они все еще утешали себя мыслью о Божеском наказании, которое неминуемо должно разразиться над нами за нарушение Христовой Пасхи, и таинственно говорили мне: «Что ж, и на гумне может сгореть, ударит гроза и дом спалит. От Бога никуда не уйдешь».

Но, к их горю, у нас на огороде все родилось хорошо, и я продавал даже капусту. Приезжая за ней, мужики говорили сокрушенно: «Ну где нам за вами угнаться, вы и в праздники работаете, а наши бабы и по будням тараторят по завалинкам. У нас и картошки-то не у всех родятся, а не только овощ». Однако, на нас глядя, и они стали учиться сажать капусту, и через несколько лет по всей деревне была своя капуста.

# Глава 35
# Возвращение от Цингера

Еще летом 1899 г. Цингер стал тяготиться нашей совместной работой и занимался больше увеличением своей ивовой плантации, от участия в работе которой я отказался по недостатку времени. Ручная перекопка земли стоила слишком дорого, и он добыл где-то специальный плуг, которым можно было поднимать землю на глубину 10 вершков. Впрягал он в него четыре пары лошадей, сажал на переднюю верхового, а сам направлял плуг и орал на лошадей что есть мочи, и таким образом разработал под пасеку еще десятину и весной 1900 г. засадил ее разными сортами ивы. На этой работе он и надорвался окончательно. А тут новое горе: жена с детьми ушла от него и стала жить в Москве у родных. На зиму, с общего согласия, и он ушел в Москву на отхожий заработок и поступил в бутафорную Художественного театра, куда взял его В. И. Немирович-Данченко, бывший там распорядителем. Но через два месяца он вернулся, так как эта работа оказалась ему не по плечу.

К тому же и в моей семье произошли изменения: брат Иван отделился, Павлу надо было идти в солдаты, мать слегла больной и безнадежно. Дома некому стало работать, и отец стал звать нас домой, и, видя, что с Цингером мы долго не проживем, по его несерьезному желанию жить простым земледельцем, мы и решили вернуться в Боровково, хотя я там успел поставить собственными руками ригу, сарай, разработал десятин восемь земли. Правда, Иван Васильевич Цингер не хотел, чтобы наша ячейка распалась и делал попытки принять в нее новых членов, и уже один из них, Сергей Удалов, мелеховский крестьянин, перебрался к нам на жительство, но, проживя месяца два, ушел, поладивши вновь со своим отцом. Другой раб Божий, Тимофей Журавлев, с которым Цингер был связан давно по плетельному делу, недолюбливал крестьянской работы и, долго проживши около нас, так и не решился к нам переехать. Других порядочных мужиков мы не находили и так и оставили всякие надежды на увеличение нашей коммуны. Да и Цингер понял воочию, что ни он сам, ни тем более его жена, пока у них есть барский двор, к крестьянской работе будут не способны, а отказаться добровольно от этой привилегии они не могли. Человек-животное здесь одерживал верх над человеком духовным. Он только тут увидал, как трудна и грязна крестьянская работа и как мало она дает материальных возможностей, и перестал ее идеализировать, да и

Толстой ему говорил, что насильно на небо не влезешь и Царства Божия не заслужишь. Когда я от него ушел (весной 1900 г.), этим же летом я опять был у Льва Николаевича. В это время духоборы сидели в палатках около Батума и ждали, с одной стороны, помощи на переезд в Америку, а с другой — оформления своего выезда из России и разрешения на выезд в другие государства, а также и контрактации на пароходы. Для этого нужны были образованные люди, знавшие английский язык, и Лев Николаевич поручил мне просить от его имени И. В. Цингера, не согласится ли он за свой счет провожать духоборов в Америку и там помогать им в переговорах с канадским правительством. Цингеру очень хотелось отправиться в эту поездку, но он не мог достать для этого денег и с сожалением отказал Льву Николаевичу. После этого он вскоре заболел сахарной болезнью, долго лечился, но все же умер в Москве, в Екатерининской больнице. Умирая, он больше всего жалел о том, что мало ходил босиком по земле, в особенности после дождя, когда земля теплая. Лев Николаевич собирал большие пожертвования на духоборов и отдал им 12 тысяч рублей, полученные им с издателя «Нивы» за проданный ему роман «Воскресение», ради чего он сделал исключение своему приказу не получать гонорара за свои писания.

# Глава 36
# С волками жить — по-волчьи выть

По моем возвращении от Цингера молва закрепила за мной звание отступника и безбожника и направила на меня все стрелы и общественного и начальнического притеснения. У меня была некрещеная дочь, что внушало особый страх у верующих женщин. На нее смотрели с сожалением, как на погибшую, и даже моя мать, уже лежавшая больной в постели, не могла, как говорила она, равно относиться к моим детям: «Эти вот дети, как дети, — а эта (некрещеная), как чурка какая». А отец, когда напивался пьян, ругал меня за это скверными словами и грозил избить. Но сам он, как начитанный и грамотный, мало верил Православию и инстинктивно не любил попов, а потому трезвый никогда не делал мне в этом никаких упреков. Пьяный же он подчинялся общему мнению и делал нам всякие неприятности. В первую же Пасху я заявил священнику, чтобы он в праздники не ходил в наш дом для молебнов, водосвятий Христа, но он на это возражал, что ходит не ко мне, а к моим старикам, которые настоящие православные. После же смерти матери отец стал и сам прятаться от попов. Когда они обходили нашу слободу, он нарочно уходил в ригу или улезал на печку. Священник с дьячком входили к нам в дом, мы с женой уходили в другую комнату. Они пели, что полагалось в этот праздник, и уходили. Я раз навсегда отказался им платить и участвовать в их службе. Без отца им все же было конфузно служить одним в нашем доме, и были случаи, когда священник, идя по деревне, искал моего отца, и когда находил, то давал ему на полбутылки, лишь бы он шел с ними в наш дом. Ему неудобно было обходить мимо, так как и другие, на меня глядя, перестали бы их принимать, не видя в этом никакого наказания для меня. Дальше мы в своем доме не имели уже ни масла, ни лампады. Они приходили и говорили, что надо накрыть стол и зажечь огонька. Я отказался, говоря, что не имею ни масла, ни лампады, тогда дьячок зажигал свою свечку, приклеивал ее к стенке, и они все же служили и уходили. И этак продолжалось два года и больше. Как-то перед Рождеством я был по какому-то делу у священника, и он мне сказал: «Как же, Михаил, а на праздник-то я все же к вам приду». Я сказал, что из избы никого не выгоняю, но что, как и всегда, платить им не буду. Он обидчиво сказал: «И как тебе не стыдно, Михаил, точно ты не знаешь, что мы ходим не ради платы, а исполняя свой пастырский долг».

— Вот, — говорю, — если бы вы это в каждом доме говорили

и не требовали платы, а то мне-то вы так говорите, а другие идут ко мне жаловаться на вас, что вы дорого берете, особенно за свадьбы.

Его жена (попадья) была в соседней комнате и слышала наш разговор. Как женщина, она не выдержала упрека, подошла ко мне и гневно заговорила, торопясь:

— Дорого берете, дорого берете!.. Это десять-то лет учившись… пять тысяч проучили… а тут собирай с вас по пятачку 30 лет, да еще говорят: дорого берете!

Я возразил, что мужики не виноваты, что они пять тысяч проучили. Отдавали бы, говорю, детей в работники, тогда бы и пяти тысяч было не надо.

То ли священник обиделся на это, то ли ему консистория разрешила обходить мой дом, но после этого Рождества (в которое он все же пришел к нам) больше он к нам не ходил, и лишь когда мать была близка к смерти, он пришел ее напутствовать с дарами.

В это время, неделей раньше, у нас родился еще ребенок — девочка, которую мы также не крестили ни в какую веру. Особоровавши мать, священник с тоскою и гневом обратился к матери:

— Ах, Аксинья, Аксинья (так звали мою мать), и что же это в вашем доме делается? Разве тебе не жалко губить дутей, ведь они как щенки не крещеные-то, куда они последуют, если умрут, ведь ты отвечать за них будешь.

— А я что же с ними сделаю? — говорила мать. — Они меня не слушаются, а я сама последние дни доживаю.

— К властям предержащим обратилась бы, в волостной суд пожаловалась, — наставлял он ее, — за это и постегать можно, у тебя тоже власть родительская.

А затем, обращаясь к моей жене, наставительно заговорил:

— По закону-то христианскому ребенка окрестить надо, имя наречь, а тебе молитву очистительную прочитать, дом освятить и очистить, или ты у мужа бусурманству научилась?

Жена сказала, что никакой нечистоты в родах нет, нечистота в дурных словах и делах человека, внутри человека, а не наружи. А наружную нечистоту щелоком и мылом смыть можно, а молитвами тут не поможешь, а имя мы сами ей дали.

— А молитвы, — говорю я, — мы и сами знаем и можем их хоть пять раз прочитать, только какой толк-то из этого?

— Ишь, какие ученые, — возразил дьячок, — они сами будут и молитвы читать и имена давать! Это только нам дано, мы для этого и приставлены, а ваше дело землю пахать. Зачем вы наше имя указали, вы бы назвали ее чуркой иль палкой, а то наше имя

украли?

— Если вам это дано, — говорю, — ну вы и читайте всем желающим, а мы в чужих молитвах не нуждаемся, и имя у вас не крали, так как имена и до нас на свете были, и вы их не покупали.

— Вот до чего дожили, Аксиньюшка, — сказал священник, — яйца курицу учат; от Бога отказались и безбожию всех учат. За что же нам Бог счастье-то даст? Ну, ну!

После этого он забил тревогу в консистории, доказывая опасным оставлять меня среди населения, как совратителя.

Кроме того, на всех общественных молебнах и поминках он стал внушать крестьянам о том же, давая им понять, что они могут общественным приговором сослать меня в Сибирь и вообще удалить из нашего общества, и к осени 1902 г. такой приговор был написан в мое отсутствие. Приговор этот через консисторию был направлен в Тульское губернское правление для утверждения и исполнения. Но, к моему счастью, как мне говорил становой после, тульский прокурор при рассмотрении этого приговора не согласился с мотивами моего выселения. Было написано удалить меня как порочного члена общества, а отступление от Православия не подходило, по его мнению, под понятие порочности. Присутствие передало дело к доследованию через полицию.

— В крайнем доме спросил я у Свирина, — говорил мне потом пристав, — что у вас тут за канитель с Новиковым, что он, оброк не платит, или власти не подчиняется? — Пустое, — сказал мне Свирин, — от он тверезый и с нами ничего, оброк хорошо платит, вот только с батюшкой не ладит, вы у него спросите: почему он в церковь не ходит. — Я не поехал и к батюшке, — закончил пристав, — а прямо и донес, что дело возбудили только из его отступления от Православия. Присутствие-то и отклонило.

Когда надежды на выселение меня не удались, священник повел другую политику. Кажется, в это время консервативные газеты, «Московские ведомости» и «Гражданин», забили тревогу об оскуднении Православия в народе, причем рекомендовали духовенству в приходах более активно бороться с отступившими и колеблющимися. В результате чего священник в одной проповеди говорил: «Вот было время, когда в народе была крепкая вера и никакой смуты никто не сеял. Тогда сам народ не стыдился охранять чистоту своей веры и гнал от себя и всячески поносил развратителей, предавая их в руки гражданских властей! А на Вселенском соборе даже сам Николай Угодник не постеснялся простереть свою длань на лицо ересиарха Ария, и никто не осудил его за это из всех присутствовавших иерархов. А вы теперь боитесь и слово сказать своим совратителям и

допускаете всякое поношение Православной веры и всякое над ней глумление. Он вам скажет, что сходил в церковь, покивал головой, а вы на это и сказать что, не знаете».

В результате такой проповеди отношение ко мне окружающих крестьян обострилось еще больше. Пьяные мне прямо говорили: «Слышал, чем вашего брата учить надо, а не слыхал! так вот я покажу». И они мне, не стыдясь, показывали кулаки, говоря при этом, «что лучше нигде не запаздывай вечерами, а то тебе влетит».

А на одной сходке мужики уже прямо предъявили мне ультиматум, чтобы я перестал работать в праздники и что иначе они меня принудительно будут сгонять с поля. «Мы не хочем, чтобы ты срамил наше общество, ты понимаешь, мы тебе запрещаем это всем миром», — злобно и решительно наступая на меня, говорил мне староста Соколов (один из тех стариков, о которых я уже упомянул в начале своей повести). Я с ними заспорил, доказывая, что никакого законного права они на это не имеют и что закон никому не запрещает работать в праздники по доброй воле.

— Мы не признаем ни Ховраля ни Мовраля, — поддержал его Сычев, — раз ты общественный человек, ты по-общественному и жить должен, а не творить свою волю; не хочешь подчиняться обществу, убирайся от нас на все четыре стороны, мы и на дорогу дадим.

Я им не уступал и сказал решительно, что если они сгонят меня с поля, то я пойду жаловаться, и им попадет от начальства за самоуправство.

— Да что вы к нему пристали, — сказал Осип Михалыч, — и чего ради с ним грех заводить, пускай его работает хоть по ночам, все равно у него ничего не родится, не попустит Бог такого греха и непременно накажет или тем или другим…

Старик этот был отставным солдатом и плохо верил в Божеское наказание и втайне поддерживал мою руку из уважения к моей ссылке, зная лучше других, что меня гоняли за осуждение коронационных расходов перед коронацией Николая II в 1896 г. Его племянник Сашка Гордеичев был в Туле жандармом, участвовал при нашем обыске с начальством в апреле 1896 г., а потому он и знал лучше других мою историю.

Я воспользовался его защитой и стал развивать его мысли. Вот и чудесно, говорю, чего вам зря волноваться и грех заводить. Угодна Богу моя работа, он мне даст хороший урожай, а не угодна — и впрямь ничего не родится, я и сам тогда увижу и брошу работать по праздникам. Вам, говорю, за мой грех не отвечать. Бог лучше вас знает, кого карать, кого миловать.

Подождем до осени, тогда и увидим.

Старикам такой оборот дела очень не понравился, и они злобно ругались, настаивая на моем подчинении обществу, но всем остальным это было на руку. Давало выход из затруднительного положения. Кому, в самом деле, интересно заводить попусту грех без уверенности в своей правоте? Затаив злобу, старики уступили и только при всяких случаях жаловались на меня начальству, доказывая необходимость удалить меня из общества, как паршивую овцу, пока я не успел всех совратить «в толстовскую веру».

А тут пошла работа, пришла осень, и мой овес от ранней обработки и посева опять вышел лучше других. Туг уже увидели не одни старики, что Бог не наказывает за хорошую работу, и понемногу успокоились, и стали у меня перенимать и понемногу учиться.

Был еще старик Иван Иванович, которого почему-то звали Сверчком. Был он хитрым и скуповатым, хотя и любил выпить. Он первый додумался извлечь для себя выгоду из своего отношения к церкви и священнику. Увидавши на моем примере, что Бог не наказывает даже «отступников», он решил, что «за малый грех» и совсем ничего не будет.

Решивши так, он стал выжимать из платы священнику и за требы, и за домашние молебны и Христославление, давая ему вместо 50 копеек гривенник; вместо 20 — пять копеек или три. Но когда на Крещение ходили на Иордань с крестным ходом и святили воду, Сверчок первым после этого приводил на Иордань лошадей и поил их святою водой, а для коров таскал ведрами, что не нравилось не только священнику, но и всему народу.

— Смотрите, — говорили о нем, — как батюшке платить, так он дает три копейки с рубля, а как святою водой пользоваться, так он и лошадей приводит!

Но этого было ему мало, и он задумал нажить капитал, пьяненький он стал захаживать ко мне и толковать насчет псалмов и Священного Писания. Он сам читал когда-то Библию и считал себя за знатока в Писании. Но его привлекало ко мне не чтение Писания, а тайная надежда через меня нажить капитал. Он, как и другие, верил в темный слух о том, что я, отступивши от Православия, продал свою душу и мне за это Толстой платит 25 рублей в месяц. Моя кое-какая удача в хозяйстве от трезвости и трудолюбия объяснялась им по-своему и поддерживала уверенность в помощи мне со стороны. Будучи атеистом в душе, он также не прочь был продать свою душу и все разными намеками старался узнать от меня, есть ли такой порядок и верна ли такая сделка. Я с ним, конечно, смеялся на эту тему, но он не

верил в мой смех и старался все больше и больше войти ко мне в доверие. Однажды он встретил меня на огородах (я вечером искал лошадей) и прямо приступил к делу.

— Ну, так как же, — сказал он, — я уже наполовину «ваш», а могу быть и совсем вашим, только как это насчет 25 рублей-то, верно ли это?

Чтобы вызвать его на большее признание, я притворился, что ничего не понимаю и равнодушно спросил: «Ты что это, занять что ли у меня хочешь? — так у меня таких больших денег не водится…»

— Я не шучу, — досадливо сказал он, — я и расписку подпишу своей кровью, только бы это надежно было.

Я рассмеялся и сказал ему в лицо, что если бы такие дураки и водились, которые бы покупали души, так нам с тобой за наши не дали бы и по три копейки, а не только по 25 рублей, ну а из таких денег и разговор заводить не стоит.

— Да ведь я тогда и Богородицу в дом не буду пущать, — поясняет он.

— Ну, это напрасно, не только Богородицу, но и нищих надо пускать и от них не запираться, — говорю я, — а Богородице, если Она придет, я и ворота растворю.

— Ну, с тобою пива не сваришь, — злобно сказал он, — а я думал, ты человек серьезный.

После этого он ко мне перестал ходить и долго злобился.

# Глава 37
# Беседа с миссионером

В августе этой же осени Тульский архиерей Парфений прислал ко мне миссионера для увещевания. Была еще уборка хлеба, мне было некогда. Мы сели с ним на завалинке, и я прямо поставил вопрос: в чем дело? Зачем я нужен? Миссионер видел мою досаду и усталость, но ласково заговорил:

— Я посетил вас по поручению владыки, чтобы узнать, какие у вас разногласия с Православной Церковью.

Я сказал, что, изучая Евангелия, я не нашел в них установления Христом никаких Таинств и догматов, а тем более понятия о Его Божественности или необходимости длинных молитв, всяких прошений, служб и обрядов, а потому и перестал все это признавать и в этом участвовать.

— Для меня, — говорю, — Христово учение есть простое нравственное учение о жизни: как и в каких случаях поступать с людьми, и в своей жизни, чтобы меньше грешить и больше быть полезным всем. По этому учению надо Богу служить не внешне: обрядами и песнопениями, а самою жизнью: чистой, трезвой, разумной и трудолюбивой, и не думать, что дурную и пьяную жизнь можно оправдать перед Богом молитвами, покаянием и службами. Попутно я привел много текстов из Евангелий в подтверждение своих мыслей.

— Все это приятно слышать, сказал он, вот только вы впадаете в ошибку в своем самомнении, признавая одну часть текстов и отрицая или не читая других.

И он стал долго и подробно, но очень неубедительно объяснять мне церковное понятие евангельских притч, поучений и изречений, на каких основывается церковное построение о Таинствах, догматах и ее иерархии.

— Мы, верующие, сказал он, должны верить всему Евангелию от крышки до крышки, а не выбирать из него только то, что кому нравится, не рыться в нем как куры и навозе. Для нас нет противоречий ни в таинственном смысле учения, ни во всем том чудесном, о чем повествуют евангелисты. Христос — Бог, и для нас все ясно и понятно. А коль скоро мы отвергнем его Божественность, тогда все сразу меняется и приходится выдумывать все свое и человеческое, чтобы совсем не отказаться от него. А это вот вы и делаете по своей гордыне и путаетесь в своих собственных выдумках.

Я сказал, что для нас Евангелие, это — сундук с добром. Мы

его открываем и перебираем все его содержимое и находим, что одни вещи нам нужны сейчас, и мы их берем, другие будут нужны завтра, третьи понадобятся через год, четвертые пригодятся когда-нибудь. Но среди этих нужных видим много других, может быть и ценных и важных, но в которых мы не нуждаемся и не видим никакой возможности приложить их в обиходе жизни. Что нам с ними делать? Тоже брать? Но это значит обременять себя лишней заботой и хранением ненужных нам вещей и понятий, а потому и не берем. Мы полагаем, что на это добро и понятия у всех свои потребности и своя оценка нужного и важного. Ну и пускай каждый по-своему пользуется этим добром.

— Что вы, что вы, дорогой друг, — заволновался миссионер, — это же невозможно, это губит всякую организацию и всякое духовное единство в Церкви верующих. А ведь вы же читаете в Евангелии: «И да будет едино стадо и един пастырь».

— Вот и поговори с ним, вишь, он куда кидает, его семи толкачами не поймаешь в ступе, — сказал наш священник, — он умнее нас быть хочет.

Я сказал, что мы читаем и другое, более важное пожелание: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Но ведь мы же этого совершенства не знаем ни в себе, ни в других и не тяготимся своим несовершенством. Лучше бы было, говорю, достигнуть и этого совершенства, и этого единства, но пока его нет, не станем принуждать к этому никаким нажимом и насилием, а в этом есть большой грех от связи Церкви с государством, помогая одна другому, они доходят до тюрем, ссылок и всяческих притеснений.

— Но почему же отказываться от этого единства и становиться врагом и блудным сыном матери Церкви, — настаивал он, — разве святая Церковь имеет какие-либо другие цели по отношению к своим членам, кроме одной материнской заботы и любви к ним? Ну скажите, что есть худого в церковных установлениях, ее культе и учении? Разве она не скорбит скорбью каждого своего члена, разве она не утешает и не дает им помощи и надежды на спасение и воскресение? Отнимите эти надежды и это утешение в скорбях от слабых в своем одиночестве людей, что с ними будет? Ведь нужно быть героем, гигантом, чтобы не чувствовать своей слабости и ничтожности в скорбях житейского моря и не чувствовать своей зависимости от неведомой тайны жизни, или Бога, как мы Его понимаем. Подумайте поглубже: не гордыня ли говорит в вас вместо разумения? Не она ли отгоняет вас от матери-Церкви и делает мудрствующим лукаво? Вы наставляете на служении Богу доброй жизнью, но разве Церковь препятствует этому; разве она не учит тому же? Если бы вы не

расходились с нею, ваша добрая жизнь была бы также и перед Богом и перед людьми у всех на виду.

Я сказал, что с идейной стороной Православия и я не думал расходиться и не думаю. Во внешнем же богослужебном культе и Таинствах перестал нуждаться, так как и без их воздействия ясно понимаю пути и знаю, какими мне нужно ходить и каких остерегаться. Может быть, для более слабых людей, живущих без духовного разумения и рассуждения, они и нужны, как вехи на незнакомой дороге, — об этом я не берусь судить, — но я перерос эти загородки и вехи и без них не спотыкаюсь и не блужу. И я бы ничего не имел против них вообще, если бы все духовенство этим культом и Таинствами не затемняло духовного взора всякому слабому человеку и не загораживало движение вперед к главной цели жизни. Почему оно на всех углах и перекрестках не говорит своей пастве о том, что этот внешнеобрядовый культ и Таинство нужны не Богу, а только людям же, как доброе и полезное времяпрепровождение, а что настоящее богослужение и богоугождение может быть только в самой доброй, трезвой и трудолюбивой жизни, как и сказано у апостола, что вера без дел мертва есть? Вот когда оно не будет этого скрывать, тогда в нем не будет никакой вины и обмана. А без этого толкования темный душою народ понимает так, что вся христианская вера и богослужение в этом-то обрядовом культе и состоит, и, выполняя его, он этим оправдывает свою дурную жизнь и не пытается ее изменить к лучшему.

— И мало того, — говорю, — что церковь не делает такого разъяснения, она, наоборот, гонит и преследует так называемых сектантов и именно за невыполнение этот культа, хотя у всех на виду в их личной бытовой жизни гораздо больше доброго и хорошего, чем у православных. Какая же в этом ее любовь к людям?

Миссионер повздыхал и не стал отрицать этих фактов.

— В каждом государстве, — сказал он, — есть своя политика, которая одним концом упирает в ту или иную группу непокорного населения и преследует их. Повинно в этом и наше государство. А мы что можем, мы бессильны и подчиняемся этой политике… Мы должны оберегать своих членов от влияния инакомыслящих, и без этого ни одна религиозная организация обходиться не может. Но мы молимся и о соединении Церквей и с уважением относимся ко всем религиям, даже языческим. От православных христиан мы не требуем соблюдения всех религиозных обрядов и посещения богослужений, но Таинства нашей веры, Символ Веры должны соблюдаться и признаваться всеми, иначе у нас не будет ничего связующего, по чему бы мы

узнавали своих единоверцев и единомысленных.

— Не знаю почему, — отвечал я миссионеру, — но вот моему духовному сознанию эти-то Таинства особенно и претят, и мне надо делать над собою насилие, чтобы их выполнять. Посещать церкви, слушать чтение Писания и песнопения молитв и гимнов я еще могу, но давать крестить детей, мазать их миром; ходить говеть, принимать иконы и им молиться руками — это совсем не могу, не хватает совести, и прежде, — говорю, — когда я во всем этом участвовал, всегда чувствовал какую-то натяжку и неловкость. То же говорят и другие, а раз так, то зачем же я буду себя принуждать к этому? Церковь, по-моему, в этом и повинна, что она не сообразуется с духом времени и не отступает от тех понятий и обрядов, которые имели смысл тысячу лет назад, а теперь совсем его утратили…

— Что вы, что вы, — торопливо перебил меня мой собеседник. — Да ведь в этих Таинствах вся суть Христовой веры. Древняя апостольская Церковь запечатляла в них все важные моменты из жизни и смерти нашего Спасителя и из жизни человеческой, как же мы можем все это менять и отбрасывать?

Я с досадой сказал, что, знать, вы плохо учили историю религии и не усвоили понятия о том, что тогда было время веры во всякие чудеса и сверхъестественное, и на этих-то понятиях и создавалась как догматика, так и церковные Таинства; чего в наше время совсем не могло бы и быть, хотя бы и Христос вновь родился! Время мистических представлений и веры в чудесное без подтверждения прошло, мы давно уже живем в области реальных фактов, и нам нет никакой ни надобности, ни возможности верить тому, чему могли верить тысячу лет назад. И если бы, говорю, Церковь пересматривала время от времени свои догматы и Таинства и отменяла те из них, которые особенно претят человеческому сознанию, она скорее бы добилась и в государстве и во всем мире того единства и соединения, о котором она молится.

Ну скажите: Церковь удерживает догмат искупления, троичности Бога, его бессемянного зачатия, Воскресения из мертвых и нетления мощей и т. п., на что все это похоже и нужно? Могут серьезно верить во все это грамотные люди? Нет, не могут. А не могут, и надо это оставить.

Мой собеседник все больше и больше волновался.

— Гордыня в вас говорит, одна гордыня, — говорил он, — христианская вера боговдохновенна, она основана на Божественном Откровении и Писаниях, изложенных в Библии, а вы подходите к ней со своим маленьким разумом и критикуете. Это недостойно, мой друг, недостойно. Если мы станем так

рассуждать и критиковать, то от нашей христианской веры ничего не останется, и люди превратятся в скотов, у которых также нет никакой веры и нравственного руководства в жизни. Фома апостол тоже не верил, но когда увидел — уверовал. А вы и видите, и не веруете.

— Да в том-то и горе, — говорю, — что я ничего не вижу, чтобы веровать во все чудесное и непонятное, чем полон катехизис.

— Как вы не видите чудес вот этого мира, земли и неба, — с увлечением заговорил он; — не знаете тайны жизни и смерти, тайны перерождений человека из животного в духовное, из зверя в ангела; тайны роста собственного разума, тайны бесконечного видимого и невидимого, тогда вы совсем слепой человек и мне вас очень жаль. Вы ослепли, как тот человек, который долго глядел на солнце!

Я сказал, что во все эти тайны я верю, верю и в тайну бытия Божия, и в Его закон, вложенный в душу человека, верю и в вечность духовного сознания, но вот в реализацию церковных этих тайн от понятия Бога в непонятной Троице, до понятия надобности крестить младенцев, и веры в пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Бога — в это никак не могу верить и не понимаю, какой прок в такой вере.

— Если вы искренне верите в Бога, — сказал он примиряюще, — то я надеюсь, что Он вразумит вас и во всем остальном и приведет вас в Церковь, и тогда у вас ни в чем не будет сомнения. Бог — это главное, а остальное приложится.

Попросив моего согласия приехать ко мне и еще раз для беседы, он стал прощаться.

— В Божьем мире все хорошо и прекрасно, прекрасна и наша жизнь, если только мы сами ценим этот мир и идем к нему навстречу с открытой верой, — сказал он на прощание.

— Чудесно, — говорю, — я как раз толкую о том же, что Богу жизни и мира надо служить не отвлеченно: в обрядах, Таинствах и догмах, а только в чистой, трудолюбивой и трезвой жизни, стремясь все выше и выше к Его совершенству, и прежде всего этого не должны забывать так называемые пастыри и учители и показывать примеры такой жизни, а этого-то я в них и не вижу.

# Глава 38
# Праздничное пьянство

Отступивши от Православия, само собой мы бросили и старые привычки праздничного пьянства, хождения по гостям и приема их у себя по-праздничному, что, конечно, поселяло и большую зависть к нашему новому быту, и большую злобу. Ведь праздников в году много, все их нужно праздновать честь честью, а ведь у всех родство, кумовство, нужно всем угодить и удружить, чтобы не было обиды, а это ведь требует и большой заботы и хлопот, и постоянных затрат, и денег, и времени. А мы стали жить свободно, и никаких таких праздничных обязательств у нас не стало ни по отношению к себе, ни по отношению к родным и знакомым. Любители праздничной выпивки нарочно заходили к нам в праздники и поздравляли. Я, конечно, с ними разговаривал, не угощая ничем, а тем более водкой, которая в нашем доме никогда не стала и появляться. Поговорит, поговорит человек в праздничных тонах и как бы вдруг спохватится:

— Ну, ты соловья баснями не корми, а хоть маленькую баночку для праздника поднеси. — Я наливал из самовара стакан кипятку и подносил.

— Это ты сам пей, — ругался гость, — вода-то и мельницу ломает, а ты водочкой угости.

Я смеялся и перечислял ему все те случаи, когда и кто пьяный замерз или умер; перечислял случаи пожаров, драк и всяких скандалов и болезней от пьянства и советовал не пить.

— Ты еще скажи, чтобы мы и хлеба не ели — черт не ест и не пьет, а все в аду живет, и нас ты хочешь окаянными сделать, чтобы мы друг друга не знали, — возражали такие гости. Я обрывал такую философию и говорил, что все это они врут и глупости городят. Живем мы все рядом, друг к другу за всякой нуждой ходим, как тут еще друг друга знать надо? Компанию водить и без водки можно, пожалуйста. Поставил самовар, положил белого хлеба, вот тебе и угощенье, и беседуй вокруг самовара. И дешево, и голова не болит; да никакого и скандала не будет, как на пьяных праздниках.

Гости удивлялись, что мы не берем водки, обижались, но в конце концов привыкли к нашим порядкам и стали перенимать. А в особенности это нравилось женщинам, и они в спорах с пьяными родными указывали на нас как на пример и хвалили нас. «Вы, вот прожрете на винище пять рублей за праздник, и не сыты не голодны, только ругань от вас да песни похабные, а они

рубль проживут на белом хлебе и то сытнее нас будут», — говорили они.

А на одной сходке, когда был старшина Кузнецов для учета старосты, вычитывая список недоимщиков, он сказал:

— А вот у Михаила Петрова нет недоимки, хотя у него и хозяйство малое и со стороны нет податчиков.

— Ему можно, — со злобой осуждения сказал староста Василий Захаров, большой охотник до праздничного пьянства. — Нам всякий праздник в 5–10 рублей вкатает, а Покров и Пасху и в 20 не вогнешь, а он, небось, и по рублю не проживает. У него все деньги целы против нас.

— Он и дом-то на поповы деньги выстроил, — сказала Вырцова Мария.

— Хороший мужик, — похвалил старшина, — вот кабы вы все-то так деньги берегли и так бы жили, никакого и греха с недоимкой не было бы. А то вот придется продажу делать у недоимщиков. Земский с меня тянет!

— По его жить — нужно людей не знать, — также со злобой заговорили другие мужики. — Он живет как окаянный: и сам не идет, и к себе никого не принимает, а мы так не можем. Еще не научились его басурманству.

— Ну это еще не видать, кто из нас бусурмане, — заступился старшина, — а только порядку и в жизни нашей и перед начальством было бы больше, если бы все так поступали. Я знаю, у него и в хозяйстве больше порядку.

И тут начался общий спор и за меня и против. В спор вступали женщины и против них мужики никогда не могли устоять, они указывали примеры и своей нужды, и своих болезней от праздничного пьянства и забивали мужиков.

— Врут они, что ко мне люди не ходят, — говорил я громко, — редкий день пройдет, чтобы ко мне по разным делам не ходили, ходят даже из других волостей, никого не гоняю. И начинаю рассказывать: приходит на днях старик из Ивановки, жалуется на священника, говорит, что не венчает его сына без уплаты 19 рублей, которые он насчитал на него со старыми долгами. Спрашивает: «Нельзя ли сократить попа?» Я говорю, что сократить никак нельзя, а вот совсем ничего не платить — это можно. Старик радуется: «Что же, архиерею что ли написать?» — Это не поможет, — говорю, — архиерей сам деньги любит и попы ему оброк платить обязаны. Нужно, — говорю, — только ему работы не заказывать, вот и платить не надо. Нашел твой сын себе невесту, и пускай без попа сходятся и живут, никто этому не помешает.

— Это ты на свою бирку гнешь, — догадывается старик, — а

мы так не можем, люди судить станут.

— А не можете, — говорю, — тогда надо платить по его расценку, он тоже вправе за свой труд спрашивать.

— Ну, вот, — смеются бабы, — а говорят Михаил Петрович против духовенства идет, он их интересы соблюдает.

— Он соблюдает, а слышь, понимаешь, куда гнет, чтобы и без попов обходились, — разъясняет ядовито староста. Но, люди слушают, и я продолжаю.

— А то, — рассказываю дальше, — приходит молодой парень-нищий, его ко мне на ночлег поставили; тары-бары, я и заставь его сознаться: почему он по миру ходит?

— Было нас два брата и отец-старик, и жили ничего, лошадь, корова, телушка, овцы… Ну, 20 годов мне стало: женить надо, — говорят отец и мать. — Жениться — не в работники идти, взял да женился. Три бабы в доме стали, три мужика, а хлеба нет. На свадьбу, как водится, корову продали, думали, телка коровой на лето будет. А разгулялись — и телку пропили. А тут отец слег, перепил малость и умер. Гости не успели разъехаться — пришлось их на похороны оставлять. А за что взяться, ведь на похороны-то 30 рублей надо. Ну, и лошадь продали. А теперь вот и ходим по миру: брат пошел ко Мценску, а я к Туле, до весны все на лошадь-то настреляем.

Я ему посоветовал еще годов 20 не заводить никакой скотины, все равно, говорю, будут ваши жены рожать, придется крестины справлять, и опять пропьете. Подождите, говорю, когда ваши бабы отрожаются, а дети потом поженятся, а старуха помрет, ну тогда и можно лошадь с коровой купить. А пока что надо подождать.

Парень обиделся и тоже говорит: «Мы так не можем, люди судят, если родных не позвать».

— А не можете, нечего и людям завидовать. Сами нищими хотят быть, а на людей завидуют. Надо, говорю, бороться с дурными привычками, а не перенимать их и не разоряться. Бог бы не осудил, а люди, наплевать, пускай судят.

Такие разговоры старался вести везде, где были люди, и, конечно, они волновали людей и заставляли их думать и рассуждать и не пропали даром, а тем более я старался в смешном виде вышучивать их пьяное, праздничное веселье и указывал на их ту нужду, которую они несут после праздников.

— Хотя у нас и казенная продажа питей (введена с 1899 г.), — говорил на этой сходке старшина, — а я вот только радуюсь, что в моей волости такой человек нашелся, который трезвости учит и порядку всякому.

— Да ведь он в Бога не верует и детей не крестит, как

татарин какой, как же мы у него учиться будем, — говорили старики, радуясь тому, что при удобном случае начальству про меня «правду» сказали.

— Это не видать, кто из нас какой и кто как Богу верует, — оправдывался старшина, — мы и Богу молимся, а поучиться у нас нечему, кроме озорства и пьянства, а он не молится, да ведет себя благопристойно.

# Глава 39
# Дела общественные

По общественным делам от общества меня стали посылать уполномоченным к земскому начальнику. В один раз со мною вместе был старик Сычев, который тут же стал жаловаться земскому на мое безбожие, доказывая ему категорически, что если меня начальство не посадит в тюрьму, то я совращу деревню в безбожие.

— Да что он вам сделал, что вы на него налегаете? — спросил его земский. — Работает он хорошо, не пьянствует, оброк платит исправно, я его вам в пример ставлю.

— Зачем он от нас отбивается, нос воротит, — сказал Сычев, — мы живем в миру, все заодно: Богу молиться — так всем Богу молиться; работать — так всем работать; гулять и праздновать — так опять все вместе. А он, как овца паршивая, все от стада вон. А кабы он от нас рыла не воротил и заодно бы с нами был, мы бы его старшиной выбрали, он по бумагам-то все может, военным писарем был…

Земский начальник смеялся и, обращаясь ко мне с ужимками и гримасами, говорил:

— Что, законник, слышишь, что старики-то говорят; а говорят они дело. Брось сумасшедшего Толстого, перекрестись и покайся, и ребят давай окрестим, я и в крестные пойду, такого звону наделаем на всю губернию, трех попов позовем. А осенью и кафтан с старшиновской медалью наденем.

— И нам-то по баночке бы поднесли, — уже весело сказал Сычев, — а то все люди, как люди, а он как окаянный один.

— Ну, так как же, — спросил земский, — согласен, нет? Уж я стариков бы ублаготворил, и попы с нас денег не возьмут, дело только за тобой; и куму найду под пару.

Я смеялся, смеялись и присутствовавшие мужики, а Сычев сказал:

— Нешто его, ваше благородие, уломаешь, с ним попы не могут ничего сделать, а вас-то он и знать не хочет, он говорит все от Писания с ними. А вы что ему скажете?!

— Писания и у нас есть, да такие, каких сам Новиков не знает. Знаешь вот эту книжечку? — спросил меня земский, показывая законы о преступлениях против веры.

Я сказал, что знаю, читал, законы ясные: кого сослать в Сибирь; кого в тюрьму посадить; кого в монастырь на покаяние…

— Вот я с ним стану от Писания говорить, — сказал он

старику Сычеву. — Ну, так как же, — кивнул он мне, что же лучше-то: медаль старшиновская или поселение в Сибири?

Я возразил, что эти законы до меня не касаются, и я своим поведением под ссылку в Сибирь не подхожу…

— Ну это уж мне позвольте знать, какие законы кого касаются, — я тут тот же поп на своем месте, — сказал он деланно сурово. — Стоит только снова возбудить дело, и ты пойдешь иль в монастырь, иль в острог. Только как с вами связываться-то, ваш Толстой на весь мир караул закричит, если мы тебя судить станем. Да и греха на душу брать не хочется, ведь мы тоже православные. Сколько у него ребят-то? — спросил он старика Сычева.

— Четверо, сказал тот, двое православных, а двое нехристи, и глядеть-то на них нехорошо, как чурки горелые!

— Вот то-то и дело-то, что четверо, поди их потом обдумывай: куда девать? Уж вы там как-нибудь с ним сами справляйтесь, — сказал он Сычеву, — а ко мне с жалобами не ходите. Теперь время такое: всех терпеть надо. Вы вот на таких жалуетесь, — сказал он, обращаясь ко всем, — а сами и того хуже. Всех я вас наперечет знаю, то ли пьяница, то ли лентяй, то ли вор в животе. Кому палец в рот ни положи, все кусаются. Знаю я вас, старички почтенные!

Земский был старый человек, опытный. Он хорошо понимал, что никакой пользы, как чиновник, мужикам он не приносит, а потому любил всегда пускаться в рассуждения и жизненную философию и этим наставлял уму-разуму.

Приходили к нему с жалобами брат на брата, мать на сына, сыны на отца, невестка на свекровь, и каждый из них по-своему думал: стоит вот только пожаловаться земскому, и все будет хорошо. Земский заступится и что-то сделает такое, что другая сторона покается и не станет чинить обиды первой. А земский думал обратное, что ничем он тут помочь не может, так как между враждующими разгоралось такое зло друг к другу, что его со стороны не было возможности прекратить.

— Вот если бы у меня была власть вас пороть, — говорил он в таких случаях жалобщикам, — я бы вас обоих выпорол, вы бы и помирились, и грех бы свой забыли, а так что я с вами сделаю? Ну, вот, я скажу твоему болвану-сыну: не пей, не озоруй в семье, подавай отцу деньги. А вот старухе этой скажу: не обижай сноху и ее детей, помогай ей за ними ходить, — так что же, они послушают? Как бы не так, они как начнут оправдываться, так засыплют словами, одну до вечера не переслушаешь. Куда тут, они на словах умнее земского. Ничего без порки с вами не сделаешь, — говорил он в глаза мужикам, — рано вас пороть

бросили.

— А вот с этими, — указывал земский на двух братьев Гавриловых, часто надоедавших ему своими жалобами друг на друга, — даже поркой ничего не сделаешь, три года делятся и все не разделятся, каждый из них охотой даст себя выпороть, лишь бы досадить другому. Ну что мне с ними делать? — спрашивал он мужиков.

Мужики брали сторону одни одного, а другие другого, и начинался общий спор, который делался все шумнее и шумнее.

— Нет, с ними сам царь Соломон ничего бы не сделал, — сказал он, — вот если одного удавить, то другой воскреснет и станет спокойно жить, а пока они оба живы, они оба несчастны.

— А вот эта, — показывал он на хорошо одетую молодую женщину, — вот полюбуйтесь… Она с мужа содержания просит, ей земский должен помочь в получении с него содержания. Да разве жена-то у мужа содержанка? — укоризненно говорил он ей. — Жена помощница мужу, она сама работать должна, а то извольте ей на содержание получать. Да если я такое постановление сделаю, завтра ко мне все ваши бабы придут и тоже на содержание будут просить.

Мужики смеялись и были очень довольны, что их «барин» с ними ведет такие разговоры. И уходя, за веселой беседой, забывали свое личное горе.

# Глава 40
# Арест и предварилка

К осени 1902 г. в газетах поднялась шумиха «об оскудении центра», в результате которой министр финансов Витте добился разрешения учредить «комитеты по выяснению нужд сельскохозяйственной промышленности» по губерниям и уездам Центрально-черноземной области. В комитеты эти решили, по вольнодумству министра, призвать и мужиков, но не по выбору — от чего избави Бог, — а по назначению земских начальников. В своем Тульском уезде я и был назначен в такой комитет по указанию этого самого земского начальника Николая Петровича Докудовского, который после за мою рекомендацию получил строгий выговор от министра внутренних дел Плеве.

От волостного писаря (Бориса Константиновича Афонина) я получил удостоверение о моем назначении, а потом и повестку, а из нее я узнал о тех вопросах, кои будут обсуждаться в этом комитете. Не надеясь на свое красноречие, я написал докладную записку по этим вопросам, в которой, описавши крестьянские доходы и расходы, налоги и поборы, выражал недоверие серьезности правительства узнать что-то новое через эти комитеты.

— Крестьянские нужды — не иголка, которую нужно искать, — говорил я в конце записки, — они на виду у всех: с одной стороны, непосильные налоги, а с другой — праздничное пьянство, а больше и искать нечего. Надо закрыть казенку и отменить выкупные платежи, а тогда и нужда крестьянская уменьшится. А то затянули крестьян выкупами как мертвой петлей, подставили кабак, а теперь и прикидываются непонимающими в «оскудении центра».

Изложивши все цифровые данные о необходимости отмены выкупных платежей, я кончил ее требованиями тогдашних левых либералов:

1) отмены выкупных платежей и круговой поруки;

2) отмены телесных наказаний для крестьян по суду;

3) отмены стеснений и преследований по делам веры и

4) отмены предварительной цензуры и допущения свободы печати.

На заседание Тульского уездного комитета (в начале октября) собралось много дворян-помещиков и около десятка крестьян. Части черносотенных помещиков не нравилось, что Витте что-то выдумывает новое, и они (некоторые пьяные) под командой

Воейкова Ксенофонта Павловича стали скандалить, называя это собрание незаконным сборищем. Напрасно предводитель дворянства, Иванов Касьян Иванов, читал им распоряжение Витте, они требовали царского указа, а его почему-то не нашли.

— У нас все обстоит хорошо и благополучно, — кричали пьяные дворяне, — какие еще комитеты, чего в них выяснять, а Витте сам жид и христопродавец!

Невзирая на их скандал, Иванов все же открыл собрание, прочитал распоряжение и поставил на обсуждение вопросы. Несколько человек успели коротко высказаться, в том числе братья Гуревичи. Дальше Воейков стал опять громко кричать и скандалить, и председатель был вынужден закрыть собрание и составить об этом протокол, было предложено к протоколу приложить и готовые материалы. Мне было обидно, что я проездил попусту в Тулу, а говорить не пришлось, и я приложил свою записку к протоколу. Ее сейчас же начали читать вперед двое-трое дворян, а затем кто-то стал громко читать вслух и минуты две все с напряжением слушали. Затем Воейков вскочил, повалил много стульев и закричал на председателя: «Как ты смеешь допускать публично читать такие гадости? У нас, слава Богу, не сумасшедшая Франция, у нас Русь православная! У нас Царь православный! Если ты, — угрожающе подступил он к Иванову, — сейчас же не доложишь об этом губернатору, тебя завтра же уберут вместе с этим крамольником — кивнул он на меня. — Я сейчас сам поеду, я докажу вам, докажу!!»

Иванов перепугался, сел на извозчика и отвез весь материал губернатору среди ночи, в том числе и мою записку. А на утро другого дня через Тулу проезжал министр внутренних дел Плеве, ехавший на станцию Тихорецкую по направлению к Ростову-на-Дону, где в то время произошли какие-то беспорядки среди рабочих. Губернатор, встречая его на станции, успел доложить ему о вечернем скандале в нашем комитете и отдал ему мою записку. А дальше все пошло, как и надо. Плеве дал телеграмму немедленно меня арестовать и отправить в распоряжение департамента полиции, директором которого был Лопухин.

В половине октября (или раньше немного), среди темной, грязной и дождливой ночи, к нам в деревню приехали три тройки и двойки с жандармскими властями, в сопровождении товарища прокурора Воронцова-Вельяминова, исправника и станового. Окружили наш дом, подняли всю деревню на ноги и произвели у нас обыск. Конечно, семья была насмерть перепугана этим налетом, стоял вой и плач, но начальство было неумолимо. Забрали у меня типографский шрифт, которым я учился тиснению золотом на переплетаемых мною книгах, чему я тоже

учился по руководству. Забрали много писем и разных бумаг, и том числе и черновую рукопись моей докладной записки в комитет; забрали и меня самого и на очередной подводе соседа-крестьянина (кстати будь сказано, моего же родного дяди Ивана) повезли между тройками с двумя жандармами на станцию. От невылазной грязи дядина лошадь становилась, а сам он ругал меня нехорошими словами за то, что его среди ночи из-за меня послали с подводой. Что бы я не убежал в темноте, жандармы посадили меня между собой и крепко держали за руки. На станции сдали меня под расписку двум жандармам, а исправник (помнится, Астров) сказал мне на прощанье:

— Прощай, брат, теперь уж в свою деревню не вернешься!

Знакомые железнодорожники злобно смотрели на начальство и жалели меня, вслух выражая мне свое сочувствие.

Я был одет в черной старой шубе с отрепаным подолом, и мои провожатые были очень недовольны мной за мой убогий вид. Во всяком «крамольнике» они привыкли видеть студента или барина, и никак не могли примириться с тем, что меня, такого паршивого мужика, взяли «за политику». «Тут есть какая ни на есть ошибка, — говорили они шепотом от меня, — не может быть, чтобы такое рванье занималось политикой». Не сразу поверили и в Петербурге, что я не подставное лицо, но об этом после.

# Глава 41
# Камера №255

В Питере провожатые взяли у коменданта третьего жандарма и, с шашками наголо, повели меня по Невскому, в департамент. По дороге из публики несколько раз шутили над жандармами, что поймали и ведут такого оборванца, которого ради надо «очищать дорогу». «Таких городовые в участок водят, а они, ишь ты, туда же, за политику», — выкрикивали им. Жандармы чувствовали свой стыд и еще злее кричали на публику и извозчиков.

Из департамента, уже с другими жандармами и в «темной карете» меня сейчас же отвезли на Шпалерную, в дом предварительного заключения, и водворили где-то высоко, в камеру 255. Проходя через несколько ворот и дверей, я сразу почувствовал животный страх. Сказочные двенадцать дверей, из которых нет выхода, были налицо и страшили неопытного новичка. А в особенности тот гул от чугунных лестниц и полов, разносившийся по всей тюрьме от шагов часовых, было что-то дикое и страшное в этом гуле, и я не мог привыкнуть к нему. В маленькой каменной клеточке-камере было на первое время безнадежно-грустно. Давило сознание, что вот под одной с тобой крышей сидят тысячи людей, и никто не может не только проявить друг другу свое участие или помощь, но не может и видеть друг друга.

В каменных клеточках замурованы живые люди и должны жить месяцами и годами только сами с собой без всякой связи не только с внешним миром, но и друг с другом, хотя и находятся друг к другу на расстоянии одного аршина. Умри твои отец и мать, жена и дети, провались весь мир и этот город, и ты не будешь об этом знать, и тебя все равно не выпустят отсюда, как заколдованный клад.

Очень, очень трудна в первый месяц такая одиночка! Но человек всю жизнь живет надеждой на лучшее, стал и я здесь жить тем же. На другой день стало отворяться крошечное окошечко в железной двери и мне стали подавать кипяток, обед, ужин. Стали спрашивать: не пойду ли я на прогулку или в церковь, но все таким деревянным и безучастным голосом, от которого бросало в дрожь. Проклятые люди, продажные души, как вы смеете устраивать свое благополучие на крови и слезах ваших братьев?! Как вы смеете живого человека заточать в каменные клетки и мучить нестерпимыми муками одиночества?! Если вы в

борьбе за существование не можете обходиться без такого зверства — грош цена вашей цивилизации и культуре! Вы — волки! и ваша культура не делает вас лучшими против ваших родичей.

Первые дни, недели тянулись так медленно, так мучительно больно, что я совсем растерялся и не знал, чем занять свои мысли. О, если бы в это время ко мне вошел мой сосед и с ним можно было бы говорить, я был бы, кажется, так счастлив, как не был никогда. Но увы, мои сосед мучился, как и я, и тоже ломал голову: как бы завести знакомство? Он был пожилым человеком — я его видел в окно, на прогулке — с седою бородой и строгой величавостью. Он несколько дней кряду стучал условными знаками в мою стену, чтобы завязать разговор. Но я был новичком и ничего не понимал из этих звуков. Стража была как рыба нема, но мне так хотелось видеть живых людей и слышать их голос, что я выискивал всякие к этому способы, но все было бесполезно. Я думал: пойду на прогулку и увижу людей. Но не тут-то было. На прогулку водили на внутренний двор, в такой замкнутый круг с заборами, веером от середины к орбите, из которого ничего нельзя было видеть кроме заборов и верхних этажей этого дьявольского дома. Я насчитывал в них око двухсот окошек и вечером, когда во время прогулки зажигались огни, смотрел на них: во всех ли клеточках сидят такие квартиранты? Иногда в разных местах окно было темно, два-три, четыре. И я радовался тому, что из них ушли куда-то мученики люди.

Когда меня повели в баню, я радовался как ребенок, надеясь, что уж в бане-то наверно увижу людей. Но и тут мои надежды не оправдались. Меня заперли в маленькую клетку одного, где была ванна, и я так никого и не видел.

Для этой же цели я выпросился в церковь, но и тут дьявольская хитрость тюремщиков опередила мои желания. В церкви, у задней стены, был высокий амфитеатр с крошечными клеточками, из которых сквозь маленькие щелочки в 2–3 вершка в квадрате был виден алтарь, часть молящихся на полу, и слышны были певчие. Я был заперт в одну из таких клеточек и с большой высоты смотрел в такую щелочку на церковную службу. Меня радовало и это как-никак, а я все же видел живых людей, копошившихся внизу.

Недели через две я осмелел и стал подыматься по стене к окну, подтягиваясь на руках, и хотя это было рискованно, мог выстрелить часовой с высокой внутренней вышки, но я все же ухитрялся взглядывать и видел сверху вниз, как в этом лабиринте-круге гуляли заключенные. Их было одновременно более десяти человек, но, конечно, никто из них не видел друг

друга из-за перегородок. Они были как шальные, быстро ходили из угла в угол и были похожи на мышей, запертых в клетке. Иногда кто-нибудь из них останавливался, улавливая мой взгляд из окна, но тотчас же раздавался окрик часового на вышке этого круга, и человек срывался с места и начинал опять метаться по клетке.

Железная койка, табурет и столик — все это приковано к стене и полу, и ими нельзя пошевелить. А через печную отдушину и трубу все время, без остановки, и день и ночь, слышался какой-то унывный вой и музыка, точно где-то далеко надрывались от плача люди и выли на разные голоса. Я жаловался на это тюремщику, но он имел заткнутые уши и не должен был ничего со мной говорить. Несчастье! Вот уж поистине — имеют глаза и не видят; имеют уши и не слышат. Может быть, я когда-либо выйду из этой клетки и из этого страшного дома, а они, ради куска хлеба, так и умрут в этом доме с заткнутыми ушами.

О, какое счастье, мне дали каталог книг тюремной библиотеки и велели занести номера тех из них, которые я хотел бы читать. Я записал более пятидесяти и с жадностью набросился на книги, и в продолжение месяца читал запоем. Но странное дело, я стал иногда ловить себя на таких минутах, когда я ничего не понимал, перечитывая одно и то же место. Мозг останавливался на несколько минут, и я ничего не понимал. Господи, как же я ужаснулся той мысли, что я могу здесь сойти с ума, как мне стало жаль самого себя. В такие жуткие минуты страха мне всегда казалось, что вот вот стены моей клетки сомкнутся и погребут меня, как в могиле. А они так близко, что куда бы я не протянул руки — они везде касались меня своим холодом.

Некоторое утешение мне принесло неожиданное посещение среди ночи моей камеры помощником начальника дома предварительного заключения военным полковником, который, просматривая письма заключенных, заинтересовался моим письмом домой и пришел посмотреть на его автора.

— Вас тут из таких комитетов семьдесят человек, — сказал он мне в утешение, — вы не бойтесь, не распускайте нюни, ваши дела никто не считает серьезными и, наверно, кроме высылки на два-три года, ничего не будет, такое мнение сложилось в верхах и уже разносится по Петербургу. Я, разумеется, не должен был вам этого говорить, — спохватился он, — но мне вас жаль, и я пришел сказать вам правду.

— Конечно, тут всякие люди бывают, — добавил он.

Я спросил: не может ли он сказать, сколько времени меня продержат здесь в одиночке, хотя бы по примеру других?

— Насчет этого я не пророк, — сказал он более сухо, — сидят по три месяца, по шесть, сидят и год, но это мало, как исключения, а больше от трех до шести, смотря по количеству людей, замешанных в организации. В вашей сколько? — поставил он мне в упор вопрос.

Я сказал, что ни в какой организации я не состою. Я один.

— Ну, уж нет, позвольте мне не поверить, — сказал он уходя, — если бы вы не были в организации, вас сюда и не прислали бы. С одиночками там губерния возится.

# Глава 42
# На допросе

Через неделю меня вызвали на допрос (возили в «темной карете») в губернское жандармское правление, куда приехал и Лопухин. Пришлось долго ждать его приема, меня на время заперли в маленькой камере, и жандармы с большой учтивостью осведомились, не хочу ли я кушать. И тотчас же принесли обед. Один из них упорно смотрел на мою рваную шубу и на меня, затем тоном недоверия спросил:

— Вы из какого университета, вы студент?

И на мой отрицательный ответ, что я просто деревенский мужик, другой из них язвительно сказал:

— Знаем мы этих мужиков, у тебя и одежда-то поддельная! И бороду отрастил с умыслом!

На допросе меня ввели в небольшую, но светлую комнату, в которой со всех четырех сторон стояли огромные зеркала, и куда бы я не поворачивал голову, со всех сторон я видел самого себя во весь рост, точно я был не один, целых пятеро. Меня попросили раздеться и усадили и табурет, а сами, не глядя на меня, упорно смотрели на зеркала, на мое отражение. Речь, конечно, шла о моей докладной записке, оставленной в Тульском комитете, которая лежала тут же на столе.

Допрашивал меня жандармский полковник, а Лопухин и какой-то старый, седой генерал с немецкой фамилией, начинавшейся с «фон», грузно уселись в кресла и стали слушать.

Прокурор с мягкой бородкой и небольшой лысиной уселся от них поодаль за отдельным столиком.

— Это ты узнаешь? — спросил меня полковник, покончивший с разной формальностью, — это ты писал?

Я ответил утвердительно.

— А кто тебе диктовал? — как-то вдруг резко поставил он вопрос.

И я видел, как все присутствующие упорно глядят на зеркала, на мое лицо. А когда я стал настаивать, что я сам же и сочинял эту записку, как конспект для речи, которую я хотел говорить в комитете, если бы там пьяный Воейков не учинил скандал и не сорвал собрание, — мои слушатели незаметно стали переводить глаза с меня на мою шубу и обратно, очевидно не доверяя моим словам.

А кто-то мимоходом спросил: «Это постоянное ваше платье?» И когда я не понял сразу вопроса, жандарм приподнял мою шубу

и показал мне. Я сказал, что дома у меня есть другая одежда, но как теперь подходит зима, я и надел шубу. Мои слушатели упорно не верили тому, чтобы владелец такой рваной шубы мог быть автором этой записки, и хотели найти за моими плечами целую шайку крамольных социалистов. Ради этого министр Плеве и прислал меня сюда.

Полковник стал спрашивать об окружающих нас помещиках: о Цингерах, Гуревичах, Полякове, Смидовиче. С кем я из них знаком, кого знаю? Спрашивал о других, совсем мне неизвестных, ударяя на их фамилиях. И когда я говорил, что о таких не слыхал, он торопливо рылся в письмах и бумагах, отобранных при обыске и, ткая в них пальцем, спрашивал: «А кто такой Архангельский, Булыгин, Накашидзе?»

Я видел, что он, записывая мои ответы и затем прочитывая их мне, все же старается их исказить и придать другой смысл.

У меня вдруг нашлась храбрость, и я заспорил с ним об этом и сказал, что позвольте самому мне их записывать.

Полковник перевел глаза на сидевшего тут же в форме гражданского чиновника прокурора, тот посмотрел на генерала, и тот коротко сказал: «Можно, и нам это удобнее». Я стал сам записывать свои показания.

Не находя ничего предосудительного в моих ответах, полковник вдруг заговорил другим тоном.

— А это вот что, как это, по-вашему, «Правительство накинуло мертвую петлю на шею народа выкупными платежами, а теперь притворяется непонимающим и как иголку ищет причины народной нужды через эти комитеты?»

Это он вычитывал отдельные места из моей записки. На этом месте я забыл и о своей тюрьме, и о том, что я арестованный, и с жаром стал им доказывать, что при условиях таких оброков (а в то время еще платили 11–12 рублей с надела в 3 десятины) и при наличии такой малой земли крестьянин не может жить лучше и что об этом правительство отлично знает, и вместо того чтобы отменить выкупные, оно обходит их и о чем-то еще другом хочет узнавать через комитеты.

— Я не могу поверить, — говорю, — чтобы правительство не знало того, что знает каждый мужик, что при оброках в 20, 30, 40 и 50 рублей и при таких низких ценах на хлеб, можно было бы жить сносно. 20 рублей — это при двух наделах, а на двух наделах и для семьи-то хлеба не хватает, а там расход по хозяйству, а где же брать оброк?

— На пьянство находите, а на оброк нет, — сурово сказал прокурор.

Я опять стал говорить, что вот в нашей семье и не

пьянствуют, а без постороннего заработка все равно не сведешь концы с концами и хорошо жить не станешь.

— Довольно, — сказал генерал — а то он убедит нас, чтобы мы землю отдали крестьянам без выкупа, он опасный человек.

Лопухин из этого понял, что надо со мной кончать, что ничего опасного во мне нет, а главное, что за мной нет никакой шайки подпольных врагов государству. Он заторопился, собираясь уходить, но полковник остановил его, сказавши, что допрос на этом кончать еще рано.

— А вот это что такое, чье это письмо? — спросил он меня, показывая мне письмо доктора Архангельского, писанное им из Переяславля, куда он ушел на службу из нашей больницы в 1899 г. Вот он здесь пишет: «Скоро ли вы поймете, что работая на земле и разрешая этим материальную проблему жизни только для семьи, вы не делаете того огромного дела в борьбе за правду, к которому мы все призваны? Вы стоите на полпути и не замедлите пойти за нами, когда оглянетесь кругом себя…»

— Что это за борьба, в которой вы обязаны участвовать? — спросил меня полковник, глядя на меня в упор.

В ответе я написал, что это борьба не политическая, а религиозная борьба за духовную свободу и самосовершенствование, внутренняя борьба в искании Царства Божия и правды Его. Это такая борьба, которая возвышает человека над всеми его животными побуждениями и делает его человеком — сыном Божиим. «Вы прочтите это письмо все, — сказал я, — от начала до конца, тогда всем будет понятно, о какой здесь борьбе идет речь».

— Довольно, полковник, — опять сказал генерал, — а то он еще убедит нас поклонниками Толстого стать! Ишь, как ловко он излагает его теорию о проблемах совершенствования!

— Да, да, — сказал прокурор смеясь, — с ним опасно разговаривать, он любого простака в свою веру подгонит, хотя еще и юнец.

Всем стало весело. Начальство поняло, что им было нужно, и перестало глядеть в зеркала и на мою шубу.

Быстро закончив вопросы формального характера, прокурор сказал:

— Вот вы там и наставляйте в этой борьбе и правде соседних помещиков, чтобы они не пьянствовали и разную крамолу не проповедовали.

Лопухин хотел уходить, но генерал остановил его.

— С допросом кончено, — сказал он мне мягко, — теперь будем говорить с тобой в частной беседе, без записи. Скажи нам по правде, что у вас там мужики думают: не собираются

бунтовать против правительства?

— Что вы, ваше превосходительство, — быстро возразил Лопухин, — наш народ и благодушный, и по себе мирный, и если бы среди него не сеяли смуты недоучки студенты и разные прохвосты и проходимцы, правительству и заботы бы не было…

— Об этом мы и будем с ним разговаривать, — перебил генерал, — вот пускай он сам нам на это что-нибудь скажет.

Я сказал, что мужики бедствуют от малоземелья, бедствуют от винных лавок, которые надо бы закрыть, и, главное, от выкупных платежей.

— Бе-едствуют! — передразнил меня генерал. — Мы, дружок, бедствуем, государство больше всех бедствует и каждый год принуждено прибегать к займам. Что ты на этот счет изречешь?

Я сказал, что хорошие мужики сокращают свои расходы, когда видят, что хозяйство их не оправдывает. Можно и в государстве сократить, чтобы не влезать в новые долги.

— Что можно, дружок, то давно уже сделано, а что не сделано, того, значит, и сделать нельзя, — возразил он. — В деревне-то вы все за одно: «сократить можно!» — опять передразнил он, — а как попал из деревни на фабрику, так забастовки устраивать, прибавки просить. Кого нам слушать-то?

— Вот социалисты и мечтают о таком государстве, где бы все противоречия сглаживались, — засмеялся Лопухин, — в деревне-то он сидит и ничего не знает, а в город придет, его и просветят наизнанку…

Я сказал, что о социализме кое-что знаю, даже «Труд и капитал» Маркса читать брался…

— А, а, — вот оно что! — не удержался генерал. — Да ты, дружок, не такой уж дурак, как кажешься по своей одеже.

— Позвольте мне, ваше превосходительство, — с жаром сказал прокурор, подсаживаясь ко мне вплотную. Ты нам вот и скажи от мужицкой совести: пойдут мужики за социалистами? — спросил он меня по-дружески.

Я сказал, что еще в этом не разобрался, так как «Труд и капитал» прочитать не мог, больно суховат он, души в нем нет и одною арифметикой начинен. Однако, говорю, как будто ничего, если бы все можно было так устроить, и в деревне мужики лучше бы жили. Только невозможно этак. В людях греха много, зла, а Маркс с этим не посчитался, утопию сочинил…

— Вот вам настоящий крестьянский ответ, ни да, ни нет, — торжествующе сказал Лопухин. — Жаль только что и в деревне разного сброда много, а на таких наше государство крепко бы было…

— Я тебе по чистой совести говорю, дружок, — перебил его

генерал, — в сани этой сволочи никогда не садись, хорошим мужикам не по пути с ними. Мужики работать любят, свою землю любят, а они соловья баснями кормят и грабеж проповедуют. Если бы они любили труд, они бы любили и свое трудовое добро, а как они шаромыжники, то им и не жалко чужой собственности. Выходи все желающие и бери готовое, чего же еще лучше!!! Вы трудитесь, землю приобретаете, а они вас враз обчекрыжат!

Я осмелился возразить «его превосходительству», что это не совсем так в социализме. Может, говорю, и верно, что в драке волос не жалеют, что в переходные моменты от одного к другому и бывают всякие безобразия, но что вообще-то в самой сущности социализма никакого грабежа не полагается…

— Вообще-то, — передразнил он меня, — мы не знаем, что может быть, а вот в этой драке-то они вас съедят живыми; они разорят вас; они ваш хлеб на корню скупят; они вас налогами задушат, они вас голодом поморят…

— Ваше превосходительство слишком мрачно смотрит на социалистическую сказочку, почему вы так думаете, что все это так может быть у них на деле? — спросил генерала Лопухин, снова присаживаясь на стул.

— Почему? Они спрашивают почему? — генерал замялся и даже покраснел. — Тогда позвольте вам сказать: потому что тогда всякая сволочь во власть полезет, вся улица вот сюда придет и на них обрушится! Так вы это и зарубите у себя на носу, — сказал он мне, передохнувши и тоже собираясь уходить.

— А мы с вами где будем, ваше превосходительство? — сказал один полковник (из двух присутствующих), вставая ему навстречу и давая какие-то бумаги.

— Нам с вами они пшик сделают и съедят после первой выпивки, — сказал генерал смеясь, — на нас они не задержатся и улице на посмешище отдадут. А вот с ними им посчитаться придется, — указал он на меня, — за ними сила — их всех не перекушаешь.

Прокурор стал тихо говорить Лопухину о том, что уместны ли такие разговоры при посторонних, намекая на меня и отдавая распоряжение, чтобы меня увели на время. Старик генерал это понял и сказал:

— Ничего, ничего, не стесняйтесь, господа, это земля наша родная и крови боится, а потому и не может быть нашим врагом…

— А «ихним» как, ваше превосходительство? — спросил прокурор.

— Больше ихним, чем нашим, — отвечал тот, — потому мы не имеем догмы и по человечеству судим, а они на одном коньке

едут и давят всех, кто в их конька не верует, однобоки они в своих догмах.

Когда меня уводили и я одевался в дверях, я видел, как все это начальство вплотную окружило старика генерала и наперебой в чем-то его убеждало и спорило.

— Народ — зверь, он пойдет за каждым, кто больше насулит…

Это была последняя фраза, какую мне удалось расслышать. Выводившие меня жандармы были в повышенном настроении, они подходили к боковой двери комнаты и кое-что слышали.

— Что-то с тобой по-особенному наш генерал разговаривал, ты, знать, к социалистам близок? — спросил меня один из них.

— Наверно, из студентов, только под мужика вырядился, — отозвался другой, — теперь все социалистами стали, только по-разному называются, одни есдеки, а другие есеры, а в общем все плуты да шаромыжники. Мы, говорит, не грабим, а экспроприируем…

На другой день меня снова возили в «темной карете» через весь город для съемки. Спецы по этой части сняли меня три раза, а затем мазали мне ладонь и накладывали ее на бумагу, отпечатывая пальцы. И так они с этим делом долго возились, что я не вытерпел и сказал:

— И вам не стыдно такими пустяками заниматься?

Их было двое, один молодой, другой уже с седою бородой. Молодой обозлился, хотел меня обругать сволочью, но не успел; его приятель, чтобы предупредить ссору, равнодушно ответил:

— Кормимся помаленьку, что поделаешь, работа кстати не увечная и бесперебойная: каждый день все новых подваживают, даже интерес есть.

— Век бы вам, — говорю, — при таком интересе быть.

— Мы народ не обидчивый, — сказал он, — нас не застыдишь.

# Глава 43
# Откуда пришло освобождение

За мое отсутствие в камере произвели обыск и мое белье и сумочку оставили на полу и на койке не убранной. Мне это почему-то показалось так нестерпимо обидным, что я заплакал и долго не мог прийти в себя, чтобы снова привесть в порядок свои вещи. Мысли были самые унылые; и так тебя как мыша, в нору заперли, но и в норе-то не дают покоя, чтобы ты не забывался. А тут еще, как назло, тюремщик очень часто открывает волчок и наблюдает, точно знает, что я в таком состоянии, и еще усугубляет мои страдания, и я сам испугался своей мысли, когда мне нестерпимо захотелось стать у двери и плюнуть ему в глаза в тот момент, когда он откроет волчок для наблюдения.

Однажды тот же полковник принес мне вечером в мою камеру извещение конторы о поступлении на мое имя 10 рублей от неизвестного лица или организации.

— Ну вот, — сказал он, — вас тоже нашли и передают помощь, и хоть по закону мы и не должны принимать деньги без указания адресата, но смотрим на это сквозь пальцы, пускай дают, мы ничем тут не страдаем, чего ради мы будем обижать человека, которому кто-то другой хочет помочь. Какое мне дело?

Конечно, полковник говорил это для того, чтобы дать мне понять о своей добродетели, что вот, дескать, не такие мы уж плохие люди здесь, как об нас думают заключенные, мы даже ради них законы нарушаем. Хотя, правда, я все же видел, как он радовался моему освобождению, точно вместе со мною освобождали и его. А может быть, он и в самом деле тяготился жизнью тюремщика и, не имея возможности бросить службу, радовался хотя за других, что они получают свободу и уходят из тюрьмы.

А мое освобождение пришло ко мне совсем неожиданно. Мой брат Иван после моего ареста написал Льву Николаевичу, при каких обстоятельствах я был арестован и за что. Толстой написал об этом министру Витте: «Вы учреждаете комитеты, хотите что-то узнать, а ваш коллега, министр внутренних дел Плеве, обращает ваши комитеты в ловушку для вылавливания наилучших и неугодных ему людей. В числе многих из них, арестован и отправлен на распоряжение департамента полиции знакомый мне крестьянин, Михаил Новиков из д. Боровково, виновный разве в том, что, как более развитый, он сильнее других чувствует тяжесть крестьянского положения и хотел об этом высказаться в

Тульском комитете».

На это письмо Лев Николаевич получил ответ, который мне, после, Толстой давал прочитывать. Витте писал, что хотя он и не может освободить меня непосредственно, так как я нахожусь в распоряжении другого ведомства, но что он написал обо мне министру Плеве и надеется, что его просьба будет уважена.

Я сидел в одиночке около полутора месяца и в последствие ночи перестал совсем спать, так как, не имея физической работы, не имел потребности и в отдыхе. А к тому же — и постоянное подавленное настроение от неизвестности и горе за брошенную семью. Конечно, меня упрекнут в малодушии и трусости, и есть за что, но я не герой, и такое мертвое содержание в клетке живого человека, привыкшего к работе и движению, помимо моей воли, изнуряло меня физически и заставляло постоянно чувствовать слабость и разбитость. Голова все время была напряженная, точно что-то распирало ее изнутри. Как оказалось после, чтобы сохранить себя здоровым в таких условиях, надо было не думать о себе, думать о чем-нибудь постороннем, а этого-то я и не мог. Я знал, что моя семья, напуганная увозом меня среди ночи, страдает от неизвестности больше моего, и это меня мучило.

Я не спал уже четыре ночи кряду и не мог даже читать, так как почти переставал понимать прочитанное. Мало того, я на книгу стал смотреть как на врага, который меня в чем-то обличает и доказывает мое полное ничтожество. Конечно, кто станет обвинять меня в малодушии, пусть поймет, что время тюремной одиночки для нерешенного еще человека тянется в сто раз медленнее и пережить не только месяц, но и один день бывает страшно трудно. Оно как бы останавливается и застывает, лишая всякой надежды на возможность смены положения. Так было со мной в последние дни и ночи, и я все собирался писать прощальное письмо семье, но руки не налегали, и я оставался в тихом оцепенении, с одной упорной мыслью, что вскоре я сойду с ума и погибну.

Было 11 часов ночи, я по обыкновению не спал, и мучимый такими горькими думами, рассматривал свое прошлое, которое проходило перед моим возбужденным воображением, как в зеркале, со всеми подробностями. В эту-то минуту и в такое неурочное время ко мне в камеру бомбой влетел тот же самый полковник (помощник начальника дома предварительного заключения) и, бросил на столик бумагу, радостно проговорил:

— Поздравляю, поздравляю, вот, читай и расписывайся!.. ты у нас последнюю ночь!.. Я не хотел откладывать до завтра, я понимал, как это тебе важно… Я здесь давно и навидался всяких людей…

С большими усилиями я поднялся с постели и стал разглядывать бумагу, ничего не понимая. Минут пять я не мог ее прочитать и понять, что в ней написано, буквы прыгали, в глазах рябило, а в общем я не мог сразу понять, что такое могло случиться, что этот старый полковник пришел ко мне ночью и чему-то так нескрываемо радуется. Он наблюдал за мной и видел мое затруднение.

— Вот, слушайте, я вам прочту, — сказал он, беря у меня бумагу и поднося ее к лампочке: «По распоряжению министра внутренних дел, доведенному до высочайшего сведения, (такой-то крестьянин) освобождается из-под стражи и высылается на два года под надзор полиции в Тульскую губ., в д. Боровково, Лаптевской волости».

— Ты сам-то из этой деревни? — спросил он, окончив писать.

Я подтвердил. Ко мне вернулась постепенно память, я сразу понял все и заплакал, и, расписываясь на бумаге, всю ее закапал своими слезами.

— Это ничего, ничего, — сказал смущенно полковник, — это со многими бывает, уж я знаю. Ты теперь отдохни, засни часа на три, а утром мы тебя отправим в пересыльную тюрьму для отправки на родину.

Он ушел, дружески простившись со мной. И даже жандарм, входивший с ним в камеру и слышавший разговор, повеселел в лице и на минуту сбросил с себя свое бездушное бесстрастие. После их ухода я разволновался еще больше, но уже в полном сознании своей радости, и только когда пробило 5 часов, я как-то нечаянно заснул. Но и во сне все мучился над разрешением вопроса: было ли все это во сне или наяву? И только пришедшие за мной в семь утра жандармы подтвердили действительность и повели в контору. Там мне вернули деньги и ножичек, и уже с одним только жандармом отправили в пересыльную тюрьму, куда-то далеко, через весь город. Чуть-чуть рассветало, когда мы подходили к этой новой тюрьме. Здесь меня посадили тоже в одиночку еще меньшего размера, с мокрыми и грязными стенами, и, когда мне сказали, что этап на Москву пойдет только через неделю, я опять сильно затужил. В такой сырой и холодной норе просидеть неделю и то несладко. Я попросил себе книг, и мне тотчас же принесли старый журнал «Нива» за 1896 год. В двенадцать принесли обед, но поесть не дали. Слышу на коридоре открывают двери, кого-то ищут, спрашивают. «Новиков здесь?» — спросил кто-то громко. И на мой утвердительный ответ быстро загремели ключами и отворили дверь. В камеру вошло начальство с жандармским офицером. Справившись об имени-фамилии, офицер объявил мне, что по дополнительному распоряжению

министра Плеве меня приказано освободить тот же час. Посадив меня на лихача вместе с собою, он через 15 минут доставил меня в охранное отделение, где мне выдали документы для предъявления на родине в жандармское отделение. Какой-то старый чиновник спросил меня: бывал ли я раньше в Петербурге? И, узнавши, что нет, любезно предложил осмотреть все его достопримечательности.

— Это ничего, что ты не попадешь в назначенный срок в свою полицию, дня три просрочки — и внимания не обратят.

Я стал просить на проезд денег, но мне сказали, что у них такого порядка нет, чтобы выдавать деньги, а что если я не имею возможности ехать на собственные деньги, то меня снова пошлют в пересыльную тюрьму для отправления по этапу.

— Но тогда ты две недели еще не попадешь домой, будешь кормить собою вшей в пересыльных тюрьмах, — сказал мне офицер.

Я согласился ехать на свой счет, и меня отпустили.

Выйдя из охранки (кажется, на Екатерининском канале), я пошел потихоньку. Не веря своим глазам, что за мной никто не следит. Я все оглядывался и все не верил своей полной свободе. Повернувшись на Невский, я чуть не бегом пустился на вокзал, забывши и про достопримечательности города.

# Глава 44
# Снова в родной деревне

Когда я приехал на свою станцию и явился к становому для предъявления документа, он с такою тревогою и страхом встретил меня, что не скоро нашелся что-либо сказать. Он верил, что меня теперь сошлют в Сибирь, и сразу подумал, что я сбежал и что меня надо вновь арестовывать. Рассматривая мой документ из Петербургской тюрьмы (охранки), он волновался, у него дрожали руки, и он тоже не враз понял, что в нем написано. Чтобы вывести его из оцепенения, я спросил, надо ли мне являться в Тулу, в жандармское отделение?

— Что вы, что вы, — смущенно заговорил он, — зачем вам, вы и так теперь накатались по железным дорогам зачем вам еще? Я вот поеду и кстати доложу. Так, так, оглядывая меня с головы до ног, сказал становой, — сам министр вас освободил, да еще довел до царского сведения.

Дома меня встретили как покойника, все перепугались. Никто меня не ждал и не думал о моем возвращении. Начальство и тут распустило упорный слух, что меня сослали в Сибирь и уже никогда не вернут в деревню. А особенно были недовольны те старики и старухи, которые все добивались моей ссылки за мое отступление от Православия. Старик Сычев в первый же праздник, будучи пьяным, ходил по деревне и ругался вслух.

— Его и черт не берет… с ним министры не сговорились!.. он у царя на коленках сидел, его сам царь не уломал!.. Опять, черта, к нам прислали, он теперь весь приход смутит и от церкви отучит…

Как состоящий под надзором, я стал ходить в месяц два раза к становому для регистрации. Ему было неудобно, и он сказал мне, чтобы я не беспокоил себя этим.

— Только никуда далеко не отлучайся, — сказал он, а уж мы сами будем наводить о тебе справки, как ты там с мужиками споришь и от Бога их отлучаешь.

Как-то летом 1903 г. был царский проезд по нашей Курской дороге. Окрестных мужиков сгоняли на охрану дороги. Становому была большая забота: дома ли я, не болтаюсь ли ночью около железной дорогой со злым умыслом? А как узнать наверняка, прямо спрашивать неудобно. Днем он прислал урядника, который случайно увидел меня на улице и, убедившись в моей целости, поехал обратно. А ночью приехал сотский и, чтобы как-нибудь узнать обо мне, разбудил моего отца и стал спрашивать: какую

мы продаем лошадь? Отец заругался, говоря, что никакой лошади мы не продаем и нечего зря по ночам тревожить людей.

— А может, твой Михаил продает, — настаивал сотский, — где он спит, давай его спросим?

Отец подвел его к воротам риги, где мы спали, и указал на меня спящего.

— Ну, да не стоит его будить, — сказал сотский, — я к нему лучше днем приеду.

И, покуривши с отцом трубочку для прилику, уехал.

В это лето случился в деревне такой казус. Попова собака сбесилась и искусала в табуне двух лошадей одного крестьянина. Эти лошади тоже сбесились и стали нападать на других лошадей. Поднялась тревога, собрали сход и стали решать вопрос: что делать, чтобы не перебесились все лошади? Я стал настаивать, чтобы обратиться к ветеринару.

— Чего тут к ветеринару? — заорали мужики вместе со стариком Соколовым. — Тут доктора не помогут, тут нужна знахарка-бабка, тут заговор нужен. Скажет она три слова такие, и ни одна лошадь не сбесится.

Сказано — сделано. Сейчас же нарядили того же самого мужика, у которого сбесилась лошадь, и послали его за четыре версты за бабкой. Привезли. Она сказала, что для заговора она должна резать уши лошадей, напускать кровь, наговаривать на ней и вместе с водою спаивать лошадям. Лошадей было приказано разобрать по домам, и эту самую бабку водили по дворам для такой операции. Лошади фыркали, били ногами и никак не хотели пить свою кровь. Им насильно разжимали зубы и выливали в рот наговоренную кровь. Когда дошли до меня, я не пустил старосту с колдуньей на двор и не дал своих лошадей на посрамление. Меня мужики изругали скверными словами и запретили моих лошадей пускать в стадо, как незаговоренных. Видя такое самоуправство, я пошел к попу с вопросом: даст ли он своих лошадей для лечения колдуньей? Вот, говорю, двадцать лет вы у нас учительствуете, а что от этого толку. Грамотные мужики привезли колдунью и водят ее по селу как именинницу. Ваше дело, говорю, не допустить такого безобразия, пойти и обличить всех. Поп промолчал, а попадья нашла лазейку.

— Наши лошади не были в стаде, — сказала она, — и потому их и лечить не надо.

И хотя она сказала заведомую неправду, но депутация с колдуньей все же обошла мимо их двор. Уж слишком было бы стыдно пускать ее во двор священника. Затем я обратился к становому, прося защиты от такого проявления суеверий, которое мне грозит побоями, а моему скоту исключением из стада.

Становой порылся в законах и сказал, что он помочь не может, так как по сенатскому разъяснению полиция не имеет права вмешиваться в проявление таких суеверий, которые служат умиротворением народных умов при огульных бедствиях. — Вы ступайте домой, — сказал он мне, — а я сейчас же пришлю к вам ветеринара, это его дело лечить скот.

Депутация с колдуньей не успела обойти всю деревню, когда приехал ветеринар. Он потребовал старосту и велел собрать сход. Староста перепугался и по задворкам проводил колдунью вон из деревни, заплативши 20 копеек с головы и по два яйца. Тревога наша оказалась напрасной, так как ветеринар сказал, что от укусов бешеным скотом другого скота зараза не передается, а только от укусов хищных зверей: собак, кошек и волков. Когда мужики это поняли, стали ругать тех, кто первыми настояли привести знахарку. «Эва, 40 двугривенных даром отдали, лучше бы их пропить», — говорили некоторые. «А может, она их назад отдаст, нарядить подводу и послать кого посмелее?» «Мертвого с погоста не носят, не такая она дура, чтобы назад отдала, возражали другие, — работала, работала, да чтобы даром это». «А этот черт и тут выгадал, — сказал староста, указывая на меня, — хоть 20 копеек да в кармане остались».

— Ему везде везет, — сказал старик Соколов, — у него и поповы деньги остаются, и праздничные, где нам за ним угоняться.

— Все равно помрет-то, и пей и не пей, — сказал Осип Михалыч, — так мы уж лучше пить будем.

— Да вы бы и рады не пить, да уж присосались-то к ней больно, — возразила им одна старуха, — а уж чего бы лучше в трезвости быть.

— По его, хоть и хлеба не ешь, — сказал Сычев, — так только черти в аду живут: не пьют, не едят, а мы не какие-нибудь окаянные, мы православные, друг от друга рыла не воротим, все равно помрешь-то, что пей, что не пей, на что-нибудь ее да варят в нашем государстве.

— Оттого и выгоднее ее не пить, — сказал я, — что все равно помрешь-то. Вот кабы от ней не помирали — был бы расчет не пить, а то, наоборот, только и послышишь: тот опился, а тот удавился, а тот замерз в пьяном виде.

— Мы этого не признаем, — сказал Сычев, — в животе и смерти Бог волен: от смерти не уйдешь, кому что назначено на роду.

— И пить на роду назначено? — спросил я.

— Нет, пить, это моя добрая воля: хочу пью, хочу не пью.

— Ну, — говорю, — если добрая воля пить, значит добрая

воля и умирать раньше времени, и совсем тут ни при чем, кому что назначено. Напился по доброй воле Сигунов и замерз около деревни, напился Степан Галкин и тоже замерз, так и все другие.

— Ну, мы ничего не знаем, — сказал Соколов, — мы не ученые, а попы вот ученые да и то пьют. А нам и Бог повелел.

После таких разговоров как-то само собой случилось, что мужики стали меня стесняться и не при всяком случае выпивать четвертную или полведра, которые они выговаривали при найме пастуха, десятского, старосты, при разрешении семейных разделов, при даче усадеб и т. д. А тем более что на меня глядя, и бабы стали просить из этих денег на баранки. Так, дальше — больше, и прекратилось у нас общественное пьянство, и такие деньги стали раздавать желающим по рукам. Даже при весенних общественных молебнах о дожде и погоде, когда так твердо верилось, что если не выпить после молебствия, то не пойдет и дождь, и в таких случаях стали стесняться. Надо было пропивать общественные деньги, а мы, непьющие, и тут требуем свою долю деньгами. Так и расстраивалась всякий раз освященная веками общественная пьянка.

# Глава 45
# Японская война

1904 год. Как-то совсем неожиданно к нам подкралась японская война. Что-то там писали газеты, что-то говорили на банкетах министры, чего-то требовали макаки-японцы, народ же почти ничего не знал. Газеты редко где выписывались по одной на деревню. И вдруг страшная весть: японцы без объявления войны напали на наш флот в Порт-Артуре и потопили наши броненосцы. Напали в корейском порту на нашего «Варяга» и «Корейца» и тоже потопили. А затем «Божиею милостью… Николай II, царь Польский и Великий князь Финляндии и проч., и проч…», объявляя об этом вероломном поступке наших врагов, повелевал призвать нашу армию и флот на военное положение…

Война началась. Год за годом стали призывать запасных и там и здесь стал слышаться плач и стон матерей и жен. Великое бедствие обрушилось на русский народ. Зачем и за что надо было идти погибать, никто не знал и не имел представления, тем более что с Японией мы находимся через море, и она вовсе не идет на русскую землю. А между тем сообщение за сообщением: потопили «Ретвизана», «Славу», «Победу», «Полтаву», «Петропавловск» и много других военных кораблей.

Если бы на месте Японии была Турция или другое близкое к нам государство, то само собой, такие беззаконные поступки вызвали бы взрыв негодования и возбудили бы высокое патриотическое настроение в народе. Но раз это касалось какой-то неведомой Японии, которой неизвестно чего было от нас надо, народ так-таки и остался равнодушным зрителем в этой войне, и популярной она не стала. Понятный в других войнах лозунг «За веру, царя и отечество» здесь был совсем не применим, так как никто ни нашей веры, ни царя и отечества трогать не собирался, а другого лозунга не успели сочинить, так и осталось пустое место. Война! За что война? А кто ее знает! За Порт-Артур? А где Порт-Артур? Да на китайской земле! А на китайской, и пускай китайцы за него воюют, а мы тут ни при чем, нашей земли не трогают.

Всю зиму 1904 г. шли мобилизации сибирских крестьян как более близких к месту действия, к весне же эта общая беда подошла и к нам, коснулась и нашего дома. 30 апреля я получил явочную карту о явке на сборник пункт, как запасной солдат. Оказалось, что меня уволили в запас на общем основании и воинского звания не лишили. Идти на войну, да еще на такую непопулярную, для меня было гораздо хуже каторги. По своим

убеждениям я не мог себе представить, что я там буду делать и зачем я это стану делать? Руки опускались заранее, и заранее же я узнал, что пользы там принести не могу, а потому и не должен по совести обманывать начальство. Надо было отказываться, и я стал к этому готовиться. На подготовке в Туле я пробыл недель шесть и все никак не мог собраться с духом, чтобы отказаться. Я знал, что в военное время мой отказ вызовет самое суровое наказание, и я мысленно мирился с этим.

В казарме я слышал открытый ропот солдат, которые также осуждали эту войну и не хотели идти туда.

— За что нам воевать, за чужую квартиру? — говорили солдаты из рабочих. — У нас собственности нет, а работать на других не все ли одинаково: будь то русский заводчик и фабрикант, будь то немец или японец. Может, японский-то купец еще дороже платить будет.

— Ни за что не поеду, — говорил один из них, — как посадят в вагоны, так я на мосту в реку брошусь (он и бросился), пускай хоть могила на родине детям останется, а там сдохнешь, дети и могилы не будут знать.

— А нам и совсем не за что воевать, — говорили смельчаки из крестьян. — Земли наши японец не трогает и не собирается трогать, да и земли-то у нас мало, а воевать за целость помещичьих имений не согласны. Мы и поедем туда, а что толку-то от этого, будем там дурака валять да больными притворяться.

— Я бы им последнюю лошадь и корову отдал, лишь бы они моей жизни не трогали, — говорил рядом со мной солдатик, — всю жизнь в батраках буду жить, только бы жить да свою семью иметь.

— Если бы меня отпустили, я бы голым убежал до дому, — говорил другой, — никого бы и не постеснялся даже. И что они, ироды, делают с нами!

О таких разговорах скоро узнало начальство и приказало взводным и фельдфебелям не допускать собираться в кучки солдатам и сейчас же их разгонять, а кто будет разговорами заниматься — тех сажать в карцер.

В один из праздничных дней я поехал в Ясную Поляну к Льву Николаевичу и советовался с ним, как мне поступить. Лев Николаевич плакал вместе со мною над моим положением, плакал и за всех тех несчастных, которые должны ехать на убой за десять тысяч верст и погибать там в канавах неизвестно за что.

— Главное, бери только по своим силам, и непременно поговори вперед с семейными, — говорил он мне. — И впереди и сзади для тебя может быть одинаковая погибель и ты заранее будь готов к этому.

— Ко мне теперь каждый день приходят женщины с детьми, — говорил он, — чтобы я похлопотал им о пособии. Приходят и плачут. И я плачу вместе с ними. Разве им пособия нужны? Им нужны их сыновья, мужья, отцы и братья, а без них сколько бы они ни получали пособия, все они будут горькими вдовами и сиротами… Дипломаты уверяют, что без войны никак нельзя, нельзя договориться. А когда прольют реки крови, погубят и искалечат миллионы людей, тогда у них сразу прибавится ума и они все же сговорятся.

Когда я рассказал Льву Николаевичу о том недовольстве войной запасных, какое я видел в казарме, он сказал:

— Да так оно и должно быть на деле. Патриотизмом заражены только газеты и газетные писаки, которые теперь получают уйму денег за свое вранье, да те дельцы, которые наживают во время войны капиталы, а народ молчит и страдает. За этим и солдат подпаивают водкой, чтобы они в пьяном угаре забывали свое настоящее положение в этой жизни. Да, да, ведь без ужаса и омерзения нельзя даже и подумать об этом огульном злодеянии, на которое посылают их, а их еще заставляют ходить под музыку и песни на это злодеяние, заставляют кричать «ура», когда от них побегут недобитые ими солдаты другого народа.

— Я несколько раз собирался навестить вас в казарме, — сказал мне он на прощание, — хотелось посмотреть на эту толпу обреченных людей; я два раза доходил до половины пути, но всякий раз вертался обратно, сознавая всю неудобность появиться в казарме и смутить вас и всех других. Я сказал об этом Душану Маковицкому, и он с большой охотой исполнил это за меня.

Недели за три до отправки на войну я подал все же письменное заявление об отказе от службы с оружием в руках, мотивируя тем, что по чистому человеческому разуму, не затемненному ни страхом, ни корыстью, ни желанием карьеры, делать этого нельзя, и, чтобы не обманывать начальство, я заявляю об этом наперед. Может, я и не прав политически, говорил я в этом заявлении, но иначе поступать не могу, так как политика есть условная ложь и ширма, за которой люди обычно прячут свою совесть, что жизнь человека и ее задачи перед людьми и Богом совсем не в этой политической лжи, а только в делании добра и правды, в желании другому того, чего желаешь себе.

Я считался рядовым 4-й роты II пехотного Псковского полка, но, минуя непосредственное начальство, подал свое заявление в полковую канцелярию. На другой день нас погнали с песнями на стрельбище, за семнадцать верст от Тулы, и когда нашу роту развели в цепь для стрельбы, по ней неожиданно забегал

фельдфебель, выкрикивая мою фамилию. Я отозвался, и меня тотчас же взяли из цепи и с вестовым отправили обратно в Тулу, в штаб полка. На коридоре с пустыми ящиками ко мне вышел адъютант с моим заявлением и спросил:

— Это ты писал сам, собственноручно?

Я подтвердил.

— А ты знаешь, что не только по суду, но я сейчас сам могу пристрелить тебя здесь вот, в коридоре, и никому не буду отвечать за такую гадину! — гневно закричал он на меня, беря из кобуры револьвер. — Стой и не шевелись! Ты изменник, и с тобой разговоры коротки!

Я спокойно опустил руки и сказал:

— Что вы сделаете со мной, это ваше дело, а мое дело вас не обманывать, пока еще меня не увезли за десять тысяч верст.

Он гневно обошел меня кругом, извергая сквернословие и угрожая, а потом, сделавши два выстрела мимо уха, спрятал револьвер и быстро ушел в канцелярию, дернувши по ходу за рукав. Через полчаса ко мне вышел полковник Львов и, с любопытством осмотрев меня с ног до головы, спокойно сказал:

— Нам с тобой возиться некогда, ты от нас не уйдешь, а пока я тебя перевожу в обоз, а там видно будет, может, ты и сам еще в разум придешь!

Обоз стоял за Московской заставой в палатках. Прочитавши присланную со мной бумагу, командир обоза сказал:

— Ты что, баптист, молокан, евангелик?

И, не давши мне ответить, опять заговорил:

— Я знаю, знаю, имел дело с такими солдатами, мы тебе не дадим никакого оружия, а занятия найдем. А пока тебе дадут повозку и пару лошадей, учись их наскоро отпрягать и запрягать.

И мне дали пару лошадей. Бедные лошади, они стояли сотнями около коновязей и с голоду ели свой же навоз под ногами. Кормили их так помалу и так неаккуратно, что хорошие лошади скоро тощали и показывали свои ребра. Через несколько дней был назначен высочайший смотр. Царь приехал в Тулу смотреть приготовлявшиеся к отправке на войну войска и преподать им благословение. Нас заставили вычистить лошадей и вымыть повозки и также поставили на смотр со всеми в ряд, около своего полка. По солдатским рядам несколько раз проходило жандармское начальство и тщательно осматривало ружья, открывая затворы. Искали, нет ли боевых патронов. И не только в ружьях, но и в сумках и в карманах солдат. Некоторых проходили мимо, а некоторых обыскивали с ног до головы.

В 12 часов приехал царь со своею свитой. Заиграла музыка, солдат заставили кричать «ура», и царь стал торопливо ходить

между рядами. Такой он был хмурый и невзрачный, так напрягался изо всех сил кричать: «Надеюсь, постоите за родину!.. Надеюсь, с честью послужите на Дальнем Востоке!.. Не думайте о ваших женах и детях, об них правительство заботится!.. Господь вас благословит и сохранит!» Мне стало его жалко. «Несчастный человек, — подумал я, — возят тебя как именинника и заставляют благословлять живых людей на такое гнусное дело. Ты тоже пленник и раб и не можешь быть свободен». По своей внешности он совсем не соответствовал своему званию, и солдаты это сразу подметили. «Ему бы только ротным командиром быть, а вовсе не царем, — говорили они после его прохода, — славный офицер был бы, сразу видать, что мягкий человек и до ругательства не охочий».

После обхода царь благословлял иконой командира полка, который становился перед ним на колени, и дарил эту икону полку, как что-то ценное и чудесное.

Когда солдаты воротились в казармы после царского смотра и благословения, они как-то сразу притихли и меж ними не стало слышно обычной ругани, перебранок и бесшабашного веселья, которым до этого дня старались заполнять все свое время и отгонять тоску. Всем сразу стало ясно, что никаких надежд на скорый конец войны нет, и что их вскоре погонят туда, в далекую Маньчжурию и далее, откуда, может быть, не будет возврата не только многим, но и всем поголовно. Из газет они уже знали, как быстро японцы расстреливают нашу пехоту из пулеметов, которых у них оказалось в десять раз больше, чем у нас. И почти не подпускают наших на оружейный выстрел. Я видел, как мучились солдаты, застигнутые врасплох этим благословением. К ним тотчас же стали приходить жены и матери, но и с ними не было прежней утехи, разговор не клеился, чувствовалась общая подавленность, все как один мучились одними и теми же мыслями и тоской.

— Ну, что, родимые, благословил царь-то? — спрашивала одна старуха, отыскивая между солдат своего сына.

— Благословил, бабушка, — со злобой отвечает ей несколько голосов, — благословил, отец родной!.. Так, бабушка, благословил, что лытки затряслись и душа в пятки ушла! При этом некоторые хотели грубо выругаться на царя, но, увидавши поблизости взводного, притихли.

Такое тягостное настроение передалось и пришедшим родственникам, и в разных местах казармы послышался сдерживаемый плач женщин, над которым теперь уже не смеялись и посторонние им солдаты. Все чувствовали, что присутствуют как бы на похоронах друг друга, где никому не до смеха и где

смех равносилен страшному греху. Тик продолжалось часа два. Дальше натура русского человека не выдержала и стала искать выхода.

На средину свободного круга казармы вышел с гармошкой небольшого роста солдатик и, вставши в позу, крикнул:

— Ну что же, братцы, помирать так помирать! На миру и смерть красна, а пока что давайте попляшем. И он заиграл плясовую. В один миг нашлись плясуны и с таким остервенением начали плясать, точно сошли с ума, и черев минуту все солдаты столпились вокруг них тесным кольцом и стали выкрикивать разные прибаутки. Плясунов нашлось много, одни сменяли других, сменялись и гармонисты, и казалось, что в этой пляске в данный момент выражалось какое-то таинство, которому не будет конца и которое для всех обязательно. Плясали до полного изнеможения, плясали все, кто только мог, вызывая друг друга. Наконец кто-то крикнул: «Не это теперь нужно, душа петь хочет, запевай: «Последний нонешний денечек!» Гармонист быстро перестроился и заиграл просимую песню. И надо было видеть, с каким воодушевлением подхватилась вся казарма и стала петь как один человек. Даже те солдаты, у которых были родственники, вместе с ними присоединились к тесному кругу поющих и тоже стали петь. После первой песни спели «Прощайте, ласковые взоры», спели «Калина с малиною рано, рано расцвела», спели и еще много других песен, какие подходили к данному случаю, и, казалось, пели бы без конца, и только появление ротного и команда «Смирно» оборвали это пение. Начальство узнало про тоскливое настроение солдат и пришло их утешить.

— Братцы, — сказал ротный, — не поддавайтесь унынию, помните, что на всех нас лежит долг перед родиной и Государем, а перед лицом опасности мы все равны от первого генерала до последнего солдата. Вы все видели нашего батюшку-царя, вы видели, в какой он тоске и заботе, разве ему-то не больны ваши слезы и ваша кровь!.. А что поделаешь, на нас напали, нас бьют, топят наши броненосцы!.. Должны же мы дать отпор наглому японцу!.. Должны защитить честь и достоинство русского народа!

— Так точно, ваше благородие! — крикнули в ответ не совсем дружно несколько голосов и снова запели «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья!» Ротный не стал больше мешать солдатам и, подпевая задушевно песню, неохотно ушел из казармы. Настроение передалось и ему.

# Глава 46
# Проводы на войну

За неделю до отправки нас через день стали ставить на медицинский осмотр, причем очень внимательно осматривали со всех сторон, заставляя раздеваться. Прекратили ученье, стали давать двух-трехдневные отпуска и всячески проявляли внимание к солдатам. В эти дни мне пришлось быть в квартире нашего доктора Яновского (который был в нашей земской больнице врачом, а потом тоже был мобилизован и отправлялся на войну). У него в это время были двое знакомых офицеров, с которыми и велась беседа о войне и ее возможных результатах. Они говорили, что надежды на победу нет никакой, а что все думают только о том, как бы выйти из нее с меньшими потерями и меньшим позором.

Я спросил их, а не стыдно ли им вообще участвовать в этой войне, сознавая ее и как совершенно ненужную и бессмысленную и как унизительную для человеческого достоинства людей-христиан. Один из них, постарше, сказал:

— Мы это понимаем и чувствуем, но поступать иначе не можем, мы ведь, в сущности, ничего не делаем, и так не год и не два, а десятки лет. А когда нас, наконец, призывают на войну, так что же нам иначе делать, не отказываться же? Ведь этак еще будет стыднее. Ну, вот так и идешь без задней мысли. Мы солдаты, и не наше дело рассуждать: с кем война, за что и почему?

Я сказал, что в этом наше и несчастье, что мы не хотим рассуждать и без рассуждения отдаемся в чужую волю, из этого кто хочет, тот нами и вертит, как бессловесной тварью.

— Ну, это философия, — сказал другой офицер, — а мы не философы, а солдаты, а если все станут рассуждать, то и воевать некому будет, придет японец и всех погонит.

В таких мыслях приблизительно было и все наше офицерство, без всякой уверенности в успехе шедшее на войну. Что японец не шел нас полонить — это они понимали; что война и непопулярна и беспринципна — тоже всем были ясно; но одни шли потому, что их гнали, а другие потому, что стыдно отказываться. И из-за такой неохоты для одних и неволи для других и натащили такое непоправимое несчастье на русский народ.

Накануне отправки полка опять был медицинский осмотр в нашем обозе и в полку. Говорили, что отбирают самых крепких, а что слабые останутся для несения гарнизонной службы. Меня осматривали дольше других и что-то записывали. Спросили

фамилию и тоже записали. Один из врачей мимоходом спросил даже: «Толстого знаешь?» Я сказал, что знаю, а присутствующий тут же командир обоза сказал докторам: «Этот самый не хочет служить».

На другой день (это было уже в июне) с раннего утра и казарме поднялось столпотворение и невообразимый шум. К 4 часам дня полк с обозом и в полном снаряжении должен был грузиться в товарный поезд для отправки в Манчжурию. Никто никого не признавал и не слушал. Все шумели, говорили, бегали. Казарма наполнилась родственниками, всюду был слышен плач, ругательства, смех. Пробовали плясать, петь, но ничего не выходило. Настроения менялись ежеминутно, и никто не мог сосредоточиться на одном деле и одной мысли. Оказалось много подвыпивших (хотя спиртная торговля и была закрыта), они ругались неизвестно на кого, даже скрежетали зубами. А их жены и матери только плакали тихо, покорно, точно провожали их на кладбище. В десятый раз кое-кто запевал «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья», но песня обрывалась после двух-трех куплетов, так как никто не подхватывал и поющим становилось стыдно.

После обеда родственникам и всем вольным было приказано уходить из казармы. И тут сразу поднялся вой и плач женщин. Вешаясь на шею мужьям, они причитали: «Голубчики вы наши, от кого вы уходите, на кого нас покидаете!», «Кому из вас на роду что написано, родные вы наши!» Они плакали, кланялись в ноги мужьям, просили помнить о детях и давать о себе весточку.

— Сыночек ты мой родненький, — вопила старуха, — навеки с тобой расстаемся!..

В час дня забил барабан и раздалась команда строиться.

— Прощайте, родимые, прощайте, милые, — громко выкрикнула не своим голосом пожилая женщина, — видно, пришел ваш час… помилуй вас Господи!..

Когда построенные поротно солдаты стали уходить под музыку и барабанный бой со двора казармы, на улице за ними следом раздался такой вой и плач провожавших, за которым ничего не было слышно, точно выл и плакал весь город, обреченный на верную гибель. Жутко и страшно было в эти минуты. Невольно думалось: вот кабы правители наперед послушали этот отчаянный вопль народа, они никогда бы не решились доводить его до войны. Казарма опустела. В ней осталось десятка два солдат, о которых в приказе по полку было сказано: «остаются как не могущие следовать в военный поход по состоянию здоровья». Этот же самый приказ был прочитан перед строем нашего обоза утром этого же дня, и в числе четырех

человек остающихся значился и я. Когда наш обоз ушел, мы остались среди чистого поля одни. Никто нам ничего не сказал, куда нам идти, что делать, и мы долго не могли прийти в себя от радости, которая нас охватила после всего того, что мы пережили с этими проводами. Мы даже не враз сошлись друг с другом и долго сидели поодиночке в разных местах нашей стоянки, как подстреленные журавли после отлета всей стаи. Нам не верилось, что мы можем быть живы и ни в коем случае не попадем на войну. Мы об этом старались не говорить друг другу, боясь услышать что-либо новое и неприятное о своем положении, и только на вечер пошли вместе к воинскому начальнику, чтобы узнать, что нам делать и в чьем распоряжении мы остаемся. Здесь нам сказали, что мы снова пойдем на переосвидетельствование в губернское присутствие, а пока послали к заведующему лагерным расположением за Воронежскую заставу. Здесь таких оставшихся и не взятых на войну, оказалось более двухсот человек, от 11-го Псковского и 12-го Великолукского полков. И в следующие дни нас стали вызывать партиями по 50 человек в присутствие. Я попал с третьей партией на третий день. Против присутствия собралась большая толпа родственников и просто любопытных, которые ждали результатов осмотра каждый своего. Здесь говорили, что признанных годными снова пошлют в казарму и с новыми партиями мобилизованных все же отправят на войну, а потому страх об этом еще не был рассеян окончательно. О каждом выходящем из дверей толпа спорила: гож или не гож, и шумела негодующе на всю улицу, когда совершенно здоровый на вид солдат оказывался негодным. «Здесь взятки берут, — кричали в толпе, — мы пойдем жаловаться! Мы пойдем к губернатору!» Передо мной осматривался солдат — кучер, огромный по сложению, пудов на восемь веса. Когда он вышел и сказал, что не годен, толпа загоготала на всю улицу. «Куда его, на него и сапог не наденешь и шинель не подберешь! — говорили одни. Он бегать не может, задыхается, а верхом посадить — лошади спину сломает!» И когда я шагнул за ним в присутствие голый, я против него показался таким замухрышкой и тоненькой спичкой, что доктора не стали меня и смотреть. Воинский начальник посмотрел в бумаги и, пристально посмотрев мне в лицо, не отрываясь от них, сказал: «Не годен, переводится в ополчение III разряда».

Когда я вышел, толпа не удостоила меня даже вниманием и обо мне ни за, ни против не сказано было ни слова. Прощай, солдатчина, прощай, казарма! С нынешнего дня я буду чувствовать под ногами землю и буду спокойно дышать воздухом… Я не был на проводах 11-го полка, но я знал от

очевидцев, что не один, а четыре солдата выпрыгнули из вагона на мосту, и двое из них разбились насмерть. Так охотно ехали солдаты на войну…

Потом после, когда с войны стали прибывать раненые, один наш солдат, Константин Козлов, вернувшийся раненым, с досадой говорил: «И на кой черт эта война? По Сибири пять тысяч верст проехали, пяти деревень не видали, везде пустая земля, там еще три России населить можно. А по Маньчжурии поехали: горы да камни, горы да камни… и из-за этих гор воевать стали, а на кой они черт нужны, а наши полезли…»

Так бесславно начавшаяся война бесславно и кончилась. И мало того, что она так бесславно и кончилась, она обнаружила нашу экономическую и военную слабость и была прямою причиною всех наших дальнейших несчастий, начиная с войны 14-го года и дальнейшей «революции».

# Глава 47
# Подошел 1905 год

Конец этой несчастной войны был началом революции 1905 г. Еще не вернулись по домам мобилизованные солдаты, как до деревни стали доходить смутные слухи о разных неповиновениях и бесчинствах солдат при возвращении их на железных дорогах, о восстаниях крестьян против помещиков, поджогах их имений, разбоях и грабежах богатых людей и почтовых касс под модным названием «экспроприации».

Конечно, деревня страдала от войны, несла никому не нужные жертвы своими сыновьями, но ни о каком грабеже и поджогах не думала, и если что-либо где и происходило подобное, это было не результатом деятельности самих крестьян, а результатом злостной пропаганды разных темных личностей из партии так называемых «социалов», как в деревне очень метко окрестили социалистов разных мастей и оттенков, мутивших в то время крестьян призывами к свержению царского правительства.

Деревня в то время мечтала только о том, как бы снова взять помещичьи земли на выкуп и тем самым расширить свое поле и хозяйство, и если где помещики шли навстречу крестьянским желаниям, то крестьяне охотно покупали у них землю, платя высокие цены, лишь бы не упустить случая. И потом с большим рвением и охотой работали на таких землях, приводя их в порядок.

Связывать свои мечты о приобретении земли с насильственным ее захватом, с грабежами и убийствами, с революционным свержением ради этого правительства никому не приходило и в голову, так как все крепко верили, что такое их законное желание непременно придет к ним мирным путем, как пришло освобождение в 1861 г. Но, как и всегда, крестьяне не играли никакой роли в текущей политике и должны были слушать готовое, разносимое этими «спасателями народа», то есть теми недоучками из господского сословия, которые не могли доучиться и получить тепленькие местечки, не могли своим трудом разрешить себе вопросы прокормления. Они-то и мутили народ, подбивая его на разного рода преступления вплоть до восстаний. Слышали мы тогда о каком-то Крестьянском союзе, выступавшем от имени крестьян, в котором, конечно, не было и не могло быть ни одного подлинного крестьянина, а все только маскировавшиеся под крестьян. Союз этот призывал к захватам помещичьей земли, к выкуриванию самих помещиков, но так как

все это пахло кровавыми насилиями, не соответствующими крестьянской совести, то пропаганда эта в нашем районе никакого успеха не имела. Старались возбудить злобу на старых крепостных отношениях, обрисовывая бывших господ варварами и палачами, но тогда еще были живы старики, помнившие крепостное право, или их дети, много слышавшие от них о тогдашней жизни. Их-то и нельзя было убедить в этой неправде, так как наряду с дурными господами, было и гораздо больше хороших и добрых, не притеснявших крестьян. Об этом-то и помнили старики, рассказывая другим.

Но так или иначе, пропаганда эта действовала на дурной слой крестьян: пьяницы и бездельники, и в других местах они натворили все же разных бед и грабежей, до убийств включительно, хотя вся остальная масса их резко осуждала за это. Ведь крестьянин своего рода мудрец, он инстинктом понимает, что прочно и добро только то, что творится миром и любовью, а потому и не верит в благо насильнических захватов и грабежей и осуждает их.

Когда в октябре распространилась забастовка рабочих и железнодорожников и остановились поезда, нашим фабричным с московских фабрик пришлось нанимать лошадей, чтобы со своим имуществом добраться до дому. Все они прикатали домой, и ни один не остался в Москве «бороться за свободу», настолько они были «солидарны» с социал-демократами. Они с ужасом рассказывали, как в Москве стреляли залпами на улицах, как громили Пресню из оружий, как эти «социалы» подбивали всех рабочих на открытую борьбу, но не имели успеха. В это время, ноябрь — декабрь, в разных местах России усилились поджоги и грабежи господских имений, деревня насторожилась, но только не для того, конечно, чтобы принимать участие в этих грабежах, а наоборот, чтобы их не допускать. В это время мужики без документов не стали пускать ночевать прохожих и зорко следили за каждым из них. Деревне не нужна была никакая революция, и она ее и не поддерживала. И когда у нас в Туле часть рабочих партийцев выступила на демонстрацию с красным флагом и была разогнана полицией, причем были убитые и раненые, крестьяне не жалели их и резко осуждали их: «Разные прохвосты мутят рабочих, — говорили они, — из-за них и невинные попадают. Таких проходимцев всех в тюрьму надо! Лодыри, лентяи, сами не работают и другим не дают!»

Крестьяне носом чуяли, что между ними и их интересами нет никакой связи с этими пропагандистами, не признающими никакой собственности и подбивающими на разграбление барских имений.

— Что за дело, что он барин, — говорили крестьяне в Туле на съезде, — равными все люди не бывают, если у него много земли, то он и сам ее продаст, с ним только договориться нужно по чести, по правде, отдаст землю и пусть себе в усадьбе живет на здоровье, а причем тут жечь да грабить, чай, все люди, что мы, разбойники, что ли?

На этом съезде, организованном либеральными господами, оформлялась партия, под громким названием «конституционно-демократическая» (кадетская), которая здесь же и ставила основные вехи в будущем политическом переустройстве, главными из которых были: ответственное министерство и выкуп частновладельческой и монастырской земли по справедливой оценке. На этих основных вопросах и разыгрались горячие споры собрания. Выступавшие крестьяне вполне с этим соглашались и дальше этого не шли в своих требованиях, и когда меньшевики вносили свои программные условия о демократической республике и отчуждении земель без выкупа — крестьяне за ними не пошли и не соблазнились даровой землей. «Если с выкупом, — говорили они, — то порядку больше будет и старания к земле. Уж коль собственность, так собственность, так крепче будет, и плакущих по земле не останется. Все довольны будут. А так все она вроде не твоя. И государство отобрать ее может». «А так, нынче тебе ее дадут, а завтра отнимут», — говорили другие. Не одобряли и республику и говорили, что без хозяина дом сирота: «хозяин крепкий должен быть у нас, а иначе революция пойдет, никто никого признавать не будет, как во Франции было». А когда меньшевики с этим не соглашались и упорно доказывали необходимость нарушения царской династии, над ними мужики смеялись и говорили: «Мы вас понимаем, на вас и брюки-то, может, чужие надеты, вам чужого не жалко, а мы собственность имеем, нам дорога каждая межа и полоска, а потому нам царь нужней, чем бесхозяйщина».

На другом таком съезде уже шел разговор о Государственной думе, после царского манифеста от 17 октября. Здесь уже были и так называемые «зубры из дворян», которые не были довольны царем за его уступки. «В государственную думу пролезут разные проходимцы, — говорил Воронцов-Вельяминов, — а мы и будем из их рук смотреть и от них милости дожидаться». Но крестьяне вполне одобряли решение царя и правительства о созыве Государственной думы: «Вот вам и республика, вот вам и парламент, по-крайности, и царю будет легче, не всякая забота на нем будет: что дума обдумает, то он закрепит, как президент французский».

— А то станем выбирать президента да повздорим, не

согласимся, и пойдет по всей земле смута да вражда.

И когда большинством была одобрена линия правительства, намечаемая манифестом, крестьяне ликовали, радуясь тому, что мирным путем улаживались такие вопросы. Оседлые и трудолюбивые крестьяне любят свое гнездо, свое поле, свой скот и семью и больше всего боятся всякой смуты, могущей нарушить мирный труд и занятия, а потому они склонны психологически ко всяким уступкам и жертвам, лишь бы все улаживалось подобру-поздорову. Социализм же, как идея пролетаризации и обобществления в одно целое и труда и орудий производства, ему настолько чужд и не интересен в своей сущности, что он никогда не может быть заодно с голым городским пролетарием, для которого, наоборот, такое обобществление дает возможным и расширять свое производство и вводить улучшенную технику. Отсюда и коренное расхождение в политических вопросах.

Но однако, несмотря на такое мирное настроение крестьян, помещики сильно перепугались и стали наспех проявлять не совсем им свойственную милость к крестьянам, раздавать кое-кому скот, давать взаймы хлеба и т. п., раздавать в аренду землю по более дешевым ценам.

Наш помещик И. С. Шибаев приказал тоже выдать крестьянам хлеба, и его управляющий Д. И. Болтин с большой неохоткой исполнил это поручение. Ему было жаль раздавать даром, так как крестьян он знал наперечет, зная их недостатки и лицемерие перед хозяином да к тому же чувствовал, что этот так называемый «господский хлеб» приобретается вовсе не господской заботой, а его старанием уметь ладить с мужиками и направлять людской труд на его приобретение.

При участии священника и учительницы Рожковой были составлены списки чуть ли не поголовно всех подряд из трех деревень, и управляющий выдал от 3 до 10 пудов на семью по этим спискам. Но, несмотря на это, помещик дрожал перед возможностью насилий со стороны мужиков.

Произошел и такой случай. С горы попова поля, по дороге к имению темным вечером шли двое пьяных фабричных (из вернувшихся с фабрики) и во все горло орали песни: «Вставай, поднимайся, рабочий народ» и «Отречемся от старого мира», а в промежутках ругались скверными словами по адресу управляющего Болтина и грозили разнести имение. Имение в это время охранялось двумя вооруженными сторожами, они-то с перепугу и сообщили Болтину, что толпа в двести человек идет громить господскую усадьбу. Тотчас же послали верхового, чтобы проверить, идут ли и если идут, то чей народ? Верховой тоже перепугался и, ничего не узнавши, подтвердил: «Идут две

деревни, и все с топорами и с ломами!» Хозяина не было дома, а хозяйка со своею родней так перепугалась, что тотчас же уехала на лошадях в соседнюю деревню, где у нее были дружеские связи с женщинами, и в этой деревне ночевала. Разбежалась со страха и вся дворня, и только Болтин со старостой, имея ружья, поджидали всю ночь воображаемых громил. А вместо них подошли пьяные, которых он хорошо знал, они ругались и кричали, что они «авангард революции», а за ними идут сотни. Они попросили у него по стаканчику, и Болтин их напоил до того, что они так и ночевали где-то около усадьбы в канаве, не имея сил добраться до дому. Утром, когда все вернулись и страхи улеглись, смеху было на всю деревню. Больше всего досталось сторожам и верховому за их трусость.

Манифестом от 17 октября прекращалось дальнейшее собирание с крестьян выкупных платежей, отменялась круговая порука, давалась свобода в делах веры, отменены были еще раньше телесные наказания крестьян по суду, после чего крестьянам нечего было и желать, тем более что в будущих Государственных думах должен был решиться вопрос о новом выкупе частновладельческих земель.

После отмены выкупных платежей сразу же усилилась и без того большая тяга крестьян к покупке земли у помещиков через Крестьянский банк, тем более что и сами помещики, напуганные призраком революции, охотнее шли на эти сделки. А тут подоспел столыпинский закон от 9 ноября, закреплявший собственность крестьянских надельных земель и дававший им право и продавать и покупать свои наделы, после чего разные бросовые полоски дурных крестьян стали покупаться другими, и таким путем земля стала сама находить себе хороших хозяев, у которых и стала давать лучшие урожаи. С этого времени, кроме земли, крестьяне стали обзаводиться лучшей одеждой и обувью, стали лучше питаться, покупая чай с сахаром и баранки, стали перекрывать амбары и дома железными крышами, заводить плуги, молотилки, веялки и т. д. Оброк стал совсем легким, с надела в 3 десятины 4–5 рублей, вместо 10–12 рублей прежнего, что и давало возможность поправляться всем, кто только хотел. А к тому же все промышленные товары были дешевые. Это время, до самой войны четырнадцатого года, было настоящим золотым веком крестьян и давало полную свободу и возможность хозяйственно развиваться и улучшать свою жизнь. Но, к сожалению, век этот был короток.

# Глава 48
# О столыпинской реформе

Прекращение выкупных платежей за надельные земли в 1906 г. по указу царя вызвало в крестьянах нашей местности такой великий вздох облегчения и радости, с которым разве что могло сравниться только положение 1861 г. дававшее крестьянам личную свободу передвижения; оно развязывало руки в устройстве своей жизни по своей инициативе, по своему трудолюбию и способности.

Община со своим тяжелым грузом круговой поруки, общинным чересполосным землепользованием, при котором более способные и старательные все же должны были тянуть волынку с общественным трехпольем и не могли проявлять своей инициативы, — такая община отходили теперь на задний план и давала дорогу к лучшему устройству и своего хозяйства и своей жизни всем желающим, и Указ 9 ноября 1906 г., дававший право свободного распоряжения выкупленной землей: право закреплять свои наделы в обществе без риска их уменьшения от возможных переделов, сводить их в одно место в отдельные отруба, даже переселяться на хутора на средину своей земли — все это было встречено с большой радостью, так как соответствовало во всем желаниям и мечтам подавляющего большинства самих крестьян. Не нужно стало подпаивать на сходах крестьян и униженно просить разрешения на право семейного раздела; на право получить паспорт и идти на сторону, если у тебя большая семья; на право получить усадьбу при разделе семьи; на право завести вторую корову или лошадь и т. п.

Как было не радоваться таким огромным переменам в крестьянском положении, которое сразу растворяло перед тобою запертые общиной ворота и давало полную свободу устройства жизни по своим желаниям и способностям, а уменьшенный в 4–5 раз оброк к тому же сразу представлял необходимые средства. Ведь, несмотря на то что выкупные платежи с 1900 г. постепенно снижались, к 1905–1906 гг. они все же сильно давили на крестьянский бюджет и не давали возможности не только расширяться в хозяйстве, но и существовать малосносно.

К этому времени земельные наделы, конечно, не оставались за двором в том виде, как они были распределены после перехода на выкуп, народ прибавлялся, семьи делились, но все же, несмотря на это, по нашей деревне не было ни одной семьи, у которой бы было в пользовании меньше чем два надела ($2^3/_4$

десятины был средний надел по всей центральной России); от двух до пяти наделов — в таком виде у нас распределялись наделы по дворам к концу выкупа. Оброк же за них, вместе с земским волостным и сельским сбором, сходил по 11–14 рублей с надела, ложась в общем на двор по 20–60 рублей. С прекращением же выкупа земли он сразу же стал по 3–4 рубля с надела, давая возможность экономии в 15–35 рублей на семью, что при существовавшей дешевизне на лес, железо, мануфактуру и продукты питания было таким огромным плюсом, который не замедлил сказаться на внешней стороне деревни. Почему было не заводить второй коровы и лошади, когда они стоили в среднем возрасте от 20 до 35 рублей, почему не строить новой избы, не перекрывать крыш железом, когда новый сруб 7х7 стоил от 40 до 50 рублей, а кровельное железо 1 рубль 90 копеек — 2 рубля 10 копеек пуд. Почему было не обряжаться в новые сапоги, рубахи и одежду, когда они стоили 5 рублей, ситец от 8 до 12 копеек аршин, а суконное пальто или казакин от 10 до 15 рублей. Почему было не иметь белого хлеба к чаю по праздникам, не иметь каши с растительным маслом (уж не говоря о своем мясе от приплода скота), когда крупа стоила 1 рубль 40 копеек пуд, сахар 13 копеек, ситный 4 и 5 копеек и подсолнечное масло 9–11 копеек фунт? И все это крестьяне стали иметь, заводить, стали обряжаться и перестраиваться. И только ленивые, вернее, пьяницы несли прежнюю нужду.

Но короток был крестьянский золотой век, у крестьян нашлось много врагов, которые сразу же и позавидовали их новой свободе и счастью. Чтобы не нападать самим на крестьян, они всю свою ненависть перенесли на Столыпина, назвавши его реформой все эти новые перемены в правовом положении крестьян, и стали с пеной у рта доказывать, что это новое право распоряжаться землей и жизнью принесет им одно только худо и разорение. Как будто в это время можно было выдумать что-то другое, что еще лучше и выгоднее бы устраивало крестьян и еще больше симпатизировало их мечте и надежде. Причем тут был Столыпин и в чем тут была какая-то его реформа — я и теперь не могу понять.

Пятьдесят лет и наши отцы и мы выкупали землю. Кончился срок, и никакое другое правительство не могло бы выдумать другое, чем то, что закрепило наше в 1906 г. в Указе от 9 ноября, так как сам русский народ, покончивши с выкупом и надоевшей ему связью общины, ничего другого и не мог желать и требовать, а только — чтобы перестали его опекать, перестали ему мешать и дали бы полное право пользоваться своею землей так, как ему интереснее, удобнее и выгоднее. Говорить же о том, что

справедливее оставить землю в собственности общества, с правом обязательных переделов время от времени для уравнения в землепользовании — говорить об этом можно было 50 лет назад, при отмене крепостного права и наделении землею без выкупа, что и по мысли самих крестьян было бы более справедливым, но после 50 лет выкупа, выплачиваемого с таким трудом и лишениями под страхом порки, продажи имущества и арестов в холодной, — говорить об этом можно только перед святыми людьми, которые бы, конечно, согласились забыть все обиды и лишения, и все кричащее неравенство выкупа и стали бы снова пользоваться землей на уравнительных началах. Но таких святых не находилось, а потому каждый крестьянин хотел только одного: иметь в собственности надельную землю в размере выкупа и пользоваться по своему усмотрению. Слишком дорогой ценой она была выкуплена, чтобы можно было от нее отказаться для общего пользования. Крестьянские прожигатели жизни рвали и метали, доказывая, что теперь свободные крестьяне сопьются, а сильные из них скупят у бедняков их долю земли и сделают их батраками. Словом, вместо одних опекунов нашлись другие и, вместо какого-либо опроса самих крестьян на сходах, заочно судили и рядили: как бы правильнее распорядиться крестьянскими землями, лишь бы не дать ее им в трудовую собственность. Говорили о социализации и национализации; об общественной обработке, артелях и даже коммунальном устройстве жизни и работы, но за всеми этими милостивыми речами крылось только одно ненавистничество к крестьянской свободе, которое мне и было высказано потом со злобой меньшевиком Фроловым, с которым я около года сидел в Тульской тюрьме в 1915 г. Но об этом после. Они же пускали в печати клевету о том, будто правительство насильно разгоняет общины и принудительно заставляет закреплять свою землю, даже и выходить на отруба и хутора, чего на самом деле мы не видали и о чем даже не слышали в радиусе губернии.

Вот как в натуре у нас проходила эта «реформа». На волостном съезде уполномоченных десятидворников (1 от 10 дворов) земский начальник зачитал нам новый закон о праве для желающих закреплять землю, прося на это согласие общества, выраженное в приговоре. Если общество не даст согласия, то его отказ в этом обжаловался ему, уездному или съезду, который, если не было к тому законных препятствий, и утверждал такое закрепление без его согласия. Получивши укрепительный акт, крестьянин мог уже продать или купить такую землю, совершая сделку у нотариуса. Разъяснил и новое право выхода на отруба и хутора с согласия и без согласия общества на такую

закрепленную землю.

— Есть такая поговорка, — сказал земский в назидание, — «Мужик умен, да мир дурак», — а теперь вы сами с усами и, если кто поведет дело с умом и не будет пьянствовать и бить баклуши, поверьте, он будет и легче работать и получать двойные урожаи.

Об этом мы не спорили, так как и без того знали, как трудно обрабатывать землю чересполосно и скакать по десяткам мелких полос с плугами и боронами. Попутно земский разъяснил, что для старательных крестьян нет ничего страшного и в переселении, и что если у кого сейчас оказалось очень мало земли (один-два надела, а три уже считалось достаточной для прокормления нормой), то он может подкупить у своих же, кто в ней не нуждается, или у помещиков, через банк, или, продавши свою за хорошие деньги, переселяться в другое место или деревню, где земли гораздо больше, и что само правительство всегда будет этому помогать и указывать, где и в каких местах есть продажные земли; будет давать ссуды на покупку и оказывать льготы переселяющимся. Все такие речи настолько понимались и симпатизировали крестьянам, что никто не находил слов возражать по существу, и съезд закончился при самых радужных и благодушных настроениях.

Конечно, закон этот свалился как снег на голову, и крестьяне не сразу в нем разобрались. И потом, после, разобравшись, хоть и стали спорить и возражать, препятствуя и закреплению земли в личную собственность и выделу ее к одному месту, но совершенно по иным мотивам, чем те, которые в виде готовых теорий навязывались крестьянам их завистниками. О том, что богатые скупят землю у бедных и сядут на них верхом, об этом разговору не было и не могло быть, так как в деревнях лучше теоретиков-социалистов знают, кто от чего богат и кто от чего беден, и не очень жалуют бедных по убеждению, которые бедны от своего разгильдяйства, пьянства и беззаботности, и сами не хотят перестать быть бедными. О таких наперед знают, что, и владея землей, они не стараются сработать получше и с землей бывают не сыты, не голодны и живут впроголодь, с хлеба на квас. И что, если такой бедняк и продаст свой надел и уйдет в батраки, худа от этого не будет даже ему, а все остальные крестьяне (а их 96 %) никому зря своей земли не продадут. Наоборот, будут стараться прикупить или переселиться на более просторные земли.

Возражали прежде всего по стадному принципу: почему один идет против всех и хочет отбиваться от общества? Значит, он умен, а мы дураки! Ну а раз так, то нет нашего согласу: не желаем, и больше ничего! Иди, жалуйся к земскому. В таких

случаях не было никаких рассуждений ни о выгоде и невыгоде общества от такого закрепления или выдела земли к одному месту, а была только общественная амбиция: «Миру все должны подчиняться и никто не должен творить свою волю». А потом, когда оказывалось, что начальство не смотрит на этот мир и все же творит свою волю, стали искать существенных препятствий к выделу и прежде всего остановились на том, что дай согласие одному, полезет и другой и третий. Против собственно закрепления спорили мало, но как огня боялись выдела на отруб или хутор, так как это влекло к неминуемому переделу общественной земли после каждого такого выдела. А крестьянин любил свои полоски больше всего на свете, больше своих детей и ни за что не хотел с ними расставаться, как бы они ни были малы и узки. Он радовался ни них всякий раз, когда проходил мимо, и никак не мог мириться с тем, что при переделе они достанутся другому. 60 лет выкупа и наследственной привычки сделали из них своего рода кумир, с которым было и жалко и боязно расставаться. Эти кровные, родные полоски и его жизни сообщали какой-то особенно тайный и неуловимый смысл, без которого он не мог сразу найти себе нового интереса. Точно чуяло крестьянское сердце, что с нарушением этих милых и дорогих ему полосок, политых потом и его отцов и дедов, его вороги и завистники отнимут их и перевернут и его жизнь кверху ногами, отнимут все его радости и интересы и сделают опять батраком около нового безымянного и безжалостного барина — государства. Вот из этой-то боязни на первое время ни одно, кругом нас, общество не давало своего согласия на закрепление земли в личную собственность. Третья причина выдвигалась многосемейными, у которых к моменту окончания выкупа было маловато землицы. Они все еще мечтали, что можно добиться нового передела с уравнением, от которого на их многосемейность достанется больше земли, чем у них было. Но это были самые неактивные и боязливые, которые не решались надеяться на свои собственные силы и средства и не хотели подкупать себе земли ни у помещиков, ни у своих же крестьян, которым она была не нужна, но которые ее все же имели. Словом, они хотели проехаться на чужой счет и урвать себе при переделе десятинку-другую у тех, кто выкупал ее для себя в продолжение 50 лет. Более активные и способные им возражали, что не стоит лезть на такой грех, а гораздо лучше всем обществом купить земли у помещиков и этим увеличить имеющиеся наделы. На этой почве происходили жаркие схватки на сходах, кончавшиеся личными спорами и раздорами. Дело в том, что в каждой деревне есть целые группы родственных дворов, которые и поддерживают

друг друга, и если, к примеру, Панфер добивается такого передела уже выкупленной земли, что в первую голову обидит малосемейного Акима, так как при переделе ему достанется только два надела вместо четырех, которые у него есть теперь, — то родственники Акима встают за него горой и уличают Панфера в желании завладеть чужим добром, называя в то же время весь род Панфера «чужеспинниками». Те в свою очередь озлобляются, чувствуя свою неправду, и сход кончается сплошной бранью и скандалом, из которого, однако, большинство берет сторону Акима и защищает его права на выкупленную им землю.

Время однако шло. Закон был в действии, и через каких-нибудь два-три месяца после его введения и разъяснения земскими начальниками стало слышно из разных деревень, что тот-то и тот закрепил свою землю, тот-то и тот уже продал свои наделы, а сам купил под Москвой дачу или уехал на Дальний Восток. А такой-то и такой выделяют свои наделы к одному месту и хотят в три-четыре семьи поселиться на ней особым хутором. Душная атмосфера первых дней, нарушавшая волю мира, сразу разрядилась, так как в перспективе были всеми достигнуты разные варианты, выбирай кому что нравится, и действуй в меру сил и возможности. Да и престиж мира защищали только на сходах, где каждый отдельный человек по тем же причинам группового родства не высказывал своей настоящей воли, а подчинялся миру. В отдельности же каждый понимал свою справедливость в праве распоряжаться своею землей как собственной и ни в продаже, ни в выделе и закреплении ее не видел ничего худого и вредного для обеих сторон. По крайней мере, я за все время действия закона 9 ноября не слышал от крестьян каких-либо других предложений или осуждения этого закона, кроме того, что после этого нового порядка сразу же всем стало ясно, что теперь для пользы дела необходимо новое отчуждение частновладельческих земель и отдача их крестьянам на новый выкуп, чтобы доделить уравнительно всех тех, кто к этому времени оставался на одном-двух наделах. Об этом говорилось много всюду и везде, но дальше этого крестьянские мечты не шли. Да и желать больше было нечего. Ни о каком бесплатном отчуждении и прирезках никто и не думал. И если бы в это время правительство повторило историю 1861 г., крестьяне приняли бы этот новый выкуп с великой готовностью и радостью.

Но кто же, собственно, были те пионеры, которые первыми стали выступать на миру, прося закрепления земли или отвода ее к одному месту. Может, это были действительно те воображаемые «кулаки», с которыми в это время носились все левые партии, как дурак с писаной торбой? Может они, эти «богатеи», хотели и

впрямь кого-то закабалить, на кого-то засесть верхом? Не знаю, где как, но у нас никаких кулаков не было и, мало того что не было в натуре, их не было и в понятии; мы долго не знали: что это за особая порода людей, которой нас стращают левые? Правда, соглашались, да и то не все, что под этих невиданных зверей можно подвести кабатчиков, но и кабатчики с 1897 г, перестали существовать, так как была введена казенная продажа питей и разговаривать было не о чем: было и ушло. Но и на кабатчиков по старой памяти нападали только бабы, мужики же резонно возражали, что и кабатчики силком в кабак не тащили: «хозяин-барин, хочет — живет, хочет удавится». Подводить же под это понятие мельников, маслобойщиков, чесальщиков, крупорушечников, торговцев никому не приходило и в голову, так как это были самые нужные в деревне люди, без которых нельзя было прожить и два-три месяца. Притом это были всегда свои же способные крестьяне, которые больше других управлялись в работе, стараясь не отставать от других и в обычной крестьянской работе, и поспевали работать на других в своем маленьком предприятии, за что и пользовались всегда большим уважением. На все это крестьяне смотрели как на самое нужное и добровольное дело. Кому что дано: мужик горбом, поп горлом, а мельник жерновом. И не только злобы или зависти, не было к ним и простого недоброжелательства, так как крестьяне дорожили своей свободой и занятия кустарными промыслами и ремеслами сверх земли считали только похвальным и уважительным делом: кому бы чем ни заниматься, лишь бы всем польза была. Поэтому ни о каких кулаках говорить здесь не приходится.

Первыми выступили на сцену старики или бездетные и одинокие крестьяне, у которых или помирали их прямые наследники, или отделились, или, наконец, просто рассорились и ушли на сторону. Впереди для них подходили тяжелые старческие годы, опереться им было не на кого и поневоле надо было думать самим за себя. Закрепивши за собой свои два, три, а иногда и четыре надела, такие старики часть из них продавали в ту же пору, так как они уже не могли гнаться за большими посевами, а часть продолжали обрабатывать сами. Некоторые же из них на свою землю принимали зятьев, даже просто чужаков, обязывая их по договору за эту землю и готовое хозяйство кормить и обслуживать их до смерти и похоронить по православному обряду и обычаю.

Что же тут могло быть худого в таких закреплениях и продажах, а тем более несправедливости? Люди 40–50 лет несли труд и нужду, недоедали, недопивали и, конечно, имели законное

право под старость воспользоваться трудами рук своих, обеспечивая свою старость. Какая разница в том, что один человек за 40–50 лет нажил дом, другой дорогую обстановку, одежду, третий мастерскую, фабричку и т. п., даже капитал на сумму своей бережливости? И никому, кроме глупцов и фанатиков, не придет в голову оспаривать их право на результаты их труда и бережливости, а уж в особенности на право крестьянина после его тяжелого пятидесятилетнего выкупа на 5–10 десятин земли.

У нас такими стариками были: Василий Герасимович Киселев, Гавриил Кузьмич Сапельников, Федор Алексеевич Сычев, Федор Васильевич Новиков.

Вторыми спешили закрепить за собой наделы проживавшие на стороне и не нуждавшиеся в них, главным образом, опролетаризировавшиеся рабочие фабрик, какими у нас были Сорокины, Воронины, Скрыпкины, Новиковы, сами они примкнули к социалистам, а свою земельку стремились продать. На их стороне также была несомненная правда, так как они, хотя и не пользовались уже землей лично, но выкуп продолжали платить, сдавая свою землю в аренду за хорошие деньги. А тем более что наделы их доставались им от их отцов, которые платили за них до 1900-х гг. самый большой выкуп. Да и сами они, отдавая землю в аренду, зачастую не только не получали за нее платы, но сами же доплачивали по 5–6 рублей арендатору, лишь бы быть свободными от земли и мирских за нее повинностей. Так было и со мной: с 1900 по 1906 г. я имел в аренде два надела такой земли и получал приплаты со Скрыпкина (жившего на фабрике) 10 рублей в год. Оброк же в это время с волостными и земскими сходил с двух наделов 22–24 рубля, и таким путем он раскладывался на обе стороны. И только после 1906 г., после отмены выкупных платежей, я стал в свою очередь приплачивать ему за два надела 10 рублей в год. С одной стороны, потому что оброк с двух наделов после этого сразу упал до 7–8 рублей, а с другой — после этого облегчения сразу пошла тяга на землю, стало выгодней ее больше засевать, и съемщики стали перебивать ее друг у друга. Эти думали свою думу, но, конечно, думали не о том, чтобы пролетаризироваться для борьбы с капиталистами, а, наоборот, чтобы развить каждому для себя более подходящее дело. Один купил за Москвой дачу, другой 30 десятин помещичьей земли, третий около фабрики выстроил домик, работая и сам с семьей на фабрике. Закрепляя землю, они тотчас же ее и продавали и на полученные (200–300 рублей за надел) деньги раздували кадило.

За ними потянулись семьи, в которых было больше девок, чем

ребят. Эти боялись, что в случае передела им не дадут на девок земли, а потому и они поторопились закрепить свои выкупленные наделы. При всяком закреплении по заявкам просителей надо было собираться на сход и писать приговор: согласны или не согласны, а так как на первое время, как я и сказал, согласия не было, а были только отказы, то само собой проситель передавал жалобу на отказ земскому начальнику, и на разбор к нему приходилось по каждому делу посылать двух-трех уполномоченных и им платить по 50 копеек в день. В конце концов это надоело, тем более что дальше больше дело разобралось и спорить оказалось не о чем. Каждый в этом закреплении видел для себя ту или иную пользу, тот или иной выход, и так как закон давал право в случае согласия двух третей, помимо личного закрепления, закреплять одним приговором сразу за всеми крестьянами села или деревни, то через 5–6 месяцев споров и раздоров, к весне 1907 г. таким общими приговорами и стали делать закрепление целыми деревнями.

— Чего тут канитель разводить, — стали говорить ни сходах, — нынче с одним, завтра с другим: тому полномочных, другому полномочных. Кто не задумает в деревне жить, того все равно не удержишь, кто будет в деревне, тому и закрепление не страшно.

— Не только не страшно, — воодушевлялись другие, — а великая польза всем: земля найдет своего хозяина и не будет зря болтаться, как у наших Жучковых и Сорокиных. В аренде-то землю только портили, а теперь она в хозяйские руки попадет, а пролетариям и руки развяжет и капитал даст, получай денежки и катись.

— А вон в Никольском как славно, — поясняли третьи, — пять дворов на поселок вышли за овраги, и им хорошо, земля в куче, и деревне радость, не надо за три версты на ту землю таскаться. Сами посудите: четыре конца в день по три версты — двенадцать верст одной дороги! От того туда и навоз не возили. Общество им даже земли по десятине прибавило, работай, не ленись.

И когда оказалось, что такие выделы не только не страшны, но делают остающимся громадную пользу, тут уже безо всякого разговору стали закреплять целыми обществами и всячески даже наталкивали охотников выделяться на отруба, желая разделаться с дальними малоудобными землями. Не стали бояться и переделов. Хотя, кстати, переделов было мало. Очень скоро додумались после всякого выдела отрезанные полосы заменять более ближними, остающимися в общественном поле после выделившихся. Даже пошла конкуренция, каждый желал отдать

дальше полосы, чтобы получить ближние. Даже не гнались за точным размером и соглашались взять несколько меньше, чем отдавали. Какие тут разговоры о каком-то принуждении закреплять и выделять землю к одному месту, само дело для обеих сторон давало такие обоюдные выгоды. А то присмотрят компанией в три-пять человек подходящий кусок помещичьей земли по 8–10 десятин на семью, свои наделы продадут своим же малоземельным, а сами покупают через банк помещичью и выселяются на нее. И для них хорошая перспектива: на свои руки нашли муки, не ленись, старайся. И в обществе довольны, что пять-шесть дворов прикупили по наделу, по два и тоже нашли выход из малоземелья.

Не сразу и я разобрался во всех этих делах: выгодах и невыгодах личной собственности на выкупленную землю, и когда стали у нас закреплять первые старики: Сычев и Киселев, а затем и другие, — меня все время посылали к земскому уполномоченным, чтобы протестовать против этого закрепления.

— Ну чем же вы недовольны, — спрашивал он нас, — тем, что вам дается полная свобода распоряжаться собственной землей? Какие социалисты! Им мирская зависимость шею не перетерла. Забыли, как ходили к земскому согласье на раздел просить, паспорт просить, на общество жаловаться, когда оно разделу не давало, усадьбы не давало! А не вы ли всю свою нужду на общество валили, что оно вам мешает многополье вводить, травосеяние, зелени скотом сбивает? Я вас знаю лучше, чем вы сами себя знаете. Поломаться, покуражиться захотели, амбиция появилась, что вот такой старец, — указывал он на кого-нибудь из просителей, — хочет быть от мира независим. Тогда кой черт вас и на волю отпускали, если вы сами такие же господа и крепостники? Ну, вот ты, к примеру, — подходил он к кому-нибудь из уполномоченных и брал его за рукав, хотел бы ты, чтобы твоим тулупом Василий Косой завладел и в грязь и в дождь трепать бы его стал? Что молчишь, не согласен? А как же ты хочешь завладеть землей этого старика, который ее выкупал 50 лет? А тебе не стыдно, — обращался ко мне, — обижать старика Киселева, а еще законник считаешься, у него сыновей нет, он с дочерьми 40 лет работал, выкупал, а теперь вы сообразили, что при переделе можно ему не дать на дочерей, оттяпать два надела, ловкачи какие! А еще, мы «мир», мы «общество», — иронизировал Докудовский (так была его фамилия), — и дай волю этому «миру», он сейчас же пьянством и грабежом займется. И законно и незаконно за вино всех ограбит.

Нам, конечно, было совестно признаваться в действительном умысле «оттяпать» надел-другой у того или иного старика, и мы

весь свой протест обосновывали на нежелании переделять землю из-за каждого закрепляющего и выделяющегося. А в особенности когда закрепляли для продажи горе-крестьяне, не жившие и не работавшие в деревне, земля которых и на ближних полосах была очень плохой, никем не удабриваемой, болтавшейся в аренде десятками лет. Мы знали, что «общество в целом» не прочь было «оттяпать» такую заброшенную землю, с которой ее хозяин порвал всякую связь, но и этой мысли не говорили земскому, так как в душе не считали и этого хорошим делом.

— Что вы меня хотите обогнуть вокруг пальца, обмануть, нет, голубчики, я сам среди мужиков и родился и 60 лет прожил, я вас насквозь вижу. Вор у вас в животе, только вам сознаться совестно, вот вы и крутите вола за хвост с этими переделами, на черта они вам сдались! Ну, что, — набрасывался он на нас, — земля у Косого плоха, знаю, а плоха, и цену ему такую дадут, а к одному месту отведет, вам лучше, и вы ему самую дальнюю отрежете. Что еще! переделять не хочется? никто вас и не неволит, подменять пашнями можно, головы хватит!

Нам нечего было возразить, и действительно было совестно, но мы выдерживали такт и все же не давали согласия на закрепление. Дело передавалось в уездный съезд, куда уже редко мы и являлись, уполномоченные. Так и утверждалось просимое укрепление, и через неделю просителю высылался соответствующий акт с печатями и подписями.

Земский начальник любил при этом говорить с мужиками по душам, любил поспорить и пофилософствовать и пускался в откровенные разговоры.

— Знаю, знаю почему вы эту волокиту заводите, — говорил он нам на прощанье, — чтобы лишний раз на чужой стог вилами указать. Вот, дескать, помещики, как собаки на сене, на земле и сидят, а мужики тут судись из-за каждого надела. А что мы в долгах запутаны, вы этого не понимаете. Мужички-то хлебушек до весны берегут да по семь гривен продают, а помещики на корню еще по 50 копеек запродали. Банк-то не ждет, не милует. А то помещики!.. Вон вижу, Добрынин хихикает, — указывал он на опрятно одетого мужика, в большой бороде, — небось, думает, помещики прогуляли, в карты проигрались, а теперь плачутся. Нет, Федор Семеныч, не от карт, а от мужиков мы разорилися, уж очень они жадны на деньги стали, не только за 30–40 копеек, а и за рубль в день не дозовешься с весны до осени, два-три пуда в день вам мало.

— Зачем же дело-то стало, ваше благородие, не выгодна земелька — продай, мы купим, — с усмешкой говорил кто-нибудь из крестьян.

— Это дело решенное, земля ваша, — говорил его благородие, — вот Дума постановит — и быть по сему. Никто теперь и не спорит об этом, а вот только насчет выкупа разнобой, кадетская партия справедливую оценку придумала.

— Так и должно по справедливости, — скороговоркой говорили сразу в несколько голосов, — что ж тут худого? А дай волю господам, они на мужиков еще на 50 лет хомут наденут.

Для крестьян это было самое больное и интересное место, и, пользуясь тем, что земский с ними шутит и говорит запросто, они спешили выложить свои соображения, каждому хотелось вставить свое замечание о будущем выкупе. Начинался спор, шум, как на сходке. Но так как в это время мы еще не были достаточно осведомлены насчет партийных разногласий в земельном вопросе, то кто-нибудь спрашивал земского о том, что значит эта справедливая оценка и как хотят другие? Докудовский соскакивал с места, начинал быстро ходить взад и вперед, поддерживая засаленные брюки.

— Это, значит, надевай шапку, намазывая салом пятки, и беги скорее из имения, пока не догнали и крест последний не сняли, — говорил он как актер на сцене, смеясь и жестикулируя руками. — У кого по первой закладной, тому еще кое-что перепадет, а у кого по второй — с того и брюки снимут и по миру пустят. Поняли теперь, что значит справедливая оценка?

Мужики, конечно, понимали и весело смеялись над безвыходным положением земского. Добрынин сказал:

— Ничего, ваше благородие, мы вас тогда в сторожа возьмем, в сад посадим, ваше дело стариковское, по миру ходить не допустим, бабы по очереди кормить будут.

— Спасибо вашим отцам и дедам, — говорил, смеясь, земский, — от сторожей мы непрочь, только мы хотим, чтобы наши сады за нами оставить да усадьбу в три десятины, поняли?

— Да мы у вас все яблоки тогда разворуем, — говорит Гаврила Косой, — вы из дому убежите, а не токмо из сада…

— Слышь, законник, — кивает мне земский, — вот они ваши братья-християне, жулик на жулике, только им волю дай, сейчас и в карман залезут, а то говоришь, что их пороть не надо, они сами портки скидают.

Мужики гогочут вместе с земским, а Гаврила Косой оправдывается:

— Ну, как же, барин, посуди сам, около сада жить и без яблоков быть? Никак невозможно.

— Про это-то и Арина говорила, — кивает мне опять барин. — То ему земли мало — на возьми! А теперь и под сад подбирается. Я бы и сад отдал, все равно доволен не будет, за

женой придет такая же натура «христианская». На этой воровской привычке я свои планы под старость строю. Пускай банк забирает и землю, и всю движимость, лишь бы сад оставили да усадьбу в три десятины.

— Не прокормиться, барин, на такой малости, — перебивает Добрынин, — какой тут доход?.. 300 десятин имел, и то долгами оброс, а тут…

— А тут капитал наживу, — лукаво говорит земский, хлопая себя по лысине и ехидно подмигивая на Косого. Буду сидеть в саду с револьвером, как кого накрою, бац! И плати трешницу!..

— Этим не проживешь, барин, — говорит кто-то.

— Проживу, я вас дешевкой возьму. На дешевку вы падки… Вот посмотрите на Ивана Ивановича Кукушкина, — переводит он глаза на тщедушного мужичонку с жиденькой козлиной бородкой, — он уже сейчас соображает, сколько он мне трешниц переплатит за яблоки. Он думает так: ну, ладно, попадусь в неделю раз, на трешницу налечу, а за остальные шесть дней по мере и то шесть мер натаскаю, а может и совсем не попадусь.

Мужики опять весело гогочут, гогочет с мужиками и барин, показывая, как он будет ловить воров в саду и брать с них по трешнице, чтобы не доводить дело до суда.

— Я, — говорит, — его и сам не буду ловить каждую ночь, а так, в неделю два раза, чтобы у него охота не пропала. А он мужик зоркий, если на трешницу налетит, то непременно отыграться захочет… а мне яблок не жалко, таскай кому не лень, лишь бы в два рубля мера обходилась. Я думаю, что Добрынин и то соблазнится, задумает трешницу проиграть, сем-ка я, дескать, счастье испробую, поймает или нет? А вы говорите, не проживу… каждая баба за лето-то по три раза мне попадется…

— Ты нам, барин, зубы-то не заговаривай, — говорит Добрынин, — а вот насчет земли скажи толком: будет это, или не будет? А может, нам теперь и закреплять не нужно, чтобы попусту к вам и дорог не делать?

Земский становится в позу и торжественно объявляет:

— Русским языком подтверждаю, да, будет! И земля и воля, все будет в ваших руках… вот только сторгуются в Думе!..

И, переходя дальше на юмористический тон и жестикулируя руками, как проигравшийся игрок, говорит:

— Кой черт мы будем дальше делать с землей, долги наращивать? чистых имений осталось мало, по первой закладной тоже немного, а все мы горе-помещики по второй имеем. А я вам уже сказывал, чем это пахнет: завязывай глаза и беги!.. Вот наши-то и стараются хоть что-нибудь выторговать, чтобы не прямо в сторожа к Добрынину идти и за суму браться…

Некоторые крестьяне выражают сомнение.

— У вас леса, скот, постройки, инвентарь, ужели все прожили? — говорят они.

— Не прожили, а мужики заели, да проценты наросли. С банком-то только свяжись — задушит.

После убийства Столыпина я снова ходил к Докудовскому уполномоченным, но только уже не по делам закрепления земли, а по каким-то другим. Про закрепление теперь уже не было и разговору. За 3–4 года все, кому нужно, закрепили, кому нужно, продали и подкупили. Весь упор уже был только на частновладельческие земли. Крестьянская жизнь шла в гору, и, кто только имел энергию к труду и охоту к расширению своего хозяйства, тот не зевал и в одиночку, и обществом, и товариществами покупали помещичьи земли. Земский начальник к этому времени тоже продал большую часть имения. Закончивши деловые разговоры, по своему обычаю он опять пустился в философию с мужиками, стараясь вызвать их сочувствие к Столыпину.

— За что убили, разбойники, за то, что он Россию спас, от анархии избавил, за то, что мужикам развязал руки и дал возможность каждому стараться и приобретать!.. Хороша бы была теперь Россия, если бы он не остановил анархию?.. Нас бы тогда немец в два счета смял и верхом бы на нас поехал… а мы и так на него поработали…

Кто-то возразил в порядке разъяснения, что его убили за то, что полевые суды ввел, людей много перевешал, судебные законы нарушил…

— А его-то убили по какому суду, по полевому или по нормальному? — переходя на злобный тон, быстро заговорил Докудовский. — Три жида собрались в подполье и приговор сочинили — это тоже суд называется? Вы их просили, народ их просил об этом, — кто их уполномочил? звери! Вешал, убивал!.. а что прикажете делать с такими выродками, которые закона не признают, грабеж и смуту открывают!.. целоваться с ними? Ведь ясно же — все недоучки, шалопаи, воришки. Сами работать не хотели и другим не давали. У них на чужую собственность глаза разгорелись, от грабежа понажиться задумали, прохвосты! Столыпин ваши интересы от воров защищал, не давал ходу смуте и грабежу разыграться!

Докудовский вошел в азарт и готов был от злости заплакать. А потом, переменив тон и глядя на нас в упор, сказал:

— Ну говорите по совести: что крестьянам и горожанам от Столыпина худо было, говорите смело, припомните: ничего? и я знаю, что ничего, а вы так только жить лучше стали, правильно,

да, ну, отзывайся?..

Никто не отозвался, хотя мы упорно оглядывались друг на друга, вызывая на ответы, нам тоже не хотелось прямо сдаваться, а было нас не менее тридцати человек из разных деревень и волостей, и хотя вообще крестьяне никогда довольны не были и всюду и везде ныли и жаловались на правительство, а тут, против новых порядков, введенных при Столыпине, ничего и никто сказать не нашел, так как каждый понимал, что никак иначе с выкупленной землей распорядиться было нельзя. И нельзя было объяснить наше молчание страхом перед земским, так как мы его совсем не боялись, тем более он всегда сам заводил такие разговоры, и не было случая, чтобы он на ком взыскивал и мстил за них. Он сам признавал все дворянство вымирающим сословием и радовал крестьян тем, что скоро на смену дворянам придет власть крестьянская, свежая и ничем не попятнанная.

— Мы крестьян не боимся, — говорил он, — потому, что барин и мужик одним миром мазаны и одним говном от них воняет, если они только русские. А вот жиды, инородцы… вот кого бояться нужно, лиха стерва! Три раза поцелует, а потом предаст, как Иуда. Мы знаем, чего им нужно. Вы думаете, работы им нужно, хлеба кусок? Не о том они думают! Им власть нужна, глаза загорелись на народ русский… Душу русскую вымотать и подлым рабом себе обратить. А барин порол мужика, а потом жалел, хлеба давал, лесу на избу давал, а чтобы тебя пожалел жид, латыш, чухна — вовек того не бывало! Если бы всяческих ограничений, — вы ведь знаете, читаете, — народ русский требовал, царь давно бы три конституции дал, так нет же, того жиды требуют, инородцы!.. социализмом прикрываются, чтобы дурачкам очки втереть, Европу удивить, а что под этим кроется, не всякий еремей-разумей!.. Дворян гоните, но жидов бойтесь, как чумы, и им власти не отдавайте, съедят они и дворян и крестьян и никем не подавятся!

Совсем дряхлым стариком увидал я Докудовского весной 1917 г., месяца два-три спустя после революции (он уже несколько лет как не служил и доживал свой век у какого-то приемного сына). Встретился с ним на железнодорожной станции, до поезда оставалось полчаса. Мы сели в сторонке на скамейке, и он стал говорить первым.

— Ну как, теперь твоя душенька довольна? Ведь теперь все ваше, можно безнаказанно и грабить, и убивать, и жечь, ты ведь тоже революции ждал?

Я сказал, что в нашей волости смирно, и я стараюсь убеждать не делать никаких грабежей…

— Знаю, слышал, — перебил он меня, — но ты не у места,

тебя отшвырнут теперь, теперь власть ворам, бандитам, аферистам!.. ты при царе сколько, три раза сидел? ну теперь берегись, они вам покажут кузькину мать! Ты знаешь, что несут эти жиды?..

— Опять жиды, — возразил я ему, — нас русских 140 миллионов, а вы нас все жидами пугаете.

— Ладно, ладно, время покажет, я умру, а ты увидишь, — зачастил он, не давая мне говорить. — Не только страшная нужда, будет страшнее… придет народу бесчестье жуткое, бессмысленное, идиотское… вот о чем в Евангельи говорится: «Не сходи с кровли, когда настанет час». Или говорится: «Когда увидите мерзость запустения на святом месте». Жалко мне вас, таких вот простачков! Вы по своей простоте, может, и впрямь о чем-то хорошем думали, а только будет-то не по-вашему, не так, как русский народ хочет, а как шпана разная постановит. Я хотел сказать сволочь, я ты обидишься, скажешь, что Докудовский и перед смертью сквернословит, а ведь мы теперь равноправные…

Я хотел уходить, но он держал меня за руку.

— Если бы сам русский народ делал революцию, и горя бы не было, по-русскому бы он и решил, а то ведь кучка хулиганов и каторжан подожгла, и конечно не для того, чтобы народу добро сделать. Увидишь, как они на вас набросятся, как только власть возьмут окончательно, — торопливо говорил он мне, стараясь передать мне все свои страхи. — Ведь замутили, теперь только ленивый не бросится рыбу ловить и в комиссары попадать, увидишь, кто у вас в волости через год будет, или Башмак Барсуковский или Чуля Владыченский, теперь вся власть советам, они вам и насоветуют. Они вперед разрешат господские именья разграбить и на них свою власть установят. Ну, а потом и за мужиков возьмутся. Не китайский же император будет их власть содержать!

От торопливого разговора он даже закашлялся и на минутку умолк. Я ему не возражал и не поддакивал, не видя еще ничего худого и хорошего. Я в то время ничего не понимал в политике и не знал, что, как и всякая война, каждая революция приносит крестьянству одну лишь новую петлю налогов и всякую бумажную волокиту: учет и переучет всех твоих потрохов и живностей и новое рабство в форме разного рода натуральных повинностей.

Докудовский видел на мне мою неопытность и, как вышедший из моды старый барин, которому не с кем поговорить, старался внушить мне свое понятие.

— Я бы тебя мог и в Сибирь сослать и пять раз в тюрьму посадить, — опять начал он скороговоркой, а я ни разу не посадил. Отчего? оттого что русскую душу имею. Мы и пьяные

бывали и грязные, а душу не потеряли и облик человеческий. Как и мужики, мы верили в Бога, и признаем и слабость человеческую, и милость Божью, по-человечески и судим: и накажешь и пожалеешь. Думаешь, у каждого мужика и семья своя и хозяйство, и все жить хотят одинаково! Любого дворянина можно было разжалобить и заставить помочь, пожалеть, а когда жиды на вас засядут, тогда вы мертвым позавидуете. У этих прохвостов вместо души палка сухая, а вместо Бога, такой же жид, Маркс. Они бы и пожалели, да нечем, а потом, ради чего они вас будут жалеть, раз они и Бога не признают, они пойдут по вашим головам, по вашим трупам, они из вас крепости будут строить, чтобы сильнее оградить свою власть. Вспомянете вы не раз царя Давида и всю кротость его, поймете, как фараоны египетские на трупах рабов строили пирамиды…

Он так увлекся, что забыл все на свете и ни за что не хотел меня отпускать, и только звонки напомнили, что поезд подходит и ему надо ехать.

— Очень жаль, что мы так коротко встретились, — сказал он на прощанье, — и жаль, что больше вряд ли увидимся.

Умер он своей смертью в следующем году, избежав таким образом и травли и всяческих гонений как бывший помещик и земский начальник. Больше с ним так и не пришлось повстречаться.

# Глава 49
# Уход Л. Н. Толстого

Летом 1905 г. я отделился от отца и стал строить свое самостоятельное хозяйство. В это время у меня уже было пятеро детей, а земли достался только один надел в три десятины, причем пахотной из них было только две. Надо было искать выходы: или идти на сторону, или больше иметь земли для обработки. Я выбрал второе. Правда, я писал знакомым в Сибирь, спрашивая их совета, нельзя ли мне туда переселиться. Писал в Америку духоборам о том же, но не получил ответа. Из Сибири же один просил меня переселиться в их Кузнецкий район-уезд, а другой писал, что, если я здесь не хожу по миру, то лучше чтобы и не думал об этом переселении в Сибирь. Так я остался на месте.

Я стал пахать чужие бросовые полоски земли, добавляя к своему наделу, и этим сводил концы с концами. Полоски эти мне давали или многоземельные мужики, или так называемые бедняки, которые по своей лени и врожденному пьянству сами не засевали своей земли и отдавали дальние полосы в аренду. Я их обрабатывал тройною обработкой, и они давали мне сносные урожаи. При своей трезвости и бережливости я и тут вышел из нужды и, когда вышел Столыпинский закон, я стал покупать понемногу себе землю у тех, кто в ней не нуждался совсем, уходя на сторону и бросая хозяйство, или у кого ее было много. Ребята подрастали, и надо было о них думать. Вперед купил полнадела. Года через два еще полтора, а затем и еще два — этого было вполне достаточно, и я на этом остановился.

Мы с большим упорством принялись за труд на этой земле и через 3–4 года после этого к началу войны четырнадцатого года выплатили все долги за эту землю с доходов от нее же. Конечно, жили скудно. Не покупали даже масла к картошке и ходили летом босыми. По зимам я переплетал книги, выучившись этому по руководству, и тоже немного зарабатывал. Но это меня не удовлетворяло. Я хотел более живой работы.

В одно из посещений Льва Николаевича он посоветовал мне поработать — писать о крестьянской жизни. А писать было о чем, неправда нашей общественной жизни выпирала изо всех щелей, а личная жизнь крестьян была так бедна и уродлива от пьянства, что мне страшно захотелось протестовать против такой жизни. Примера личной жизни мне казалось недостаточно, и я стал писать.

Что я писал?

Писал главное о том, как крестьяне губят свою жизнь и держат в нищете и бедности свои семьи, только оттого что празднуют праздники с водкой, с водкой же встречают родившихся и провожают покойников. Пьют неизвестно для чего и без всяких важных случаев жизни и этим всегда разоряют сами себя. В ведении сельского хозяйства я указывал, как у пьющих выходит все гораздо хуже и в работе и в результатах, и что, стало быть, в нашей крестьянской бедности и темноте виноваты мы сами. Трезвые трудолюбивые и бережливые никакого горя не видят и дома ли — в деревне, на фабрике ли, всегда чувствуют себя не в пример лучше пьющих и не знают такой безысходной нужды. Написал книжки «На войну» и «Голос крестьянина», печатавшиеся за границей в издательстве «Свободное слово». В первой описал сборы солдат на японскую войну, как они себя чувствовали, и что говорили, а во второй несоответствие крестьянской жизни с господскими заботами о мужике. На словах заботы, что мужика нужно лечить и учить, а на деле он нужен только для того, чтобы готовить для господской жизни мясо, масло, молоко и яйца, чего сами для себя господа не делали, нужен как прислуга, как батрак и лакей, чтобы кормить господ и вывозить их грязь. Описал старую веру, чему и как в ней научился и как затем от нее отпал (напечатана Бонч-Бруевичем). Мелкие статьи по сельскому хозяйству печатались в журнале «Крестьянское дело», «Деревенской газете», «Новом колосе» и уже потом, к началу войны и во время ее, в «Ежемесячном журнале» и др. Написал свои воспоминания, напечатанные в международном альманахе П. Сергеенко.

До самой смерти Льва Николаевича (в ноябре 1910 г.) я поддерживал с ним знакомство и ездил в Ясную Поляну к нему. С ним вместе ночевал, с ним вместе обедал и ходил по лесам на его прогулках. От него привозил так называемые запрещенные книги и распространял среди своих знакомых. В последние годы его жизни я заставал его больным и беспомощным и видел, как он мучится в семье и дряхлеет, и приближается к порогу смерти. Всякий раз он говорил мне о том, как ему тягостно жить в условиях господского дома, где его считают приживальщиком, тунеядцем из-за того что он своей работой не дает доходу своему семейству.

— Я как в аду киплю в этом доме, — говорил он мне печально, — а мне завидуют, говорят что я живу по-барски, а как я здесь мучусь, никто не видит и не понимает.

А когда я был у него в последний раз и ночевал с 21 под 22 октября 1910 г., он был такой плохой, что я дивился в себе, как это может человек жить, мыслить и двигаться, будучи таким

изможденным и высохшим? Прямо я еле слышал его слова, и его шаги, когда он подходил и говорил со мной. Точно он был уже какой-то бестелесной тенью.

В разговоре он спросил: был ли он у меня в деревне?

Я с упреком сказал:

— Вы, Лев Николаевич, обещали меня навестить несколько раз, но обещания не исполнили ни разу, а в письме мне писали: «Если бы я и хотел исполнить свое обещание, я не мог бы этого сделать»… Для меня, — говорю, — так и осталось тогда непонятным: почему бы вы не могли приехать ко мне?

— Тогда было время строгое, — шутливо сказал Лев Николаевич, — была монархия, а теперь конституция. Я тоже со своими поделился, или, как говорят у вас, отошел от семьи. Теперь я считаю себя здесь лишним, как и ваши старики, когда они доживают до моих годов, а потому совершенно свободным, и могу в любое время исполнить свое обещание.

Заметивши, что я принимаю его слова за шутку и слушаю с недоверием, он перешел на серьезный тон и торопливо заговорил:

— Да, да, поверьте, я с вами говорю откровенно, я не умру в этом доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. А может, я и впрямь приду умирать в вашу хату. Только я наперед знаю, вы меня станете бранить, ведь стариков нигде не любят. Я это видал в ваших крестьянских семьях, а я ведь такой же стал беспомощный и бесполезный, — произнес он упавшим голосом. Я вам буду только мешать и брюзжать по-стариковски.

Мне стоило большого усилия чтобы не расплакаться при этих его словах, и Льву Николаевичу, видимо, было тяжело это признание. Мы долго молчали. Оправившись, он спросил:

— А вы, конечно, у нас ночуете, как и всегда?

Я сказал, что мне стыдно беспокоить других, но что иначе не знаю как быть, так как среди ночи боюсь один идти на станцию.

— Вот и хорошо, — оживился он, а вы думайте, что ночуете у меня в доме. А когда я к вам приду и тоже заночую — мы и сочтемся. А разве вы ночью кого боитесь?

Я сказал, что волков и людей не боюсь, а боюсь пьяных, так как у себя в деревне видел от них много горя.

— Я всегда думаю об этом, — сказал Лев Николаевич, — вот если бы люди поверили в Бога как в вечность духовной жизни и стали бы жить сообразно этому, разве возможны бы были пьяные и то горе и зло, которое теперь неизбежно сопутствует пьянству? Вы конечно больше моего знаете это горе от пьянства, а я сижу в каменных стенах и только издалека слышу и вижу пьяных. Вы же стоите к ним лицо к лицу, и я понимаю ваш страх. А прежде, в молодости — добавил он, — я их очень любил, они всегда такие

откровенные, душа нараспашку, а может, это потому, что сам тогда жил худо.

Прощаясь со мной по обыкновению с вечера, Лев Николаевич долго не выпускал моей руки и много раз повторил:

— Мы скоро увидимся!.. Дай Бог, чтобы мы скоро увиделись…

Я уже был в постели и собирался заснуть, как услышал около себя шаги, в полумраке я увидел опять Льва Николаевича, и готов был принять его за привидение, так легки и беззвучны были его движения. Видя, что я протягиваю руку, чтобы отвернуть свет лампы, Лев Николаевич удержал меня и, садясь рядом на постель, тихо и отрывисто сказал:

— Не надо, так лучше, я к вам на минутку, рад, что еще не спите. Я сказал Душану, чтобы он оставил нас одних. О ваших рукописях — я их сейчас прочел — я напишу своему знакомому Анучину, а еще Короленке, а только я вам советую не разбрасываться, не растрачивать себя по таким мелочам. Вам нужно описать жизнь, у вас так много в ней поучительного, что я готов вам завидовать. Опишите, непременно опишите, я даже прошу вас об этом.

Подумавши, он добавил:

— Мне всю жизнь недоставало того, чего у вас было с избытком, вашей жизни и ваших страданий.

Он хотел уходить. Но, постоявши у двери, вернулся, снова сел на мою постель, говоря торопливо:

— Я не хотел вам говорить о себе, но вот сейчас почувствовал, что я буду не прав, не сказавши вам всей правды о том, почему я тогда и всегда не мог навестить вас. Я от вас не скрывал, что я в этом доме киплю, как в аду, и всегда думал и желал уйти куда-нибудь в лес, в сторожку, на деревню к какому-нибудь бобылю, где мы помогали бы друг другу. Но Бог не давал мне силы порвать с семьей, да и в деревне меня бы осудили за это, моя слабость, может быть, грех, но для своего спокойствия я не мог заставить страдать других, хотя бы и семейных.

Я перебил его, сказавши:

— Для того, чтобы видеться с друзьями, вам и не надо было бросать семью. Ведь это же на время.

— В том и беда, — опять торопливо заговорил он, — что и моим временем здесь хотели располагать по-своему. Тайком я убегать не мог, не делая шума и семейного огорчения, а согласиться на то, чтобы я поехал к вам или к кому другому, жена ни за что не хотела. А если бы я стал настаивать, сейчас бы начались обычные в нашем кругу сцены со слезами, с припадками истерики, которых я никогда не выносил.

— Но вот вы бы все же поехали, — недоумеваючи сказал я, — что бы из этого вышло худого?

— Софья Андреевна сейчас же поехала бы за мной и помешала бы нашей беседе. Это же и было несколько раз, — сказал он. — Вот, когда я уезжал в Крым к Паниным, или вот в Кочеты к дочери. А приехать к вам в крестьянскую избу и делать историю из того, чтобы поздороваться, а через час проститься, — это и для вас было бы и смешно и стеснительно, и для меня глупо и просто бессмысленно.

— Конечно, — продолжал он все так же торопливо, словно боясь, что не успеет или забудет передать мне все те свои мысли, которые он на этот раз считал нужным мне сказать, чувствуя, что мы видимся в последний раз, — если бы я еще в молодости хоть раз накричал на свою жену, затопал бы на нее ногами, она, наверное, покорилась бы так же, как покоряются ваши жены, но я по своей слабости не выносил семейных скандалов, и, когда они начинались, я всегда думал, что виноват я тут один, что я не вправе заставлять страдать человека, который меня любит, и всегда уступал.

Оговариваюсь для ясности, что Лев Николаевич уступал своей жене лишь в тех случаях, когда надо было поступаться своим самолюбием, своими личными желаниями ради семейного мира. В вопросах же принципиального характера ни перед кем не поступался. Не уступил и в главном, в отказе от литературной собственности, за что и нес настоящую пытку в семье последние два года, когда особенно настойчиво семья домогалась от него завещания в их пользу на все его писания: опубликованные и неопубликованные.

— Мы прожили любовно 50 лет. Я не мог для своего личного удовольствия причинять ей боль. А когда у нас выросли дети и перестали в нас нуждаться, я звал ее в простую жизнь, где бы мы сами обслуживали себя, но она больше всякого греха боялась опрощения, не по душе, конечно, а по инстинкту. — Остановившись на минутку передохнуть, Лев Николаевич, подумавши, снова продолжал:

— Я для себя одного не ушел и нес крест. Меня здесь расценивали на рубли, говорили, что я разоряю семью, не продавая за деньги своих писаний. Правда, обо мне, как о человеке, любовно заботились, чтобы не простыл мой обед, чтобы была чистая блуза, вот эти штаны (указал он на колени), но до моей духовной жизни, кроме Саши, никому не было дела. Только Саша, — произнес он нежно, — меня понимает и не бросит одного. Я не могу видеться со своими друзьями, которых здесь не любят, и в особенности с Чертковым. Вы знаете Владимира

Григорьевича? — спросил он меня. — Он все свое состояние и время тратит на распространение моих писаний. Его Софья Андреевна видеть не может и считает, что он причиной тому, что я не продаю своих писаний в угоду семье. Чтобы с ним видеться, я должен или выносить мучительные сцены и упреки жены, или обманывать ее, говоря, что я иду к другим, в то время когда я иду к нему. Мне хочется спокойно умереть. Хочется перед смертью побыть одному с самим собою и а Богом, а они меня расценивают на рубли… Уйду, уйду, — произнес он как-то глухо, почти не обращаясь ко мне… — Вы меня простите за слабость, я вам по-стариковски разболтался, но мне так хотелось, чтобы вы меня поняли душой и не думали бы обо мне дурно. Еще два слова. Я вам сказал, что я теперь свободен, и я не шучу, как вы думаете. Мы, наверное, скоро увидимся… у вас, у вас, в вашей хате, добавил он поспешно, заметивши мое недоумение. — Я и впрямь отошел от семьи, только без приговора, как у вас, — пошутил он и тут. — Для себя одного я этого не мог бы сделать, а теперь я увидел, что и для семейных без меня будет лучше, меньше из-за меня спору и греха будет.

Прощаясь со мной, Лев Николаевич снова повторил:

— Мы скоро увидимся, может быть, даже раньше, чем думаю сам.

Отойдя на несколько шагов, он опять приостановился и вернувшись сказал:

— Я потому все это вам сказал, что убежден, что вы поймаете меня, разделяете мысли и вполне мне сочувствуете.

Мы расстались навсегда.

Почти всю ночь я не мог заснуть от охвативших меня волнений. Мне было стыдно, что я как бы заставил его исповедоваться перед собою, и в то же время радостно, что он, как человек, забывая наши различия, не скрывал от меня своих слабостей и горестей души, за что я и всегда любил его и привязался к нему душой. Никто так просто по-деревенски не разговаривал с ним и не стеснялся в разговорах от социальных различий.

Милый и дорогой дедушка, разве я мог думать в эту минуту, что ты живешь последние дни и в этом доме и в этой жизни?..

Вернувшись домой, через три дня, 26 октября, я получил неожиданно от него письмо, писанное им 24-го, 1910 г.:

«В связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, — говорилось в письме, — обращаюсь к вам еще со следующею просьбой, если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне — хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую комнату (хату), так что

вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Н. Николаева. Буду ждать вашего ответа. Дружески жму руку. Лев Толстой». В конце еще приписка: «Имейте в виду, что это должно быть известно только вам одним. Л. Т.».

Я не прощаю себе той медленности, которую я допустил с ответом ему на это письмо, которого, как оказалось после, Лев Николаевич ждал двое суток и только после этого, решивши, что ехать ко мне нельзя, я не отвечаю, взял направление на юг, к жившим там знакомым, а мой ответ он получил уже больным на станции Астапово. Кто знает, может быть, от этого его жизнь протянулась бы еще несколько лет, так как двухчасовой переезд до нашей станции от Ясной Поляны не повредил бы ему, тем более что и просимая изба, теплая и чистая, стояла пустой и точно ждала к себе жильцов. Да и в моей хате была маленький удобная комната, где он мог бы приютиться на время никем не замеченный.

Я никогда не прощу себе этой оплошности! Но как, однако, это вышло?

Получивши это письмо, я не бросился исполнять его просьбу тотчас же, как бы следовало, а целые сутки обдумывал, как бы мне лучше отговорить его от намерении навсегда оставить Ясную Поляну. Я видел его на этот раз очень дряхлым и совсем беспомощным, как он и сам говорил о себе, и сознавал, что перемена во внешней обстановке его жизни убьет его сразу и жертва эта будет ни на что и никому не нужна. В этом духе я и ответил ему уже 27-го в тот самый вечер, когда он тайно от домашних собирал вещи и готовился уйти и из дому и из мира житейского. К тому же я и не понимал, что у него так остро стоял этот уход, что непременно надо было поторопиться. А отговаривать его от такого рискованного «ухода» я имел свое право, так как для себя, для крестьян не считал нужным требовать от него подвига, как того хотела прегрешная мещанская интеллигенция, так как помимо всяких соображений о высоком подвиге ухода из мира житейского из мира всякой суеты, обманов и насилий, над ним лежала не менее великая обязанность семьянина, народившего большую семью, бежать от которой без ее согласия он так-же не имел нравственного права, тем более что и окружавший его вплотную крестьянский народ нуждался больше от него в подвиге семейном, а не иноческом.

Жизнь крестьянская бедна, темна, убога, но если в ней лад, то не нужен и клад, и этим миром и согласием в ней скрашиваются все ее отрицательные стороны. И Лев Николаевич

об этом хорошо знал. Знал и народ о том, как его в семье изводят и обижают, считая за блаженного дурачка, не идущего на поводу у жены, как, он видел, поступают все другие господа. И то, что Лев Николаевич все терпеливо сносил и не бежал, не ругался, не дрался, как это бывает почти в каждой крестьянской семье, а зачастую и у господ, это его смирение служило им очень хорошим примером для установления такого же миролюбия в своих семьях. И высказанная им мысль о том, что для своего личного спокойствия он не мог уйти раньше и что он только теперь, когда он увидел, что и для семейных будет лучше, он наконец уходит, — по-моему, не совсем точна. Скорее, она была для него только внешней формулировкой принятого решения, которую так просто было понять и всякому постороннему человеку. На деле же он не уходил не столько из нежелания обидеть семью, а гораздо больше и из того, чтобы не обидеть народ, не дать ему такого наглядного повода к осуждению его поступка. Мне он в разное время, по крайней мере, говорил об этом два раза. Говорил прямо, что он знает, что народ не одобрит его бегства из семьи и дома. Конечно, для либеральничающей интеллигенции 1900-х гг., жившей мысленно, в отвлеченных идеях, его уход был нужен как завершение его подвига самосовершенствования, как жертва за грехи ее праздной и сытой жизни, как наглядный показ порывания с нею во имя опрощения и более праведной жизни. Для народа же показа этой праведной жизни было не нужно — она у него и без того праведная, — а нужен был гораздо больший образец великого терпения и смирения, в котором он при всей своей темноте и ограниченности не мог бы видеть ничего худого и отрицательного. В монархической и в крайне левой печати мне много раз приходилось читать в то время беззастенчивое глумление над жизнью Льва Николаевича. Не зная ничего верного, и те и другие чернили его грязной клеветой: одни как отщепенца от их класса и вредного еретика, а другие как юродствующего интеллигента, поймавшего себя в греховной жизни барина, помещика. Клевета эта иногда подкреплялась ссылкой на разговоры с окружающими Льва Николаевича крестьянами, за которых он будто бы не заступался, когда их управляющий или Софья Андреевна преследовали за порубки леса, за неуплату аренды, за хищения в саду и т. д. И чем это дальше относилось по времени, тем более было таких ссылок на крестьян. А такие случаи были, не могли не быть после того, как Лев Николаевич еще с 1880 гг. отказался формально от владения имением, управлять которым, как законные наследники, стали его жена и некоторые дети, которые не только не разделяли его взглядов и не думали идти к опрощению и

самосовершенствованию, наоборот пользовались, как и все помещики, наемным трудом, дорожили графским титулом и изо всех сил старались поддерживать свое привилегированное положение, при котором они, разумеется, не могли сквозь пальцы смотреть на расхищение крестьянами своего имущества и, конечно, при поимках преследовали их. И Льву Николаевичу, становившемуся между двух огней, не всегда удавалось защитить крестьян и вовремя ликвидировать такие преследования. Иногда он подолгу отсутствовал, иногда просто не знал о случившемся, иногда не уступала жена и не прекращала формально дела. Конечно, вдов и сирот не преследовала и Софья Андреевна, не преследовала и хороших, трезвых и старательных крестьян, потому что такие и не нуждались и не занимались мелким воровством и хищениями. Преследовались лишь неудачники и пьяницы, которые за рублевый штраф или даже за вызов к земскому на суд поднимали крик на всю губернию и винили во всем почему-то Льва Николаевича. Такими случаями и пользовались и левые и правые газеты, чтобы чернить и осуждать Льва Николаевича как барина и помещика, искусно не касаясь сущности вопроса. Лев Николаевич знал об этом и всегда страшно мучился оттого, что не всегда мог предупреждать такие конфликты, и ему было больно, что какой-нибудь самый последний мужик, вор и пьяница, мог делать для печати его характеристику, а он был совершенно бессилен и не мог разоблачить клевету и оправдываться. Но чем ближе по времени к его последним годам, тем реже и реже были такие случаи, тем ближе и яснее его понимали крестьяне и тем больше он дорожил их мнением и любовью, и тем больнее было ему обидеть их своим уходом из семьи и дому, зная, что они не оправдают такого ухода. А уйди бы он 10–20 лет назад, он, конечно, сильно повредил бы себе в их мнении, так как само крестьянство в то время под пропагандой духовенства и полиции слишком по-разному еще относилось к нему и не вполне понимало и разбиралось в его жизни и учении.

— То ли он заодно с революционерами и срамит православную веру, то ли он анархист и не признает никакой власти, то ли блаженный и чудак, никак его не поймешь, говорил мне в 1897 г. кочаковский крестьянин, когда я пешком из Тулы ходил в Ясную Поляну.

И Льву Николаевичу, бывшему под запретом цензуры, очень трудно было сговориться с крестьянами и рассеять весь тот подозрительный туман и ложь, которыми его опутывала и правая печать и представители церкви и полиции, тем более что крестьяне знали, что за близкое с ним знакомство правительство

сажало в тюрьму и посылало в ссылку. И если он все же решился уйти, то помимо соображений семейного характера («лучше будет для них»), он в это время уже знал, что он так мало наживет на свете, что и во мнении народа его уход уже не вызовет никаких злых кривотолков и недоброжелательства. Ушел старик на покой, что же тут нового и непонятного? Уходили же деревенские старики и старухи на дальнее богомолье, когда они были не нужны для общей работы, или когда в семье заходил надолго затяжной грех, который легче всего разрешался таким уходом.

Мир твоей душе, дорогой дедушка! Уж видно, не судьба, чтобы мне снова увидеть тебя, что твое пребывание в родном доме и семье стало для тебя так тягостно, что ты не мог дальше вынести там и двух дней, иначе я поспешил бы тебе с ответом. Над твоей могилой я не прощался с тобой, я не говорил тебе «прощай», так как проститься с тобою, отойти от тебя душой для меня стало невозможным, и твой дух до конца моих дней будет неотступно жить со мной.

# Глава 50
# После похорон

На похороны я не попал, они были поздно вечером при огромном стечении окрестного народа и успевших приехать из Москвы и других близких городов учащихся, педагогов и прочей интеллигенции. Но так как дополнительных поездов не дали из Москвы, то большинство из них на похороны тоже не попали, а подъезжали и подходили только на другой и на третий день. Я попал на другой день к обеду по времени. От шоссе до усадьбы двигались толпы людей. Отдельные кучки по 20–30 человек шли уже с могилы; ехали на автомобилях, на крестьянских повозках, на городских извозчиках. Могила в лесу, на конце глубокого оврага, с которого начинался молодой лес, но сама могила в группе больших деревьев на опушке старого леса «Заказа». Чудное место, тихое и укромное, с которого не хочется уходить и так легко и глубоко думается о смысле жизни под таинственный шум старого леса. Бывал я потом и через несколько лет здесь, на могиле, но впечатление не изгладилось, и всякий раз снова поражало здешней тишиной и таинственностью, под которой нашел себе приют новый мученик мира, пытавшийся указывать иные, краткие пути к душевному спасению и свободе, каких всегда так ищет и так жаждет страдающий дух человеческий, опутываемый соблазнами, обманами и насилиями.

Ближе к вечеру по всему пути и около могилы собралось опять две с половиной тысячи людей. Кто-то пытался говорить речь, но его тотчас же останавливали и указывали на группу не то стражников, не то казаков, державшихся шагах в ста от народа, по другую сторону дороги в лесу. И я слышал, как упрашивали горячего оратора не вызывать своими речами враждебного и не соответствующего обстановке настроения, которого больше всего не пожелал бы и покойник. Правда, люди чувствовали себя развязно и не стеснялись говорить между собой вызывающих речей по адресу власти, приславшей и к его могиле охранный конвой. Но такие речи не находили себе широкой поддержки и гасли сами собой. Видимо, людям не хотелось в эти минуты заряжать себя недоброжелательством к кому бы то ни было. Их невольно умиляло и проникало внутреннее озарение той новой христианской веры в вечность человеческого духа, которую открыл в Евангелиях Толстой. Тут нельзя было сводить личных счетов даже с властью, нельзя было злобиться и ненавидеть, так как мысли у всех сами собой устремлялись туда, в вечность, куда

только что ушел он с призывом к любви и миру. И скептик и атеист чувствовали здесь в себе новые струны мысли и новое биение своего сердца, которое на этот раз не мирилось ни с атеизмом, ни с обычным пониманием бессмыслицы и пустоты жизни в так называемом материалистическом освещении. Здесь каждый чувствовал духовное начало, одушевляющее мертвую материю и дающую ей мысли и чувства; дающую ей оценку добра и зла в своих поступках и поведении. Это духовное начало не умирает, не может умирать вместе с телом, ибо оно не подвержено тлению. И что хоть вот сейчас Толстой и лежит своим угасшим телом в этой могиле — его дух, его разумение, его любовь к жизненной правде одинаково чувствуются всеми, как если бы он был среди них и своим телом. И что нет и не может быть, чтобы его этот костлявый труп, зарытый в землю, был причиной того высокого морального подъема и любви к правде, которые вместе с ним разделяли люди на всем земном шаре, соприкасаясь с ним и лично и по его писаниям.

В эту торжественную минуту всеобщего преклонения перед силой и властью вечного человеческого духа перед каждым из здесь присутствующих гораздо шире раскрывалась тайна жизни и смерти, и в ней, как в раскрытой книге, каждый свободно поверял свою собственную душу и свою необъяснимую словами веру в существование такого же необъяснимого духа вечности, духа всеобъемлющего разума. Проникнутые и слитые воедино этими мыслями люди как-то сразу, точно очнувшись и без всякого сговору, становились на колени и торжественно, не один раз начинали петь вечную память, ибо похороны были не церковные, но гражданские. В лесу уже сгущались вечерние сумерки, и сам он таинственно чернел, скрывая в своей темноте группу вооруженных людей, но народ и не думал расходиться, находясь точно в каком-то гипнозе и оцепенении. Жалко было уходить из этой тишины и покоя, жалко было оставлять этот свеженасыпанный холмик, под которым нашел свой последний приют жаждавший правды Толстой, жалко было расстаться с его последним убежищем. Уйти от него самого было нельзя, да никто этого и не мог хотеть в эту минуту, так как каждый глубоко чувствовал ту незримую духовную связь с той истиной и Божеской правдой, которую показал Толстой в идеалах христианского жизненного понимания. И было даже как-то странно. Лес, сумерки, а тысячи людей стоят на коленях и грустно-восторженно поют: «Вечная память!» Кому вечная память, чему? Конечно не тому костлявому трупу, зарытому вчера на их глазах в могиле, а тому светлому, духовному существу, которое через эту телесную оболочку возвещало людям верные пути к

духовному пробуждению и звало на этот радостный путь самоочищения и самосовершенствования.

И только когда стало уже темнеть, люди стали медленно расходиться. Одни шли обратно к станции, другие через усадьбу на деревню, а третьи по опушке леса, прямиком к деревне Телятинки, где на своем хуторе проживал в это время друг Льва Николаевича Владимир Григорьевич Чертков, который на правах дружества и принимал массу публики, давая всякого рода объяснения о последних днях жизни Льва Николаевича.

На могиле уже лежало множество небольших венков, главное, из живых цветов (большинство их оставлялось в доме). Стояла все еще группа яснополянских крестьян с перекидным плакатом на двух деревках, на котором, насколько помню, было написано: «Дорогой Лев Николаевич, память о твоем добре не забудется между нас, осиротелых крестьян Ясной Поляны». Некоторые женщины подходили к могиле и плакали с причитанием по-деревенски. Одна из них стояла вблизи меня с двухлетней девочкой на руках и подростком мальчиком лет одиннадцати и все время плакала и утирала слезы. К ней подходили с расспросами, что очень смущало и тревожило, видимо, она пришла сюда не ради разговоров и любопытства, а с глубокими мыслями о жизни и смерти, с какими вообще приходят простые люди на могилы дорогих покойников, чтобы поплакать и поделиться с ними своим горьким горем. Не речист в таких случаях простой человек и немного находит в себе слов для разговора с посторонними. Я слышал только, как она отрывисто сказала одному седому господину, на его расспросы об отношении к ним покойного: «Всем помогал и всех защищал; кому что нужно, всем посоветует». Ее дети с любопытством смотрели на народ, а девочка на руках неизменно повторяла подходившим — «Мамка плачет по дедушке!» — чем и избавляла ее от излишних расспросов, так как умиляясь лепетом, не у каждого хватало совести тревожить мать. А мне так и не о чем было расспрашивать и ее и других крестьян и крестьянок, так как я был здесь не новичок и знал гораздо больше и о его жизни и его последних днях, чем знали другие, знал даже и о причинах его ухода.

Было сыро, грязно, моросил мелкий дождь. Продрогшая публика заполонила все жилые комнаты Владимира Григорьевича, пытаясь протискаться в большой зал, в который время от времени выходил он сам и вел дружеский беседы, отвечая на множество вопросов, но, к сожалению, всем из-за тесноты помещения так и не удалось его послушать. И уже потом, после, его ответы передавались другим теми, кто слышал их сам.

Я остановлюсь на трех главных из них. Спрашивали: почему Лев Николаевич сам не отдал землю крестьянам? Почему не получал платы за свои печатавшиеся произведения? Почему не ушел из дому гораздо раньше и какая была основная причина ухода теперь?

Владимир Григорьевич отвечал приблизительно так:

1. Сознанием греховности землевладения Лев Николаевич проникался не сразу, не в один день, а, главное, в такое время, когда его большая семья еще сильно в нем нуждалась, нуждался и он в ней и не мог сразу из-за этого вопроса пойти с ней на разрыв. Он в то время еще надеялся, что со временем ему удастся склонить к этому же и семейных, но всякий раз встречал резкий протест со стороны жены и некоторых взрослых детей, которые, наоборот, на его стремления к опрощению, на его желание отдать землю крестьянам и жить только трудами своих рук смотрели как на чудачество или сумасшествие и тоже надеялись, что он одумается и откажется от своих намерений. Когда же Лев Николаевич в 1883 г. отказался публично от получения гонорара за писания, семейные его увидали, что он не исправим в своих мыслях и стали настойчиво добиваться от него отказа от своих прав на землю и передачи их жене и детям. Софья Андреевна через родственников жаловалась при дворе Александра III, что ее сумасшедший муж может отказаться в пользу крестьян от земли и сделать их нищими, на что получила заверение, что правительство этого не допустит и что если это случится, то оно объявит его душевнобольным и, расторгнув сделку, установит над ним и имением опеку. Об этом же дали понять и самому Льву Николаевичу. Кроме того, семейные ему доказывали свою правоту такими рассуждениями: «Ты породил большую семью, а работать на нее не хочешь, как все, — хорошо, это твое дело, но ты не имеешь права делать нас нищими и лишать возможности жизни в тех условиях, в каких мы все родились и выросли, не имеешь права лишать родового права на наследование». Да и закон был на их стороне, так как действительно по закону один Лев Николаевич без согласия семейных и не мог распорядиться всем имением. Эти соображения и постоянная вражда семейных и заставили Льва Николаевича в то время отказаться от владения имением, которое в силу закона само собой поступило в распоряжение жены и детей, как прямых наследников и соучастников.

2. Отказался Лев Николаевич от гонорара за писания потому, что считал грехом брать за это деньги, и все худое в литературе, ее вранье, неразбериху и многословие, считал прямым результатом ее продажности. Он так и говорил, что с тех пор как

стали платить деньги за писательство, появилось сразу бесчисленное количество писак-ремесленников, которые в угоду публике и власти написали горы всяких небылиц и вымышленного, в которых не только нет никакой нужды людям, но нет возможности разобраться, что стоящее и что не стоящее. А чтобы всегда иметь сбыт, эти ремесленники стали доказывать, что все просвещение людей состоит в книгах: чем больше человек их перечитает, тем он будет развитее и образованнее. А так как чтение есть самый легкий труд, в нем люди и стали искать образования, но чем больше искали и читали, тем больше запутывались в нравственных вопросах, и, чтобы они не тяготили, многие отбросили их совсем и стали усваивать одно материалистическое жизнепонимание, в котором вопросы о цели жизни, вопросы внутреннего нравственного характера и ответственности перед Богом уже совершенно исключаются. Так что, по мысли Льва Николаевича, писательство за деньги принесло людям великий вред, оно понизило их нравственный уровень и нужную и полезную книгу засорило и заменило пустыми вымыслами.

Кто-то возразил, что Лев Николаевич делал исключения. Владимир Григорьевич сделал пояснение, что Лев Николаевич сделал действительно единственное исключение, продавши издателю «Нивы» свой роман «Воскресение», деньги за который передал в комитет по переселению духоборов в Америку.

3. Об уходе из дому в простую жизнь Лев Николаевич думал более 30 лет, но та же причина: потребности семейной жизни, надежда убеждением заставить семью перейти к более умеренному простому образу жизни, боязнь вызвать осуждение в народе такого поступка и внести путаницу в понятие святости и крепости семейного союза — эти причины удерживали его от исполнения своего намерения. Хотя Лев Николаевич и делал попытки к такому уходу, но его всякий раз догоняла жена, и он возвращался, поддаваясь раскаянию и уговорам. Но к старости все эти причины теряли свою силу, терялась надежда на добровольный отказ семьи от господской жизни с батраками и прислугой, терялась потребность семейной жизни, терялся смысл и осуждения в народе такого оставления семьи, так как и по Священному Писанию, по легендам и описаниям в житиях святых и по примерам в натуре народ знал много случаев оставления стариками семьи для отшельничества и спасения души, которые уже не только не осуждались, а, наоборот, являлись примерами великого подвижничества, поэтому-то и у Льва Николаевича только к старости созрело это решение.

— Да вот здесь как раз присутствует тот самый крестьянин,

М. П. Новиков, друг Льва Николаевича, к которому он первоначально хотел выехать, задумывая уход (и он указал на меня), как раз ему за неделю до ухода он говорил, что теперь отошел от семьи и что непременно уйдет, так как теперь и для семейных его уход не будет горем, а наоборот, внесет мир и прекратит грех и споры.

И дальше Владимир Григорьевич объяснил публике, что основным поводом к озлоблению семейных в последние два года его жизни был вопрос из-за его завещания, написать которое в пользу жены и всей семьи Лев Николаевич упорно не хотел. А так как семейные видели, что он физически дряхлеет и может умереть каждую минуту, не подписав для них завещания на все свои писания, а потому все больше и больше давили на него и отравляли его пребывание в доме. В то же время они смутно предполагали, что такое завещание Львом Николаевичем уже написано, но не в их пользу, а во всеобщее пользование, что и заставляло Софью Андреевну тайно обыскивать кабинет Льва Николаевича в поисках этого завещания. Он все это знал и страшно тяготился и страдал. Это и заставило его сказать мне, что его «здесь расценивают на рубли». Но завещание это было вне дома, а потому и не попало в руки семейных, и только после его смерти было обнародовано.

В перерыве беседы публика устремилась ко мне, производя невероятное смятение. Меня окружили плотным кольцом и закидали всевозможными вопросами. Каждый о чем-то спрашивал и, протискавшись вплотную, жал долгим пожатием мою руку. Мне запомнилось тогда, что вся учащаяся молодежь, и мужчины и женщины подходили ко мне с радостными улыбками и радостно знакомились со мной, попросту, по-братски.

Но престарелые мужи с седыми бородами и волосами, прежде чем подойти ко мне и поздороваться, пристально меня рассматривали, точно отыскивали на мне какие-то приметы или пробу. Конечно, я ничего не мог сказать путного каждому в отдельности, так как вопросам не было конца и я не знал, на какие и кому отвечать, пока кому-то не пришло в голову водворить тишину и заставить меня объяснить всем сразу, почему же предполагаемая поездка ко мне Льва Николаевича не состоялась. И мне пришлось повторить всем то самое, что я уже записал выше, что я не ответил ему вовремя на его просьбу принять его вперед в своей хате, а потом подыскать отдельную избушку в нашей деревне, из чего он и заключил, что я и вовсе не могу его принять у себя, и решил ехать в другую сторону. И когда публика узнала, что до нашей станции Лаптево от Ясной Поляны было только 45 верст, то есть два часа по железной дороге езды, а

от станции до села Боровкова — 40 минут ходьбы, — все страшно жалели, что Лев Николаевич изменил направление и не дождался моего ответа. Всем было очевидно, что в такой близости от Ясной Поляны он не мог бы простудиться и заболеть и тогда его последние дни жизни и его конец сложились бы совершенно по-другому и были бы гораздо продолжительнее. Но моей искренности верили все, и никто не вздумал упрекать меня за замедление с ответом.

— Такая, знать, судьба, — говорили многие, — человек не знает наперед, где ему умереть и когда.

Но вопрос о том, куда же, собственно, ехал Толстой, изменивши свой первоначальный план, — занимал всех одинаково, и Владимир Григорьевич отвечал на него со слов Душана Петровича Маковицкого, с которым он выехал вместе из Ясной Поляны, что определенного пункта у Льва Николаевича не было, ехали на юг в надежде остановиться у знакомых ему крестьян из так называемых сектантов, а в крайнем случае перебраться в Болгарию к знакомому ему болгарскому писателю, Христо Досеву.

Потом, после смерти Льва Николаевича, Душан Петрович был у меня в деревне и говорил мне, что Лев Николаевич ожидал двое суток от меня ответа, все же беспокоился за то, что у меня опять он будет вблизи от железной дороги и еще ближе от Москвы, а поэтому и друзья и семейные скоро откроют его пребывание и будут снова его беспокоить визитами. А он хотел полного уединения, хотел скрыться от людей и последние дни своей жизни побыть в полном одиночестве, а потому-то он и не стал дальше ожидать моего ответа. Да и при жизни он говорил мне не раз, что ему как старику хотелось бы полежать на печке, хотелось бы иметь покой, а его все время одолевают посетители, одолевают письмами и запросами. Он думал, что своим уходом из дома, помимо других соображений, он сможет скрыться от людей и найти давно желанный покой. Но мечта его так и не сбылась.

В самом деле, как мог он уйти от людей, когда он был всем нужен, когда миллионы искали в его беседах и в ответных письмах разрешения мучивших их вопросов и в области религиозного понимания окружающего нас мира и тайны жизни и смерти, и морального обоснования своего отношения к этому миру и тайнам, и, главное, своих непосредственных обязательств по отношению ко всему живому и к брату-человеку. Ведь с отменой крепостной зависимости крестьян свободомыслие и вольномыслие развивались быстрыми темпами, и не только в так называемом образованном обществе, но и на низу, в крестьянской деревне. Всем хотелось знать больше того, что они знали, а

ответы на вопросы морали и религии от православной церкви и официальных представителей власти никого не удовлетворяли. В совести и темного, но проснувшегося человека покачнулась вера в правильность и своего поведения и своего наставничества со стороны его пастырей и учителей, а потому он с такой охотой прислушивался к тому, что говорили по этим вопросам монастырские старцы и затворники и так называемые сектантские проповедники, а также и ученые вольнодумцы, к которым Лев Николаевич и относился церковниками в первую очередь.

А что его действительно страшно одолевали и посетители и корреспонденты, это я видел своими глазами и слышал его сетования. Он говорил, что не всегда хочется говорить, не всегда подберешь разговор по человеку, боишься обидеть своим невниманием, боишься, как бы какое письмо не осталось без ответа.

— Люди, — говорил он, — приезжают издалека, многие из других стран, и конечно, с ними нельзя вести банальный разговор о том о сем, а это-то и трудно. А потом и видишь среди них многих совсем не серьезных людей, сам с ними раздражаешься. Они скажут глупость — это никому известным не станет, а Толстой ответит невпопад — пойдут не менее пустые пересуды.

Утром другого дня я снова зашел на могилу. По дороге все шли новые толпы поклонников Льва Николаевича. Часть их разбрелась по Ясной Поляне (деревне), часть бродила по парку и кругом дома, но большинство стояло около могилы и вереницами тянулось по лесу, со стороны станции. Это было уже второе утро после похорон.

Не хотелось уходить, но уходить было нужно. Ну, прощай, мой дорогой, и хоть ты скрылся в лесу, но не зарастет к тебе народная тропа. Ты вечно будешь нужен страдающим и угнетенным, ищущим душевного покоя от бурь и волнений жизни, вечно будешь указывать самый мирный и святой путь к христианскому возвышению и самосовершенствованию. Не марксистская звериная борьба классов, уничтожающая человеческое достоинство и отменяющая человечность, совесть и честь, не насильническая переделка душевных людей с их верой в человечность и ответственность перед высшей силой (как причиной жизни людей) в зверей и животных, не достигающая ничего другого, кроме увеличения эксплуатации, грабежа и преступлений, а только любовь и милосердие личности, возвышение сознания до признания области надматериального мира с его тайной жизни и смерти, возвышение человеческого духа над миром плотским и материальным — только этот путь и может примирить все людские противоречия и привести

действительному братству и равенству. А первый шаг на том пути начинается только с самосовершенствования и самоочищения. Не обходились и не обойдутся люди без того, а потому и не забудут тебя как яркий маяк на этом пути с призывами к человеку и человечности.

# Глава 51
# Крестьянский золотой век

Между 1908 и 1914 гг. в деревнях все быстро улучшалось. С отменой выкупных платежей заводились деньжонки у мужиков, и, если они не были горькими пьяницами, у них появлялся хороший инвентарь, сбруя, ставились новые и перекрывались железом старые хаты, прикупалась земля; на огородах многими садились яблони, малина; женщины приобретали в рассрочку швейные машины. Появлялись даже у некоторых граммофоны, хорошие гармошки. Ни один и простой праздник не обходился без белого хлеба и баранок. А в большие праздники все покупали по 20–30 килограммов белой муки. Картошки без масла ели уж только любители. Девки и парни приходили к Пасхе с фабрик в таких нарядах, что нельзя было уже узнать — то ли это мужицкие, то ли господские дети…

Тогда собиралась вся деревенская молодежь на лугу веселиться и водить хороводы, было и радостно и весело посмотреть и послушать. С фабрик они приносили новые песни или перенимали те из них, какие там пелись молодежью других губерний. С этой стороны фабрика служила консерваторией и объединением, с которой и песни и хороводы разносились во все дальние губернии, и мотивы и мелодия новой песни становились общим достоянием. Хорошее, золотое было время для старательных и более трезвых крестьян. О нужде были разговоры только в семьях пьяниц. Жучковы, Воронины и Бариновы были первые из них в нашей деревне, будучи прямыми наследниками своих таких же пьяниц отцов и дедов. Спивались некоторые и вновь на фабриках и приходили в деревню уже неисправимыми. Водка была дешевая, 40 копеек бутылка, а потому так легко доставалась пьяницам.

Теперь, когда я пишу эту часть своих записок после начала революции, стало очень модным говорить о деревенской бедноте, как о каком-то особом несчастном сословии, беднота, беднота! всюду носятся с беднотой, как с новым кумиром, привлекая ее в свой лагерь для борьбы с так называемыми империалистами и капиталистами, с кулаками и эксплуататорами и прочими, доказывая с пеной у рта, что все эти лиходеи повинны в бедности этой деревенской бедноты, но я с этим решительно не согласен. Если бы государство как старое, так и новое не спаивало само народ спиртными напитками, получая с него громадные доходы, при тех же условиях правового и земельного надела люди в

деревнях жили бы гораздо лучше и этой самой бедноты было бы в сотни раз меньше. Правда, до отмены выкупных платежей оброк был тяжелый, 12–15 рублей с душевого надела земли ($2^3/_4$ десятины) при ценах на хлеб — овес — 40–50 копеек пуд; рожь — 50–60 копеек; скот — лошадь средняя 20–25 рублей, корова 25–35 рублей, овца — 4–5 рублей. Но и при таких условиях большая половина деревни при умеренном пьянстве жила без особой нужды, а совсем трезвые, 5–6 домов на 45 жили сравнительно зажиточно. Винить же помещика, который платил мне 10 копеек за поденку, или дьячиху-крестную, которая моей матери платила 20 копеек за молотьбу цепом, или фабриканта Сувирова за то, что он платил мне за работу в красильной 10 рублей в месяц, я никак не могу, потому что если бы у нас не было и таких заработков, мы, дети полунищей матери, ходили бы несомненно по миру, так как не на что было бы купить и кусков у нищих, не на что было бы купить новых ситцевых рубах и мы ходили бы в лохмотьях, а потом я не имел бы возможности помогать матери по 4 рубля в месяц. А вот другое дело, если бы даже и при всех этих жупелах: империалистах и капиталистах, кулаках и эксплуататорах и другой надуманной нечисти — мой отец не пил бы водки и был бы трезвым человеком, то, само собой, мы не несли бы в детстве такой нужды и наша бедная мать не умерла бы раньше времени. А то все эти «борцы» с империалистами и капиталистами, кулаками и эксплуататорами, как и мой отец, отлично хлобыстают водку и разную другую более дорогую дрянь, от которой бывает в конце концов господская болезнь, опиумная Некрасовым, и тем самым заражают слабых людей, которые с них-то и берут пример, привыкают к пьянству и губят и свое здоровье и жизнь своих семейных, и делаются «беднотой».

Если и нужно бороться с причинами, вызывающими бедноту от плохого общественного устройства, то есть с причинами, лежащими вне нашей воли, то во всяком случае вперед нужно одолеть те из них, которые целиком зависят от нашей личной воли. И когда мы их одолеем в себе, причин внешних, от нас не зависящих, окажется гораздо меньше и они окажутся совсем и не так страшны. А между тем наперекор рассудку и здравому смыслу опаивание народа и производство всякой спиртной гадости все поддерживается и расширяется. Были раньше кабаки и трактиры, дальше заменили казенными винными лавками, а затем стали называться кооперативными магазинами, также полными бутылок с водкой и со всякой спиртной отравой. Оно как будто и ничего, даже красиво, когда они стоят на полках рядами, как солдаты в строю, и доход громадный (еще Витте в отчете писал, что казне

бутылка водки стоит 9 копеек, а продают за 43. А что стоит теперь, не слыхал, не объясняют, а продают за 3–4 рубля), только плохо то, что, как и от солдат, от них всякой нуждой и бедствиями и даже трупами попахивает. Я не шучу и, чтобы подтвердить, скажу, что, насколько я запомнил, в одной нашей деревне на 20–50 дворов за последние 30–40 лет опилось, удавилось, замерзло и вообще погибло от водки скоропостижно 23 человека. Для сведения наших детей и внуков привожу и их список. Вот они:

1. Иван Иванович Зубаков пил до положения риз, бил жену и отца и в 45 лет опился до смерти. 2. Алексей Сычев пьяный скучал и удавился в сарае. 3. Осип Мухин напивался до белой горячки, видел чертей и в 48 лет спился до смерти. 4. Аграфена Васильевна Буланникова, едучи от праздника пьяная, вывалилась из саней и замерзла. 5. Алексей Степанов (по прозвищу Становой), возвращаясь из кабака пьяный, заблудился и замерз в лугах. 6. Иван Кузьмин Сапельников пьяный дрался около кабака, был избит и вскоре умер. 7. Василий Ларионов Жучков пьяный утонул во время разлива. 8. Матвей Воронин пил как сапожник и умер от геморроя в 28 лет.

9. Его брат Алексей был избит пьяный и умер в 22 года. 10. Василия Федоровича Сычева спустили пьяного по лестнице, и через день он умер. 11. Алексей Антонов гулял пьяный, попал под поезд и был задавлен. 12. Его отец спился и умер в 50 лет. 13. Алексей Федорович Буланников пил, как алкоголик, и умер пьяным в 24 года. 14. Дмитрий Буланников пьяный шел воровать тулуп, упал с крыши и вскоре умер. 15. Степан Осипов Новиков пил до белой горячки, делал петлю, чтобы удавить мать, но, примеряя, удавился сам. 16. Его брат Тимофей пьяный попал быку на рога, выйдя с ним на поединок, был убит насмерть. 17. Константин Соколов пил даже спирт, не довольствуясь водкой, и пьяным умер в санях, возвращаясь из города. 18. Василий Иванович Новиков от пьянства стал босяком и опился. 19. Александра Жукова пьяного избили, зачах и умер. 20. Николай Никитич Кабанов тоже пьяным был избит и вскоре умер в 27 лет. 21. Павел Новиков купался пьяным в реке и утонул. 22. Матрена Ивановна Новикова пила запоями по 3 недели и умерла от пьянства в 42 года. 23. Василий Воронин, хоть и старым, замерз, едучи пьяным от праздника.

И это в одной только маленькой деревеньке! Кроме того, это же время я мог бы привести с десяток таких же смертей в двух соседних деревнях (конечно, их было гораздо больше, но всех я не запомнил), из которых трое замерзли около своих деревень, пьяными заблудившись, один завяз в грязи, один умер на печке и

т. п.

Но это жертвы, так сказать, самые яркие и заметные. А сколько за это же время в этих же трех деревеньках погибло людей от болезней, полученных ими в пьяном виде. Один полежал спьяну на холодной земле; другой напился холодного пива и т. д.

Но это только одна сторона. Другая — это та настоящая бедность или прямо-таки сиротство и нищета, которые вместе с пьянством проникают чуть ли не в каждый крестьянский двор. И после этого мы будем носиться и распинаться перед беднотой и винить воображаемых капиталистов и империалистов, что кого-то они порабощают и эксплуатируют! Да! ведь пьяный-то и бедный продает себя в любое батрачество. Щука глотает пискаря потому, что пискарь не может увернуться от щуки, а трезвый и бережливый труженик всегда обойдется без всякого кулака и капиталиста и не даст себя заглотнуть, как пискаря. А отсюда, главная борьба должна быть не против воображаемых кулаков и капиталистов, а за безусловную трезвость и бережливость, около которых никаким кулакам и щукам нечего будет делать. Но, как это ни очевидно, а правительство все же продолжает хлобыстать всякую спиртную гадость само и спаивать миллионы людей для получения с них верного дохода, ни капельки не краснея и не стыдясь тех громадных человеческих жертв, которые ежегодно приносятся водочному дьяволу. А ведь, помимо описанных жертв в натуре, около одной трети населения настолько порабощено этим недугом наследственно, что не имеет уже энергии, ни охоты жить культурнее и лучше, чем оно живет. Перед ними весь жизненный идеал заключается в одном праздничном разгуле и выпивке, и их уже не тревожат ни рваные дети, ни плохое разваливающееся хозяйство. Тут уж каждый рубль и полтинник, попадающий им в руки от той или иной работы, поневоле идет на водку, так как на такие деньги без связи со всей своей жизнью и поступками действительно ничего другого и не сделаешь, как только купить бутылку или полбутылки. Рубль пропил да на пять упустил в работе. А сколько в год подвернется таких случаев! Но им это неважно, никакие упущения их уже не тревожат, а важно лишь добыть сорок копеек и выпить бутылку вдвоем, и тогда у них все будет так хорошо, что лучшего и не надо. И так им кажется сегодня, так же и завтра, так и всегда. Мой сосед Воронин, замерзший пьяным, так мне прямо и говорил, что он пропивает и рубль и полтинник потому, что все равно на них он своей нужды не поправит, а пьяный напьется и нужду и голых ребят забудет.

— Тебе можно тверезому жить, когда у тебя все заведено и

все крепко, а я, куда не оглянусь, у меня и нет ничего, и все валится, — с досадой и завистью говорил он мне.

А когда ему моя жена говорила, чтобы учился жить по-моему, он бранился скверными словами и говорил, что так живут только жиды и татары, а он русский и православный. И, конечно, его никто и не эксплуатировал и не заставлял пить, а жил он хуже всех из деревни. Как и мой отец, он жил на фабрике и приходил оттуда в опорках, по три дня лежал от стыда на печи и никому не показывался, детей у него было много, и от первой жены, которую он побоями вогнал в гроб, и от второй, которую поранил ножницами в ногу и сделал хромой. Он пьяным считал своим долгом делать мне вред и неприятности: зависть разбирала. Запускал на ночь ко мне в огород лошадь, а утром выводил и ломал изгородь, чтобы доказать, что лошадь сама забралась в огород. Дети его таскали с моего огорода овощи и яблоки и ели их на наших глазах. Пьяным он приходил ко мне в дом и не уходил до ночи. А потом ложился на скамейку и говорил, что он будет у нас и ночевать. Выгонять его было опасно, и мы с этим примирились. А когда в мое отсутствие он также не уходил, жена со страху позвала старосту, чтобы его увести (а уж это было ночью), он избил и старосту и разлил горшки с молоком в наших сенях. И хотя староста, позвав мужиков, и отправил его на сутки в холодную, но после боялся сам, как бы он его не сжег за это. А когда я запирал сени и не пускал его пьяным в дом, он поленьями стучал в дверь и грозил разбить окна. Конечно, если бы я тоже пил вместе с ним, наверное, мы давно бы искалечили друг друга, а, может и были бы закадычными друзьями.

И не только по отношению к нему, но и по отношению к каждому дому, как в нашей, так и в соседней деревне, насколько я мог знать окружающее, я не могу ни о ком сказать, чтобы кто-то плохо жил от эксплуатации попов и кулаков, империалистов и капиталистов. Плохо жили только от пьянства, и где его не было или было очень мало, всем жилось довольно сносно. Даже лесники, жившие в помещичьих лесах и получавшие по три рубля в месяц, по два пуда муки и по 12 фунтов круп, и те жили сносно, им разрешалось иметь корову, свиней, давались покосы, отводился огородик для картошки и овощей, они продавали ягоды, грибы, масло и, если не злоупотребляли водкой, отлично обходились в семейных расходах. И, как пример, я знал одного пьяницу (федоровского, деревянную ногу) и мелеховского, Косого Михайлу, более трезвого и порядочного. Первый нищенствовал, ходил по деревням и обманно выпрашивал и денег и хлеба взаймы (без отдачи), а второй жил без большой нужды, хотя и был многосемейный. Да и в семьях наших деревенских мужиков, в

первую голову из перечисленных выше покойников от пьянства, было всегда гораздо больше вопиющей нужды, раздоров и побоев и драк, чем в более трезвых семьях. А ведь вопрос о том: пить или не пить — вопрос личный и совершенно не касается государственного строя. И в монархии, и в республике пьют одинаково. Не знаю, если при социалистах пьют и меньше, то это не от доброй воли, не от того, что заразились проповедью трезвости, а лишь оттого, что водка и всякая спиртная гадость продается в десять дороже, чем она продавалась при монархии, и налоги с крестьян тоже берутся в 5–10 раз выше царских, а подделка и домашнее производство разных бражек и самогона жестоко преследуется. Но если и пьют меньше (я верного не знаю), во всяком случае по дороговизне ее пропивают еще больше и еще больше несут нужды и всех тех горьких последствий, которые связаны с пьянством для деревни. А то обстоятельство, что водка, по заявлению пьющих, в республике выделывается по качеству гораздо хуже, больше, говорят, жжет сердце и внутренность, это дает полное основание предполагать, что и болезней и скоропостижных смертей от ней стало больше. Сам я не знал ее качества ни при царях, ни при социалистах, а потому верного сказать не могу. Прожил я трезвым, но похвастаться не могу покоем своей жизни. Правда, выдравшись из нужды малоземелья, в эти годы (1910–1914) мы совсем стали жить хорошо, хотя до самой революции выплачивали долги за землю тем крестьянам, у которых я покупал ненужные им наделы. Но беда и была и снова пришла с другой стороны. На фабрике подмастерье Барбарухин убеждал меня жить, как и все, и пить и курить, как и все. — «Иначе ты будешь дурак дураком», — говорил он мне. — Но вышло наоборот, дураком я не стал, а стал грамотным не по деревне, ну а грамотный мужик, как еще говорил Достоевский, — первый кандидат в тюрьму. Почему? Да потому что он больше знает, больше видит неправды от власти и легче выражает свои мысли и наводит критику. Ну а власть, опирающаяся на насилие, одинакова во всем мире, в какие бы цвета она не красилась и под какой бы вывеской не увлекалась установлением «тишины и порядка». Ни одна из них не любит того, чтобы люди умели рассуждать и обсуждать ее деятельность и, как и римский папа, хочет только того, чтобы все ее подданные признавали ее непогрешимость и мирились со всеми ее экспериментами. Отсюда и началось новое преследование и новые мытарства тюрьмы и суда для меня лично, и новое бедствие для всего моего семейства. Тем более что старший мой сын в это время жил уже в Москве учеником-наборщиком в типографии «Русских ведомостей», куда его приняли по письму

Льва Николаевича на последнем году его жизни к профессору Анучину, старшая дочь вышла замуж, и дома за мое отсутствие настоящих работников не было. Наступила война 1914 года, которая, помимо того что ввергла десятки миллионов людей в великую скорбь и бедствия и отняла у крестьян то недолгое благополучие, которое они испытывали с отменой выкупных платежей, принесла еще больно бедствие с вытекавшей из нее революцией, неся и ее последствия.

# Глава 52
# 1914 год

Война эта подкралась как-то сразу, нежданно-негаданно. Никому не нужная, бессмысленная и непонятная. Перед Японской войной, такой же ненужной и бессмысленной, о которой газеты по ее окончании тотчас же стали писать, что она была по недоразумению, народ о войне говорил гораздо больше, он знал и слышал, что «япошка задирает», и хотя, конечно, не хотел этой войны, но все же смутно интересовался ею, как он интересуется дракой большого петуха с маленьким, заранее зная, что какой задорный япошка ни будь, а мы все же его побьем и общиплем ему крылья. Этого он ждал все время в продолжении войны и этим поддерживал свое настроение. И чем позорнее приходили оттуда сведения о поражениях наших кораблей и отступлений армии от Ляояна и Мукдена, тем увереннее мужики ждали победы оттого, что мы, дескать, нарочно заманиваем японца подальше, чтобы затем окружить и взять в плен. И совсем другое настроение было от войны 1914 г., от которой уже никто и не ждал никаких побед, а все понимали только, что эта война по своим размерам, бедствиям и жестокости будет самой громадной и страшной, от которой не спасутся не только запасные до сорокадвухлетнего возраста, но и ратники ополчения до сорокавосьмилетнего возраста. О немцах и их вооружении знала и деревня, что они самые сильные и вооруженные, самые хитрые и дошлые, а потому никто не тешил себя даже иллюзиями победы и одоления.

В день объявления войны, 19 июля, у моего брата Андрияна (умершего потом в ссылке в Архангельске) умерла жена. Она пила запоем и отравляла жизнь и себе и ему. Но он все же горевал и убивался о ней. Чтобы его утешить, я сказал: «Смотри, через два-три месяца в каждом доме будут оплакивать своих мужей и отцов, и твое горе в сравнении с ними будет горем совсем маленьким». И когда затем тотчас же стали выхватывать год за годом запасных, а затем даже и ратников, деревня замерла и осиротела. Не было ни одного дома, которого бы она не коснулась или непосредственно, или через своих же родных и близких. Газетные утешения о том, что такая громадная по объему война не может тянуться долго, максимум 3–4 месяца, проникли и в деревню, и первое время на них только и держались все надежды и разговоры. Говорили и о том, что если англичанка пойдет за нас на немца, то они нас спасет и сразу прикончит

войну, а если пойдет за немца, то нам капут, придется просить мира и отдавать Польшу и Украину. И опять, как и в Японскую войну, запасные еще до своего призыва стали вредить себе глаза, растравлять раны, пить уксус и эссенцию, а главное, кому только было возможно, устремились на заводы, работавшие на оборону, откуда во многих случаях запасных не брали на войну. Давали большие взятки, работали иногда чуть не даром, обманывали начальство, подделывали документы и всячески поддерживали так называемый «военный патриотизм». Те немногие сектанты из так называемых «духоборов», «малеванцев», «молокан», «квакеров», «меннонитов» и «толстовцев», о которых до меня доходил слух, что они отказались от участия в войне по религиозным убеждениям, получили по приговорам военных судов каторжные работы от четырех до шести лет, но, конечно, в Сибирь не были отправлены, а отбывали в крепостях и централах. То же было и с нашим знакомым мясновским (около Тулы) крестьянином Иваном Сергеевичем Мельниковым, который получил 4 года и был отправлен в Шлиссельбургскую крепость, откуда был освобожден только после революции. Слышал я тогда, что даже в самой Германии Бебель протестовал против войны, а в нашей Государственной Думе протестовали члены так называемой «трудовой партии», за что также были сосланы в Сибирь. А так называемые социалисты из СДРП как у нас, так и во Франции и Германии, кроме тех, что проживали за границей и тявкали против, как из подворотни, забыли и свой «социализм» и валом повалили в ряды армии, чтобы защищать «каждому свое отечество».

Как и в Японскую войну, я готовился к отказу, но до конца 1914 г. ополченцев моего возраста (45 лет) еще не призывали. Но и без того жить было тягостно, позорно, тоскливо. В деревнях везде плакали и стонали, а с фронта приходили уже сведения о десятках тысяч убитых и раненых, не говоря о взятых в плен. Душа тосковала, хотелось хоть в чем-нибудь выразить свой протест. Уже по Японской войне я знал, что и после этой также через неделю будут писать, что она была по недоразумению, но во имя этого недоразумения ухлопают десятки миллионов людей, сделают еще больше того сирот и калек, сожгут сотни городов и тысячи деревень, а потом будут удивляться своему недоразумению. А тут после того как наших две армии генералов Самсонова и Ренненкампфа немцы разбили и выгнали из Восточной Пруссии, по деревням поползли настойчивые слухи об изменах, и последние надежды на победу и одоление — какими еще в деревне тешили себя неопытные люди, улетучились, и никаких надежд на скорое окончание не осталось.

# Глава 53
# Воззвание

Кажется, в октябре этого года ко мне заехал из Москвы Иван Михайлович Трегубов. Он говорил о том же, что всех лучших людей охватило общее уныние перед ужасами и бессмысленностью войны и что мы не можем равнодушно сидеть сложа руки, а так или иначе должны протестовать. Как образец такого протеста он показал мне привезенное с собою и написанное Валентином Федоровичем Булгаковым «Обращение к людям-братьям», начинавшееся словами: «Опомнитесь, люди-братья!» В нем говорилось приблизительно о том, что людям, носящим христианские имена, недостойно участвовать в такой ненужной и губительной войне, и был призыв отказаться и не участвовать в ней.

Это воззвание уже было подписано девятнадцатью подписями, и Иван Михайлович ехал с ним на юг для собирания новых между знакомыми и друзьями Л. Н. Толстого и всеми другими, чувствующими на себе ответственность за эту войну. Он предложил подписать и мне, и моему брату Ивану, говоря, что оно имеет международный характер и делает упор не на одних солдат русской армии, а на всех добрых людей всего мира. Говорил и о том, что копия с него уже послана за границу и будет там печататься и распространяться.

Кроме меня и брата, под ним подписался еще и мой сосед, крестьянин Иван Михайлович Гремякин. Что из этого получится, худого или доброго, мы об этом и не знали и не думали, но подписали охотно, после чего как-то сразу и полегчало и на душе, точно и впрямь этим самым был совершен какой-то подвиг. К тому же в это время мы прочитали в газетах, что сам папа Римский (кажется, Пий X) отказался благословить австрийское оружие на войну, заявивши: «Я благословляю только мир»; а Бебель, с горстью других верхов социал-демократии, также выступал в Германии с открытым протестом против войны. Это нас радовало, и мы чувствовали, что мы не одиноки в мире и что если мало людей отказывается от оружия и осуждения войны, так это совсем не из любви к ней, а из-за страха, хотя уже были и прямые отказы.

Но нашему воззванию не суждено было распространиться, и едва оно собрало 29 подписей, как уже попало в руки жандармов, и тут пошло совсем другое. Всех его соучастников жандармы стали отыскивать и сажать в тюрьму. А началось с того, что один

из них, известный многим по Москве Сережа Попов, в эти дни написал от себя другое аналогичное воззвание и, размножив его, ходил в Туле, расклеивал его на телеграфных столбах, был немедленно арестован и у него-то при обыске и нашли экземпляр нашего коллективного воззвания. Подписавшиеся были из разных мест, а потому Тульскому жандармскому управлению, которое повело это дело, было много работы по их розыску.

Приблизительно 16 января 1915 г. мы с Гремякиным были вызваны повестками в Тулу, нам предъявили подлинный с нашими подписями листок воззвания и отправили в Тульскую тюрьму. (Брат Иван в это время проживал в Москве и там же был арестован в это время.)

Никакие наши доводы в бесполезности такой тюрьмы не помогли.

— Может быть, и хорошее дело призывать дерущихся к миру, — сказал нам внушительно жандармский подполковник Демидов, который вел следствие, — но мы ведем войну, и всякий, кто мешает проявлению патриотического ее долга, должен рассматриваться как изменник и строго караться государством.

Переходя на саркастический тон, он говорил:

— Какие нашлись апостолы! Вы думаете, вы одни не сочувствуете войне, и я не сочувствую, тысячи не сочувствуют, а все же повинуются Государю и идут! Одни жиды в это время могут заниматься рассуждениями о законности и незаконности войны, а все русские люди должны только повиноваться! И Государю несладко, и он больше вашего знает, каких она требует жертв, но раз она объявлена, значит, иначе было нельзя. Мы в союзе с другими и не можем быть перед ними бесчестными и терять свое достоинство! Ваше счастье, — продолжал он внушение, — что вы в Туле, а не в прифронтовой полосе. Там бы вам суд был короткий, Николай Николаевич просто приказал бы поставить вас к забору и расстрелять, а здесь с вами еще разговаривают! Шли бы ваши Трегубовы и Булгаковы к немцам со своим воззванием, мы бы им спасибо сказали, а зачем было по деревням ездить, крестьян трогать?

Я заспорил с Демидовым, доказывая ему, что подписанное нами воззвание носит именно международный характер и не может рассматриваться как агитация за неучастие в войне только русских солдат, что оно будет распространено и у немцев, и у французов.

— Пока что мы этого не видим, — сказал он, — это дело суда, суд разберется в его характере, а мы видим пока только тридцать изменников, которые за полгода нашлись в нашем государстве. С ними мы и разговариваем.

Гремякин сказал, что если бы о нем узнали все люди, то не только крестьяне, но и солдаты отказались бы воевать, и присоединились бы к нам.

— По существу я с вами не спорю, — сказал он, — как частный человек, может, и я бы подписал с вами, но вы не глупые и должны понимать всю совокупность условий и обстановки, в которых мы находимся и ведем войну, и пока Государь не заключит мира, ни я, ни один его подданный, а не только офицер, не может ему мешать и противиться в этом. Это не одно мое личное мнение, — сказал он дальше, — и наш начальник генерал Миллер, держится такого же мнения. Он тоже утвердил постановление прокурора о возбуждении против вас дела по 51 и 3 п. 129 ст.

Я сказал, что все и горе в том, что народ не имеет права рассуждать, а должен только повиноваться, а если бы могли рассуждать, то никакая война стала бы невозможна. Я не знаю о дальнейшей судьбе этого жандарма, но хотя он и назвал нас «изменниками», все же я не видел в нем лютого врага ни лично, ни общественно. Прощаясь с нами и как бы извиняясь за наш арест, он со вздохом сказал:

— Вы думаете мне легко отправлять вас в тюрьму? По нашим справкам вы люди почтенные, трезвые, трудовые, семейные, но… мой мундир, моя служба обязывают меня к этому. Впрочем, — утешительно сказал он, — Гремякина я считаю по этому делу случайным, не активным, и если за него общество или его родственники дадут нам поручительство, я отпущу его до суда.

Впоследствии, через 2–3 недели, он сдержал свое обещание.

По дороге в тюрьму жандармы охотно рассказали нам о том, что по этому же делу они еще месяца два назад отвели в ту же тюрьму Булгакова, Душана Петровича Маковицкого и Попова, не удержавшись от того, чтобы не рассказать и о чудачествах «брата Сергея» (так они называли сочувственно Сережу Попова).

— Вы что, все из одной партии? — спрашивали они нас с любопытством, — только вы не похожи на братцев, а тот совсем блаженный, на того и злобы не поимеешь: милые братья да милые братья. О чем ни спроси, все милые братья. Сел вот на этих ступеньках, — указали они на маленький портик около одного дома, — и не идет дальше. «Мне, — говорит, — и некуда и незачем дальше идти, я буду тут сидеть до вечера». Каков брат, вот и поговори поди с ним. В такое нас затруднение поставил, хоть волоки его волоком… Уж мы его упрашивали, упрашивали, я он уперся и ни с места…

— Как, по-вашему, — испытующе спрашивали они нас, — он вот говорил, что человек над человеком власти не имеет, а мы

сами подчиненные, нам-то как быть, за него надо в тюрьму садиться?

Я сказал, что, по-Божьи, никто не имеет права насиловать другого, а по-человечески, можно только защищать себя и вступать в защиту другого.

— Солдаты вот и есть защитники всех, кого обижают, всего общества, — торопливо перебил меня один жандарм, — слуги и Государя и отечества.

— А Сережа-то Попов разве кого обижает? — сказал Гремякин. — Он, наоборот, других призывает, чтобы никто никого не обижал и чтобы солдаты безвинно-напрасно друг прута не убивали. Он совсем не опасен, а его тоже в тюрьму.

Жандармы покраснели, замешались и не знали что сказать. Другой из них запальчиво произнес:

— Этак, по-вашему, что же, подставляй всем морду и пускай бьют, кому нравится?

Мы засмеялись. Я сказал: «Конечно, пока ты жандарм и или еще какой крючок, то многим хочется плюнуть или ударить тебя по лицу. Так, — говорю, — и бывает при разных усмирениях и забастовках, убивают даже городовых и жандармов, а когда ты не крючок, а просто рабочий человек, кому ты нужен с твоей мордой, разве пьяный по ошибке наскочит, но его и то уговорить можно и он послушается, если ты сам никогда ему худа не делал».

— По-вашему, что же, — с раздражением сказал он, — и начальство не надо слушать и признавать: ты себе, оно себе, анархисты вы что ли?

— В чем признавать, — отвечал я. — Если скотина на хлеб зашла, а староста или урядник согнать велит — надо слушаться и признавать, а если земский отправляет мужика за недоимку под арест, а меня конвойным нарядили, конечно, отказаться надо.

— Отказаться и самому за него садиться, так что ли?

— А какая беда, — говорю, — если на трое суток посадит, лучше самому отсидеть, чем другого напрасно тащить!

— Трое суток! — передразнил меня жандарм, — трое-то суток дурак отсидит, а тут не трое суток, а три года, тогда как?

— А тогда не надо жандармом быть, — сказал Гремякин, — поди откажись. А уж если на 45 рублей польстился, что тут спрашивать: тащи, бей по морде, стреляй!

— У нас до этого не дошло, мы его обманом взяли, — торжествующе пояснил первый жандарм. — Я ему сказал тогда: «Если ты, брат Сергей, нас любишь, то и не вводи в грех, это тоже нехорошо, не по-братски, если ты не пойдешь сам, то мы должны будем тебя связать, взять извозчика и отвести в тюрьму. Извозчик

тоже тебя матом будет крыть, да и мы вгорячах ударить можем, видишь, какой грех может выйти?»

Нас это заинтересовало, и Гремякин спросил:

— Ну, и что же, пошел, послушался?

— Встал, послушал, — сказал самодовольно он, — да так быстро пошел, что мы и угнаться не можем. Я ему кричу: «Стой, брат Сергей, а то мы тебя застрелим на ходу, как беглеца от конвою!» А он остановился и говорит: «Мое дело — любить вас как братьев, а что вам делать — не знаю, не мое, — говорит, дело».

— Да, — подтвердил я, — ваше дело совсем плохо, если разведется много таких «милых братьев», то жандармы совсем не нужны будут и 45 рублей не за что будет иметь.

— А мы разве за деньги только, — обиделся он, — мы в полку служили, взводными старшими были.

— Ладно, — перебил его, — я в следующий раз скажу Демидову, что вы без жалованья согласны служить, он будет рад такой преданности. До царя доведет, царь спасибо скажет.

Жандармы перепугались, забеспокоились и стали доказывать нам, что это они только по дружбе пустились с нами в такие разговоры, а что по закону они не должны бы с нами и разговаривать. И что раз мы по одному делу с «братом Сергеем», то мы тоже братья, а потому и не можем оказать им такой черной неблагодарности, чтобы рассказывать об этом Демидову.

— Да вы о чем же беспокоитесь, — сказал им Гремякин, — раз вы согласны служить за даром, чего же бояться, вас любой купец в дворники возьмет да еще кормить-то как будет.

# Глава 54
# Тюрьма около года

С этого и началось долгое, почти одиннадцатимесячное сидение под следствием. В конторе тюрьмы из-за нас произошел спор. И по виду, и по одежде мы были мужики как мужики, но по постановлению и предъявлению статьи обвинения шли как политические, и дежурный по конторе долго спорил с дежурным по корпусу из-за того, куда нас посадить. Презрительно оглядывая нас с ног до головы, корпусной говорил: «Всякая шантрапа в политические» лезет. Подумаешь, какие политики! Такую рвань в господские камеры сажать!» Но, повинуясь конторе, он с большим неудовольствием повел нас на 12-й коридор, считавшийся тогда политическим, и с особым азартом и удовольствием запер в 18-ю камеру вместе обоих, испросивши на это разрешения по телефону у Демидова. Камера небольшая: 6х3,5 аршина, не более, типичная одиночка для тульской тюрьмы, в которой, говоря к слову, и тогда не держали по одному заключенному из-за нехватки мест, а соединяли по двое и по трое.

Еще в конторе я стал просить, чтобы нас поместили в одну камеру, на что никак не соглашался корпусной, говоря, что «это еще надо заслужить». Однако проходивший мимо помощник взял телефонную трубку и позвонил Демидову. Тот разрешил, и нас принял старый по тюрьме надзиратель, Данила Никитич, но и он, презрительно осмотревши нас с ног до головы, не удержался, чтобы не сказать корпусному: «Ну и политики!»

По прежним тюрьмам я знал, что политическим в камерах полагается деревянный щиток вместо койки, столик, подушка, тюфяк, и я прямо же заявил об этом при входе в камеру, в которой ничего не было. Корпусному это не понравилось, и он стал орать: «Вы что, сюда в гостиницу пришли, господа какие! А не хочешь, на 13-й отправлю! койку ему, одеяло! вы еще скажете вам бабу сюда подать!» И сильно хлопнув дверью, он вышел из камеры. Но Даниле Никитичу мое требование понравилось, по нему он решил, что я из бывалых, а стало быть, заслуживаю внимания. Через полчаса он снова отпер камеру и снова, с любопытством осмотревши нас, сказал:

— Койки мы даем по заслугам, а от вас еще ничего не видали. Заслужить наперед надо. — И совсем бесшумно запер камеру, не сказавши больше ни слова.

Камера была совсем пуста, и, чтобы успокоиться от

пережитых волнений, мы растянулись на полу не раздеваясь, положили под головы свои узелки, к аресту мы не готовились, и оба страшно мучились за оставленные семьи. Данила Никитич наблюдал за нами в волчок и, увидавши, что мы легли на полу, внушительно, но не строго сказал: «Днем в камерах спать не разрешается, лишат прогулки». Мы дружно запротестовали: «Что же, — говорим, — нам иначе делать, лежать нельзя, сидеть не на чем, куда деваться?» Данила Никитич молча принес скамейку и, не сказавши ни слова, запер камеру. Но мы и это приняли как победу и были рады скамейке, тем более что на ней были вырезаны клетки для игры в шашки. Он продолжал рассматривать нас в волчок, а когда отходил, мы делали то же и рассматривали его. Мы сразу разгадали, что под его напускной суровостью все же был виден неплохой человек, и сразу решили, что нам его бояться нечего.

Так протекала для нас суровая и однообразная жизнь тюремной одиночки, утром поверка, кипяток, хлеб, обед, на ужин баланда и опять поверка. Второй сменный надзиратель был еще молодой, лет 25, недавно вернувшийся из солдат. Он с первого же раза возненавидел нас от всей души и только и делал, что придирался к нам и грозил набить ключами морду. Не было ни одного случая, чтобы он уважил нашу просьбу; набрасывался на нас, как на самый последних арестантов из уголовных. Выпуская по необходимости на оправку в уборную, он и тут урезал наше время и скорее загонял в камеру. А когда я на его дежурстве сделал попытку во время оправки подойти к волчкам других камер, чтобы познакомиться со своими соседями, он меня чуть не избил ключами и в первую же поверку нажаловался на меня дежурному. Жаловался почти каждый день, в результате чего в нашу камеру чаще, чем надо, входил дежурный и делал обыски. Правда, у нас еще не было и вещей и искать было не в чем, но дежурные всякий раз подчеркивали, что мы находимся в тюрьме и чтобы никаких своих порядков не заводили.

Конечно, человек с воли не враз примирится с тюремной могилой, и на первых порах всегда там страшно хочется найти какие-нибудь выходы из своего положения.

Но мы как новички, так крепко оберегались от сношения с другими заключенными, что долгое время ничего не знали, кто с нами рядом и как и что думают другие. Сделал я попытку в грязном белье послать домой записочку, но наш молодой цербер все же ее нащупал и со злобой объявил мне, что я лишаюсь за это на месяц писать письма. Пытался подать в соседнюю камеру записочку через коридорного уборщика, но он сам же и отдал ее надзирателю, и у меня отобрали карандаш. Потом, после, через

месяц, я вошел в доверие к Даниле Никитичу, и он мне по секрету рассказал, за что в тюрьме так не любят мужиков, когда они попадают туда под рубрикой политических.

— Уголовка, шпана, это понятно, — говорил он внушительно, — жулье так и есть жулье, они и обижаться могут, а к политическим требуется другое отношение, запрещается оскорблять, даже словами. Вот ты и пойми, ты мужик, а я тебе не смей сказать грубого слова, ну разве это подходит под наши понятия? Когда студент али какой барин, ты так и знаешь, что это политик, а мужик какой же политик? К примеру, барин тебе и папиросу дает и кусок сахару, пирожками угощает при передаче, а ты политик, а от тебя как от козла молока, за что ж я тебя уважать должен?

— Я-то, к примеру, статья особая, — говорил он в другой раз, — я старик, 30 лет в тюрьме, всяких видал, да и не нуждаюсь, прогонят, и без них проживу, а придет вот такой солдатяга, как мой товарищ, он и на службе-то денщиком был, и двугривенные на чай получал, и тут перед господами на цыпочках ходит, куска сахару ждет. Такой и начальства боится и политикам угождает.

После того, как недели через три Гремякин был освобожден под поручительство отца и я остался в камере один, Данила Никитич проникся ко мне сочувствием и, приходя на дежурство, стал отпирать мою камеру не в урочное время. Отворит дверь, посмотрит на меня, что-нибудь спросит и потихоньку выйдет и запрет. Я его спрашивал о ходе войны, но он упорно старался не слышать моих вопросов. Ему хотелось спросить у меня, за что я сижу, но достоинство старого служаки с крестами и медалями не позволяло унизиться передо мною до вопросов, и он все ходил вокруг да около, не задавая серьезного вопроса. То скажет, что призываются еще такие-то года ополченцев, то сообщит о прибытии в Тулу нового эшелона раненых или об отправке на фронт обученных кадров в пополнение, то буркнет о духоборах или евангелистах, которые, как он слышал, отказываются от присяги и службы. «Эти почище ваших будут», — задорил он меня, стараясь не отвечать на вопросы.

— Одно меня интересует, — не удержался он наконец от любопытства, — если и взаправду все солдаты не пошли бы на войну, что бы стало делать начальство, стали бы воевать одни офицеры или нет?

Как старый тюремный страж, он был в курсе всех тюремных дел, со всем ее разнообразным населением, знал течения и евангелистов баптистов и других отказывающихся идти на войну по религиозным убеждениям, знал и о политике больше всякого «студента» и «барина», но ему хотелось втянуть меня в разговор и

узнать доподлинно на этот счет мои мысли, чтобы раз навсегда определить: похож я на политика или попал не в свои сани, как он говорил о других.

Я ему сказал шутя, что офицеры без солдат ни за какие посулы воевать не станут, так как им не за кого будет прятаться, а идти на верную смерть и они не могут. Так что и война и власть держатся только на солдатах и на их душевной темноте. А откажись воевать все солдаты, и все начальство разбежится, и никому не будет их страшно. Тогда и никакой войны не будет. Ну что, говорю, хорошего, миллионы неповинных людей уничтожают друг друга, даже не видя и не зная, за что и почему, кто они и какие враги? Ясно, что в таком случае не надо слушать и начальство.

Данила Никитич, насмотревшись на раненых в госпитале, куда он ходил к знакомому, тоже раненому, не возражал по существу и сразу согласился, что было бы гораздо лучше, если бы не было войны с ее ужасами и разорением, но во всем остальном признавал начальство и не мыслил иначе жизни, чтобы служить и повиноваться.

— Без начальства не проживешь, порядка не будет, — авторитетно и коротко обрывал он, все еще не решаясь заговорить по душам, — от воров проходу не будет, курицу последнюю отнимут.

— Ну этого наперед нельзя сказать, — спорил я с ним. Надо попробовать, а потом говорить. Знаем только, что где бы какое начальство ни завелось, сейчас тюрьмы строит, людей на солдат переделывает, оброки тяжелые устанавливает, порки и расстрелы вводит, штрафы всякие, ссылки и каторги. Не знаю, говорю, а по-моему, кроме вреда, грабежа и всяких угроз и наказаний, от начальства ничего и нет путного. И какой же это порядок, когда людей, как скотину, загонят, запрут в тюрьмы, а других людей, падких на жалованье и легкую работу, их караулить нанимают. Это, говорю, злодейство одно, а не порядок. Украдет человек на 5 рублей, а у него за них половину жизни тюрьмою отнимут и последнюю искру совести из души вытравят, вот, говорю, ты здесь 30 лет служишь и хлеб ешь за легкую и скверную службу, ну, а скажи: кому твоя тюрьма помогла, кого исправила? наоборот, погубила многих. Я слышал, что тут сидят по пятой, по десятой судимости и все не исправляются, а если бы на первый раз человека простили и на миру внушение сделали, а не посадили в тюрьму, глядишь, он и сам от стыда перед своим народом не стал бы воровать. А тут народ ему чужой, грубый, кого ему стыдиться? Около старых пьяниц, воров со злости он и сам настоящим вором стал. Уж если с ним так жестоко поступили, то и он со злостью и

отчаянием, местью заряжается и всю жизнь на других зубами щелкать будет. Ну какой же это порядок?

Данила Никитич не осердился, не выругался, человек он был опытный, дальновидный, но и не решился на этот раз продолжать беседу, повернулся в дверях и, запирая их, сказал:

— Значит, анархист, ни в Бога, ни в черта!

После этого разговора сразу было видно, что Данила Никитич в душе сочувствует моим мыслям, и по последующему его отношению ко мне можно было окончательно решить, что его бояться нечего, что он если не сделает тебе одолжения, то и не устроит никакой пакости. Скучно ему на коридоре, и он и рад бы поговорить по душам, но еще не вполне верит и опасается: а ну, я его подведу, а он тюремщик старый и репутацией честного дорожит. Отопрет дверь, постоит на пороге камеры с полминуты, посмотрит мне в глаза успокоительно — все, дескать, обстоит благополучно — и молча затворит снова и запрет.

— Ну, как там война, что нового с фронта? — задам ему вдогонку вопрос. Тогда он подходит к волчку и сердито говорит:

— Скверно, наших бьют, опять много раненых привезли, опять отступаем.

А накануне моего перевода в 19-ю камеру, придя на смену, он опять открыл мою дверь и весело сказал:

— Ну, конец твоей одиночке, пойдешь уж в 19-ю к Фролову, Тихомирову. Один дворянин, другой меньшевик, тебе с ними скучать будет некогда, ребята подходящие.

# Глава 55
# 19-я камера и новые знакомые

«Подходящие ребята», по словам Данила Никитича, и впрямь оказались подходящие.

До этого момента Фролов сидел в 18-й особой камере, а теперь, по любезности начальника тюрьмы, солидного, рассудительного и совсем не злого человека, — нас обоих перевели в 19-ю к Тихомирову, к великой и общей нашей радости для первого времени.

Тихомиров был пожилой чиновник, служил делопроизводителем воинского присутствия и, соблазнившись на большие взятки тульских купцов, подлежавших призыву в ополчение, переводил их в третий разряд по учетной ведомости, и они таким путем временно оставались и не шли на войну. За это и попал в тюрьму вместе с Дмитриевским, находившим ему этих купцов. Был он, конечно, человек верующий, а попавши в тюрьму, еще больше перенес свои надежды и упования на Божию помощь и подолгу молился вечерами и ночами, когда был один в камере. Я и до перехода в его камеру много раз слушал в волчке его вздохи и стоны, его молитвы и псалмы, которые он читал вслух и которые отчетливо были слышны в том коридоре из его волчка, и теперь страшно был рад его знакомству.

Фролов, Александр Сергеевич, был активным членом РСДРП, находился в ссылке в Екатеринбурге и, чтобы избежать призыва на войну, самовольно сбежал из ссылки в Тулу, и за это, к великой его радости, был арестован и посажен в тюрьму. Каждый день он сочинял к будущему суду свою речь в вызывающем тоне, читал ее нам и все спрашивал: на сколько годов его осудят за такую речь?

— Я хочу, чтобы меня осудили только на полтора года, — говорил он с ужимками, — а там конец войне и революция, и я как раз поспею к ней вовремя. И какой же милый этот екатеринбургский прокурор, что сделал мне такое удовольствие — посадил в тюрьму — он сам сохранил меня от войны для революции!

В первый же вечер нашего нового сожительства в новой камере, Тихомиров, ложась спать, стал по обыкновению на колени и стал молиться Богу, с громким полушепотом молитв. Фролов быстро вскочил, с гримасами и смехом стал его просить:

— Брось, Тихомиров, брось, это не помогает. Я тоже молился, да хуже было, а перестал — и стало лучше. Тут не Богу молиться

надо, а вот что.

И он становился на четвереньки и начинал выделывать разные гимнастические фокусы.

— Вы знаете в тюрьме какая главная задача, — поучал он нас, — делать все возможное, чтобы сохранить свое здоровье! А он тут молитвами сам себе скуку нагоняет. Тут надо на ночь вытираться холодной водой, ни о чем не думать, к черту послать все семейные заботы и совсем забыть, что ты в тюрьме! пой, смейся, валяй дурака, а время идет и идет. А с молитвами и с нытьем ты сам себя угробишь и семье не поможешь.

Тихомиров, однако, сразу не послушал, притулился в уголок после поверки и стал молиться, читая молитвы громким полушепотом. Фролов делал ему рожи и комедиянил и кругом него и всячески молча смешил. Тот наконец не выдержал и сам прыснул со смеха и встал.

— Нет, не могу, не могу при нем, — сказал он беспомощно, — обращаясь ко мне, как к защитнику, — он прямо как бес, что вы мне скажете?

Я сказал, что пока ты был один в камере, тебе было скучно и надо было искать опоры в молитве, а теперь мы с тобой и всем нам веселее, а потому можно это оставить, тем более, говорю, что и Христос не учил молиться ему руками и языком, а учил праведной жизни и любовному отношению друг к другу. И я ему прочитал из бывшего у него же в камере Евангелия так называемую заповедь блаженства, в которой в сжатом виде изложено поведение человека в христианском жизнепонимании.

— А я, — сказал он смущенно, — читал и сам про это, да не обратил внимания, а ты вон как…

— Ты, Тихомиров, читаешь книгу, а видишь фигу, — рассмеялся ему в лицо Фролов, — а теперь вот ты и наш, вот мы тебя и обратили, а теперь давай заключим мир и оба вместе нападем на Новикова, надо и его в марксистскую веру обратить с его хрестьянством.

Ты мне, Тихомиров, только подбрехивай, а я буду волком наскакивать, вот мы его и одолеем. Вы, ребятки, только не стесняйтесь, мы и ругаться будем и матом загнем, — говорил он с ужимками, — нынче двое на него, а завтра на Тихомирова, так у нас и будет время лететь в постоянных дискуссиях. Вы только не унывайте и не делайте панихиду по живым людям.

— Ну, его ты не скоро одолеешь, — смеялся Тихомиров, указывая на меня. — Я что, старый чиновник и только, и никакими вашими идеями никогда не интересовался. Придешь со службы, выпьешь перед обедом, отдохнешь, а там в театр, в клуб. В праздник ко всем святым к обедне пойдешь, в том и жизнь

проходила, а этот все как-то по-своему, и Евангелие по-своему толкует.

— Тебя он забьет в два счета, Тихомиров, ты перед ним ни уха ни рыла, а еще дворянин и государственный человек.

— А тебя? — спрашивал с любопытством тот. — Ты социал-демократ и в Писаниях тоже мало смыслишь. Наверное, и не читал со школы Евангелия?

Фролов гримасничал, дурачился и говорил:

— Нас Евангелием не проймешь, к черту вас с вашим Евангелием, мы марксисты, у нас свое евангелие — «Труд капитал» Карла Маркса! Тебя я, Тихомиров, и не спрашиваю об этой книжице, ты все равно ни уха ни рыла, наверное, и по названию не слыхал, ну, а этот-то, наверное, читал, — ткал он в меня пальцем. Читал, да? Вот это так книжица! Как, по-твоему?

Я сказал, что действительно книжица громадная, толстая, и сколько я сам себя не нудил, а до конца не дочитал, уж слишком сухая материя: расчеты, цифры, арифметика, а человека с живой душой, личной инициативой, особым духовным миром, совсем не светится. Точно Маркс не с живыми людьми хочет иметь дело, а с шашками или солдатами. И не только я, но и многие одинаково думают об этой книжице…

— А на что ее до конца читать, — рассмеялся он, — надо только суть понять, что к чему, а до конца и я не одолел. Ты, Тихомиров, спроси его, а дочитал он до конца Библию? Головой ручаюсь, что нет. Да и попы ее до конца не читали.

— Вот, вот, говорю, совершенно согласен, что Библия, что «Капитал», — редко такие охотники находятся, чтобы их до конца дочитать, уж слишком суховато и однообразно.

Дурачась и хихикая, он спросил Тихомирова:

— А хочешь, я из тебя социалиста сделаю, ей-Богу. Тогда ты поймешь и сам увидишь, что наша вера и проще и интереснее. А то христианство, толстовство, Евангелие! Ваш Христос — овечка, наивный простачок и ничего не понимал в политической экономии, даже 13-й заповеди не знал. Отец Небесный, братство и равенство! Самосовершенствование! Каких нашел дураков! А вот что с жуликами делать, с буржуазией, он и слова не обронил. Они, Тихомиров, знаешь, что со своим Толстым придумали, чтобы мы в трезвости жили, не пили, не курили, матом не ругались, к чужим бабам не лезли, на чужое добро не зарились и богатым не завидовали. А потом: работай как вол, всем помогай и ни на кого не гневайся и не обижайся. Прощай своему врагу и эксплуататору! Скажи на милость каких нашли дураков — ну кому такая вера по душе? Ни тебе подраться, ни тебе в морду дать, ни тебе бутылочку цопнуть, и даже к хорошей бабенке не

подходи! Кто, говорит, смотрит на чужую бабу, тот грешен!

И, ловко переходя на еще более шутливый тон, он подходил ко мне вплотную и, хихикая, говорил:

— А ты спроси вот его, чиновника и дворянина, что бы он стал жить без водки и чужих баб? Что бы он стал делать со своим другом Дмитриевским, когда они вместе сходятся? Он, вишь, православный, перед праздниками к обедне ходит, поди себя тоже христианином считает, а вашей веры и он не примет, потому тоже — сухая материя.

Ты, Тихомиров, — продолжал он, — его не слушай, к нам в партию записывайся, мы народ боевой, веселый, ни Бога ни черта и никаких постов и морали! и петь и плясать можно, и выпить и закусить винца с хлебом, и в картишки перекинуться, и с бабами с чужими поволодиться. А то самосовершенствование! Они, Тихомиров, так думают, что если каждый сам по себе станет по-божески жить, тогда и рай на земле будет. Это, видишь ли — борись сам с собой и со своими дурными привычками, а людей не обижай, и буржуев не тронь, они тоже человеки и люди — братья. Каково, а?! И, уже входя в деловой азарт, он продолжал:

— А наш Маркс другое придумал, чтобы к счастью и равенству людишек привести. Классовую борьбу он придумал, и скоро и хорошо: перевешать всех дворян и буржуев, попов и купцов, завладеть и землями, и товарами, и производством, поделить поровну все, взять власть в свои руки. Вот эта вера, так вера! Тут не со своими грехами бороться, а с классовыми врагами, с буржуями и помещиками, а это куда и легче и интереснее; потому голову долой, потому на сторону, да черт с ними, с кровопийцами! А то, самосовершенствование! — с сарказмом выкрикивал он. — Стану я себе и жене отказывать в разных удовольствиях и копить по-вашему на черные дни пятачками? Я не черт, я хочу всеми благами пользоваться.

Тихомиров возражал, он говорил, что «все равно на всех ни сала, ни масла не хватит; ни сливок с сахаром, если все будут все в масле жарить и чай сладкий пить. А потом, говорит, ты нынче всех поравняешь, а через год способные и умные и опять богатеть станут, и опять за деньги себе батрака наймут. Как бы можно было головы поравнять, а то опять ничего не выйдет, и опять по-разному жить будут».

Фролов притворно свирепел и кричал:

— Опять богатеть будут! Опять батраков и кухарок заведут?! А власть на что пролетарская! Да мы тогда введем такую дисциплину и наказания, что всем чертям станет тошно. Как кто чуть голову высунет вверх, а мы его — чик и подрежем под ранжир! Ты что, хочешь белоручкой, буржуем, не хочешь сам за

собой горшок выносить, не хочет твоя баба полы мыть и чистоту поддерживать?! Да мы такие налоги на все буржуйское введем, такими штрафами угощать станем, небось, у нас не забалуешь! Мы каждому свое место укажем и заставим по нашей дудке плясать! А то опять? Что значит какой-нибудь черт иваныч перед нашей властью пролетарской? Мы всех своих врагов в порошек сотрем и всем кишки выпустим!

— А ты погоди про кишки-то, — также с шутливым задором говорил Тихомиров, — еще ваши вперед казаки на пики намотают. Пока что еще у нас власть государственная есть, она и о социал-демократах позаботится, чтобы и их без места не оставить в Сибири.

— Нет, дворянин русский, ваша песня спета, дворяне 300 лет жили и до черта всем надоели и состарились, теперь мы попробуем. Вы бы еще поцарствовали, да война вас погубила, ваш царь с ней в лужу сел и запутался. Мы теперь вас одним щелчком к черту отбросим, дай вот война кончится, — говорил Фролов, — под вашим царем и престол-то сгнил, ну где же ему удержаться?

Тихомиров смирился и не возражал.

— Мне что, — говорил он, — мне все равно сидеть в канцелярии и бумаги писать. Будет ваша власть — к вам пойду в канцелярию. Без канцелярии и вы не обойдетесь. А вот как они на вашу власть посмотрят? — указывал он на меня.

— Они! Да они стадо баранов, ну а с баранами кто же считается и разговаривает? Они — стадо, да черта и кнута боятся, откуда зайдем, хлопнем, они шарахнутся в любую сторону. С ними по-всячески можно, — гоготал он, кривляясь. — Нужно — мы их на четвереньки поставим. Вот так, — смотри, Тихомиров, — и он сам становился на четвереньки. — А понадобится — кверху ногами поставим. Мужички народ православный, смиренный, драться не любят, с ними что хошь можно. Нам только немцы не помешали бы, а своих дворян и мужиков мы окрутим враз, в два счета!

— А в чем же и перед кем виноват русский народ, — спрашивал я его, — что вы собираетесь над ним мудровать и кверху ногами ставить? Народ до власти не охоч и у вас не отнимает. Нам кто ни поп — тот и батько: царь ли, президент, или Дума, какое нам дело, только бы оброк был поменьше, да земли еще хоть на выкуп дали!

— Смотри, Тихомиров, какого он дурачка разыгрывает, будто марксистской программы не знает об обобществлении труда и орудий производства в руках государства и о пролетаризации крестьян?

— В том вы, божьи коровки, и виноваты, — внушительно и

злобно пояснял он мне, — что вы собственники, а все собственники — кулаки и враги рабочего класса, что вы земельку к своим рукам прибираете и собственное натуральное производство имеете. Слышь, Тихомиров, что им нужно: земельки еще на выкуп, да чтобы с них брали поменьше!.. Вот вам что, а не земельки! — И он озорно показывал мне на нижнее место. — Дать вам земельки это значит у вас быть в зависимости и ожидать вашей милости, когда вы нам хлеба продадите. А стакнетесь — и голодом рабочий класс заморите, свои цены нам пропишите! Вот вам что, а не земельки! — хлопал он снова себя по нижнему месту.

Тихомиров не сразу понимал всю эту злобную марксистскую идеологию и наивно говорил:

— А что же тут худого, если крестьянам земли еще прибавить, они не помещики — им и надо-то по пять, и восемь десятин на двор, а зато и хлеб будет еще дешевле, и мясо, и масло для города. Я вот тоже себе хуторок приобрел за сорокалетнюю службу и всего-то 26 десятин, значит, вы и у меня отнимете? Вот оно что…

— Вас мы просто к черту отбросим, как лимонную корку, — говорил Фролов с азартом, — вы — гниль и ни на что рабочему классу не нужны, ну а с этими божьими коровками нам еще говорить придется. Их стадо большое, с ними по-умному надо, чтобы они реветь не вздумали и землю копытами рыть.

— А уж если ты такой наивный чиновник, — говорил он, кривляясь, Тихомирову, — изволь, я тебе протолкую, ведь ты как дите малое, ничего в политике не понимаешь, вот слушай: оставить в руках этого стада землю — значит, их хозяевами над собой поставить. Земля самый громадный и действенный капитал, и кто им владеет — тот и хозяин положения. Они тогда, чего доброго, сдуру-то себе царя мужицкого выберут. Нет, дудки! Партия знает, что править не мужик будет, а его величество пролетариат, чувствуешь?

— Да как же это так, — недоумевал Тихомиров, — да ведь крестьян-то 160 миллионов, а фабричных 2–3 миллиона, да почему же над ними рабочие станут хозяевами?

Фролов хохотал, кривляясь бегал по камере и, обращаясь ко мне, говорил скороговоркой:

— Вот она, опора-то царская, на ком держится, вот на каких горе-дворянах! Теперь сам посуди: далеко царь уедет с такими помощниками? Они 300 лет правили и ничему не научились. Да потому, мой дорогой, — остановился он против Тихомирова, — что рабочие драки не боятся, а мужики вахлаки, Боженьки боятся, крови боятся. К ним на деревню в 100 дворов приедут два казака

с урядником и всю деревню перепорют и на колени поставят! Почему? Да потому, что они собственники и трусы, они боятся и тюрьмы и ссылки и того, что у них корову уведут и с земли сгонят, а нам терять нечего, у нас нет собственности, с одного завода прогонят, я на другой пошел. А потом мы напором возьмем. Что нам казаки и жандармы, мы на рожон идем, мы сама сила! Казаки тоже сила, а только наемная, бесправная, они сами на службе дармоеды, а за нами и сила и право, и все производство в наших руках! Видал, Тихомиров, как один ястреб тысячу галок гоняет? Его все боятся, а он — никого! Таков и пролетарий, — бил он себя по груди, — его все боятся, а он — никого! А кто никого не боится, у того и власть в руках. Это так было — так и будет, вот только пускай нас немец поколотит, тогда и революцию легко будет сделать. Этих дворян прогнать. Сознайся, Тихомиров, что бороться с нами не в силах.

После таких жарких разговоров он становился в позу и всякий раз пел:

Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Иди на врага, люд голодный и т. д.

# Глава 56
# Три сапога — одна пара

Данила Никитич с первого же дня подслушал наши споры и был очень доволен, что нас свели в одну камеру. «Три сапога — одна пара», — как говорил он нам в шутку. Конечно, если бы эти разговоры подслушал его сменный товарищ Ефремов, он ради выслуги сейчас бы донес на нас корпусному, и нас бы опять разогнали по разным камерам. Но Даниле Никитичу никакой выслуги было не надо, он имел свой домик и корову и сам собирался уже уходить в отставку. Ему, наоборот, было любопытно самому: кто из нас что думает о текущей политике в связи с войной. Он-то, конечно, уже кое-что знал и о социалистах и о их замыслах. На его коридоре за долгие годы его службы перебывало много политических — и господ, и студентов — и он достаточно ясно разбирался в их программных спорах и основах марксистского учения. А потому он нам не только не мешал и не вредил, а, казалось, и сам бы вошел в нашу камеру и присоединился бы к нашему спору.

На другой день, как только вступил в дежурство после обеда, он сейчас же отпер нашу дверь и с широкой довольной улыбкой остановился в дверях.

— Ну что, Фролов, — спросил он его по-дружески, кто же кого из вас одолел позавчерась? Я говорил, что вы три сапога — одна пара, и вам скучно не будет. Народ вы все бывалый, и каждый за свои мысли держится, вот это-то и интересно.

Фролов завертелся перед ним бесом, подавая папиросочку, он прыгал, как клоун, и кричал:

— Обоих в марксистскую веру обратил, завтра крестить будем, сегодня на поверке буду заявление делать, чтобы нам попа дали да кумовьев с кумушками, чтобы все честь честью было, и свечи и водка!

Данила Никитич так и сиял от радости.

— Врешь, Фролов, не поверю, — говорил он лукаво, — за Тихомирова не поручусь, его ты и взаправду забьешь, ты парень оборотистый, а с Новиковым год будешь сидеть, а социалистом не сделаешь, у него своя голова на плечах есть.

Тихомиров возражал, притворяясь обиженным и подавая Даниле Никитичу кусок пирога и сахару, говорил в шутку:

— Что же это ты, Данила Никитич, меня и за человека не считаешь? Я в Бога верю и от всей своей веры тоже не ступлю.

— Врет, не слушай, — перебивал Фролов, гогоча на всю

камеру, — слышь, Данила Никитич, он уже вечером вместо молитвы на четвереньках гимнастику по-моему делал, а сегодня утром, так себе, только на ходу два раза перекрестился. Одолею, ей-Богу, одолею. Оба в партию запишутся, как только из тюрьмы выйдут!

Данила Никитич закуривал с наслаждением папиросу, прятал пирог и веселый и довольный уходил из камеры, делая нам дружеское предупреждение.

— Вы только при других громко не спорьте, подслушают, разгонят, а особливо при моем сменном товарище. Он по глупости все хочет выслужиться, да не знает чем, всякий пустяк собирает.

А через час-два не вытерпливал и опять отпирал нашу камеру и сам заводил разговор, придумывая для этого какой-нибудь формальный повод. То скажет, что сегодня прокурор пойдет по камерам: «Пишите заявления, кто чем недоволен»; то предупредит о проходе по тюрьме начальника.

— Он у нас ничего, не особенно придирчив, — скажет он, — а все лучше, если наперед будете знать. Главное только, чтобы не накрыл вас с газетой. Газета у нас в тюрьме больше оружия — не допускается. Пьяный арестант попадается, и то пройдет не заметит, а газету найдет — и он простить не может. Потому для других пример нужен. Насчет газет у нас строго.

А в то же время он знал, что газеты изо дня в день проносятся в тюрьму рабочими арестантами, которые ежедневно же ходили на работу в город, на оружейный или патронный завод, на погрузку и выгрузку на железную дорогу, на электрическую станцию или на мыльный завод. Этим рабочим опытные люди из публики сами давали газет и просили пускать их в оборот по тюрьме. Таким путем и к ним в камеру два-три раза в неделю коридорный уборщик незаметно даже от самого Данилы Никитича передавал газету в волчок, а по прочтении брал обратно и передавал в другие камеры. Знала об этом, разумеется, вся администрация, и кто из них искал случая выслужиться и показать свое усердие, как наш сменный надзиратель Ефремов, то на своем дежурстве, как охотник, только и выслеживал по камерам газеты, делая обыск. Но, в свою очередь, и сами заключенные и даже уголовные, тоже, как охотники, изощрялись избежать опасности и под носом надзора передавали газеты из одного коридора на другой. А тут уже коридорные уборщики не зевали и за кусок сахару, за восьмушку махорки служили верой и правдой заключенным. Ведь шла небывалая война. Все с ней связывали так или иначе свое нахождение в тюрьме, жадно всем хотелось знать о ее ходе, а потому и был такой спрос на газету.

Благодаря этому мы почти всегда знали газетные новости, но, конечно, умышленно скрывали это от Данилы Никитича. И когда он появлялся утром после смены и отпирал нашу камеру, Фролов фамильярно здоровался с ним, закуривал папиросу и начинал расспрашивать о войне. И так как вести были все плохие, наши отступали из Австрии и мало где имели успех, а Данила Никитич не любил говорить о неудачах, то разговор на эту тему у нас не клеился. Данила старался отмахнуться.

— Ну что там, — скажет он, — дела неважные, и много на немца навалились — а он всех бьет! Посмотрим, что дальше будет.

И чтобы замять этот неприятный разговор, он сейчас же переходил на злободневные разговоры по тюрьме и, не торопясь, сообщал нам все новости: кого посадили в карцер и за что, кого накрыли с газетой, кто оказался пьяным и вел себя непозволительно для тюрьмы, кого привели из новых.

— Я так понимаю, — говорил он авторитетно, — ежели ты ухитрился добыть и выпить, ну и веди себя тихо-смирно, какое до тебя дело начальству, а ежели ты начинаешь бузить и громкие разговоры говорить, никакое начальство тебя не помилует. Сама себя раба бьет!

— Ну а все же, как там народ-то, не унывает? — ставит ему Фролов лукавый вопрос. — О чем там говорят-то на воле, победы ждут и одоления?

— Да я тоже думаю, что мы в конце концов с нашими союзниками скрутим немца, весь белый свет на него, всех не одолеет. В народе беспокойства много, как бы опять заварушки не вышло, как в 905 году, — уклончиво говорил Данила Никитич, — а если все тихо-смирно будет, конечно, и немцу карачун, как он ни хорохорится, а всех и ему не одолеть. Только это социалистам не на руку, они не хотят победы, — крыл он Фролова. Я знаю, о чем вы думаете; как бы опять опосля войны революцию поднять, за этим и в тюрьму спрятался, чтобы на войну не попасть. А кому победа нужна, тот не станет в тюрьме сидеть попусту.

— Да я тут при чем же, — оправдывался Фролов. — то прокурор екатеринбургский меня укрыл, а я сам и не думал в тюрьме укрываться. Ну, а раз посадили — надо сидеть, начальство лучше знает, что делать.

— Уж и хитер ты, Фролов, — говорил ему Данила Никитич, — тебя семи толкачами в ступе не поймаешь. Ты будешь врать и не улыбнешься. Знаю, какой тебе победы нужно, вам царя изжить хочется, а он все царствует на страх всем врагам и супостатам.

— Придет время, и мы поцарствуем, — смеялся тот, — только

ты не тужи, Данила, я тебя тогда министром сделаю…

— До вашего царства я не доживу, стар, — отшучивался Данила, — уж вы как-нибудь без меня, а на мой век и этого царства хватит.

— И этой тюрьмы, — добавил Фролов.

Даниле всегда хотелось поговорить с нами побольше. Но всякий раз разговоры быстро обрывались. На коридоре гулко хлопала дверь или слышались чьи-либо торопливые шаги, и он быстро закрывал нашу камеру и шел навстречу идущим как ни в чем не бывало.

По камере часто делал обход корпусной Пономарев, Данила отпирал ему и нашу дверь и бесстрастно становился в дверях, показывая начальству полное равнодушие к включенным.

Корпусной быстро оглядывал нас с ног до головы, подходил к окну и искал какого-нибудь повода, чтобы сделать нам замечание, рылся в наших вещах и постелях, но так себе, для вида. Он был из разжалованных офицеров и страшно не любил политиков.

— Это что такое, — находил он на окне гвоздь или кусочек проволоки, — разве вы не знаете, что вам даже иголку можно иметь только с разрешения?

Иногда ему попадался кусок смятой газеты, он его быстро развертывал и смотрел: что это такое? И если по содержанию походило на обрывок из текущей газеты, то начинал делать формальный обыск, шаря и по карманам и по вещам.

Фролов не выдерживал и с напускной вежливостью вступал с ним в пререкания.

— Ну что это такое, — говорил он, — гвоздь взяли, бумагу берете, а нам и в зубах поковырять нечем и на оправку ходить не с чем!

— Вам этого не полагается, — резко возражал корпусной, — для зубов можете иметь щетку, а для уборной — старые пакеты и оберточную бумагу от передач. Я не знаю, какая вам бумага нужна: карты делать, газету иметь, вы ведь политики, а не арестанты, — подчеркивал он злобно, — вы думаете, что вы в гостинице, а не в тюрьме. У меня эти привычки забудьте! А еще политические, — говорил он насмешливо, — а правил тюремных не соблюдаете.

Досадуя, что ничего не находил у нас более существенного, он сильно хлопал дверью, уходя из камеры. И так как наша камера была крайняя (20-я была с разным хламом, и мы туда на день выносили тюфяки), то ему дальше идти было некуда и он уходил с коридора. Данила его провожал и через некоторое время опять отпирал нашу двери и улыбался, говорил о нем:

— Сам себе покоя не знает и людям не дает! Целый день как волк по тюрьме бегает и ко всем придирается и считает себя самым первым начальником!

Фролов вертелся ужом, комедиянил, умело и вовремя подавал Даниле папиросу. Потом переходил на таинственный шепот — будто Данила был тоже членом заговорщической партии, — серьезно говорил:

— Сам посуди, Данила Никитич, — ну как такого человека не повесить после революции, когда он сам просит на себя петли. Повесим, непременно повесим, всех таких лакеев перевешаем, всю землю от них очистим, чтобы ни одного такого хама не оставалось.

Данила не выдержал своей суровости и, смеясь, сказал:

— Всех вешать, столбов не хватит, тоже ловкачи! Вы бы перевешали, да руки коротки.

Фролов делал смешные гримасы и начинал считать по пальцам:

— А сколько нам надо-то, Данила Никитич! Нам и нужно-то только на всю Тулу три-четыре десятка! К примеру, первого Тройницкого повесим, жандармского генерала Миллера, подполковника Демидова и Павлова; десятка два таких вот хамлетов; купцов с десяток; махровых дворян черносотенцев, а остальные, как овечки, все шелковые станут! Сами бока подставят, только стриги, не ленись.

— А Тихомирова как? — осклабился Данила.

— Да он и веревки-то не стоит, — хихикал Фролов, — таких вешать и взаправду столбов не хватит. Ну что такое? Ни уха ни рыла! Вот они что! — и он стучал по скамейке кулаком, — что деревяшка, то и они! Этих, Данила Никитич, мы будем обрабатывать и кататься на них верхом, куда вожжей дернешь — туда они и пойдут, насчет барахла всякого — только бери, сами и сундуки откроют.

— А Новикова? — любопытничал Данила.

Фролов опять поддергивал штаны, кривляясь, как актер, и, меняя интонацию голоса, говорил серьезно:

— Такие нам будут нужны, мы их подстегнем себе на пристяжку и заставим с мужиками разговаривать про землю и волю, и про все прочее. Они мужицкий дух хорошо знают, без них не обойдешься!

— А если они не повезут, брыкаться станут? — смеялся Тихомиров, глядя на меня. — Мужики — практики и свою выгоду лучше нас с вами понимают, их, как старого воробья, на мякине не проведешь.

— Да, вопрос мудрый, — поддерживал Данила, — ваша

программа мужикам не подходит, они хозяева и за землю обеими руками цепляются, а вы им хотите нового барина посадить на шею и земли лишить.

— А мы их будем и рублем и дубьем, — хихикал Фролов. — Эта наука старая, против ней ничего не поделаешь! Кто нам пригодится — того рублем, а кто станет реветь и землю рогами ковырять, того и дубьем можно. Это средствие самое дешевое и самое верное, всех под свою бирку подгоним.

Данила сомнительно качал головой и, уходя из камеры, недовольно выговаривал:

— Ну и ловкачи — демократы!

Как старый солдат и служака, он высоко ценил труд человеческий и хорошо понимал, что даром никому и ничто не дается, что только долгим трудом и службой достигают хорошего положения, как и он, чтобы приобрести за полторы тыщи домик, должен был копить двадцать лет. А потому в душе он никак не сочувствовал Фролову и замыслам его партии.

Этим что, — думал он, — про жуликов и эксплуататоров говорят, а сами жулики из жуликов, они и вправду «твое-мое» сделают, и крестьян без земли оставят. — «Стану я, говорит, сам себе в чем отказывать», — припоминал он его философию. — И по морде, голубчик, видно, что вы жить хорошо любите, а потерпеть и достигнуть своим трудом — не желаете. Нет, друг, собственность священна и неприкосновенна, кто что приобрел — тем каждый и владеть должен, а жуликов и без вас много.

# Глава 57
# Арапыч

На нашем коридоре, в такой же по размеру камере, помещались портные, сапожники, кузнецы, уже судимые и отбывавшие разные сроки, так называемых арестантских рот, от трех до шести лет. Всех их было 12–13 человек, но их состав часто менялся вследствие разных переводов по их специальности и разных поступков, главное же — по приносу в тюрьму водки, газет, кое-каких самодельных ножиков и других запрещенных предметов. В их камере было пусто: ни столов, ни скамеек, и спали они вповалку на полу. Она была грязной и смрадной от табака и пыли, так как они, оставаясь в камере иногда без работы, а в особенности в праздники, все время дымили табаком и немилосердно курили и поднимали возню.

Возвращаясь с прогулки или оправки, мы иногда успевали подойти к их волчку и наблюдали за их жизнью. А дальше — больше и завели знакомство. Они делали нам ответные визиты, и тоже часто подходили к волчку и перекидывались словами.

Данила дежурил на двух коридорах, на нашем 12-м и под нами на 11-м. Он, конечно, у себя на глазах не мог допустить никакого нарушения тюремных правил, и не по злости или желанию выслужиться, как делал его сменный товарищ, а по принципу старого служаки. Но чтобы сделать нам маленькое удовольствие — он умышленно не входил следом за нами с 11-го коридора на 12-й, принимая с прогулки, а задерживался на несколько минут здесь, около своего столика, и тем самым давал нам возможность две-три минуты разговаривать в волчки с другими заключенными. А этих мастеровых по праздникам не запирал с прогулки на целые полчаса и они в свою очередь бродили по коридору и разговаривали с нами и с другими. Сидеть на корточках на полу в камере им было гораздо тяжелее, чем быть на работе, и они тяготились праздниками, а потому так и дорожили минутками знакомства с новыми людьми. Ведь в своей-то камере через какие-нибудь 2–3 недели люди так надоедают друг другу, что их и не замечаешь, да и говорить уже не о чем, что у кого было — все переговорено, а новый человек совсем другое дело, на него в тюрьме набрасываются, как на находку: а может, он скажет что-либо новое и интересное, что так или иначе имеет отношение к быту тюрьмы, к надеждам на амнистию или вообще к перемене политического курса! А население всех тюрем всегда ведь и живет этими надеждами.

Самой видной, заметной и интересной фигурой между ними был кузнец Арапыч, сидевший, как он говорил, по 17-й судимости и отбывший четыре года арестантских рот Его знала вся тюрьма, и очень многие пользовались его услугами по переносу из тюрьмы писем без цензуры к администрации, по добыванию и проносу водки, табаку, деланию из стальных обрезков ножей, по добыванию карт и т. д. Уже если чего не сделает Арапыч — других и не проси, перед ним все пасовали. И сами надзиратели ему позволяли, боясь того, что он может их подвести и выдать, а потому ему и сходило с рук. Да и физиономия его была такая добродушная, простая и подкупающая, что на него не сердился и самый строгий корпусной. У него к тому же были хорошие волосы и борода, и совсем простые детские глаза. И если бы он не был постоянно грязным от своей работы, с него можно было бы писать святого на иконах. По этой постоянной черноте ему и дали кличку Арапыч, которая как нельзя лучше подходила к нему. Работал он в кузне за тюрьмой, имел дело с частной публикой, а потому-то и имел полную возможность быть посредником между тюрьмой и волей. По тюремным коридорам он ухитрялся ходить всюду беспрепятственно и знал чуть ли не всех заключенных в лицо. Как он показывался на коридоре, до него сейчас же находилось дело у многих. И его звали по волчкам.

— Нельзя, нельзя, не могу, — с напускной суровостью говорил он, подходя, а сам уже прятал за чулок полученное письмо и шел к другому волчку, где брал в зубы свернутую грамотку, как будто папиросу, и уходил с коридора. В таких грамотках его просили установить связь на воле с таким-то и таким лицом, что ему и удавалось через свою кузню.

— Пока я ему колеса оттягиваю, — говорил он нам, — любой заказчик мне и письма отнесет в ящик и за водкой сходит, дать ему адрес, он и нужного человека найдет, и от него письмо принесет, а мое дело в тюрьме адресата найти. А как скажешь, что без очереди сделаешь, так он полгорода обегает, а найдет, что просишь.

Данила Никитич хоть и недолюбливал Арапыча за то, что, как он говорил, «у него вор в животе» и что он «даже его обмануть может», но, скуки ради, больше всех разговаривал с ним на коридоре и знакомил его с заключенными. Рассказал во всех подробностях и про нашу 19-ю камеру, после чего и Арапыч очень часто стал делать нам визиты и подолгу разговаривал в волчке. Через него Тихомиров установил постоянную связь записочками со своим другом Дмитриевским, который был посредником между ним и купцами и с ним вместе делил взятки. Дмитриевский сидел на противоположном 9-м коридоре. У них

шло следствие, и им было очень важно сговориться насчет согласных показаний, чтобы не топить друг друга. Кроме записочек, Арапыч приносил ему и водки и шутя говорил:

— Фролов, что водка, я ему бабу пронесу, вот только армяк широкий найду.

Фролову он также стал приносить письма, его брат и жена приходили к нему в кузню и давали ему ответы. Ему давали папирос, сахару, но от сахару он категорически отказывался, считая себя совсем не нищим арестантом. Со мною он подолгу разговаривал про христианскую веру, как она изложена в Евангелиях и как исполняется попами, чего Фролов не мог выносить, стараясь нас перебивать и смешить.

— Ну завели волынку, — говорил он, — про Бога, про чертей, про монахов! Нет чтобы из Арапыча революционера сделать, а он его в монахи собит. Не пей, не ругайся матом, не воруй и не блуди и всякие глупости. Нам такие люди нужны будут: борода с ворота, глазки голубые, душа нараспашку, настоящий комиссар для деревни!

Со слов Данилы Арапыч знал уже до тонкости программу Фролова и, осклабясь в волчке, говорил:

— Нет, Фролов, я в вашу веру не пойду и комиссаром у вас не буду. Я сам вор, — каюсь по-душевному, — а воров все-таки не люблю. А ваша вера вся воровская: брать чужое, готовое! Только и разница — что мы воруем ночами и тайно, а вы собираетесь воровать среди бела дня. Это, дескать, не воровство, а экспроприация! Над нами висит постоянно страх дубинки или острога, а вы хотите воровать безнаказанно. Нет, Фролов, настоящий вор боится ответственности!.. А потом мы хоть и воры, а все-таки сознаем, что дюже паскудно поступаем, а вы хотите воровать без стыда и без совести!

Фролов притворялся мелким бесом, кривляясь, говорил с хохотом, понижая голос:

— Ведь мы кого грабить собираемся, ты думаешь, мы православных христиан тронем, к бабам за холстами полезем? Мы только эксплуататоров и таких вот дворян, — показывал на Тихомирова, — на кой черт они тебе нужны! Они как собака на сене: сами не живут и другим не дают. А мы их к ногтю, обчекрыжим, да и приставим Арапыча ихним добром распоряжаться! А землю раздадим православным…

— Я и без вас ихним добром распоряжаюсь, — смеется Арапыч, — посмотрел бы, какие я две меховые шубы перед этой тюрьмой сцопал! А вас дожидаться — с голоду помрешь. Нет, Фролов, своя душа дороже; все-таки воровать грешно. Твои буржуи на тумбочках не сидят, и им деньги в подол не сыплют, а

все они своим делом занимаются: кто богатеет и в гору идет, а кто и с горы вниз ссыпается, как кому счастье! Я приду ночевать к Тихомирову или к Новикову, они меня и напоят и накормят, а приди к таким вот, как ты, — и пойдешь прочь не солоно хлебавши, у вас у самих загашником монетки не найдешь. В твою веру только стрикулисты пойдут беспаспортные, каким выпить хочется, а монетки нету, а мы и украсть можем, и заработать сумеем!

Данила для таких бесед нарочно допускал Арапыча, а когда он отходил от нашей двери, он его брал в оборот и долго спорил с ним на коридоре, выпытывая его мнения обо всех нас троих и о наших «верах».

— Это верно, мы с тобой старики, — говорил он Арапычу, — о душе подумать надо. Новиков прав, надо самого себя наперед счистить от всяких сквернений, а не то что, по Фролову, идти людей грабить и других учить: кто буржуй, а кто не буржуй. Его посадили, койку дали, поят и кормят, гулять водят — значит, он тоже буржуй! А мужики сами живут не лучше, чем арестанты в тюрьме, щи-то у всех, а каша через двор. А тут и кашей кормят. А они на тебя-то не смотрят, что сами гуляки и запиваки, а только им других учить: тот буржуй, тот эксплуататор. Мало их царь в Сибирь ссылает шаромыжников! Только народ зря мутят!

— Нам с тобой тоже есть о чем подумать, — насмешливо говорил Арапыч, — мне — перестать воровать, а тебе — тюрьму бросить, а то ведь ты, Данила, около арестованных-то буржуем стал, дом нажил.

# Глава 58
# В камере жулья

Как-то праздничным днем нас отперли, чтобы вести на прогулку. На коридоре слонялись мастеровые, и Арапыч подхватил меня под руку.

— Кой тебе черт по грязи ходить, пойдем к нам в камеру, тебе вся камера будет рада, пускай твои идут одни, — подмигнул он Фролову.

Данила, по обыкновению, стоял у крайнего окна коридора и смотрел в окно, делая вид, что ему совсем неважно, что делается на коридоре. И я юркнул в 16-ю камеру. В ней было человек десять арестантов, и все они в разных позах лежали на полу, прикрываясь своими лохмотьями: курили, спорили, пытались петь, тянулись на палке.

— Дорогого гостя привел, — сказал Арапыч, затворяя дверь и быстро усаживая меня на свой мешок посередине камеры. — А ты, Васюк, загороди волчок от постороннего глаза. Мы-то что, жулики, воры, а вот человек супротив войны сказал и теперь суда военного ждет.

И он наскоро заставил меня повторить предъявленное мне обвинение и ответить на вопрос: что же нас ждет?

Я сказал, что, наверное, приговорят в крепость или дадут пятилетнюю ссылку на окраины Сибири.

— И пойдешь? — как-то поспешно спросил меня молодой парень, сидевший точно по 6-й судимости.

Я сказал, что, наверное, повезут вперед на машине, потом на пароходе, а затем на собаках по снегу.

— А ты не пойдешь, — накинулся на парня старик, такой же грязный, как и Арапыч, только малого росту, — на то, брат, и конвой существует и жандармы имеются, чтобы нашего брата возить и политиков. А то — пойдешь?!.

Затем Арапыч заставил меня рассказать, за что Л. Н. Толстого отлучили от церкви и как его хоронили с попами или без попов? А после моих ответов снова стал расспрашивать о том, какая разница между толстовским Евангелием и церковным? И когда я ответил на все обстоятельно и кончил тем, что Толстой понимал Евангелие как путь к совершенству самого себя и своей жизни, чтобы и во сне и наяву человек помнил о своем достоинстве человека как сына Божия и всячески отвращался от всякого озорства преступлений и похабщины — в это время поднялся молодой высокий и красивый арестант, по фамилии Попов, и стал

быстро говорить, чти вот он вор, что его жене завидуют другие же бабы, говорят, у тебя муж вор, он тебе всего натаскает. А вот попробовали бы сами в тюрьме посидеть и узнали бы как ворам чужая покража достается? Попадешь вот так-то на четыре года и майся, всю твою душу червоточиной проест, от такого смраду чахотка пристанет. Как это понять? Легко это?

Я не сразу понял, к чему он ведет свое признание, и Арапыч быстро разъяснил:

— Он, видишь ты, церковный громила, все церкви пообокрал, а теперь придумывает такую теорию, что и такая сидка в тюрьме для души пользительна, что и за нее Бог все грехи должен простить. Ему и хочется, чтобы ты подтвердил это, потому что ему еще 35 нету, а он уже 12 лет по тюрьмам выжил. Я ему говорю: кабы ты, Попов, в церкви-то молиться ходил или строить их помогал, тогда бы Бог тебя любил. А то ночами с ломом окна выворачивал да серебряные ризы со святых угодников обдирал, да и хочет, чтобы его Бог помиловал и тюрьму во внимание принял. Если бы Бог стал делать по-твоему, тогда бы ни одной церкви не осталось в целости. Ишь какого нашел дурака, чтобы и ризу серебряную спереть, и Царство Небесное тюрьмой заслужить…

— А если я сижу и каюсь и ночами горькие слезы лью? — раздраженно перебил его Попов, — ты, Арапка, молчи, ты сам вор, пускай свежий человек свое слово скажет, а ты ни кому не сочувствуешь!..

Все рассмеялись. Другой старик сказал:

— Попов правды хочет, он прав, Арапка, напрасно злорадствуешь. Господь милосердный, простит! Он разбойника на кресте простил и надежду на спасение дал, а мы что, воришки мелкие, кого мы запугали! К примеру, я два хомута у помещика взял, а мне год тюрьмы дали, законно это? Он без этих хомутов-то век бы прожил, не хватился, а ты вот за них страдай целый год, да и семья без хлеба остается, кому там поле обработать без хозяина? Разве эти хомуты стоят наших страданий? Сотню бы украл таких, и тогда бы она того не стоила, а мы вот мучимся…

— А тогда меня и совсем простить надо, — по-детски смеялся Арапыч, — ну что я такое делал? Клети, амбары проверял; сундуки бабьи пересматривал! Ну ты посуди сам, — обращался он ко мне добродушно, — на кой черт бабам по двадцати трубок холста копить; на кой черт мужикам новые шубы и сукно — суконные казакины нашивать, для вешалок? ведь они их не носят. А бабы, небось, всю зиму с двумя холстами ночей не спали, пряли да ткали, а на что они им, когда и без того 18 трубок лежит? Откроешь сундук да и ахнешь. И хотел бы взять 1–2 холста, а их

там черт рогом не проворотит, ну и располовинишь: себе одну и ей одну. Я тоже по-божески, последнего не возьму. А то заберешься в клеть или в горницу, а там вся матица в гвоздях и одеждой завешана, и хотел бы взять одну, а как глянешь — зуб и разыграется. Возьмешь штуки три, да и маешься с ними. Поди там, небось, думают, воровать-то легко! Закопаешь мешок-то с холстами в чужой омет, да дня три и высматриваешь, не украли бы, не нашли бы. Вся душа изболится, пока ты его на место определишь! Самое тяжелое занятие воровское, если кто с понятием, непременно пожалеет воров и скажет, что Бог за это мучение все грехи простит.

Я полушутливо сказал им, что если человек боится и людей и Бога, значит у него совесть не чиста, а что надо так жить, чтобы ни Бога, ни людей не бояться, тогда и на душе весело и легко бывает. А кривыми путями жить — никогда покою не знать, а что Божий суд в нашей душе совершается и мы всегда вовремя знаем: что ты хорошо, что дурно сделал, а что на том свете будет — мы не знаем. А не знаем — об этом и рассуждать не надо.

— Да мы, что мы? мы просто свиньи, а не люди, дрожащим от волнения голосом сказал Арапыч. — Мы людской труд грабим и всех в страхе держим. А кабы воров не было, и замков было бы не надо.

— Чудно, — сказал Попов, — мы воры, а нас в тюрьме здесь заставляют замки и задвижки от воров делать, оттого мы их гвоздями и отпираем.

— А как, по-твоему, в церковь ходить нужно? — спросил испытующе Арапыч. — Попов почитать нужно?

— Отчего же не ходить, поют там хорошо, душа на церковное пение радуется, а денег не спрашивают, как в театре. А почитать и уважать всех одинаково нужно — и попов и не попов. И худо не в попах и церковной службе, худо в том, что участием в этой службе многие хотят покрывать все свинство и ищут ему оправдание. А попы виноваты не в том, что они попы, а в том, что они об этом умалчивают.

— А вот Толстов граф не велит в церкву ходить и детей, говорит, крестить не надо, — сказал Арапыч.

— Ну, такого запрета Толстой не делал и не мог делать. Он зовет к честной, трудовой и праведной жизни, — сказал я, — чтобы люди не воровали, не убивали, не насиловали друг друга, не обманывали, не эксплуатировали через деньги и свою знатность и властность. А кто так живет, тому никакого худа от церкви нет, а только лишний интерес от концерта хорошего. А детей крестить, конечно, надобности нет, это время прошло. Христос этим не занимался. И не в этом теперь дело.

В это время на коридоре послышался шум, наши камерные возвращались с прогулки, и я, как ни в чем небывало, юркнул из двери и присоединился к ним.

— Мы тебя в другой раз на целый день возьмем в свою камеру, — сказал Арапыч, — с тобой говорить есть о чем, Фролов что, он бунтовщик, а сам такой же шаромыжник и выпить не прочь и чужое хапнуть.

— Нам, главное, о душе поговорить, — сказал вслед старик, укравший два хомута.

# Глава 59
# Нескрываемая зависть

За все время пребывания в камере с Фроловым он питал ко мне нескрываемую зависть и ненависть, и все испытывал мое терпение, желая подраться, бранил меня скверными словами, плевал на меня; нарочно подолгу ходил по камере и шмыгал ногами пыль около моей головы в то время, как я лежал на полу и не имел еще койки.

И все это не по личному недоброжелательству — для которого не было никакого повода, а из-за принципа, что мы, мужики, собственники, имеем землю, скот, инвентарь, а они, пролетарии, ничего не имеют, и главное, что мы не разделяем их марксистской теории о классовой борьбе и обязательности пролетаризации или обатрачивания крестьян.

— Я вот 15 лет работал у разных хозяев и ничего не нажил, а у тебя, поди, есть земля, лошади, собственный дом, корова, а то и две; небось, думаешь, как бы нанять батрака из нашего брата пролетария, — говорил он намеренно злобно, подмигивая Тихомирову. И такие его реплики повторялись почти ежедневно. Он ими затрагивал нас обоих и искал поводов для споров и придирки. С одной стороны, это было хорошо — давало пищу для бесконечных споров в условиях тюрьмы, наполняло нам досуг содержанием, но плохо было, когда он переходил на личности и в моем лице срамил всех крестьян.

— Приди к ним пролетарий, они тебе задаром молока не дадут, куска хлеба не дадут, ночевать не пустят без десятского. Ты только им дай волю, они такие же помещики будут и по десятку батраков наймут. Сам Толстов сказал про них, что они неудавшиеся помещики!..

— Ну а ты-то, Фролов, многих пускал ночевать и кормил задаром? — подшучивал Тихомиров, — небось, тоже дверь на запоре имел, чтобы нищий не отворил?

— У нас душа нараспашку, мы последней копейкой не дорожим и всякого дружка встретим и угостим…

— Дружка-то и всяк угостит, а вот как нищих?

Фролов не выдерживал и начинал злобно озорновать:

— А куда бы я его дел, вашего нищего, в портки что ли бы его посадил, когда у нас была одна комнатка, или с собой на кровать положил, чтобы он нас вшами наградил? — выкрикивал он. — У них дома свои, клети, горницы, он может десяток накормить и уложить, а мы бы и рады, да не можем!

— В этом все и дело, Александр Сергеевич, — почтительно шутил Тихомиров, — от других мы хотим, чтобы они были ангелы и всякое добро делали, а до самого коснется, так мы лучше в дьяволах побудем. Так вот все и рассуждают, по-твоему. А крестьяне еще милостивы: и ночевать пускают, и кормят, и поят, и вшей не боятся. И деньги не со всякого спрашивают. Ты сам еще стрелком не был, кусочков не собирал, а приведет Бог — увидишь — крестьяне народ податливый и всякого пожалеть могут.

Такие споры часто заводились в присутствии Данилы Никитича, когда он отпирал нашу дверь и, осклабясь, с удовольствием слушал их, стоя на пороге.

— Ты, Тихомиров, не об этом, — весело говорил он, ты его спроси: сам-то он отказался бы в купцы выйти или фабрикантом стать, если бы тому случай вышел? И деньжонок не постыдился бы хапнуть и брюшко отрастил. Знаем мы этих пролетариев социал-демократов!

И он приводил примеры из тульских рабочих-казюков и конторщиков, которые, по его словам, вышли в люди и заворачивают теперь большими делами.

— Никто, брат от себя не откинет, если планида такая тебе выйдет, а уж тем более пролетарий, который всем завидует и готов каждому глотку прорвать.

Я поддержал Данилу и рассказал о тех фабричных рабочих, которых я знал на фабрике, которые от 10–15 рублей заработка в месяц на своих харчах сумели скопить по нескольку сот рублей и тоже «вышли в люди»: один купил на ст. Химки дачу, другой около фабричного поселка выстроил себе домик; третий завел торговлю, а четвертым уехал в свою деревню и завел собственное крестьянское хозяйство, а двое из них тоже по маевкам бегали и в партии состояли.

— Мы и не собираемся переделывать людей на ангелов, — выкручивался Фролов, — это вам все какой-то индивидуальной правды от человека нужно, а мы не монахи и на поведение личности нуль внимания, мы будем играть на массах, на толпе, нам вождь нужен, вывеска для активного действия и завоевания власти, а остальное постольку поскольку.

Незаметно, чтобы прогнать и уязвить Данилу, он опять переходил на тон заговорщика и говорил ему:

— Они, Данила Никитич, знаешь, что со своим Толстым придумали? Говорят, что всякая власть не от Бога, а от черта и никакой власти повиноваться не нужно; в солдаты не ходить, и оброк не платить, и тюрем не нужно. Ну какие же они крестьяне? И не думают об тех, которые около тюрьмы кормятся: куда им тогда деваться, в особенности таким престарелым, как вот ты?

— Это мы понимаем, в чей огород камушек, — говорил недовольно и быстро уходил Данила, запирая камеру. По его уходе Фролов намеренно хохотал и кривлялся, а потом переходил на деловой тон и говорил нам поучительно:

— Он, может, и хорош, Данила-то, может, и начальник не плох, а все же они церберы и наши тюремщики, и самые лютые нам враги! Ты ему давай и сахару, и папирос, а камень за пазухой держи наготове! Жалко, что один Толстой у нас был, а другого не находится, и впрямь бы следовало такого Арапа заправить, чтобы народ и в солдаты не ходил, и оброка не платил, чтобы и тюрем содержать было нечем, мы бы тогда эту дворянскую власть голыми руками взяли и к черту на кулички разогнали, верно, Тихомиров?

— Мы народ православный, миролюбивый, — уклончиво говорил тот, — мы так рассуждаем: кто Богу не грешен, а царю не виноват? Конечно, таких озорных и напористых у нас мало, и мы против вас никуда не годимся. У нас куда ни повернись — все тебе пределы мешают: закон, честь, религия, обычаи, а у вас руки развязаны, ни Бога, ни черта. Вам и взаправду, что куренку, что человеку голову оторвать — ни души, ни жалости.

Фролов подпирался руками в бока и хохоча выкрикивал:

— Правильно! Правильно! Дворянин Тихомиров! Потому его величество пролетарий и властвовать должен, что он самый боевой и нахальный. Ты думаешь, мы ваших солдат и казаков боимся? Они такие же расслабленные братики, как и все мужики, вот только опричники царские нам помеха, они тоже не хуже нас, псы порядочные, да вот ключи от тюрем еще у вас, в этом только ваша и сила. Ну, да мы знаем, с чего начинать и чем кончать. Солдатушек-братушек мы обработаем, тогда и эти псы притихнут и по конурам расползутся. Диковинное нам дело — сто жандармов на губернию! А ключи от тюрем мы и отнимать не станем, вы их нам на блюде сами отдадите.

— Ты уж тогда нас-то хоть выпусти, — шутил Тихомиров, — я и впрямь к вам на службу пойду в воинское присутствие.

— Дворянин, да еще взяточник, — подмигивал мне Фролов. — Нет, Тихомиров, ты нам не сгодишься, и тебе придется сидеть. Тебя взять в присутствие? Да ты нам такую свинью подложишь, что и сам потом не расхлебаешься. Нет, дудки, такие нам не нужны. Мы и таких-то выпустим только при условии, чтобы с нами в ногу шел и по нашей дудке плясал, — говорил он обо мне, — а с дворянами нам не по пути и зараз расстаться придется.

— А если я к вам в партию запишусь?

— Ты, в партию? А как же хуторок? Мы народ решительный,

жестокий, мы тебя примем при условии, если ты отречешься не только от хуторка и дворянства, но и от семьи и христианской веры и собственными ногами растопчешь свой крест с шеи.

Тихомирову делалось страшно, и он прекращал разговор и, отворотившись, смотрел на тюремный двор. А Фролов доводил до конца свои мысли и нарочно со злобой подчеркивал:

— С нами, брат, шутки плохи, его величество пролетарий еще покажет вам кузькину мать! Вы у нас попляшете, как караси на сковородке!

# Глава 60
# Кто больше заработал

Конечно, кроме таких злобно-партийных, у нас были и дружеские разговоры о том, где кто жил, сколько получил или зарабатывал, в чем проводил время и какой имел круг знакомых и т. д. Через каких-нибудь 2–3 месяца мы знали всю подноготную о жизни друг друга и с точки зрении так называемого «социального положения». Фролов рассказал в разное время, у кого он служил и сколько получал, как они компанией ездили с девушками гулять на Елагины острова в Петербурге, в сады и лесочки, причем всегда набирали с собой пива и водки, и колбаски и пряников; я рассказал ему, как мы плохо жили в детстве, оттого что отец пил и мало помогал матери, как я потом жил на фабриках и в деревне и как только в 35 лет отделился от отца и построился, и через упорный труд и бережливость понемногу выбивался из нужды. Но он моей бережливости не одобрял и не хотел об этом говорить, заявляя, вроде моего пьяного соседа, что «так живут и копят только жиды», а что порядочные люди не копят, а живут в свое удовольствие.

От нечего делать мы занимались статистикой: кто из нас сколько заработал за свои годы. Мне в то время было 45 лет, ему 32 года. По моей статистике, записанной с его же слов, вышло так, что он за 15 лет своей работы все же получил заработок больше, чем я за 25 лет работы в деревне. Наследства одинаково мы оба не получили, но у меня от моей работы к этому времени была изба с сенями, крытая железом; были рига, сарай, амбар, двор, что все вместе стоило 800 рублей, были две лошади и две коровы, шесть овец, на две лошади снасть, упряжь, инвентарь, что тоже стоило не менее 250 рублей. А у него ничего не было, кроме одежи и белья. Я показал ему эту статистику и сказал, что если бы он не транжирил своего заработка на все ненужные и пустые дела, он был бы теперь тоже собственником и имел бы хороший домик, или дачу.

Тихомиров меня поддержал.

— Все они, пролетарии, на одну колодку, — сказал он, — что добывают, то и проживают, а кто сберегает и что-либо приобретает, на того злобятся и завидуют.

Припертый этими доводами, он не сдался и стал со злобой доказывать, что мужик копит потому, что ему много нужно и на постройки и на средства производства; чиновник боится, прогонят со службы, а служащему и рабочему незачем копить, так

как он на свои руки всегда найдет и муки и хозяина.

— Одна тысяча рублей не помешала бы любому пролетарию, если бы он ее скопил за свою жизнь, — сказал Тихомиров. — Да и Фролов от ней не отказался бы, если бы ему кто ее преподнес.

— Это мораль мещанская, мораль обывателя, мелкого лавочника! Собственность людям отравляет всю жизнь и привязывает их и к домам, и к хозяйству, — кричал он в исступлении. — От того наша партия и хочет произвести переворот и обобществить и труд, и дома, и все средства производства. Человек должен быть свободным, а не привязываться к собственности, не гношить, не трястись, как иуда, с кошельком!

— Ну что же горячиться, — сказал Тихомиров, — ты вот свободен и пользуйся этой свободой, а нам не мешай жить по-своему. Какое вы имеете право?

— А не будет этих забот и привязанностей к семье и хозяйству, еще больше всех в кабак потянет, на игру картежную, на романы бульварные, — смеялся я Фролову. — Жить-то чем-нибудь людям нужно, они тогда совсем перебесятся и всякий стыд и честь потеряют от скуки.

Наш разговор в волчок подслушал Данила и не мог утерпеть чтобы не вставить опять своего мнения. Он быстро отпер дверь и, смеясь и волнуясь, заговорил:

— А вы спросите у Фролова, из кого состоит ихняя партия, и кто ее выдумал, и кто ей заправляет? Шантрапа, господин Фролов, да студенты-недоучки! Постой, постой не мешай, я их за 30 лет перевидал в тюрьме больше твоего и ихнюю линию знаю. Им, вишь, не дают нигде самим обзаводиться землей и оседлой собственностью, вот они и придумали такую воровскую науку, чтобы и всех других весь народ ее лишить и обатрачить всех. А прощелыгам-студентам это и на руку, чем самим трудиться да наживать 20 лет, лучше приступить к чужому, готовому.

— И приступим, Данила Никитич, и поделим, и твой домик в общественную собственность конфискуем, — со смехом выкрикивал Фролов. — Дадим тебе в нем одну комнату с твоею старухой, а другие пролетариям отведем.

Ведь мы по-божески, Данила Никитич, так и в Писании сказано: у кого есть одежда — отдай другую неимущему. Вот спроси-ка его, — кивнул он на меня, — он тоже подтвердит. А раз про одежду, про рубахи сказано, можно и дома делить и всякую собственность, помни 13-ю заповедь.

— Да ведь там сказано-то «отдай», а не «возьми», — поправил Тихомиров.

— Ишь ты какой начетчик, где тебе выгодно, ты и Писание

знаешь, — накинулся на него Фролов, а посмотришь: ни уха ни рыла не понимает!

— А ты ведь тоже хотел за Писания спрятаться, — обиделся Тихомиров, — а вышло наоборот, и ты их не знаешь.

— На черта нам нужны ваши Писания; социализм целая система, целая опытная наука, его сотни мудрецов разрабатывали. Один труд «Капитал» чего стоит, — говорил самоуверенно Фролов.

— Науки-то разные бывают, — осклабился Данила, вон и у Арапыча наука, как замки отпирать, и у попов наука, как в церкви забираться! Тут вся и ваша наука: «деньги ваши — будут наши, ваше добро — наше добро». Что там ни написали, а корень один: грабить награбленное и нажитое другими. Глаза у вас на чужое добро разыгрались, Фролов, зависть замучила, вот вы и придумали такую науку! Арапыч за свою семнадцатый год в тюрьме сидит, а вы хотите всех грабить и виноватыми не быть. Ты бы откладывал по пятерке в месяц, и у тебя бы давно был домик, а то своего копить не хотите, а на чужое заритесь, а тоже демократы называются!..

— Постой, постой, — не утерпел и я, — дарвинизм, о естественном подборе, тоже опытная наука, а она, пожалуй, и пролетарию не понравится, если ее вводить начнут. Свою жену и детей и пролетарию иметь хочется.

— Мы народ решительный и дарвинизм введем, дай нам только власть забрать в руки. Мы всю породу людей переделаем на более красивую, сильную и всех уродов переведем, — со смехом говорит Фролов, — а то что теперь людишки-то, как рыбешка мелкая, и урод на уроде! Вот хоть на Данилу посмотреть, ну куда он, кроме тюрьмы, годится — людей пужать, а поди тоже детей нарожал и тоже надзирателями в тюрьму поставит. Ну а что такую породу поддерживать? Мы не собираемся тюрьмою народ перевоспитывать, у нас все по согласию будет, а не хочешь — голова долой!..

— Ну и ловкачи демократы, — запирая камеру, говорил опять Данила, стараясь смеяться вместе с нами и не показывать вида, что он обижен и понимает эту обиду.

В этот день была очередь нашей камеры писать письма. В камерах не разрешалось иметь ни чернил, ни бумаги, и для этого по очереди выпускали нас в коридор, на столик Данилы. Писать можно было в месяц два раза, и письма оставлялись тут же, в этом столике, откуда их ежедневно и собирали дежурные для просмотра. Первым вышел Фролов и написал жене открытку, отвечая ей на жалобы, что ей нечем жить и что приходится одолжаться у родных и знакомых, о чем он говорил и сам. Вторым

выпустили меня.

— А ведь Фролов-то сознался, — торжествующе встретил меня Данила.

Я его не сразу понял и подумал, что он сознался в приписываемой ему вине по написанию какого-то анонимного рассказа с призывом солдат к неповиновению, за что, по его словам, его обвиняли, и смотрел на Данилу непонимающе.

— Не то, не то, речь не об этом, — смеялся он, — а ты вот прочитай, что он пишет своей Шурочке, как в грехах своих кается.

И он мне оставил его открытку на столике, а сам пошел на 11-й коридор.

И так как вопрос у нас был не личный, а принципиальный, и мне дали открытку, а не закрытое письмо, я взял на душу грех и прочитал его открытку. Между прочим в ней были такие строки: «…я понимаю твой ропот на нужду, но помочь мне тебе нечем. Я писал знакомым, просил помочь, может, помогут. Конечно, мы прежде всего сами виноваты в своей нужде, что не умели жить и откладывать хоть по пять рублей в месяц на черный день. А мы это вполне могли бы, и у нас теперь были бы деньги…» Так Фролов осуждал свое прошлое, в чем ни за что не хотел признаться нам лично.

— Ты только смотри, ему ни гу-гу, а то он тебя отлупит и на меня нажалуется. Нам тоже не полагается чужие письма читать, — внушал мне Данила, выпуская меня обратно в камеру. Потом, после, я сказал об этом и Тихомирову, и мы смеялись у него на глазах, но секрета так и не выдали.

# Глава 61
# В тюремной церкви

На прогулку нас выводили ежедневно на полчаса и в разное время и место. Прогулки производились со всех четырех сторон тюрьмы, между самою тюрьмой и высокой каменной стеной-оградой, а потому иногда нам приходилось на углах видеть своих знакомых по делу: Булгакова, Маковицкого, Сережу Попова, Хороша Моисея. Иногда даже удавалось перекинуться и словечком.

В одну из таких прогулок Булгаков успел крикнуть, чтобы я приходил на другой день в церковь.

Дело было под праздник, и хоть обычно из нашей камеры ходил в церковь только Тихомиров, но тут пошел с ним и я, хотя Фролов надо мною смеялся и не пускал. Служба была торжественная, при наличии всех тюремных чинов, которым надлежало тут быть. Пели сами арестанты, слаженные хорошим хором.

С одной стороны, за колоннами, стояла партия каторжан в ножных кандалах и все время громко гремела своими цепями, что так не шло к обстановке храма. Арестанты в тюрьме — те же солдаты и должны делать все, что приказывают. Правда, Богу молиться посылают, но в самой церкви команды не подают, когда креститься и кланяться. И все же, как у солдат, так и в тюремных церквах, сложился такой порядок, что младшие должны копировать старших или подражать, и если начальник тюрьмы вслед за священником опускался на колени, за ним опускались и его помощники и надзиратели, а за ними все заключенные. И тут выходило совсем неприлично, так как партия каторжан человек 40, как один опускаясь и поднимаясь с колен, производила такой лязг и звон цепями, который разрушал всю красивую иллюзию богослужения. И это чувствовалось всеми, в том числе и начальником. Я видел, как он при этом беспокойно оглядывался кругом и сильно смущался, видя, что и все присутствовавшие арестанты понимали эту неловкость. А потом ведь все же храм — место молитвы и проповеди о любви и милосердии к ближнему, а тут эти несносные цепи и это несносное тюремное рабство.

По окончании службы очень благообразный старичок-священник удивил всех своею проповедью. В эту весну мы все дальше и дальше отступали и из Австрии и из Польши, бросая при этом массу продовольствия и военного снаряжения, отчего было тоже всем не по себе. Газеты объясняли это отсутствием у

нас снарядов и патронов, и вот этот милый старичок задумал разъяснить это неприятное впечатление от наших поражений перед арестантами и по-своему объяснил их причины:

— Не оттого мы терпим поражения, что у нас нет снарядов, — говорил он, — а оттого что мы потеряли веру в Божию помощь и ведем себя недостойно. А мы знаем и по Писаниям, что когда еврейский народ развращался и забывал Бога, он всегда терпел за это бедствия. Но если мы покаемся и обратимся к Нему с горячей верой, никакие снаряды и оружие не устоят перед силой нашей веры. Об этом мы должны думать.

Эти слова в точности записаны из его речи. Но, вероятно, военное министерство во главе с царем плохо каялись в своих грехах, что впутались в ненужную нам войну; плохо верили и надеялись на помощь, потому что победы и одоления так и не наступило, и наш народ переживал это позорное и страшное для него бедствие.

Но об этой проповеди я упомянул только кстати, а на деле, нас касаемом, этот старичок оказался хорошим для нас политиком, как равно и для всех арестантов. В алтаре тюремной церкви он устроил библиотеку, которой сам же заведовал, и после всякой службы приглашал желающих менять и получать вновь книги остаться в церкви.

Его политика была в том, что этим способом он давал возможность личных свиданий и разговоров между собою всем заключенным, которым так важно было повидать своих друзей и кого нужно по делу и сговориться о показаниях на суде или допросах. В том числе это было и важно и нужно нам, сидевшим за подписание воззвания. Знало ли высшее тюремное начальство и прокуратура о такой недопустимой и «страшно опасной» с точки зрения государственной криминологии выходке этого священника, но, во всяком случае, он этим удовольствием заключенным играл в очень опасную игру для себя, так как после всякой службы ради этого оставалось всегда человек 20, и все они входили в алтарь без надзора, и разговаривали друг с другом, сколько хотели. Надзирателям при исполнении службы нельзя снимать оружия, а по церковным правилам при оружии нельзя входить в алтарь, и они поневоле оставались вне алтаря, ожидая выхода с книгами заключенных и торопя их выходить как можно скорей. Но священник и тут приходил на помощь и умышленно затягивал подбор книг.

Таким путем и мы все, шесть человек по нашему делу, находились здесь, в алтаре, и наговорились после долгих месяцев разлуки.

И так продолжалось все лето 1915 г., в продолжение которого

мы виделись несколько раз. Священник был доволен тем, что приучил к церкви атеистов (ибо он знал нас таковыми, как почитателей и друзей Л. Н. Толстого), а мы были еще более довольны такой любезностью к нам и готовы были хоть каждый день ходить в церковь.

Кроме личных свиданий, эта библиотека служила надежным местом для передачи писем и по тюрьме, и на волю, ради чего в церковь приходили особые любители, которые имели возможность передавать их и по тюрьме, и пересылать на волю без просмотра. И какая же радость в этом всем заключенным, которые знали об этом и имели возможность пользоваться! К сожалению, священник этот был из заштатных и был в тюрьме временно. В конце лета его сменили, с его уходом прекратились и наши свидания. И только потом Душан Петрович, который как врач ходил по всей тюрьме, только он подходил часто к нашей камере и говорил в волчок, всячески утешая нас.

Милый, добрый Душан Петрович! Как он умел находить в тюрьме нуждающихся и помогать им! Время совпало с огромным наплывом беженцев с театра войны по пути нашего отступления, которых почему-то перегоняли через тюрьму. Каждый день мы их видали по нескольку сот на дворе, и между ними были совсем полуголые, больные и голодные. Его выпускали из камеры помогать врачам в их осмотре, и тут он находил самых нуждающихся и помогал кому хлебом и молоком, кому лекарствами и бельем, а кому деньгами. Перед ним преклонялся не только Арапыч со своей камерой «жулья», но даже уважала и администрация, которой он причинял так много хлопот своими просьбами за нуждающихся. Уважал и Данила, называя его святым человеком.

— На него даже нельзя и осердиться, — говорил он нам про Душана, — только и знает за людей хлопочет, а самому ничего не нужно, точно он и в тюрьме не находится.

Да и раньше, будучи в Ясной Поляне, я слышал о нем такие же отзывы яснополянских крестьянок. В их деревне еще при жизни Льва Николаевича он устроил амбулаторный прием больных, и так им помогал и заботился о них, что заслужил себе хорошую память. Когда я пишу эти строки, его уже нет в живых. Он умер у себя на родине в Чехословакии, вернувшись туда из России после революции в 20-х гг.

# Глава 62
# Предводитель дворянства

В четверг под пятницу на Страстной неделе мы слышали, как долгое время ночью шла какая-то возня в соседней с нами пустой камере. Хлопали дверью, отпирали и запирали и торопливо бегали по коридору. Но так как ночью постовым был не Данила, а его сменный, «собака» Ефремов, то, как Фролов ни домогался, а до утра мы так и не могли узнать, что там за события. И только когда камеру с «жульем» выпустили на оправку, к волчку торопливо подбежал Арапыч и торжествующе передал нам, что ночью привезли арестованного за растрату дворянских сиротских денег чернского предводителя дворянства Сумарокова, и что, прежде чем посадить в камеру, от начальника тюрьмы потащили подушек, перину, поставили стол и стул. А также сейчас же принесли ему белого хлеба, сыру, колбасы, яиц и чаю.

Фролов плясал от радости и говорил Тихомирову, что скоро привезут и губернатора Тройницкого и что мы тогда будем по соседству ходить к нему с визитами и справляться о здоровье его превосходительства.

И так как для тюрьмы этот предводитель дворянства был крупной птицей, сейчас же пошли всякие догадки и толки о «перемене курса». Уж раз начали сажать своих крупных дворян, значит дело плохо и надо ждать перемен.

Фролов уверял, что вскоре посадят и Распутина, и военного министра Сухомлинова.

В субботу под Пасху Сумарокову в камеру натащили цветов, куличей, яиц, печенья, творожную пасху, ветчины и колбасы. Арапыч все подсматривал и громко на весь коридор спрашивал: «Ужели он все это один пошамает?» А Фролов говорил, что он, как «благородный джентльмен», для того все это готовит, чтобы пригласить разговеться весь коридор. И спор был только за то: с какой камеры он начнет эти приглашения?

— А если нас не угостит, — говорил Арапыч, — мы ему около камеры устроим кошачий концерт.

Но радости Фролова не оправдались. Наш высокий пленник улетел на волю в ночь под Пасху. Мы ночью опять слышали возню, а наутро оказалась камера опять пустая и лишь стоял в целости праздничный стол со всем принесенным добром. Сам Данила, явившись в 8 утра на смену в праздничном мундире с начищенными пуговицами и поздравив нас с праздником, сообщил нам вполголоса, что нашего важного соседа освободили.

— Сам, говорит, следователь приехал на автомобиле и извинился перед ним за свою дерзость. Ему здорово попало за него от губернатора: как он смел так оскорбить потомственного почетного дворянина! А затем пришел на коридор корпусной дежурный, вызвал из двух камер «жулье» и разделил им все яйца, куличи и гостинцы «потомственного дворянина».

— Почаще бы нам таких привозили, — говорили они, поедая с радостью дареное.

В 9 утра роздали нам праздничный паек, состоявший из пары яиц, французского хлебца и куска кулича. Затем на коридор принесли ящик с калачами и французскими булками. Тульские купцы по традиции дарили этим арестантов к празднику. (За мое сиденье это повторялось несколько раз на большие праздники.) Наша камера, как политическая, тоже по традиции отказалась от этих калачей в пользу уголовных, чем Арапыч со своею камерой остался очень доволен. Они радовались и калачам и поддержанному нами престижу политиков.

— Мы таковские, нам все возможно, а политики должны поступать с разбором, — объяснял он в своей камера наш отказ от купеческих калачей.

Перед обедом камеры обходил начальник тюрьмы со своею свитой, одетой и подбритой по-праздничному. И все честь честью. Вперед приложил по-военному руку к козырьку и поздоровался. Затем сказал приветливо: «Христос воскрес!» — и поздравил с праздником, пожелавши нам как можно скорее оправдаться и освободиться из тюрьмы, попутно спросил, не имеем ли мы каких претензий, жалоб. На что Тихомиров совсем растрогался чуть не до слез. Правда, на этого начальника как будто не обижались и не жаловались, зато его помощники были порядочные псы.

— А как ты думаешь Тихомиров, — спросил по его уходе Фролов, — искренно он это сказал или только по обязанности, ради Пасхи?

— Да он человек не злой, не жестокий, почему же не поверить его искренности? Он человек к тому же простой, душевный…

— Душевный, — передразнил его тот, — вот за эту свою «душевность» и страдает русский народ. Он всякую сволочь на своих плечах терпит. Не может он искренне желать всем арестантам освобождения! Куда же он денется со своею командой борзых и гончих, по миру что ли ходить станет?

— По тебе не угодишь, — сказал Тихомиров обиженно, — и брешут — плохо, и ласково говорят — нехорошо.

И, не желая портить праздничного настроения, стал потихоньку напевать «Христос воскресе…»

— Никакой твой Христос не воскрес, — намеренно сурово сказал Фролов, — только ты голову себе зря забиваешь.

— Если бы он не воскрес, праздника не было бы и на душе не было все так хорошо, — отвечал тот, — а то вот и в тюрьме сердце радуется.

На другой день праздника тюрьму обходил и сам Тройницкий, заходил и в нашу камеру, но не христосовался и не здоровался, а только, увидавши Тихомирова, которого он знал лично, живо спросил: «Ну что, Тихомиров, покаялся, сознался?» На что тот смущенно и еле слышно ответил: «Покаялся, ваше превосходительство». А нас с Фроловым не удостоил выслушать, хотя обронил нечаянно: «А эти такие с тобой?»

Поймавши это генеральское словечко, Фролов очень часто дразнил им Тихомирова:

— Ну что, Тихомиров, покаялся? — говорил он ему всякий раз. — Вот посмотрим, как он сам у нас покается, когда мы власть заберем, — договаривал он задорно. — Нам и покаешься, а все равно будешь висеть на столбу, для таких мы и веревки не пожалеем!

— Напрасно ты не сказал ему об этом сейчас, — пошутил Тихомиров, — он, может, тогда со страху в монастырь бы ушел и службу бросил. Слушаю я тебя, Фролов, — с досадою заговорил он, — и ничего не могу понять: всех бы вы засудили, всех переделали, всех перевешали, да кто вы сами-то, разве не такие же, как и все, люди? И разве ваше учение — святое Евангелие, точно вы боги и имеете право всех судить и переделывать? Вот уж поистине сказано, что бодливой корове Бог рог не дает.

— Отрастают, Тихомиров, рога-то, смотри какие, не рога, а рожища, — с кривляньем хохотал он. — Бог! А что нам твой Бог, когда мы сами Боги! Что такое Бог? Бог это — сила! А сила за нами. А у кого сила, у того и право. Сильный на слабом и верхом поедет и кверху ногами его поставит.

— Но во имя чего все это нужно, — не удержался я, — разве до вас умных людей не было и не знали, как нужно общественную жизнь устроить, чтобы в ней было больше и правды и справедливости? Были, — говорю, — и Наполеоны, и Карлы, и папы, и императоры римские; были наши Бироны, Палкины, Аракчеевы, тоже нещадно душили людей во имя своих замыслов, а что от них осталось? Одно дырявое воспоминание. Ужели ваша партия умнее всех? И больше знает истину жизни?

— Они были все дурачки разные эти «герои», — хихикал он в кулак. — Они не знали, где собака зарыта, рубили людишкам головы, а корней не выкапывали, головы-то опять и отрастали. Они оттяпают одну, а на ее место десять вылезают, как в сказке о

Змее Горыныче. А наш Маркс это и понял. Небось, мы будем делать так, чтобы ни один отросток не вылез там, где мы головы срубили.

— Не дай Господи дожить до вашего царства, — с ужасом говорил Тихомиров. — Я в первый раз в жизни слушаю такие теории!

— Да, Тихомиров, твое дело труба, умирай скорее до революции, а то в нашем царстве таким места не будет.

— И вам никого не жалко будет? — серьезно ставил я ему вопрос. — Так и будете душить всех, кто с вами не будет согласен?

— Людишек-то жалеть, а чего их жалеть? Они, как тараканы, разводятся, — говорил он притворно-равнодушно, — лишь бы из этого толк вышел, а иначе нельзя опыта делать! Мы — марксисты, нас слезой не прошибешь и христианством толстовским. Наставим столбов, наделаем загородок, людишки обвыкнут и опять плодиться и размножаться будут, как им Бог велел в еврейской Библии.

— Жалко, — говорю, — Данила не слыхал, он опять бы сказал: «Ну и ловкачи-демократы!»

Конечно, такие горячие разговоры бывали у нас не каждый день. Но по какому бы поводу они ни возникали, он не выносил никакой критики, не допускал никакой середины и резко подчеркивал, что только их партия несет с собой новую истину о жизни, которую они непременно проведут, во что бы им это ни стало.

# Глава 63
# Предъявление «Дела»

В конце мая жандармское управление известило нас всех, что дело наше следствием кончено и передается в Московский военно-окружной суд.

А через несколько дней Демидов приехал сам в тюрьму для предъявления нам этого дела во всем его объеме. Для чего нас вызвали вниз в особое подвальное помещение и в дверях поставили часового. Из одного листика воззвания «дело» это выросло в полторы тысячи страниц и представляло для нас большой интерес. Много жандармов потрудилось и покормилось, создавая это дело. В нем были приведены все наши показания, рассуждения, заключения жандармов, производивших допросы, разные документы и рукописи, отобранные у нас при обысках, и весь материал розыска нас перед арестом по разным деревням и городам, то есть тот самый секретный материал и переписка властей, которые до сего дня хранились от нас в строгом секрете, как недосягаемая государственная тайна, а тут эта тайна была положена нам на стол.

Цель этого предъявления была для нас очень важна. Нам предоставлялось вносить возражения на любой документ или показания друг о друге, если в них была какая либо явная ложь.

Демидов дал его Булгакову для прочтения от крышки до крышки, но прочитать все подряд не было никакой физической возможности. Надо было для этого заниматься им не один день, а целую неделю и поневоле пришлось ограничиться только самым существенным и интересным. Зачитывались интересные показания учителя Радина, который подписал воззвание всей семьей с женой и дочерью, показания Трегубова с резкой критикой войны и затеявшего ее правительства.

— Мы не затевали войны, — вмешался Демидов, — нас на это вызвали другие!

— Хоть бы здесь-то, полковник, не говорили этой официальной неправды, — сказал Булгаков. — Ну кто же не знает того, что ни одно правительство не признается в этом и валит вину на других. Выходит, все правы, а виноваты солдаты, которых нужно искалечить и изранить, а за что — нельзя понять.

Загорелся спор о причинах войны и Душан спросил:

— Ну вы, полковник, скажите: почему было бы хуже России, если бы она не объявила мобилизации и не дала повода немцам к объявлению войны?

— Вы забываете о нашей союзнице Сербии, — резко подчеркнул Демидов, — у нас были обязательства!

— Но Сербии не сразу объявили войну, вперед требовали выдать убийц в Сараеве австрийского наследника, — возразил Булгаков, — почему наше правительство не заставило их подчиниться?

— Это унизило бы честь и достоинство России перед другими государствами, — сказал Демидов.

— Но ведь такое понятие о чести — ложное понятие, — сказал я, — вот против этого мы и протестуем. Честь — это понятие отвлеченное, и оно не стоит одной человеческой жизни, а вы ради ней губите теперь миллионы. Самая великая честь — спасать людей, а не губить их безвинно.

— Под вашу мораль не подходит ни одна война, — ответил он мне, — если так рассуждать, нельзя бы было и воевать.

— Да мы только об этом и говорим, полковник, что не надо воевать, — возразил Булгаков, — от войны, как от иного преступления, никому добра не бывает. Зачем воевать?

— Ну, это философия, — сказал Демидов, — а мы живем не философией, а интересами дня и политики. Мы находимся в окружении других государств, которые непрочь расчленить Россию и разобрать по кускам. Мы не должны показывать нашим врагам своей слабости.

— Кому показывать — Бетман-Гольвегу, старику Францу Иосифу? — переспросил Булгаков.

— Всему миру, — отрезал Демидов, — на нас весь мир смотрит.

— Это неверно, полковник, — поправил Душан, — по-вашему, весь мир хочет нашего разорения и смерти миллионам наших крестьян, а он вовсе этого не хочет и ниоткуда этого не видно, все это выдумки политиков, а народ всегда хочет только мира.

— Может, по-вашему, это и выдумка, — сказал Демидов, — а только мы должны считаться с этими выдумками и вертеться как белка в колесе. И пока оно вертится — никто остановиться не может. Были больше вас мудрецы, да ничего не поделали.

— Мы хотели капелькой своей жалости подействовать на это колесо, а вы нас в тюрьму посадили, — сказал любовно Сережа Попов, — вы бы не мешали…

— А вы думаете мне приятно вас в тюрьме держать? — сказал Демидов, — мы ведь тоже не звери, положение нас обязывает. Вы бы шли к немцу со своим воззванием, мы бы вам и на расходы дали.

— Мы бы и к немцу пошли, да ведь вы же нас в тюрьме

держите, — сказал Сережа.

— Кто к немцу хотел идти, тот не стал бы свои листки на телеграфных столбах в Туле расклеивать, — возразил он Сереже сурово.

— Но в общем вы неправы, полковник, — сказал Булгаков. — Наше обращение могло быть международным, а вы ему помешали. Мы обращались не к русским солдатам, а ко всем людям-братьям, носящим христианские имена. Вам же известно, что оно уже проникло за границу и было напечатано в Чехии.

— Ну кто прав и не прав, — скажет военный суд, а наше дело собирать материал, — закончил он недовольно. — Мы тоже люди и можем ошибаться.

Перелистывая «дело», Булгаков остановился на стихотворении Булыгиной «Письмо к сыну», отобранном при обыске жандармами у кого-то; написанное в сильном поэтическом выражении, оно изображало заранее великую скорбь матери за страдания сына, который должен был отказаться от участия в войне и солдатчине и претерпеть за это до конца жизни все тяжелые муки. Из нас его почти никто не знал. Булгаков спросил Демидова, можно ли прочитать это стихотворение для всех.

— Ваше право знакомиться со всем делом и оглашать все без исключения, только не списывать ничего, — заявил Демидов.

И стихотворение, к радости нас всех, было прочитано. Начиналось оно так:

Приближается грозное время,
Мы с тобою расстаться должны.
Впереди это тяжкое бремя,
Что берешь на себя ты нести…
О, мой сын! мне так тяжко и больно:
Сколько мук у тебя впереди и т. д.

Стихотворение это длинное, на три страницы и, читаемое с чувством глубокого душевного подъема, производило сильное впечатление. Стоявший в дверях часовой так и замер без движения, вслушиваясь в его слова, но Демидов не выдержал, на половине чтения сорвался с места и быстро направился к двери, намереваясь как будто пройти в коридор, и этим без слов заставил его отступить за дверь. Но и сам он сильно волновался, что в его присутствии «преступники» агитируют друг друга и читают такую «ересь», против внутренней правды которой он не может ничего возразить и сам.

— А ведь хорошо написано, полковник, — сказал Булгаков, окончив чтение.

— Уж вы меня-то, пожалуйста, не агитируйте, — резко ответил тот в сильном смущении. И стал нас торопить просмотром дела.

— Вы не в клубе «свидания друзей», — сказал он повелительно, а потому не злоупотребляйте данным вам правом, иначе я его могу нарушить.

Душан Петрович ему мягко и любовно сказал:

— Уж вы, господин полковник, повремените, вы так долго держали нас в изоляции, что за это можно дать нам один день общей радости. Мы вас просим об этом.

Но после прочитанного стихотворения нам уже не хотелось слушать разные протоколы и постановления жандармских властей, нам хотелось говорить, петь, радоваться, тем более что здесь мы в первый раз после года тюрьмы поняли, что наше дело не такое уж страшное и безнадежное, за которое надо было ждать еще суровых репрессий. Ознакомившись с ним, мы увидали, что никакой суд, разбирая его, не может заразиться чувством мести и жестокости, а должен будет считаться и с его внутренней правдой.

Мотивы, побудившие нас подписать воззвание, так были сильно и искренне изложены и каждым в отдельности, что в общем производили сильное впечатление и говорили в нашу пользу.

Еще нас очень заинтересовала спешная и секретная переписка жандармских властей при поисках одного из подписавших воззвание насколько помню, кажется, учителя Ернефельта, который был финляндским подданным. Он случайно был в Ясной Поляне, здесь подписал его у Булгакова, а затем выехал вперед на юг, а потом обратно в Финляндию. В деле о нем было много переписки и телеграмм, нащупывавших его местопребывание на юге. Последняя была спешная бумага финляндскому генерал-губернатору с требованием его ареста и присылки в Москву. Бумага эта при подписи была препровождена в гельсингфорский магистрат с требованием его розыска и выдачи, на что был и категорический отказ магистрата с разъяснением, что, на основании закона, финляндские подданные подсудны только их суду и что если Ернефельт совершил преступление, то жандармские власти должны передать уличающий его материал в гельсингфорский магистрат для привлечения к ответственности. На это последовала телеграфная переписка с шефом жандармов, а этого последнего с министром внутренних дел, но очевидно, что это время престиж нашей власти в Финляндии был поколеблен неудачной войной, и ей пришлось смириться и уступить. И дело о нем было выделено и передано магистрату.

— Вот так, господин полковник, — сказал с улыбкой Булгаков, — даже вашей власти и то отбой дали!

— Мы не боги, — конфузливо ответил тот.

Не помню, где и в какое время мы узнали, но факт был тот, что Ернефельта там оправдали, и мы это учли, как лишний козырь для себя.

# Глава 64
# Солдатская муштровка

Вокруг тюрьмы огороды, огромное поле, недалеко лагерь, и нам с верхнего этажа все время было видно, как на этих пустырях (а зимой и на огороде тюрьмы) шла ежедневная муштровка запасных для отправки на фронт.

«Налево», «направо», «беги», «ложись», «бег на месте», «кругом», «ура-а» — стоном стояло все поле от темна до темна. Но самым смешным и «идиотским», как говорил Фролов, была так называемая штыковая атака на соломенное чучело и мишени. Начиналась она от самой стены Всехсвятского кладбища. Наряженные в солдатские мундиры крестьяне то перебегали от ней кучами, то в одиночку, стреляя на ходу, то падали на брюхо и ползли вперед, то снова рассыпались в цепь и стреляли, а затем, как обожженные, быстро вскакивали и неистово орали «ура-а!», «ура-а!», с ружьями наперевес бросались на эти чучела и пронизывали их штыками. Со стороны это было похоже на какую-то пьяную или сумасшедшую оргию, которой не выдерживал и Фролов.

— Н-да, — говорил он возмущенно, — тут, пожалуй, и я соглашусь с Толстым, что не следует людей ставить в такое скотское и звериное состояние и стравливать их, как собак, уж как-нибудь, лишь бы не этак! Ну, на что все это похоже? Ну, я понимаю, когда дикари дрались врукопашную и зубами и руками, им для этого было нужно себя разъярить криком так, чтобы не больно было, когда сшибут и голову, а теперь ружьишки дальнобойные: чик, чик, и готово!

— Вот она братва-то ваша христианская, — говорил он мне укоризненно, — не догадаются даже на это время в тюрьму себя посадить, точно для этого ума много нужно? Наплевал в глаза городовому или дал ему в рожу, вот тебе на год и обеспечение; уж если воровать не хочешь. А теперь вот и ползай на брюхе по грязной земле, нашли себе радости!

— Наш народ православный, — пояснил Тихомиров, — он и Бога боится, и власть почитает, разве он может на бунт согласиться?

— Вот для этого мы ему глаза открываем, чтобы он и греха не боялся, и властей не пугался, а брал бы дубину в руки и от всех буржуев и господ отмахивался. За этим, Тихомиров, дело не станет, вот погоди, чудак, сам увидишь, какие мы ему очки вставим! Теперь он за царя орет, а тогда за нашу партию орать

будет, для этого они и коровки божии, с ними что хочешь можно…

— Нет, в самом деле, — дразнил он меня дальше, — ну что бы им стоило сейчас прогнать эту власть дворянскую и на войну не ходить, а им это и на ум не приходит, коровкам божьим. А ты все — народ, народ! Вот он, твой народ, весь лицо, своих кишок не жалеет: «ура» соломенным мешкам кричит! Из этого народа только дурак не навьет себе веревок, а умный в два счета окрутит.

Откуда-то заключенные узнали, что правительство разрешило уголовных-срочных брать на войну, вместо отбывания срока и обещая полное прощение за усердную службу. По тюрьме пошли разговоры, посыпались заявления воинскому начальнику. Не обошлось и без нашего в том обсуждения.

Улучив время, Арапыч пришел к нашему волчку и спросил нашего мнения на этот счет. Его послали к нам от обеих камер «жулья» за разрешением такого важного для них вопроса.

— Скажи от моего имени, — загоготал Фролов, — обеими руками благословляю и даю полную амнистию только при условии, чтобы после войны с немцами войну с буржуями открывали, чтобы всех попов и дворян к ногтю, а сами на престол всероссийский! — Ты скажи им, Арапыч, что там-то им только и повороваться. У мертвых карманы выворачивать и то через год в купцы выйдешь, а уж если какого офицерика подстрелить незаметно, у такого одного пять тысяч охватишь, ей-Богу, чего они зевают, давно бы надо проситься, чем в тюрьме кандер хлебать и арестантский халат носить! А уж после войны мы им дорогу покажем, что надо делать, об этом пускай не беспокоятся. Нам воры в первую голову понадобятся.

— А ты что скажешь? — спросил Арапыч меня.

— Не согласен, Арапыч, — сказал я. — Знаешь поговорку «Пусти душу в ад и будешь богат»? А ведь там, помимо того что грабить, придется и невинных людей расстреливать и кишки им из брюха выпускать, а это занятие куда не хорошее, не все прасола на бойне со скотиной равнодушно это делают. Я слышал, у них и то руки трясутся и в глазах мутится, а там ведь несчастных людей грабить надо, невинные души губить! Ну зачем это добровольно делать, раз тебя не посылают силой, а здесь и хлебом кормят.

— Да, я-то не пойду, не пойду, вихорь их побери и с войной, — поспешно сказал он, — ты уж за меня не беспокойся, — говорил он оправдываясь, — это другие спрашивают, а я хотя и вор, а душу имею и кишки выпускать, никому не смогу, моя работа и тут нужная, как-нибудь два года отмотаю, а там, может, и скидка будет. Меня-то Фролов

освободит опосля революции и так, авось я не дворянин и не генерал знатный.

— Ты, Арапыч, ни-ни, ты и здесь нужен по горло, — сказал Фролов по-мальчишески просительно. — Без тебя, Арапыч, мы пропадем, как черви капустные, и без газет будем, и писем на волю послать будет не с кем, а Тихомирову и вовсе в трезвенники придется вступать: ну кто другой принесет мерзавчика?

— Так значит, кто хочет повороваться, то должен, значит, и кишки выпускать на войне? — глуповато ухмылялся Арапыч.

— Истинно, — подтвердил Фролов, — без кишок дело не обойдется, на что-нибудь кишки и пригодятся.

В таком духе Арапыч и усвоил нашу установку и время от времени сообщал нам, кто согласился на это и подал заявление, а кто еще раздумывает — на войну пойти или в тюрьме оставаться.

В конце лета в тюрьме разрешили выписывать какую-то военно-хозяйственную газету, которую мы тотчас же выписали своей камерой. За нерегулярной проноской Арапычем других московских газет, вся тюрьма была этому очень рада, и многие камеры ее тоже выписали. Называлась она, кажется, «Военный вестник». И нас это радовало как признак начавшихся уступок со стороны правительства.

— Погоди, Арапыч, то ли еще будет, — говорил ему Фролов, когда тот сообщал нам об этом, как о большой новости. — Нам скоро здесь и клуб откроют, и буфет с закусками. Теперь и на войну ходить незачем. Мы и тут по-господски жить будем. Утром вставай: чего изволите? газеты, чай, водка!

— А как же тогда я? — глуповато спрашивал Арапыч. — Тогда мои и услуги никому не нужны будут и привратника обманывать будет не в чем?

— Не тужи, Арапыч, без обмана не проживешь, и обманывать нам еще долго придется, и тебе самая большая работа впереди. Ты будешь нашим адъютантом и в городе почву будешь нащупывать, шайку из воров нам подбирать. Как немец нашу армию заберет в плен и станет наши города забирать, а мы тут себе восстание! Это нам плевое дело. Обезоружим администрацию, запрем всех по камерам, а сами в город с красными флагами: вставай, поднимайся, рабочий народ! Все купцы сразу наши будут. Они, знаешь, Арапыч, они трусливее мужиков, со страху в штаны напустят и сами все деньги отдадут, и по сундукам лазить тебе не придется. А холстами мы и брать не будем, на какой они черт!

— А губернатор нас на расстрел возьмет…

— Тройницкий? Да он сам задаст стрекача из города, солдат-то у него нету, а какие тут есть ополченцы, разве это солдаты?

Они и сами с радости по деревням разбегутся спасать свою собственность неприкосновенную. Они все на одну колодку, Арапыч, — кивал он на меня, — он тоже сейчас же лататы задаст, только тюрьму ему отвори, какое им дело до государства и рабочего класса, у них есть усадьбишка и хатенка, они и будут в них отсиживаться, как тараканы во время мороза, совсем никчемный народ, Арапыч, кроме кнута, никакой его агитацией не проймешь! Ни Хавраля и Мавраля знать не хочет, вот она из него что, собственность, сделала!

— А Тихомиров как, он тоже из тюрьмы уйдет? — спрашивал весело Арапыч. — Только он под красные флаги не пойдет, ему с нами не дорога…

Фролов приседал и хихикая говорил:

— Он знаешь что, он тогда в один день 65 верст до своего хутора добежит и заставит баб, как евреи, опресноки наспех готовить, чтобы в пустыню Ханаанскую удаляться.

— А если он вам и крест снимет и к вашей партии присоединится, тогда как?

— Да черт с ним, по старой дружбе и ему работенку найдем. Обуем в лапотки, обрядим в мужицкое барахлишко, парик с бородой наденем, сумочку кожаную — он бритый-то ни к черту не годится — он и будет по деревням заместо странника слоняться, наши мыслишки насчет революции забрасывать да мужицкие думки в карман собирать. Нам и такие нужны будут.

Арапыч весело хохотал и высказывал недоверие: не пойдет он странствовать и вшей кормить, не привычен он к этому…

— А не пойдет — ему дорога одна — могила! Ради старости только выбор дадим.

Когда у нас велись такие разговоры, вокруг тюрьмы продолжался оголтелый крик: «Ура-а!», «Ура-а!»

А через каждый месяц устраивался публичный парад и проводы: собиралась огромная толпа народа, оркестры музыки, начальство и попы, служились молебны, опять снова кричали «Ура-а!», и обработанных мужиков вновь и вновь гнали на убой под немецкие пулеметы. В самом деле, на что это было похоже, на что это было нужно?..

# Глава 65
# Тюремный быт

А жизнь в тюрьме шла своим чередом, арестанты ходили с бубновыми тузами. На поверках утром должны были говорить: «Здравия желаем, ваше благородие!» А вечером петь молитвы на всю тюрьму. На кухне готовили кипяток, варили «кандер» или «баланду», которые всегда хоть и были жидковаты и попахивали водой, но от наличия красного перца, муки и лаврового листа были достаточно вкусны и с хлебом поедались до поту. Хлеба давали по 700 граммов и выпекали его очень хорошо. Если кому за отсутствием передач не хватало, то на коридорах у уборщика всегда имелись «куски», собираемые от тех, у кого он оставался, и давались охотно всем просящим. И хоть Данила и говорил нам сквозь зубы, что у начальника инспектора с арестантских харчей имеются постоянно свиньи, но из-за этого никто не голодал, хватало и на свиней. Давали по 100 граммов каши и по 25 — мяса. Правда, мясо расходилось по кашеварам, надзирателям и корпусным, но в общем его присутствием все же попахивало. Уж против этого ничего не поделаешь, кухара и повара и в тюрьме наедают «толстый загривок».

За всякие провинности: воровство, карты, драку, оскорбление и неповиновение начальству — арестантов с боем волокли в карцер в подвальный этаж или в смирительную камеру с выбитыми окнами, где их выдерживали некоторое время на холоде. Они орали, сопротивлялись, стучали в дверь, но слушать их было некому. Начальство было к ним глухо. Но несмотря на эти уроки, озорство и разные «продерзости» начальству продолжались, и мы очень часто слышали крики из этих выправительных мест.

Потерпел за свою «продерзость» и Сережа Попов. Он был крайним атеистом и не верил в начальство и его благостные заботы и попечения о всех простых смертных, и не хотел отдавать ему никаких божеских почестей: не кланялся и не вставал перед ним, когда оно входило в его камеру. А ведь это непочитательство непозволительно и на воле, а в тюрьме, где и малые чины ходят при оружии и имеют большие права, такое непочитание начальства считается и вовсе «бунтом», а потому сразу же и принимаются крутые меры к его подавлению. Ты можешь не веровать в Бога и отказаться ходить в любую церковь и на любые праздники (Бога законы человеческие охраняют значительно меньше), но отказаться почитать начальство! Это такая

«продерзость», с которой не примирится даже и городовой, а не только помощник начальника тюрьмы при обходе с поверкой. Нам об этом таинственно сообщал Данила.

Вперед его поднимали с койки насильно и заставляли стоять, а когда он снова падал, его держали двое и понемногу «подколачивали». В другой раз стали тащить в карцер, он не идет, его волоком да не за руки, а за ноги, думали пожалеет голову, вскочит. Не тут-то было, вот какой упористый! Даже из носа кровь пошла, а ему хоть бы что, так волоком и в карцер втащили.

— Вот это наш, — хихикал Фролов, — хороший бы из него партийный товарищ вышел! люблю таких, к черту всякое начальство! Данила Никитич, мы сами себе начальство!

— А что же он говорит при этом? — спросил с сожалением Тихомиров, — или и говорить отказался?

— Все люди братья, говорит, и никто не может особенным считаться и уважения к себе особенного требовать. Он так и Тройницкому сказал, сидя на койке: «Здравствуй, брат». Тот сразу красным от злости стал: «Какой ты мне брат, сволочь этакая! в карцер его на неделю!» Так опять и сволокли. Ну, только по уходе губернатора начальник выпустил. Он и с прокурором о нем советовался. Ни карцер не помог, ни мордобитие. Да его и бить-то ни у кого зла нет, а так, для видимости. Раз он всех называет милыми братьями, то у кого же руки наляжут его бить? «Почет и уважение, — говорит, — люди по своим делам заслуживают, а вас за что же почитать, когда вы людей на запоре держите, как собак лихих?»

— Вот ты с ним и сговорись, — рассказывал недовольно Данила. — А ведь о нем вся тюрьма знает, все надзиратели перешептываются…

— Вот это люблю, вот это поддерживаю, — кривлялся Фролов, — ай да брат Сергей, он хотя и не марксист, а задирает до костей!

— В самом деле, Данила Никитич, ну за что арестанту почитать вашего брата, когда вы только с ключами ходите, да норовите кому-нибудь в морду дать? К черту начальство! Обеими руками поддерживаю брата Сергея! Так ему и скажи, Данила.

— А он в Бога-то верует? — с любопытством спрашивал Тихомиров.

— Его не поймешь, он по-особенному, не по-православному. Бог, — говорит, — есть любовь, и если кто любит всех людей и не делает им зла, у того и Бог есть, а кто любит только своих дружков, а ко всем другим задом, тот и не знает Бога, как бы он не назывался, и какие бы молитвы не читал…

— Что! я тебе не говорил, Тихомиров, что не надо молиться и

молитвы зубрить, ну к чему все это, раз ты людей не любил и с купцов взятки брал? Ну разве тут молитвами отмолишься? Вот что брат-то Сергей говорит… А ты только и любил дружка Дмитриевского…

— Кабы его в нашу камеру посадили, — сказал Тихомиров, — у него было бы чему поучиться.

— Да, да, Тихомиров, — захлебывался от смеха Фролов, — представь себе, что ты сидишь на койке, входит Тройницкий, здоровается, а ты ему прямо сидя: «Здравствуй, милый брат!» — Вот было бы потехи, на его превосходительство столбняк бы накатил с удивления, он сам бы «милым братом» сделался. Ей-Богу, Тихомиров, отмочи такую штуку, ну чем ты рискуешь? Отвезут в психиатрическую лечебницу! А ты и там всем докторам: «Милый брат!» Ну что они с тобой поделают? Ровным счетом ничего. Признают полоумным, вроде юродивого, и домой отпустят, а так тебе не миновать четырех лет арестантских рот. Ей-Богу, попробуй. Зато вся тюрьма хохотать полгода будет, какое всем веселье дашь! Согласен, да? Так я уже на поверке и заявлю: так, мол, и так: милого брата Сергея нам нужно, Тихомирову для душевного спасения и назидания, а мне как хорошего товарища, с ним вместе «Труд и капитал» изучать. Начальник понимающий, он нашу просьбу сразу уважит.

— А я думаю Новиков больше брата Сергея знает, — возразил лукаво Данила, — у него и учитесь, как по-Божьи жить. А Сергея вам не дадут, он с ним по одному делу.

— Этот знает да про себя бережет, Данила Никитич, ну разве он может милым братом для всех быть, когда он собственник? А Сергей, как и я, пролетарий, ему терять нечего. Он, говорят, сам себе дерюгу связал и в ней ходит, лошадей пужает. А этот, попробуй заикнись, что он милый брат, я к нему сейчас и полезу за душой: «А, а, милый брат, так давай-ка мне и лошадь и корову, а то у него по две, а у меня ни одной!»

— А ты ему коров-то наживал? — сурово сказал Данила. — Коровы с неба не падают, а их растить по три года надо, навоз чистить, прокормить, заботиться. У меня тоже корова, а с ней, поди, хлопот не оберешься…

— Верно, Данила, — сказал и я, — он за свою жизнь в полтора раза больше моего на легкой работе добыл и все прожил и прогулял, так кто же тут виноват, что у него нет собственности за душой, а нужда коснулась, и взяться не за что, пришлось одежду закладывать, сам не хотел себе ничего заводить, а кто не доедал и кое-что завел, тем завидует и готов отнять чужое. А потом, что такое собственность, как не собственное здоровье, переведенное через работу и затраченное на нее здоровье в

деньги: в коров, в дом и инвентарь? По-моему, собственность грех, когда она чужая, а когда она из твоего горба отродилась, от твоей работы, тогда она и родная, и безгрешная, и дорожить ею все равно, что дорожить собственным здоровьем.

— А ты говоришь, он больше Сергея знает, вишь, он куда гнет, для него собственность священна и неприкосновенна, он за нее зоб прорвет, что мое, то мое! А мы — пролетарии с братом Сергеем, мы говорим наоборот: что твое, то мое, мы народ не жадный, по-нашему все должно быть общее, как и в Писании сказано.

— А ты вперед наживи, сколько у Новикова, — сказал поучительно Данила, — а тогда и пускай общее будет, а то наживать-то вас нет, а делить готовое много!

— В самом деле, Александр Сергеевич, ну а вдруг тебе какая-нибудь тетушка дом по наследству откажет, — сказал Тихомиров. — Или деньжонок две-три тысячи, ужели ты от них откажешься?

— Вы все на личности играете, а я общий принцип защищаю, что все должно быть общее, — вывертывался он, — потому собственностью во всем мире и рабство и эксплуатация поддерживались, поэтому наша партия и хочет облегчить человечество от собственности, чтобы человек человека не эксплуатировал и не угнетал…

— А, а! А прямо-то не ответил, — сказал Данила, — от двух тысяч-то тетушкиных побоялся отказаться, чужого пожалел, а как же ты хочешь, чтобы он тебе свою корову отдал? Все вы такие социал-демократы: что твое, то мое, а что мое — тоже мое! Знаю я вас!

Я сказал, что, по-моему, чтобы меньше было в жизни греха и неравенства из-за имущества, надо не отнимать чужую собственность для тех, кто не хочет иметь на черный день копейку, а надо сделать так, чтобы она была у всех поровну, чтобы у всякого человека была полная возможность заниматься своим делом и ремеслом, кто не хочет работать у хозяина.

— А ты говоришь, Данила, вот попробуй из него пролетария сделать, он упорно за свое хозяйство и за своих коров держится! Нет, борода, довольно, мы вас согнем в три погибели, а в батраков на государство переделаем, всех в фабричном котле переварим!..

— Да что толку-то, — перебил Тихомиров, — ну какая радость батраком бывать, ведь вы это только со злости так говорите, я вот плохой хозяин и усадьбы себе сам не огораживал, сада не садил, а и то, как приедешь в свой хуторок, и дерева-то тебе кланяются, и листок вечерами тебе что-то в уши

нашептывает, и воздух другой, дышишь не надышишься, а тут вот и в сад Кремлевский хожу, и на кладбище, а все не то, все нет тебе такой радости.

— И коровка своя-то милей, — подсказал Данила, — я вот как прихожу со смены, так и иду прямо в сарайчик, где у меня корова и птица, зачну курям хлеб крошить, а корова у меня его языком и слизнет — язык-то у ней такой корявый, длинный, она им ко мне в карманы за хлебом залезает…

— Ах вы черти, ах вы дьяволы, — ругался Фролов, — вас одному-то и не переспорить! Ты свое, а они свое! Так и вывертываются, как ужи. У одного хуторок в 26 десятин, у другого тюрьма непочатая! А ты мне скажи: на всех-то таких хуторков хватит земли нарезать, или тюрем хватит, чтобы всех тюремщиками сделать?

— Вот он какой социалист, — возразил Данила, — даже тюремщикам позавидовал, точно и впрямь какая радость ночами одному на коридоре сидеть, одна скука тебя заест. Вы-то в камере, как господа, на койках лежите, а я, как собака, ваш сон оберегаю и ночами не сплю. Выходит, не вы в тюрьме-то сидите, а я в одиночке нахожусь. Я бы с удовольствием на ночь пошел на твою койку, а тебя бы на коридор выпустил.

Мы долго смеялись. Тихомиров сказал:

— Насчет тюрем — пропади они пропадом — я ничего не скажу, а насчет земли статистику изучал, еще по 1–2 десятины на живую душу хватит, а если присоединить не освоенную, то и по 3 наберем. В чем же дело? Я тоже не завистлив: не хватит по 26 десятин — по 5, по 8 хватит на семью. А потом не все же захотят в земле ковыряться, и ремеслом разным и службой многие жить будут.

— Ишь ты, на уступки пошел, — язвительно сказал Фролов, — вот как мы вам бок-то наполыхали в 1905 году, теперь на уступки согласны. Только нам теперь от вас никаких уступок не надо. Просто-напросто ко всем чертям погоним, а кто чуть что возражать будет, тому чик-чик и веревку на шею!

— Ну ладно, — сказал он подумавши, — с землей туда-сюда, поделить можно, а торговлю купцам оставим, а производство капиталистам, чтобы они из пролетариев кровь пили? Не бывать этому, всех к черту на кулички разгоним, все отберем и национализируем, и взятки брать не с кого будет! И тюрьмы на фабрики переделаем, чтобы ни одного арестанта и тюремщика не было!

— Чувствую, чувствую, под кого подбираешься, — заворчал сердито Данила, — запирая камеру.

— С Фроловым о чем ни говори, — сказал он в волчок, — а

уж до тюремных надзирателей он дойдет, завидки ему взяли, знать, сам на мое место метит!

— К черту, Данила, — подскочил он к двери, — и начальника, и помощников, и всех надзирателей! Довольно вам паразитами быть и чужим хлебом свиней с коровами кормить! Мы людишек не станем в тюрьме содержать, мы по-другому будем, всех на работу поставим, довольно вшей кормить тюремных!

# Глава 66
# Претензии Фролова

В месяц раз камеры обходил начальник тюрьмы и вежливо и бесстрастно спрашивал:

— Не имеете ли претензий и жалоб?

В один из таких обходов Фролов с серьезной важностью заявил:

— Суп жидковат, начальник, и кашки только по ложке дают, а то бы жить можно было!

Начальник смутился и не сразу ответил:

— Тут я поделать ничего не могу, столько полагается по расписанию, заявляйте инспектору!

По его уходе мы долго смеялись, Фролов прыгал и кривлялся от радости и уверял нас, что на завтра и суп и баланда будут гуще. Не будет крупица за крупицей бегать с дубиной.

Сопровождая начальника, Данила слышал претензию Фролова и, по его уходе с коридора, опять подошел к нашему волчку и сказал:

— Ишь ты, чего захотел, чтобы вас кашей досыта кормили да мяса по фунту давали, этак и из тюрьмы никого не выгонишь, и без того отбою нет, от войны спасаются и в тюрьму лезут.

— А как он испугался-то, Данила, он подумал, что я его про коров и свиней спрашиваю, он не дурак и сразу сообразил, чем это пахнет. Вот потеха-то!

— Ты доведешь всех до ручки, — ворчал Данила, — из-за твоих претензий и мне-то придется корову продавать.

— К черту всякую собственность, Данила, коровы тоже должны быть общие, — выкрикивал он, — я, знаешь, и другой раз что заявлю начальнику? Во-первых, скажу, что из тюремного сада очень дорого продают арестантам яблоки, во-вторых — почему у всех причандалов на кухне толстые рожи? А в третьих — нельзя ли на кухонные отбросы и остатки свинарник тюремный устроить, а то, мол, добра там всякого много пропадает, а заключенным хоть по праздникам щи свиные будут. Я ему такого арапа заправлю, что он ночей спать не будет со своими свиньями…

— Дались тебе эти свиньи, — сказал недовольно Данила, — точно ты в тюрьму-то навек пришел.

— А что ж нам, Данила, в своем отечестве да стесняться! Мы еще посидим и свиней тюремных дождемся, куда нам торопиться, хлебушка дают, баландой кормят до поту! Черт бы побрал эту

Америку, Данила. Ну что ей было нужно в Европе, зачем в войну вступила? Ведь она нам всю обедню испортила! Чего доброго, побьют немца, и революцию тогда не сделаешь в победоносном государстве!

— У голодной куме — одно на уме: чужую собственность отнимать и революцию делать, — съязвил Данила, — все люди как люди живут, работают, приобретают, а эти недоучки — демократы то и знают, что губами щелкают: тот хуторок имеет, тот двух коров завел, у них не спросился, тот свинью вырастил… А сами что заработают, то и пропьют…

— Мы — во! мы сила! — разводил Фролов руками, — мы будущие хозяева земли русской, Данила Никитич, нам вперед столковаться надо: как вот с этими людишками управляться, — указывал он на меня. — Нам Маркс дал теорию, плант, а как его превратить в натуру — мы и сами не знаем, а чтобы не просчитаться, мы и должны будем забрать все в свои руки: хуторки с фабриками, и свиней с коровами. Мы все это зажмем в свой кулачок, Данила, и будем давать всем по крохотке. А что! корова твоя — молоко наше. А Тихомирову скажем: твой хуторок и земелька, а наш хлебушек, ладно! А «этих», мы, Данила, и спрашивать не станем, — ткал он в меня пальцем, — наложим, обложим, насядем, ён и повезет, ён богатырь, Микула… Селянинович, ён все свезет и заплатит. Ён и татар кормил, и царя с помещиками, и попов, и купцов, ён и нас покормит, ведь так, Данила, правильно я говорю? О, эта рать мужицкая, эта рать сиволапая, она все повывезет, только умей ее обратать да верхом забраться!

— Ну и ловкачи, ну и мудрилы, ну и жулики, — ухмылялся Данила, отходя от волчка, — они в сам деле последний крест с шеи снимут, только им волю дай.

А Фролов становился на четвереньки и всячески чудил и кривлялся, а потом подходил к волчку и громко запевал: «Отречемся от старого мира, отрясем его прах с наших ног…»

Я попробовал на этот раз серьезно поговорить с нашим «социал-демократом», я сказал:

— Вот вы собираетесь отнять у людей все их жизненные интересы и радости, связанные с процессом накопления и приобретения собственности: и хуторки и выкупленные нами долголетним трудом надельные и родные нам полоски земли, и наши сады и огороды, скот и инвентарь. Все это, по-вашему, должно быть обобществлено и находиться в вашем распоряжении. А не приходило вам в голову, что такой кастрацией жизненных интересов и радостей вы саму жизнь-то народную сделаете хуже тюрьмы, такой же сухой материей, как и вся ваша марксистская

литература? Ну кому же нужна, кому мила будет такая жизнь в вашем царстве? Недаром же Прудон упрекал Маркса в том, что он своей солдатской теорией социализма несет человечеству новое и еще худшее рабство. Нельзя же, говорю, человеку радоваться на общее поле, на общее стадо, на казенную дорогу или арсенал. Ведь этой вашей сухой арифметикой убиваются все интересы личной инициативы и творчества, личных надежд и желаний. На что все это нужно и кому?

Фролов не бросил своего шутовства и в таком же тот сказал:

— Людишки что балалайка, их можно настроить по всячески: кнутом да прутиком, рублем да дубьем их, как овец, можно приучить жить по-всячески. Ну а чем они от овец отличаются? Корм у них будет, работа будет, квартира будет, черта ли им еще нужно! Что! думаешь с тоски вешаться станут или как лягушки в воду попрыгают? Нет, не такая вы скотинка самолюбивая, чтобы вешаться с досады; вы народ православный, богобоязненный, всякого греха и супротивства боитесь, из вас любых веревок навьешь. Вы — земляная сила. Видал лес? Каждое дерет растет, как хочет: и вширь, и вверх, и теснит сильное слабое, а мы подрежем этот лес, как подрезают культурные сады и парки, чтобы никто никого не теснил и вширь не разрастался. Видал? Не сохнут дерева от подрезки. И вы топиться не станете и будете плодиться и размножаться и населять землю… А интереса у них не будет, — подмигнул он Тихомирову, — хлеб жрать будете, спать будете, работу дадим. С бабами вотажиться разрешим налево и направо! А то им интересу мало! А у пролетария больше интересу на фабрике? Живет, не топится, и вы будете жить! Невелики господа, найдете чем интересоваться. А зато мы тогда весь мир завоюем и покорим, под нози своя всякого врага и супостата!..

Я возразил, что и Маркс надумал много отсебятины, которая никому не нужна. Что сам он не был ни хозяином, ни работником, а потому не мог и понимать настоящих их отношений и интересов друг в друге; что никто из этих так называемых эксплуатируемых батраков и рабочих сам не скажет, что его эксплуатируют, так как, с одной стороны, он знает, что он живет у хозяина по своей доброй воле, и что сколько бы он ни получал, он всегда имеет возможность в 2–3 года прикопить деньжонок и завести собственное дело, как в деревне, так и в городе, и что если кто этого не делает, не старается улучшить свое положение, так виноват в этом он сам, а вовсе не хозяин; что никто никому не мешает жить хорошо и на фабрике и в деревне, только не надо гулять и пьянствовать и надо откладывать хоть по 3 рубля в месяц на черный день, как страховку от

непредвиденных случаев.

— Это мы слышали, это мещанская мораль, это мелкобуржуазная стихия богатых мужиков, — сказал он со злобой. А мы — безбожники и никакой морали не признаем. У нас свой бог и своя теория. К черту вас с вашим мещанством! Совсем безнадежен, — сказал он Тихомирову, — хоть ты его зарежь, а он все свое. Вот она целина-то непочатая. Придется нам поработать над ними!

— Да вы-то кто? — спрашивал недоуменно Тихомиров, — боги или дьяволы? На что вы им нужны-то с вашими теориями? Ну кто вас просит весь мир переделывать?

— Мы-то! Мы — его величество пролетарий! И ваше царство и наше царство. За нами и право и сила!

После этого, до самого моего ухода, он уже избегал таких принципиальных споров.

В конце октября мы все снова были вызваны Демидовым в контору. Нам было прочитано предварительное решение Московского военно-окружного суда (куда перешло дело) о том, что до начала суда мы можем быть освобождены под залоги от 500 до 800 рублей каждый, по внесении которых каждый будет тотчас же освобожден. А через три недели я вышел из тюрьмы с извещением от суда, что залог за меня внесен корпорацией наших защитников.

— Еще мы с ним встретимся на узенькой дорожке после революции, — говорил Фролов Тихомирову, прощаясь со мной, — только тогда будем не говорить, а устраивать новое «общество», без Бога и без собственности.

Тихомиров прощался со мной, чуть не плача, ему страшно было оставаться одному с этим «ловкачом-демократом».

Данила радовался и наставительно говорил:

— Только смотри, уговор, чтобы второй раз не приходить… ложку-то свою возьми из камеры. На радостях он разрешил мне подойти к камере «жулья» и попрощаться с Арапычем.

— А с кем же нам теперь балакать-то? — опечалился он, недовольный, недовольны были и другие.

— Уж ты бы сидел до конца войны, — говорили они, — а там видно бы было…

— К Фролову ходите, — посоветовал я.

— А ну его к черту, — выругался Арапыч, — он и в Бога не верует, и совести не признает, у него не душа, а жестянка! Он даже ворам не друг!..

# Глава 67
# Суд при закрытых дверях

Через 3 месяца (в конце февраля) 1916 г. мы получили повестки о вызове в суд на 15 марта.

В настоящем деле приняли близкое участие некоторые близкие друзья покойного Л. Н. Толстого: В. Г. Чертков, его жена Анна Константиновна, И. И. Горбунов, П. И. Бирюков, Ф. А. Страхов, дочери Льва Николаевича Татьяна и Александра, С. Л. Толстой и др., и по их просьбе защиту на суде взяли на себя известные тогда адвокаты Москвы и Петербурга: В. А. Маклаков, Карабчевский, Малянтович, Муравьев, Громогласов, Гольденбладт и еще восьмеро других (имен которых я не помню), а сами они выступали за нас свидетелями в суде, давая характеристику каждого из нас и защищая в принципе те христианские идеи, следствием которых и было подписано нами воззвание против войны.

Жаль, очень жаль, что я не могу описать подробно этого суда над нами, так как не имею в своих руках его материалов. И что тут можно сказать по короткой памяти одного человека? Суд длился 11 дней. Повторялись показания 29 подсудимых, говорились длинные речи защитников и свидетелей, описание которых заняло бы много сотен страниц. Одно будет лишь верно и ясно, что суд этот в конце концов превратился в публичную проповедь христианского жизнепонимания и христианских идей, в противовес военному милитаризму и патриотизму, которые в то время насаждались властью в умах народа и которые старался безнадежно поддерживать в суде наш обвинитель, военный прокурор Гутор. Кто попадал в залу суда после 3–4 дней от его начала, тот уже не видел суда над какими-то обвиняемыми, наоборот, он удивленно слушал, как и сами обвиняемые и, главное, их свидетели обвиняют с точки зрения христианства и самый суд, и в его лице всю официальную Россию, навязавшую своему народу эту дикую и бессмысленную войну, какая не только не оправдывалась морально, но не оправдывалась и никакими другими политическими выгодами и соображениями, ради которых нужно было губить такую массу людей, разорять их и грабить. Тут развенчивалась и вся эта выдуманная ложь о достоинстве и чести могущественной нации и государства, для поддержания которых будто нельзя было иначе поступить, не принявши вызова.

Суд был в огромной круглой Екатерининской зале, в здании

судебных установлений в Кремле, и хотя он считался судом при закрытых дверях, однако через несколько дней от своего начала зала эта стала наполняться избранной публикой, а к последним дням и совсем не вмещала всех желающих присутствовать на нашем суде.

Но как же это вышло, как было допущено? По закону разрешалось только каждому подсудимому пригласить двух родственников, но мы выходили обратно на коридор и раздавали другим знакомым те билеты, которые имели для родственников, а потом и сами часовые стоявшие у нескольких дверей — входов в этот зал, видя попустительство начальства, стали пропускать за деньги кое-кого из напиравшей с коридора публики. Один давал деньги, а другие за ним проходили так, и солдаты не останавливали, боясь огласки за взятые двугривенные. Еще в первые 2–3 дня, при шуме и спорах в дверях, секретарь суда пролезал сквозь стену и наводил порядок, а потом и совсем перестал обращать внимание, и публика шла беспрепятственно. Каждый вновь пришедший был так заинтересован этим публичным религиозным митингом, что на другой день приводил с собой еще десяток своих новых знакомых, и таким образом изо дня в день зал быстро наполнялся. А ведь был военный суд и в военное время, на котором, кроме военных судей-полковников и подполковников и председателя генерала, Абрамовича-Барановского, еще присутствовал неизвестный нам генерал с огромными рыжими усами, присланный из Петербурга специально для наблюдений. И все же это был не суд, а публичная пропаганда христианской идеи, в корне осуждавшая войну и ее ужасы.

Правда, говорили, что на четвертый день суда Абрамович-Барановский получил из армии с фронта сообщение, что его единственный сын офицер убит, поэтому он так и стал слабо вести суд, как сам жестоко пострадавший от войны, но насколько это было достоверно — судить не берусь. И тем лучше, если это было верно, так как этот случай был наглядным уроком результата войны для самого военного суда, взявшего на себя недостойную задачу судить людей за моральное осуждение и призывы к неучастию в ней, как в страшном преступлении.

Защита подходила к делу с трех сторон: с точки зрения государственного вреда, причиненного нами, со стороны общественного влияния на ход войны и со стороны непреложной христианской правды. От первой группы выступал Маклаков, от второй Муравьев и от третьей — Громогласов.

Я государственник, — говорил Маклаков, — и если бы я видел в их обращении «Ко всем братьям» действительное

преступление и действительный вред государству, пускай даже в военное время — я не был бы здесь на суде и не взял бы на себя защиты. Но и как государственник я не вижу в их воззвании ни вреда государству, ни состава преступления вообще, а потому и беру на себя смелость доказывать суду публично, что примененные к ним статьи закона для обвинения не имеют к ним никакого отношения и применены неправильно. Если они и виноваты в некоторых проступках, то за это их совсем не надо было держать так долго в тюрьме и судить военным судом. — И он приводил совсем другие статьи, которых как не юрист я запомнить не могу. — Если бы они призывали русских солдат побросать оружие и разбегаться, а немцам и всем нашим врагам не говорили бы этого — я не защищал бы их здесь. Но в том-то и дело, что их воззвание направлено не к русским только, и не к одним солдатам, но и ко всем людям, заразившимся военным братоубийством, так оно у них и озаглавлено: «Опомнитесь, люди-братья!». Для меня, — говорил он дальше, — этот призыв представляется совсем в ином свете, чем его квалифицирует военный суд. Представьте себе толпу спорящих и дерущихся людей, которые за своим злом и увлечением уже потеряли способность рассуждать здраво и миром разобрать причины вражды. Ведь всякому постороннему человеку, проходящему мимо и беспристрастно относящемуся к обеим сторонам, так хочется им крикнуть: «Опомнитесь, люди братья, верните себе человеческое достоинство и примиритесь!» А это они сделали своим воззванием, и ужели мы должны их судить за это? Они, правда, формально повинны в том, что присвоили себе не принадлежащее им право быть мирителями враждующих, взялись не за свое дело, но что значит формальное право перед правом моральным, которого мы не можем отнять от них и которое так прочно опирается на идейную сущность исповедуемой нами православной религии? Я тоже исповедую эту религию и ношу христианское имя, а потому и как государственник я могу просить суд только об одном: оправдать этих людей. Православие есть наша государственная религия, и, пока мы от нее не отказались, мы не можем по нашей христианской совести винить их в их благородном поступке.

Я оговариваюсь в том, что я не привожу речи Маклакова буквально — этого без стенограммы сделать невозможно, но общий смысл изложен правильно. И, конечно, это не вся его речь, а лишь маленький ее краешек, который остался в моей памяти. То же будет и по отношению другим.

— Люди эти совершенно случайные, — говорил Муравьев, указывая на нас, — и они меньше всех повинны в том, за что вы

их судите. Мы государственно исповедуем христианскую веру, которая включает в себя все элементы любви, милосердия и всепрощения, и как же мы можем судить их за то, что они особенно ярко и наглядно их выразили в своем призыве к любви и миру? Разве мы все, христиане, не думали и не думаем о том же и разве они не выразили наших мыслей за всех нас? И что же, мы можем судить здесь все христианское общество? Это одно, господа судьи! Другое в том, что мы, русские, считаемся в Европе самыми отсталыми и некультурными людьми. С нами разговаривают там с снисходительной улыбкой, но за то, что у нас есть Толстой, как всемирный учитель и апологет христианства, за это, в общем, к нашему народу питают большие симпатии все лучшие люди не только Европы, но и всего мира. А что мы здесь делаем? — мы судим Толстого как поборника христианства, и если мы его осудим в лице этих людей, мы этим только унизим себя и докажем всему миру свою отсталость и свое ограниченное невежество.

В каких бы условиях мы ни были в данный момент — мы не можем этого сделать. Мы воюем за величие нашего государства, за поддержание достоинства и военной чести нашей армии, но, кроме этой военной чести и достоинства, господа судьи, есть моральная честь русского народа, которая гораздо выше первой, не запятнайте вашим приговором этой чести, не забудьте, что правда моральная, правда этой чести — на их стороне.

А когда прокурор бросил нам обвинение в том, что мы, прикидываясь христианами, забыли своих братьев в окопах, которые будто бы за нас страдают и умирают, и привел даже евангельский текст о том, что «несть большей любви, как положить душу свою за други своя», — поднялся Громогласов и взял слово для ответа.

Кто бы как ни понимал по-своему христианское учение и то место Евангелия, — говорил он, возмущенный, — но никто не решался никогда утверждать, чтобы война и военные убийства и грабеж были действительными актами выполнения этой заповеди. Подумайте, сидеть в окопах и пристреливать без промаха людей, а затем кидаться на них с яростью зверей и разбивать прикладами головы, распарывать штыками животы и выпускать внутренности и этим исполнять христианские заповеди о любви и всепрощении, выполнять заповедь о положении души за други своя? Нет, господа судьи, с этим никто в мире согласиться не может. Войны как терпимое зло были и есть, но они не оправдывали ни одной христианской заповеди, а только их нарушали, и нарушали жестоко и страшно. Да разве солдаты идут полагать свои души? Нет, господин прокурор, если бы это было так, войны исчезли бы

с лица земли и перестали бы поливать ее человеческой кровью, так как ни один полководец не согласился бы идти на войну с такою армией. И хотя мы не военные, но знаем твердо, что главная задача солдата на войне не полагать свои души, а как можно больше отнимать их у других, как можно больше вредить, грабить противника. И не только Христос не разрешал войны, но и его церковь в первые века свои не разрешала и налагала эпитимии на тех солдат, которые были на войне и убивали.

И он приводил тексты Писаний, читал выдержки из соборных постановлений, приводил примеры исключения из церкви за военные убийства.

— Полагать душу за други своя — это значит рисковать жизнью и погибать самому, спасая другого, а вовсе не убивая других или другого. Войны приносят разорение и опустошение целых стран и областей, но не в этом их главное зло. Кроме бедствий материальных, они служат огрублению народов, они понижают моральные интеллекты народов и, как удушливый воздух во время эпидемии, способствуют моральному извращению правды. Нет в мире таких видов преступлений и извращений, которые бы не развивались в народах во время войны. Мы ведем войну и участвуем в этом великом и мировом бедствии, и ужели нам хватит духу — как представителям общественной совести — осудить этих людей только за то, что они по чуткости или слабости сердца выразили свой протест против этих бедствий и любовно сказали: «Опомнитесь, люди, братья!» Не можем мы этого сделать! И я крепко верю, что и военный суд разберется в их правде и не допустит осуждения людей за выражение своих христианских чувств и обязанностей! Из того, — говорил он дальше, — что молчат представители христианских церквей и общин и не выносят общего морального осуждения войне, как противного христианскому закону действия, совсем не значит, что они ее оправдывают, нет, господа судьи, в это не верите не только вы, но и сам обвинитель, полковник Гутор. Они не смеют выступать с таким осуждением, а там, где смеют, — они это делают. Вам должно быть известно, что и папа Пий X не благословил австрийского оружия, достойно заявив, что он «благословляет только мир». Выносят протесты осуждения и многие сектантские общины квакеров, меннонитов, духоборов, и многие заявляют свой этот протест отказом от присяги и участия в войне, и что же, мы осудим и их за это? Не можем мы этого сделать, ибо, как говорил Христос, «тогда возопиют и камни».

Помимо морального осуждения войны с христианской точки зрения, все наши свидетели выясняли ее неправоту и со стороны

общественного мнения, выясняли неискренность нашего правительства при ведении дипломатических переговоров ее предупреждения. Так, Чертков говорим, между прочим:

— Нас стараются уверить, что мы, русские, являемся страдательной стороной, что нам эту войну чуть ли не навязали, напали на нас, и на этой неправде нам строят ее неизбежность и необходимость. На этом утверждении стоит и военный суд, тщательно скрывая от нас всю изнанку дипломатических переговоров. Но и то, что мы уже знаем из газет, и то совсем не говорит о нашем желании избежать ее. Вместо того, чтобы сделать давление на сербское правительство и заставить принять условие Австрии во избежание войны, наше правительство без всякой необходимости мобилизовало армию и стало придвигать к австрийской границе. Что оно этим хотело? Поддержать военную честь сербских шовинистов и заставить их быть непримиримыми против большего их государства. Дорого же обойдется нам эта ложная честь, ради которой мы поставили на карту не только часть миролюбивого русского народа в целом, но и жизнь и достояние десятков миллионов ни в чем не повинных русских людей, в числе гораздо большем, чем Сербия.

И хотя председатель останавливал и доказывал Черткову, что он выходит из рамок свидетеля и говорит не по существу, он все же сумел снова сказать:

— Если мы не вынесем здесь свое осуждение войне, не установим ее неправды и со стороны нашей дипломатии, мы не можем правильно подойти и к разбору и степени виновности обвиняемых. Помимо христианского осуждения всякой борьбы и злобы в людях, есть еще общественная оценка и добрых и злых проявлений и побуждений человека. Правы люди, затеявшие войну, — тогда неправы те, кто ее осуждает, а неправы первые — правы последние…

# Глава 68
# Моя речь на суде

Со своей стороны, когда до меня дошло дело, я говорил, что причиной, побудившей меня подписать воззвание, была внутренняя, душевная скорбь за поругание христианского закона о любви к ближнему в среде христианских народов и горькая обида за то, что даже социал-демократия, как наша, так и европейская, приняла участие в войне и не протестовала. Но все же я слышал о протесте Либкнехта, Жореса, убитого перед войной; слышал голос папы Пия, отказавшегося благословить австрийское оружие. Знал уже об отказавшихся от участия в войне некоторых призывных, и мне стало стыдно за свое молчание. Оправдание же своего поступка я находил в благородном поступке нашего Государя, созывавшего в 1897 г. Гаагскую конференцию для обсуждения мер предупреждения войн.

— Хорошо, — говорил я, — предупреждать пожары, но нужно же их и тушить, когда они уже есть, и я считал своею обязанностью участие в этом, движимый тем же чувством христианской правды, которым руководился и Государь, приглашая правительства на эту конференцию.

К тому же я помнил, что через несколько дней после заключения мира с Японией, наши газеты открыто писали, что эта война была каким-то недоразумением, во имя которого, однако, было одних убитых с нашей стороны 300 тысяч человек и около миллиона раненых.

— Поверьте, господа судьи, — говорил я воодушевленно, — что и эта война по ее окончании будет признана таким же недоразумением. А вам лучше знать, во что станет русскому народу это недоразумение. Да и все войны с их ужасными преступлениями убийств и разорений есть сплошное недоразумение, ибо нет таких споров и противоречий между христианскими народами, каких нельзя было бы разрешить взаимными уступками и дружелюбием на основе своей веры!

А в своем последнем слове я откровенно сознавался, что я не герой, что меня страшно измучила тюрьма, где ты находишься на положении стойловой скотины и не знаешь, на что употреблять свои руки и ноги; на что употреблять свою душу и разум; и что мне страшно тяжело возвращаться опять туда же и влачить там жалкое и никому не нужное скотское существование, будучи каким-то паразитом общества. Что, мол, тюрьма вместе со мною

измучила и мою семью, заставляя по нужде и жену и подростков детей исполнять за меня не свойственные им тяжелые работы.

— Страшна тюрьма, — говорил я суду, — но еще страшнее потерять свою веру в христианскую любовь и правду, на которой зиждется теперь общественная жизнь и которая еще сохраняется в душе как твердая опора жизни. И я просил суд не отнимать у меня своим приговором этой веры. — Людям, носящим христианские имена и шейные крестики, как знаки своей принадлежности к христианскому обществу, — говорил я в заключение своей речи, — нельзя сознательно делать друг другу такое зло и худо, не отказавшись от своих имен и этих знаков!

Когда суд объявлял перерывы и когда оканчивался день, присутствовавшая публика окружала нас плотным кольцом и стеной и долго не давала возможности расходиться. Сыпались расспросы и сожаления, и сразу было видно, что их симпатии целиком на нашей стороне. Всех охватывало общее радостное настроение, и никто не хотел верить в суровость приговора. Всем хотелось для нас полного оправдания как награды за понесенные страдания, и только Татьяна Львовна Толстая не разделяла общего оптимизма и предупреждала:

— Не доверяйтесь этому генералу, — говорила она, — он мягко стелет, но жестко спать. Его видимая любезность не мешает ему закатывать солдат на десять лет в каторжные работы.

Более умеренные определяли наказание ссылкой в Сибирь, на 4–5 лет. Под знаком этих предсказаний и ожидали приговора.

На одиннадцатый день, в 9 часов вечера суд удалился в совещательную комнату. К этому времени зала была полна публикой, но никто не думал уходить. Всем хотелось дождаться результата. Настроение было радостное, приподнятое. Получилось впечатление, что судят и обвиняют не горсточку людей из 29 человек, а весь этот зал с двумя тысячами человек, которые за дни суда так сроднились с нами и со всеми нашими, и наших свидетелей и защитников мыслями, высказанными здесь, что как будто и не отделяли себя от нас и вместе с нами ожидали себе или удара, или прощения.

Да, так оно и было на самом деле. Разбуженная произносившимися речами совесть каждого человека, может быть, только впервые дала здесь почувствовать все глубокое противоречие между исповедуемой ею христианской верой и той грубой и жесткой действительностью войны и военных приготовлений, в которых чуть ли не каждый человек тогда участвовал, а тут она услышала резкое и непререкаемое осуждение этой деятельности; почувствовала всю правоту этого осуждения и теперь жадно ждала общественного признания

христианской правды и со стороны военного суда, готовясь вместе с нами и радоваться нашей радостью или понести вместе с нами наказание. По крайней мере, я слышал, как многие выражали искреннее сожаление тому, что в свое время не знали об этом воззвании и теперь не сидят вместе с нами на скамье подсудимых. Одним из таких был подполковник Гензель, находившийся в отпуску для поправления здоровья и все время посещавший заседания. За это долгое ночное ожидание публика перезнакомилась со всеми нами, хотя и была страшная теснота, но, невзирая на это, каждый считал своей обязанностью протискаться к нам и выразить свое сочувствие, свою радость и свои страхи.

Но вот не помню, в 2 или 3 часа ночи раздался звонок и громкий возглас распорядился: «Встать! Суд идет!» Публика оживилась, заволновалась, но, когда Абрамович взял в руки приговор и выступил для прочтения, в зале водворилась глубокая тишина. Зал замер, никто не хотел проронить ни единого слова. Началось чтение.

Точного приговора я не помню и не могу привести. Но когда в нем были произнесены ясные слова: «Признаны виновными в преступлении, по закону не наказуемом», отвергались статьи, по которым мы были привлечены, как не подходящие к нам, и выдвигались другие, по которым не полагается даже наказания. И тут же отдалось распоряжение конвою освободить из-под стражи Сергея Булыгина и Сережу Попова, которые не были освобождены до суда и судились из тюрьмы под стражей. Публика сразу ахнула и радостно заволновалась. Послышался плач и даже рыдания; послышались радостные восклицания, и, несмотря на отданное распоряжение расходиться и очистить зал, никто и не думал уходить, все устремлялись к нам с радостными поздравлениями и, плача и радуясь, целовали нас и не выпускали из тесного круга; целовали наших свидетелей и поздравляли и их, целовались друг с другом и некоторые радостно крестились. Было видно, что вместе с нами весь зал был в напряженном положении и теперь почувствовал вдруг, как эта гора свалилась с плеч. И не только за нас, но и за себя, и за ту попранную войною христианскую идею любви и мира, которую суд должен был также пригвоздить ко кресту под флагом измены Родине, но однако не решился и не сделал этого.

Попробовали еще раз отдать распоряжение об уходе, но никто его не слушал и не выполнял. И даже сами судьи ни уходили и наконец спустились с эстрады и тоже протискались к нам и поздравили, а Абрамович долго ходил по эстраде и смотрел на волнующуюся и торжествующую публику, а затем подошел к

краю и громко сказал:

— Хотя до Пасхи еще две недели, но я вижу, что здесь она наступила раньше, все братски лобызаются, — после чего и сам быстро сошел с эстрады и обнял и поцеловал каждого из нас на общую радость торжествующего зала. Поздравили и перецеловали нас и все наши защитники и не отходили от нас. И только не видно было генерала с рыжими усами, наблюдавшего за судом, и прокурора Гутора. Около часу продолжалось это праздничное торжество и ликование, и только после этого стали понемногу расходиться. И хочется верить, что в этот момент каждый из присутствующих переживал здесь в первый раз в своей жизни такую искреннюю и глубокую духовную радость, связанную с его совестью и религиозным чувством. Здесь в первый раз в своей жизни услыхал каждый о великом значении христианского жизнепонимания в его приложении к жизни, и, может быть, только тут и понял его значение и цену; узнал и всю великую неправду общественного и государственного режима, при котором, в нарушение исповедуемой народом религии, миллионы людей приносятся в жертву богу Молоху, при равнодушном попустительстве и одобрении как православного, так равно и инославного духовенства. Конечно, если бы в это время не шла война и суд был не при закрытых дверях, весь этот процесс был бы разнесен газетами по всему миру и послужил бы великой пропагандой для торжества христианства, но, к сожалению, об этом нельзя было писать ни строчки, и так он и прошел только в этих стенах и не мог получить широкой огласки.

На другой день мы были приглашены на торжественный обед и вечер Московским вегетарианским обществом вместе с нашими защитниками, где снова произносились горячие речи в защиту христианских идей и религии и где мы вновь получали свою честь, как праздничные именинники. С речами выступали В. Г. Чертков, И. И. Горбунов, Ф. А. Страхов, И. М. Трегубов, В. Ф. Булгаков, выступали и защитники.

На третий день нас снова пригласили на вечер для чествования от Московского общества трезвенников, где повторилось все снова, и речи, и тосты, и где к тому же хор трезвенников пропел для нас несколько прекрасных духовных гимнов, и в том числе стихотворение матери Булыгина, приводимое выше.

На четвертый день мы все: участники, защитники и свидетели — собрались вместе и сфотографировались, и только после этого отлепились друг от друга и разъехались по своим городам и деревням.

# Глава 69
# После суда

Вернулся в деревню и я и стал залечивать те изъяны, которые принесла моя почти годовая тюрьма, чем, конечно, опять не были довольны не только попы и урядники, но, главное, консервативно настроенные старики, которые не могли примириться с нашим отступлением от Православия и в этой моей тюрьме видели Божеское наказание за этот мой грех.

— Он, знать, и черту не нужен, из воды сухим вылезает, — ругался Сычев, проходя пьяным мимо нашего дома, — военный суд оправдал, а уж что ему земский начальник.

Недоумевали по утрам у колодца и бабы и никак не могли понять, как это мы вышли «сухими из воды».

— Ведь это подумать только, во время такой войны пошли против войны и по суду оправдались! Других бы загнали куда Макар телят не гонял! Нет, тут что-нибудь не так: или деньгами откупились, или измена какая вышла!

Но так как с моей стороны на суде были свидетелями наши же крестьяне: Семен Гудков и из соседней деревни Тимофей Журавлев, которые по своей развитости все понимали, и были весьма довольны участием в нашем торжестве, и, конечно, передали все, что слышали, и всем нашим крестьянам, то и отношение к нам в деревне резко изменилось. Из подозрительного и опасного безбожника, или «старовера», — как говорили богомольные старухи, — мы стали «борцами за правду», тем более что война осуждалась всеми, все несли от нее и хозяйственные непосредственные ущербы и жертвы людьми, в лице родных и знакомых, а к тому же она так затянулась и была так неудачна, что всем надоела и осточертела. К концу 1916 г. в народе поднималось уже настоящее недовольство правительством за эту войну:

— Только народ загубляют попусту, — стали говорить даже посмелевшие бабы, собравшись у колодца или на речке. — И мириться не мирятся, и никто никого не одолевает, хуже петухов неразумных сцепились, хоть водой разливай.

— Немцу-то что не воевать, он у себя дома воюет, а наших опять за тысячи верст угоняют, как на японской войне — роптали они вслух.

— А ты потише, а то и нас заберут ихние шпиены, они везде так и слухают…

— Небось, всех не заберут, — возражали более смелые, —

кабы все-то вот так, как «они» сказали, что воевать грех, и никто бы не пошел, и войны бы не было. Небось, всех бы не пересажали; а то им что же не воевать, народ идет и молчит, а они деньгу наживают.

— Это все жиды делают, — авторитетно решала старуха Сычева, — от них и война, от них и замирения нету; они в мутной воде рыбку ловят и деньгу наживают.

— Ничего, хороши и наши, — возражала бабка Настасья, — тоже маху не дают: тот туда присосался, тот там на оборону работает, тоже копейкой не брезгуют. Одни там умирают и кровь проливают, а другие карманы набивают, тоже правда!..

— Какая тут правда, во время войны умирать никто не хочет, душа смерти боится, вот все и притворяются и обманывают начальство, — рассуждала бабка Василиса.

Много было хлопот обществу с посевами и обработкой земли вдовам и тем женщинам, мужья которых были на войне, а в семьях не было других работников. К тому же и слухи были все не лестные. Про одних открыто говорили, что они нарочно передались в плен, чтобы спасать шкуру; другие пристроились в разных хозяйственных организациях, наживали деньги, слали сотнями своим женам; даже присылали посылки с ценными вещами, что и вносило много греха и раздражения на сходках при обсуждении общественной помощи и этим женщинам.

— Они там дурака валяют, деньги наживают, а мы им тут землю обрабатывай, — говорили сердито старики, — воевать не воюют и домой не идут.

Вносила много и зависти и раздражения и выдача пособий, с которыми всегда как-то не ладилось: одни получали, другим отказывали.

Но как ни спорили остававшиеся в деревне мужики, кончалось все же тем, что распределяли между сильными по рабочим рукам дворам землю вдов, и хоть кое-как, но все же пахали и сеяли.

В 1916 г., с весны, в нашу волость нагнали много «пленных австрияков», — как называли их бабы. Много их партиями жили и работали в лесах на разработках казенного леса. Другие работали у помещиков и даже жили работниками в тех семьях, из которых мужики отсутствовали на войне.

— Наши к вам, а ваши к нам, — шутили с ними бабы, но близкой дружбы с ними не устанавливалось из-за незнания языка. Работать же они в большинстве умели хорошо, и их везде хвалили. Даже хвалил управляющий Шибаевским имением Болтин и нарочно посылал их на более ответственные работы. Душевно они сильно мучились и тосковали по родине. Бранили

открыто свое правительство за эту войну и с нетерпением ждали замирения. Бранили с озлоблением немцев, считая главными виновниками не нужной для них войны.

С этого года нормальная жизнь деревни стала явно нарушаться. В лавках стали перебои то на соль, то на керосин, то на спички, а то и на белую муку, на крупу и пшено, которым за последние 10 лет деревня так привыкла, что уже не могла безропотно переносить лишения с этими продуктами.

Правда, как и всегда, торжественно звонили колокола в церквах; как и всегда, народ любовно встречал и праздновал свои праздники: Николин день, Троицу, Илью-пророка, Спаса Преображения, Успение, Воздвижение, Покров Богородицы, по-прежнему на праздниках собирались гости и дальняя родня, но уже такого пьяного разгула и веселья, как прежде, не было. И пели песни, и плясали, но уже не в каждом доме, а только в самых бесшабашных, да и в этих песнях и плясках не было прежнего беззаботного веселья и радости, а лишь какие-то отчаянные порывы и безумство с горя. Настоящее праздничное веселье и его, так сказать, торжественность и обрядность были нарушены войной. Съехавшаяся родня в большинстве вместо веселья вела длинные и печальные разговоры о своих потерях и жертвах через войну: у кого кто уже убит или умер на войне, у кого попал в плен или раненый лежит в лазарете, у кого вернулся с войны инвалидом. Война с ее ужасами и жертвами занимала всех целиком, и радоваться и веселиться по-прежнему было невозможно.

Приостановились и покровские свадьбы, ежегодно справляемые на этот праздник десятками. Жениться было некому, вся молодежь была на войне или ожидала неминуемого призыва до срока. Грусть и печаль повисли над веселой дотоле деревней. Правда, женская молодежь от скуки собиралась вечерами по праздникам водить хороводы, но уже не от зари до зари, как прежде, не в перекличку деревня с деревней, а так, случайно, на часок-другой, какими-то урывками, и вскоре расходилась, и деревня замирала в ночной тишине до утра. Тоскливое было время.

Правительство не жалело на деньги бумаги и печатало бумажные кредитки с каждым днем все больше и больше. От этого цены росли, и некоторые товары пропали с рынка совсем, а все остальные появлялись в недостаточном количестве, что давало повод делать запасы и оголять рынок еще больше. К концу 1916 г. баранки стоили уже вместо 5, 15 копеек, а белый хлеб — 12. Сахар был уже 20–22 копейки, а ржаная мука поднялась до 3 рублей пуд. Это обстоятельство и заставило передовую

интеллигенцию и активных крестьян в виде выхода из положения думать об открытии кооперативной торговли, чтобы торговать не для наживы, а по себестоимости. Шуму наделали много, а толку было мало. И хотя «потребилку» и открыли, собравши рублевые паи с желающих быть членами, и стали торговать, но в наступившей скачке цен, делании запасов (у кого были деньги) и сильном сокращении привоза на рынок мужицкого хлеба, мяса и других продуктов никакой особой роли наша «потребилка» сыграть не могла. Чего не было на рынке, того не было и у нас, и цены приходилось иметь почти те же, так как не было желающих продавать нам товары дешевле рынка.

# Глава 70
# Начало конца

К концу 1916 г. не стало хватать и хлеба для армии и тыла, вероятно потому, что при нашем отступлении и бегстве из Австрии и Польши наши военные склады и обозы бросались на месте и не могли вывозить хлеб. К тому же и сама армия и тыл разрослись в такую огромную махину, прокормить которую было уже трудно. И вот поступило распоряжение вывезти на станцию и продать для казны по 3, 4 и 5 пудов ржи с посевной десятины. И продать по цене чуть ниже рыночной — 2 рубля и 2 рубля 30 копеек за пуд. И, несмотря на то что запасы хлеба еще были в любой деревне (что после и подтвердилось), между крестьян поднялся такой ропот, как будто с них потребовали сразу по корове и лошади.

Деревня привыкла к полной хозяйственной свободе и не мирилась с ее нарушением, хотя бы это и исходило от власти. Вывозка затянулась, хотя все знали, что хлеб нужен для солдат, и земским начальникам от имени губернатора пришлось выдвинуть угрозу прямой конфискации за отказ продать добровольно, и только тогда уже вывозка наладилась.

А в начале 1917 г. в пристанционных поселках тоже не стало хватать в продаже хлеба, и проезжающие солдаты и разная публика, связанная с войной, не могли вдосталь покупать хлеб. И в чайных трактирах, и в булочных его не стало хватать. Тогда губернатор созвал губернское совещание из представителей от волостей, кредитных товариществ, потребиловок, старшин, которое и решило также приступить к добровольной скупке у населения с той же угрозой конфискации в случае отказа продать добровольно. Тут уже цена назначалась в 3 рубля, а количество ограничивалось доброй волей каждого крестьянина, начиная от 2–3 пудов. Членам правления потребиловок и кредитных товариществ от губернатора даны были удостоверения на право выявления хлеба и понуждения к продаже в кооперацию, в которых к тому же было требование и для местных властей оказывать этим уполномоченным свое содействие. Как член правления потребиловки, я тоже получил такой мандат от губернатора и был направлен в большое село Денисово. Чтобы не делать шуму, в волости не посоветовали собирать схода.

— Мужики озлоблены, война надоела, они и на сходке хуже упрутся, и никто тогда не продаст и пуда. А так, в одиночку, они будут трусить и что-нибудь запишут, — говорил мне волостной

писарь в наставление.

Староста села позвал все же с десяток мужиков и баб на совещание, чтобы установить «норму» с каждого дома по наделам земли. Бабы заахали и стали доказывать, что в деревне хлеба мало и продать нечего, и сейчас же разошлись, наводя панику на всех встречных.

— Пришли к нам хлеб описывать, пралик их расшиби, довоевались, солдат кормить нечем, а мы виноваты! — возбужденно рассказывали они по деревне.

Деревня засуетилась. Бабы забегали со двора на двор, разнося эту новость. И хоть бы впору прятать, но хлеба было так много, что спрятать было трудно. Староста обозлился. Он знал, что хлеба много, и так нахально врут. Дал мне опытных понятых и наставительно сказал:

— Ты с ними не церемонься, иди по дворам, понятые тебе скажут, у кого сколько земли, и если будут отказывать добровольно продать 3–4 пуда, иди в амбары и смотри сам: у кого сколько? Они этого не любят, чтобы в их закромах смотрели, и сразу пойдут на сговор.

Мужиков в деревне было мало, они или на войне, или на стороннем промысле, и пришлось иметь дело с бабами. Входишь в избу, говоришь в чем дело, баба на дыбы:

— Какой у нас хлеб, батюшка, у меня две свиньи на дворе, да ребят пятеро, нам самим до нови не хватит. Иди к соседям, у них много, у них и старик дома, а у меня и мужиков нету, одна я, баба!

— А посмотреть можно? — спрашиваю.

— Нечего там и смотреть, всего только одна закромушка, только для себя, — пугливо говорит хозяйка, и уже по чести начинает торговаться: сколько вам?

У более упорных ходили смотреть в амбар, или в холодную избу, и в этих «закромушках» оказывалось по 50, 70 и более 100 пудов на глазок, в действительности было гораздо больше. Таких мы обязывали продать в кооперацию по 3 рубля пуд 5–6 пудов. По чести, без осмотра, соглашались на 3–4 пуда. Всего по селу записали 2 сотни пудов. Но в действительности не вывезли и 80. Близилась революция. Много было разговоров про Распутина и разные неполадки при дворе царя, а потому и власти боялись нажимать на деревню, а сама деревня и не признавала себя обязанной поддерживать войну, и, где только можно, упиралась, лгала и скрывала свои доходы и запасы. Японская война по своей никчемности так подорвала авторитет власти, что и к этой войне деревня отнеслась с таким же недоверием, а дальше — больше, когда выяснилось для нее, что и в этой войне никто на нас не

нападал и не думал нападать, и что правительство снова ввязалось не в свое дело и губит миллионы людей, деревня совсем открыто стала осуждать войну и правительство, и если подчинялась механически еще разным распоряжениям власти, то так нелюбовно и неохотно, что из этого подчинения уже мало выходило пользы.

# Глава 71
# Деревня без водки

Свою затяжкою война избила все: и народный дух, и народную экономическую мощь. Всем было ясно, что никакой победы и одоления не будет, а будут новые жертвы и расходы. На сходках мужики уже без всякого стеснения ругали правительство скверными словами, а в особенности Распутина и царицу. Как-то сразу заботы крестьянина с результатов войны (они его уже не интересовали) перешли на ее последствия, нарушавшие через рыночные скачки цен всю его жизнь, и каждый скорее спешил устраиваться хозяйственно так, чтобы меньше быть ограбленным и битым от надвинувшегося кризиса.

Кто еще интересовался деньгами, продавал старую ценную одежду и ценные вещи. Другие наоборот, предвидя еще больший денежный крах, скупали эти вещи.

У нас в семье тоже были сбережения в несколько сот рублей и мне очень хотелось на них купить косилку для хлеба, но, когда мы хватились, цена на них была уже свыше шестисот рублей, то есть в 3–4 раза выше нормальной, так и не состоялась эта покупка, и деньги дальше — больше пропали. Но, несмотря на это повышение цен, на товарном и даже продовольственном рынке недостатка ни в чем не было (так велики были запасы довоенной России), и деревня по-прежнему еще могла справлять свои праздники, хотя уже без всякого пьянства. Продажа водки была запрещена еще с начала войны, а самогонку научились делать не сразу. И это для большинства было очень хорошо и выгодно, они от этого быстро становились на ноги. Даже в карманах заядлых пьяниц деньги залеживались и поневоле заставляли их употреблять на улучшение пищи, одежды и вещей хозяйственного обихода. Даже все бывшие босяки оделись-обулись и стали походить на порядочных людей.

У нас из таких пропойц был, так называемый Дешевый Петр. Был он хороший портной и печник. Летом клал печи, а зимой ходил по деревням и портняжил. Но когда была в продаже водка, ему никогда не хватало ни на обувь, ни на одежду и он ходил в опорках и рваном пинжаке, так как расходы на это не считал важными. Главной же задачей считал уничтожать казенное вино.

— Я, — говорил он, — уничтожаю вредные спиртные напитки не на словах, а на деле, так что на меня другие обижаться не могут, что кто-то напился или опился из моей доли. Если бы и все так поступали, мы бы весь алкоголь уничтожили. Чего там, по

стакану на день на всех бы не достало! Я самый борец алкогольный.

Когда не стало водки, этот самый Дешевый Петр, раньше пропивавший задатками вперед весь свой заработок, вдруг появился в нашей деревне одетым, обутым и причесанным.

— Я, — говорит, — не дорожу этой хорошей снарядой, — говорил он мне, стыдясь своего хорошего костюма, — но ничего не поделаешь, некуда стало деньги помимо девать: в кармане носить — потеряешь; взаймы давать — не отдадут; политуру пить, денатурат — ослепнуть можно. Да и не понравилась мне эта гадость, вот и пришлось одежду покупать.

Он так привык быть босяком, что стеснялся всегда своего нового приличия и чувствовал себя виноватым.

Даже мой сосед, Воронин, всю свою жизнь проживший из-за пьянства в большой нужде, даже и он преобразился за это время и стал ходить умытым и причесанным.

— Попробовал, — говорил он мне по-соседски, — пить политуру — не понравилась, за сердце дюже хватает, сдохнуть можно, и отрыжка скверная после. Как-нибудь так жить надо.

И он действительно стал было немного жить лучше год-два, а потом революция, самогонка, «русская горькая», и он кончил, как и должен был кончить: пьяный замерз в поле, едучи от праздника, на зимнего Николу.

До этого времени было такое понятие в деревне, что без водки никак нельзя справить похорон, крестин, а уже в особенности свадьбы. А как ее закрыли, и, поверьте, это выдохлось. Один за одним привыкали к трезвым праздникам и угощениям, и водку заменяли конфетами, орехами, арбузами и обилием мясных блюд. Конечно, не всем это нравилось, и любители до пьяных праздников переставали ходить на них к родным.

— Ну что мне там делать, — говорил пожилой крестьянин, Антон Гуляев, — сиди, как дурак, и делать нечего. Тверезому и песни петь не к лицу. А так какой же праздник! Посидишь-посидишь, похлопаешь глазами, да скорее домой.

Но такие любители быстро сходили со сцены, и, если бы дальнейшая послевоенная жизнь не приняла таких уродливых форм и рыночных отношений, которые снова потребовали нестерпимого желания забыться в вине (а не прежнего праздничного веселья) и вызвали чуть не повальное стремление к самогоноварению, — жизнь народная очень скоро изменилась бы к лучшему, не стало бы по деревням прежних бедняков-пьяниц. Но этому возможному и близкому крестьянскому счастью кто-то позавидовал, и на его дороге стали темные и враждебные ему

силы и снова повергли нашу жизнь в темные и туманные потемки борьбы за кусок хлеба и в бурное пьяное море.

# Глава 72
# Перед революцией

К концу 1916 г. стали приходить зловещие слухи о так называемой деморализации солдатского духа на фронтах; о все больших и больших замешательствах в отдельных частях войск и даже открытых неповиновениях, что и еще больше вносило уныния в деревне и поселяло недоверие к благим результатам войны. Проклинали Вильгельма. Во Франции на Марне, под Верденом, на Рейне происходили жестокие бои, дававшие отпор немцу, наш же фронт все откатывался дальше. Наши армии очистили Польшу, Литву, ушли из Эстонии и Финляндии. Говорили, что нашим изменяют немецкие генералы, даже сама царица Александра, которая подпала под власть Распутина и сгруппировала вокруг себя особую придворную партию, стоявшую за немедленный мир с немцами. Офицеры и солдаты совсем вяло и неохотно оборонялись от немца. И даже вступление Америки в наш союз против немца не принесло в деревне никакого воодушевления. Расходы на войну все увеличивались, а к развязке дело не шло. Не хватало, кроме снарядов, и хлеба. Не помогла и мобилизация частной промышленности и организация Земского и Городского союза, в котором укрылся от войны так называемый третий элемент мелкой интеллигенции и городских служащих.

В 1917 г. пошло еще хуже. Не стало хватать хлеба в Петербурге, и рабочих посадили на паек. Пошел ропот, демонстрации. Заработали темные подпольные силы разных социалов и эсеров. Даже у нас в Туле вдруг не оказалось хлеба, и в спешном порядке, по предложению земского начальника, крестьянам пришлось вывезти 300 пудов ржи и продать по 2 рубля 75 копеек, хотя базарная цена была уже выше 3 рублей.

Губернатор Тройницкий созывал земских начальников, старшин, кооператоров. Судили-рядили. Дали право доверенным покупать хлеб у населения по 3 рубля для кооперации с угрозой конфискации в случае нежелания продать 3–4 пуда. Но по мере повышения цен хлеб все больше прижимали, хотя его еще и было много в запасе по деревням.

Питерские рабочие — как писали левые газеты — испытывали в нем большую нужду, и под влиянием крайних левых, жаждавших революции, первыми стали выступать на улицу с требованиями хлеба и мира. В Государственной Думе произошел скандал и раскол между правыми и левыми, и она была надолго распущена. От царя требовали уступок, но он не

шел на это и больше озлоблял и разжигал страсти. Еще раньше он сделал большую ошибку, отставивши Великого князя Николая Николаевича от командования главным фронтом и пославши его на Кавказ, через это и в армии и в тылу его авторитет все падал. Умеренные фракции новой Думы сначала требовали от него только ответственного министерства перед Думой по примеру французского парламента, а дальше аппетиты расходились и требования повышались. Учредительное собрание стало лозунгом для большинства Думы.

В начале февраля недостаток хлеба в Питере все усиливался. Вместе с рабочими на улицу стали выходить и их жены и требовать хлеба и мира.

Царица верила Распутину и убеждала Николая не уступать. Недовольство все усиливалось, разжигаемое, конечно, партийными агитаторами, которые открыто уже выходили из подполья, таились по спальням фабрик, шли в казармы, организовывали демонстрации и забастовки, а в распространяемых листовках, с призывами к борьбе с властью, уже сулили и хлеб и мир, и землю и волю, как только власть перейдет в их руки.

Ну кто же мог устоять перед такими посулами!

За рабочими выступлениями и крупными разговорами в IV Государственной Думе забыта была в деревне и война, и все мысли и взоры устремились на Думу и на событии в Питере.

И вдруг новость! Царь дал приказ о роспуске Думы, но Дума не подчинилась и осталась заседать и разговаривать.

С этого и началась эта новая канитель борьбы за власть у охотников до нее, под лозунгом «спасения родины». «Трудовик» Керенский убедил Думу в возможности довести войну до победного конца и без царя, настоял на избрании комитета спасения России, который уже от себя избрал новых министров во главе с ним самим. И новые люди «заработали». А деревня разинула рот от удивления и стали ждать обещанного хлеба и мира, земли и воли, и всех «свобод» сразу.

С этого началась так называемая революция. Но тут начинается новая история моей жизни, о которой потом, после, если буду жив.

*1924 г.*

***Конец первой части***

# Вторая часть

# Воспоминания о пребывании в Бутырской тюрьме в 1924–1925 гг.

…По тюрьме разошелся слух, что наконец-то хоть одной делегации разрешили посетить нашу тюрьму. Говорили, что об этом было даже напечатано в газетах и назначено наперед число (кажется, был декабрь 1924 года), и вся публика на 2-м и 3-м коридорах оживилась. Оживилась она и в камерах других коридоров, но там мне было недоступно ни видеть, ни слышать их настроений. У нас же только и было разговора об этой делегации, то была делегация английских горняков из партии тред-юнионов с Перселем во главе, о котором вот уже несколько дней писали наши газеты: то Персель посетил такой-то завод, то такое-то торговое предприятие. На наших коридорах с этой делегацией связывали перемену режима и чуть ли не досрочное освобождение всех политических (а уголовных в это время у нас уже и не было).

— Если только Персель знает русский язык или кто другой из его компании и им удастся узнать, что все мы тут бессудные и сидим по административному произволу ОГПУ, конечно, они поднимут у себя в Англии тревогу и шум за этот произвол в Советском Союзе, и нашим будет неугодно промолчать выявление этого факта, — говорил в нашей камере полковник Николаев. — Одно то, что мы сидим как вернувшиеся по амнистии ВЦИКа, говорит о многом, не говоря уже о том, что все концлагерники сидят по заочному постановлению без суда.

— Дожидайся, так они и дадут им с тобою побеседовать, — возражал Кулик, — не за тем они их сюда пускают, чтобы они о нас правду узнали, а чтобы пыль в глаза пустить хорошими порядками и режимом, вот посмотри тогда, как они обставят это посещение, комар носа не подточит!

А в эти месяцы нас кормили самой отвратительной рыбой, мясом и селедками, продуктами, на которые тягостно было и смотреть, а не только их кушать, от них издали несло вонью. А в нашей камере находился выборный делегат по кухне Е. В. Какунин, который был обязан наводить там порядки и спорить с завхозом за доброкачественность пищи. Ему-то заключенные и говорили:

— Смотри, Какунин, не прозевай, как только делегаты на кухню, а ты их и встречай с этим мясом и селедками. Дескать, чем богаты, тем и рады, гости любящие, пускай их правду в глаза нюхают.

— Если допустят, постараюсь, — говорил тот, — а только наперед знаю, что в этот день свинины дадут, а всю тухлятину спрячут под замок.

— А ты на след наведи, как собак на дичь, так и так, мол, господа хорошие, ради вас нас свининой кормят, а без вас опять мясо черное будет и покажи, какое мясо-то!

— Да уж ладно, не промахнусь, только бы случай вышел, я тоже травленый зверь, — отвечал Какунин.

В день прихода делегации действительно выдали на кухню свинины, а все грязное и черное спрятали в кладовую. А на самой кухне пустили моторный пыленасос и выкачали весь вонючий воздух. Кухню вымыли горячей водой, и в ней так и блистало все чистотой и порядком. Какунин досадовал, рассказывая об этом в камере.

— Вот так будет и по всей тюрьме, — говорил Кулик, — и начистят, намоют, и Перселю ничего другого не останется, как только поблагодарить за виденное, пожалуй, еще сфотографирует и с собой возьмет для английских журналов…

И вот долгожданная делегация появилась на наших рабочих коридорах, но появилась не в обед, как ждали заключенные, когда бы все они были в камерах, а часов в 11 утра, когда люди были на работе. Как уборщик, я в это время был в камере тоже один и ждал. За полчаса надзор растворил все двери, и я видел, как кучка иностранцев в количестве девяти человек, сопровождаемая администрацией и надзором, с начальником тюрьмы и прокурором ОГПУ Катаняном во главе, шла по коридору и останавливалась против растворенных камер. В них в это время, кроме уборщиков, было по два, по три человека, случайно оставшихся от работ, и там, где люди эти привлекали к себе внимание, делегация на минутку входила внутрь и разговаривала с ними, в другие они не входили, ограничиваясь беглым осмотром людей. Если их кто заинтересовывал, администрация давала объяснение и, конечно, не в пользу заключенных. После оказалось, что многих она характеризовала просто как бандитов, находящихся под следствием, а о том, что они бессудные и без определенного преступления, конечно, умалчивалось.

Я стоял около своей койки, когда первые пятеро из них остановились в дверях. Мне так хотелось спросить их о том, освобожден ли из тюрьмы Ганди, который — я знал по газетам — сидел в это время в тюрьме по административному распоряжению вице-короля Индии, против ареста которого протестовала их же рабочая партия. Но администрация не допустила этого разговора. Видя, что эти пятеро стоят в дверях, администрация прошла вперед и загородила им вход, и я видел, что от создавшегося

неудобного положения эти пятеро повернулись ко мне спиной и хотели уходить, но в это время к дверям подошли остальные, и двое из них, взеривишись в меня, быстро протолкавшись в дверях, подошли ко мне чуть не вплотную уже в камере и снова с интересом стали смотреть на меня, очевидно типичная седая борода русского крестьянина поразила их, и они пожелали что-то узнать. За ними в камеру вошли остальные и окружили меня полукругом. Администрация стояла в дверях, но ей было неудобно и нежелательно оставить нас одних, и Катанян, пройдя наперед, повелительно спросил:

— За что сидишь?

— Я сказал, что в двух словах на этот вопрос понятно ответить нельзя, так как я не судимый, обвинительного приговора не слыхал и преследуюсь административно, без суда.

Дальше я хотел сказать, что в таком случае вам лучше известно, чем мне, за что я сижу, но прокурор весь передернулся в лице, он испугался, что иностранцы поймут, что я говорю и хотел уходить, но, видя, что вся делегация продолжает стоять и с интересом меня рассматривать, тоном Пилата небрежно спросил:

— А ты кто?

Я сказал, что я крестьянин, друг покойного Льва Николаевича Толстого. Дальше я хотел пояснить, что арестован безо всякого законного повода, но как только я произнес имя Л. Н. Толстого, иностранцы стали повторять: «Толстой, Толстой», — и еще ближе придвинулись ко мне, чтобы что-то спросить, а один из них протянул руку и взял мою и стал жать. Чтобы не допустить нежелательного разговора, Катанян сделал знак администрации, и она быстро вышла из камеры, пошел и он, давая этим понять Перселю, что дальше задерживаться в камере не следует. Иностранцы это поняли и стали неохотно отходить от меня, пятясь к двери задом и продолжая на меня смотреть и улыбаться, а самый большой из них ростом, в большом меховом воротнике, остановившись в дверях, кивнул мне головой и тоже улыбнулся. Больше я их не видел, они ушли, а через 15 минут послышался обеденный звонок, и все заключенные пришли с работы. Каково же их было удивление, когда они узнали, что делегация англичан уже прошла, руководимая Катаняном.

— Видишь, как ловко обдурил Катанян, — сказал со злобой Кудрявцев, — даже и в хвост не дал нам посмотреть на них, а не только перемолвиться словом.

А когда затем пришел Какунин с кухни, все на него накинулись с расспросами:

— Ну, говори, кормил ли ты англичан тухлыми селедками? — кричали ему.

Ради этого в нашу камеру сошлось много народу и из других, всем хотелось знать о том, где и как прошли англичане, с кем говорили и что слышали. Какунин виновато рассказал:

— Не вышло, ничего не вышло, кухню начистили, проветрили, промыли, а щи сегодня с хорошей свининой, давали пробу, остались довольны; а когда они подошли к двери кладовой и просили открыть, завхоз заскочил наперед и доложил, что эта кладовая тюремной больницы состоит в ведении Наркомздрава, так их туда и не пустили!..

— Не пустили, — передразнил его Кудрявцев, — ты должен был наперед это знать и принять свои меры, наложил бы полные карманы селедок, да и показал бы при них завхозу, это дескать назавтра нам образцы рыбы получены. Ну мало ли под каким соусом показать было можно! А ты сдрейфил, делегат выборный, и нас подвел! Приедут теперь англичане домой и станут всем очки втирать, дескать, у большевиков и в тюрьмах свининой кормят!

— Нет, как ловко они умеют обходить свои зловонные ямы и как умело показывают вывески, — сказал Куренков, — ниоткуда не подкопаешься. Невинные люди у них бандиты, которых к тому же кормят хорошей свининой, ишь ведь какая картинка-то для англичан оказана!

— И вся революция из такого обмана соткана, — пояснил Паршин, — жили люди и в меру сил и способностей интерес находили, а кучка прохвостов бунт учинила и всех хороших людей ошельмовала. Ну зачем бы нам с вами в тюрьме сидеть и по Сибири скитаться, а мы вот несем свой крест из-за этих шулеров!

— Оно, конечно, слово на месте, и правда неопровержимая, — шутливо сказал Кулик, — а только и нам эту правду нужно уметь так же искусно прятать и неправдой заменять, иначе и в Западную Сибирь не попадешь!..

— Нас Сибирью не запугаешь, — демонстративно подчеркнул Кудрявцев, — Сибирь земля русская, а работу и в Сибири найдем! Там теперь только и спасение, а тут хуже Сибири, так тебя и затравят, как собаку шелудивую!

— Кто про Фому, а я опять про Ерему, — вмешался снова Куренков, — как все это ловко проделано. Буржуи, капиталисты, кто-то кого-то эксплуатировал, кто-то кого-то угнетал, и вдруг спасители: пять милиен ограбили и по тюрьмам и по ссылкам развеяли, остальных голодом морят и хлеб отнимают и этот грабеж и мор людей правдою окрестили.

— У людей — не у зверей, у них все позволено, — примиряюще сказал Паршин, — звери имеют свои законы и

пределы, а у людей их нет и сильный всегда задавит слабого!

— Нужно уметь лавировать, — авторитетно сказал Кулик, — иначе нам крышка, не обрадуешься, что и в Россию вернулся. Не всем теперь и родина мать!

— Не все такие актеры, как ты, а другой и рад бы солгать или притвориться, да ничего у него не выходит, — засмеялся Куренков, — заставь, к примеру, Митаева соврать — он как дитя малое, не скоро и поймет, зачем тебе притворяться надо. Он имел полную возможность не признать, что у него ночевал офицер, участвовавший в грузинском восстании меньшевиков, а он с первого вопроса и признался!..

— Он поступил правильно, — вставил Паршин, — офицер попросил у него приюта, и он по своей вере не мог ему отказать, так как этого требовал его закон.

— А я бы не пустил самого Магомета и отрекся бы от него трижды, — засмеялся Кулик, — ты Закон-то Божий помни, а о жандармах тоже не забывай, Бог не то покарает, не то помилует, а уж чекисты наверное распнут!

— Вот за его чистосердечие они ему и припаяли десять лет, чтобы другим неповадно было правду говорить, — вставил Куренков.

— Да, друзья мои, — примирительно и задушевно сказал Посохин, — если кто из нас и живым останется после этой тюрьмы, задача нам предстоит мудреная, надо быть мудрыми, как змии, и кроткими, как голуби, иначе так и придется от тюрьмы до тюрьмы ходить и по Сибири бродяжить; большевики жалеть не умеют, им человека загубить, что вошь задавить.

— Они бы и рады пожалеть, да нечем, — вмешался полковник Николаев, — и Бога и совесть у них Маркс украл, а вместо души палку сухую вставил, они теперь в своей морали, как скопцы кастрированы. Лютый народец!

— Да, публика неприглядная, хотя и товарищи, — согласился молчавший Андрей Андреич, — пока я им был нужен, за мною ухаживали, а конкурент нашелся — сейчас и в тюрьму, и в Соловки, ну как же иначе, нельзя же допустить, чтобы я без дела по Москве ходил да глаза мозолил: отмахнулись на пять лет и спокойны!

— Посидим у моря, подождем погоды, авось и разгуляется, — виновато вставил Какунин.

— Разгуляется, — передразнил Куренков, — дожидайся! Пролопушил делегацию, не показал ей рыбы и мяса, так теперь и будем тухлятину есть, дожидайся новой делегации, не то пустят, не то нет!

— Во всем виноват Какунин, бейте его! — шутливо крикнул

Кудрявцев, ударяя его полотенцем, и.

Несколько человек последовали примеру Кудрявцева и стали гоняться за Какуниным.

— Я буду Катаняну жаловаться — это бунт против его власти, — юмористически смешно крикнул Какунин, спрятавшись на койку под одеяло.

— Пока ты дождешься Катаняна, твой срок окончится, не дурак он, чтобы нам на глаза показываться, — сказал презрительно Виго, — он вот прошел по тюрьме, а тюрьма его и в глаза не видала. Теперь жди три года, когда американцы приедут, а один он по тюрьме не пойдет!

— Тебя что ли испугается? — грубо оборвал Степанов, — Что ты борец, так начальству и по тюрьме не ходить, так что ли? Поди, его десять кобелей сопровождают, и у каждого по три маузера!

— Тут дело не в маузерах и кобелях, а в том, что ты ни бельмеса в политике не понимаешь, Степанов, — вступился Кудрявцев, — Катанян не шпана какая-нибудь, он понимает, что в Бутырке сидят три тысячи бессудных и ни в чем не повинных, о чем ему говорить с нами, чем утешить?

— Это они между уголовными петушатся и на всех сверху вниз смотрят, а здесь публика белая, как-никак, а совестно в глаза взглянуть, — сказал Федоров, — у нас один Виго чего стоит!

— А ты в чужой огород камушка не забрасывай, — сказал сурово Виго, — Виго нигде не струсит и к администрации подлизываться не станет. Виго не плохо бы было на советской сцене служить, а он в тюрьму пошел, а им не покорился!

— А я бы с твоей силищей и в тюрьме не стал бы сидеть, выворотил решетку, да и был таков, — насмешливо возразил Степанов, — а то борец, борец, а силы не проявляешь, расшвырял бы всех этих сторожевых псов, а сам за ворота!

— Время не пришло, — самодовольно усмехнулся Виго, — пока что на медведей берегу силу. Вышлют в Нарымский край, там с медведями воевать буду. Говорят, медвежатина очень полезна…

— С медведями дурак управится, лишь бы винтовка была, — вставил Кулик, — а ты бы с большевиками повоевал, это зверь матерый!

— На все свое время, время придет — и с ними повоюем, — сказал Виго, — за нами дело не станет!

Большим событием для Москвы в зиму на 1925 год была неожиданная, если не сказать внезапная, смерть патриарха Тихона. Последний год его многострадальной жизни под гнетом большевизма особенно интересовал не только старую Москву, но

и все население тюрьмы. И хотя с большою опаской, но разговор о нем шел ежедневно во всех камерах и на прогулке, где сходились заключенные с обоих коридоров и где ежедневно обсуждались все новости, приносимые и газетами, и с личных свиданий посетителей. Конечно, надежд на патриарха как на политическую силу никто уже не питал, все чувствовали, что борьба неравная и патриарх должен безмолвно сойти со сцены. Как и куда — об этом было много и споров, и предположений, но о его смерти почти не было и речи, так как все знали, что он человек не старый и очень крепкий по натуре, а потому его смерть так всех и поразила. Поразила она и всю нечиновную Москву и ввергла в великую скорбь и смятение. Предполагали, что его принудят сложить сан и заточат где-нибудь на Сахалине или Камчатке, или для насмешки переоденут в простую и дырявую одежду и загонят под чужим именем в северные леса, на лесные разработки. Более благожелательные пророчили ему свободный выезд за границу или такой компромисс с большевиками, при котором его оставят в покое и отведут для жительства какой-нибудь захолустный монастырь, откуда он и будет под цензурой власти рассылать свое благословение по обнищалой и разбегающейся пастве. И только умный и уважаемый многими Очеркан говорил по секрету:

— Очень боюсь, что его устранят «обычным способом». Уж если не постыдились расстрелять в подвале всю царскую семью с детьми, то что им патриарх Тихон, за которым еще не было в народе никакого авторитета! Он для них совершенно не опасная кукла, и дай Боже, чтобы его просто устранили безо всякой публичной насмешки.

— Не могу этому поверить, — загораясь внутренне стыдом и страхом, говорил на прогулке Казанский (студент Духовной академии), если Петр Великий и прекратил патриаршество, он все же назначил блюстителя престола как главу Церкви. Устранял и Грозный митрополитов, но Церкви без главы не оставлял, не решатся и эти!

— Тогда это было дело государственное, а теперь частное, — возражал профессор Никольский, присоединяясь к нашей компании, — тогда само правительство и государи были верными сынами Церкви, а теперь… что теперь? — спрашивал он, озираясь кругом, как бы ища защиты. — Теперь грубый и невежественный атеизм и безудержная травля верующих.

— Они бы его сожгли живьем, если бы это входило в их план и не делало из него мученика, — подсказал Посохин, — но, конечно, они его устранят без разговоров, и в один прекрасный день поставят Церковь перед совершившимся фактом!

— Жуткое и страшное положение переживает патриарх

Тихон, — сказал как-то Паршин, присаживаясь на койку к Сарханову.

Он был сегодня на свидании с племянницей и от ней узнал, что вокруг патриарха плетется какая-то ужасная тайна. Говорили, что чекисты предлагали ему подписать отречение от патриаршества и затем увезти его в неизвестное никому место доживать последние дни, а что в противном случае его засудят свои же церковники, а правительство заточит в укромное место как преступника. Говорили, что ворота Донского монастыря давно уже охраняются чекистами и допускают к патриарху только тех священников и епископов, которым разрешит это свидание сам Дзержинский. И что эти разрешенные к нему посетители под угрозами церковного суда и осуждения склоняют его на все уступки большевикам, вплоть до того, чтобы провозглашать за них многолетие и молиться за Ленина и Троцкого персонально.

— Но ведь большевики в этом не нуждаются, — возразил Сарханов, вслушиваясь в разговор. Он хотя и был мусульманин, но очень живо интересовался религией и нашими церковными делами. — Ведь они открытые безбожники!

— Тут не в этом дело, — пояснил Паршин, — им важно его принципиальное подчинение и уничтожение, им нужно, чтобы патриарх от лица церкви признал их власть законной и тем самым отнял у народа всякие мысли к какой бы то ни было сопротивляемости. Ведь они же знают, чье мясо съела кошка, а потому и добиваются своего оправдания. Ну кто они? Захватчики власти, самозванцы, узурпаторы! И в народе другого имени им нет, что им хорошо известно. Да и убийство царской семьи им не дает покою, вот они и мучают патриарха, надеясь через него получить прощение и признание!

— У нас в Персии много бы пролилось крови по этим делам, наш народ за своих имамов в огонь пойдет! — с чувством сказал Сарханов.

— Вы же азиаты, дикари, а мы люди цивилизованные, — насмешливо отозвался Кудрявцев, — чего у нас нельзя, у нас все позволено!

Сарханов не понял шутки Кудрявцева и с обидой резко возразил:

— В таком случае позволяй нам быть дикарями, чем брать на свою душу такой грех!

— Правильно, хан, — вступился за него Паршин, — от позора нашей теперешней жизни ушел бы в пустыню, как Макарий Египетский, и забыл бы свою несчастную родину!

— Вот, хан, смотри, — сказал Посохин, указывая в окно на бывшую тюремную церковь со снятыми крестами и

колоколами, — вот где была наша слава и честь, когда сияли над нею кресты и совесть народа сияла правдой и любовью, а большевики все это нарушили и оплевали, и нам теперь все позволено!

— Худо, большое худо, — со страхом отвечал Сарханов, — уж если народ не будет иметь своей национальной религии, он непременно подпадет под чужую пяту и впадет в рассеяние! <…>

— Ну, такое царство долго не устоит, — утешительно возразил Сарханов, — оно непременно развалится, вот сами увидите!..

— Твоими бы устами мед пить, хан, — опять громко сказал Кулик, — вот тебе моя рука и будем друзьями!

— А у вас в Персии, хан, тоже советская власть будет? — спросил полковник Николаев. — Там теперь какой-то Реза-хан орудует, за ним большевики как за именинником ухаживают!

— Это наш Наполеон, такой же выскочка из военных, я его знал еще полковником, — сказал Сарханов, — а только он большевиков обманет, сами увидите! Не затем он добился власти, чтобы делиться ею с какими-то Советами, наш народ понимает только власть шаха, вот увидите, он и объявит себя шахом!

Когда вскоре после этого в тюрьму пришла весть о кончине патриарха Тихона, никто не хотел верить в ее подлинную правду, и даже наш постовой надзиратель Сергеев под влиянием такого огромного события, от которого, как он сам смущенно сказал нам, придя на службу утром, «вся Москва пришла в движение», не замедлил высказать подозрение в том, «что со смертью патриарха что-то неладно».

— По-разному болтают, — как-то развязно и охотно сказал он и мне после того, как все ушли на работу и я остался в камере один, — по городу у женщин один разговор: «Большевики отравили владыку», а в конторе у нас другая версия: говорят тоже, отравили, только не большевики, а своя духовная бражка. Он будто бы отказался благословить обновленчество, Евдоким и подкупил его повара! А большевикам на что он нужен, они попов не признают!

— А движение по Москве — прямо трудно пройти к Донскому! — пояснял он мне словоохотливо. — Наши в конторе вперед смеялись, говорили, что туда идут только старухи-кликуши, а теперь и шутки в сторону, только и говорят о судьбе патриарха и о том, что без него будет. Боятся, что вмешается Америка и папа римский!

Этот надзиратель был человек самобытный и как ни был навернут большевиками в безбожии, все же в глубине души имел

свое мнение о морали и о религии, как ее основе. Смерть патриарха и движение к нему «всей Москвы» так его поразили, что с него сошло сразу все вбитое большевистской пропагандой, и ему захотелось поделиться своим новым настроением со мной наедине, так как я был в камере один, и он не боялся что его слова дойдут до конторы. До конца смены он несколько раз подходил к моей камере и останавливался около приотворенной двери (камеры от поверки до поверки не закрывались), и, когда я первый заговаривал с ним на религиозные темы в связи со смертью патриарха, он оживлялся и высказывал, что было у него на душе по этому поводу:

— Оно там как ни говори: Бога нет, Бога нет и что попы обманщики, — говорил он торопливо, — а все на душе есть сомнение: без Бога жить — по-свининому хрюкать! Без Бога душевного человека не будет! Допрежде и воры, и разбойники свой грех чувствовали и каялись, а теперь все ворами стали и ни росинки в глазу, будто так и надо! Или вот какая беда настигнет, тяжело на душе, а к кому обратиться без Бога?

Когда слух о смерти патриарха прошел по всей тюрьме и дошел в 48-ю камеру, где сидели четыре епископа и шесть священников, они подолгу молились ночами каждый за себя, а вечером до поверки служили панихиды, на которые сходились желающие и из других камер.

Сядут все эти духовные пастыри в углу на койки, нагнут головы, чтобы не быть заметными и негромко поют и читают все по порядку, делая великую радость и себе, и слушателям. Ведь как-никак тюрьма, люди несут эту кару не за свои вины, а по политическим мотивам большевиков, все удручены душевно, все лишены интересов и радостей вольной жизни, а тут такое событие и возможность слушать панихиду по Тихоне, которая и в тюрьме напоминает о прошлых религиозных упованиях и надеждах на вечное бытие по ту сторону жизни, напоминает и о прошлой духовной свободе и церковном торжестве ее идеалов, чувствуемых всегда на торжественных богослужениях. Я видел, как плакали и утирали украдкой слезы многие пожилые и почтенные люди, когда в конце панихиды уже всей камерой потихоньку пели вечную память.

Не знаю, была ли такая директива администрации допускать это богослужение в камере или и сама она интересовалась этими службами, но ни разу она не потревожила камеру во время этих панихид, а также и праздничных и подпраздничных служб, также потихоньку служимых в этой камере. Лично я бывал на них раз пять и видел, как дежурные надзиратели останавливались в дверях, подолгу слушали и затем безмолвно уходили.

На 48-ю камеру эта весть подействовала самым удручающим образом. В ней, помимо перечисленных духовных, сидели еще «бывшие люди» из крупной знати, и, конечно, пока Тихон был жив и боролся, как мог, с большевистским засильем и произволом, у них еще теплилась кое-какая надежда на то, что патриарх вызовет возмущение ими в церковном мире как в своем народе, так и в других государствах христианского мира, и в особенности в Италии, Франции и Америке, и этим заставит большевиков прекратить такое нетерпимое положение как ко всем церковникам, так и к старой русской буржуазии и интеллигенции. Теперь эта надежда оборвалась, не заменившись другою.

Я видел их в эти дни такими жалкими и удрученными, избегающими общения с другими заключенными. И в замере, и на прогулке они держались в эти дни в стороне и между собой не вели прежних живых разговоров. Видимо, они уходили внутренне глубоко в самих себя в поисках новых надежд и опоры жизни, которых в их положении трудно было и подобрать. Как-то совестно было с ними даже и заговорить в эти дни, настолько они были удручены и растеряны. Исключением до некоторой степени был только архиепископ Ювеналий, высокий и красивый мужчина лет 55, с ясным, по-детски кротким взглядом. У него были очень длинные и красивые волосы, и я видел, как ему трудно в условиях тюрьмы поддерживать их в должном порядке, чтобы не терять внешне своего достоинства.

Как-то утром я оказался рядом с ним около умывальника и некоторое время стоял в очереди. «Мне вас жаль, отец Ювеналий, — сказал я ему негромко, — вам так плохо в тюремной обстановке, да и на воле со смертью патриарха все быстро катится к безбожию».

Мне и прежде приходилось понемногу беседовать с ним и с другими насельниками 48-й камеры, а потому он не удивился моему спросу.

— Я инок, и в этом мое счастье, — сказал он мне серьезно и обрадовано, — и мирские события нас волновать не могут. Должны быть безразличны и внешние условия. Надо иметь радость жизни везде и в тюрьме не унывать. А у святой Церкви есть больший глава, чем патриарх. Он устроит все наилучшим образом, не надо только терять веры!

# 47
# 1925 год

В праздник Сретения меня пригласили в 48-ю камеру для беседы. Казанский знал о моем близком знакомстве с Л. Н. Толстым, и это послужило поводом для беседы. Епископы и бывшие тут священники имели твердое убеждение в том, что все беды, свалившиеся на русский народ и Православную Церковь вместе с революцией, были прямым следствием беспощадной критики атеиста Толстого, подготовившего почву для захвата власти большевиками, а потому и считали его большим врагом Церкви, чем сами большевики.

— Он не посчитался с духовными силами народа и стал требовать от него, и от нас святости, будучи и сам великим грешником, — сказал епископ Павел, — не ходи в солдаты, не плати податей, не почитай икон и Святую Троицу — вот его ядовитые семена, из которых выросла революция! Какой еще анархист мог быть вреднее в своей пропаганде!

— В ослеплении своей славы писателя он сделался наивным ребенком и лишился здравого смысла. Все понимали, что такая пропаганда и посрамление православной церкви, как устоя русской общественности и морали приведет Россию к гибели, а он этого не понимал, — говорил Ювеналий, — и вот результаты! Точно он был слеп, что плодами его разрушительной работы воспользуются худшие элементы страны и накинут на шею народа железное ярмо нового рабства и безбожия.

— Конечно, если бы Толстой был пророком и ясновидящим, может, он и направил бы свою критику Церкви и государства по иному руслу, — примирительно сказал генерал Казакевич, — а он наперед не знал о времени революции, тем более не знал, что бес вытрясет из мешка каких-то уродов большевиков. А покритиковать у нас было что, — усмехнулся Казакевич, — и у вас отцы, в особенности, уж что там таить, давайте говорить по совести!..

— Един Бог без греха, — пошутил епископ Павел. — Он мог бы критиковать нас сколько его душе угодно — мы стоим этого, про попов критика самая соблазнительная, а только выводы должны быть совсем другие. И самого большого грешника не укорять надо и изгонять, а нужно его очистить покаянием и простить, а из его критики выходило, что всех нас надо выгнать грязным метлом и нарушить православную веру!

— А вы где были, владыки? — вмешался священник

Архангельский (он считался крайним обновленцем, но в тюрьме пользовался дурной репутацией шпиона). — Вы как реагировали на его критику: «Волк в овечьей шкуре, «Лев рыкающий», вы даже не вникали в смысл его рыканий и торопились только обозвать его страшными именами. Вы не хотели по требованию времени пересмотреть церковные догмы и молитвы и отменить то, что стало не по времени и противу разума, и заботились только о сохранении доходов и пугали народ его проклятием!

Этого священника не любили в 48-й камере, считал его ссученным, и он это знал и не стеснялся при таком разговоре с посторонними прямо в лицо обвинять епископов, тем более в это время он уже решил навсегда отказаться от своего звания и сложить духовный сан, о чем и говорил со мной задолго до этого разговора. Бранил епископов за то, что они ему не помогают, как другим, передачами с воли, как к примеру помогали дьякону Чайкину, находившемуся в нашей 26-й камере. И у меня лично он настойчиво домогался, чтобы я его «включил в список для получения помощи с воли», считая меня членом воображаемой организации, которая должна была, по его мнению, помогать всем заключенным своей партии. И когда я отказался исполнить его просьбу и разуверил его в его ошибке, он перестал ко мне ходить и здороваться на прогулке.

— Плохим вы были иереем, отец, если не знали о нерушимости и неизменяемости церковных правил и апостольских постановлений, — упрекнул его обиженно епископ Никон, — Святая Церковь не институт изобретений и не склад товаров на все вкусы, она есть Божественное установление, освященное самим Господом, и без соборных решений никто не вправе их изменять!..

— Вот и дождались, — с раздражением перебил опять Архангельский, — не изменяли сверху, а теперь всех нас отменили снизу, что мы теперь, кому нужны, сироты бездомные!

— Божья воля, отец, — сказал тихо епископ Бережной, — без Бога не до порога, а с Богом и через море, а только иерею роптать не подобает, он должен со смирением переносить все испытания, памятуя слова Господа о том, что соблазны должны быть в мире. Не вся же Православная Церковь сидит в тюрьме и терпит бедствия, остались и пастыри и пасомые для дела Божия!

— Остались не пастыри, а приспособленцы, владыко, — резко возразил Архангельский, — надо было нос по ветру держать, тогда бы и мы здесь не парились. Я теперь очень жалею, что не согласился с евдокимовцами. Пользы не сделал, а семье навредил!

— Ну это вы поправить всегда сможете, отец, — насмешливо

сказал Павел, — заявите в ГПУ, что слагаете сан, вас и выпустят, да еще в какой-нибудь магазин продавцом поставят, а что Церковь в таких маловерах не нуждается, в этом вы и сами уверены!..

— Если бы я был, как вы, владыко, монахом, я не скулил бы о своей нужде, — виновато перебил он, — а вот как семья-то на шее, поневоле и от сана откажешься, каково ей теперь, капиталов-то с ней не осталось, кому они нужны?

— Не малодушничай, отец, — укоризненно сказал Павел, — Господь позаботится о верных, только не надо роптать прежде времени, каждому свой путь указан, и нам его не изменить своей волей!

— Не надо переходить на личности, — вставил Казанский, — мы ведем беседу о Толстом и давайте ее продолжим с общего согласия, а на личной почве мы ни до чего не договоримся, а только перессоримся. Вы нам скажите, — обратился он ко мне, — вы близко знали Толстого, ужели он не тяготился как отступник и враг православной веры, не чувствовал греха перед русским народом, отнимая у него самое сокровенное?

Я стал говорить, что для Толстого Православие и христианство не были синонимами и что он, по-моему, был большим христианином, чем каждый из нас, и больше нашего болел душою за те суеверия, которые поддерживала Церковь в гуще народа, выдавая их за христианскую веру. Толстой не проповедовал безбожия, как большевики, наоборот, он много труда положил на очищение и углубление христианского жизнепонимания, и вы сами согласитесь, что до кого оно доходило и касалось, тот человек и внешне и внутренне изменял свою жизнь к лучшему, и это к концу его жизни становилось бесспорным фактом…

— А в каких же, по-вашему, суевериях повинна была Церковь? — торопливо спросил епископ Никон. — Все ее правила и установления пришли к ней не с улицы, а были принесены апостолами и закреплены вселенскими соборами.

Я сказал, что прежде всего надо было постепенно отказаться от всего чудесного в Церкви, что так уже претило разуму взрослого человека: почитание мощей, так называемые чудотворные иконы, так называемые таинства миропомазания, елеосвящения, причащения; надо было постепенно выбросить много соблазнительных молитв и акафистов, канонов и тропарей; надо было крещение младенцев заменить для желающих взрослыми, когда они в полном разуме; не заставлять священников очищать молитвами избы, где были родильницы, и самые обходы домов по праздникам не связывать с получением за

это денег, яиц, мяса и т. п. Всякое даяние, — говорю, — благо, а всякое требование — это уже оброк и насилие.

Я хотел говорить дальше, но Казакевич меня остановил:

— Позвольте, позвольте, — живо сказал он, — если всего этого лишить священство, то что же им делать в церкви и чем жить, ведь вы же им смертный приговор прописываете, а у них тоже дети, родственники; вы слышите, как отец Архангельский на нужду плачется?

— Да этого буквально и Толстой не требовал, — поддержал его Казанский, — он критиковал вообще догматы и таинства Церкви, а таких пунктов не выставлял!

Я возразил, что это неверно, что я лишь ставлю первые вехи по пути к очищению церковного культа, а у Льва Николаевича это гораздо дальше и глубже уходит. А делать священникам и помимо этого есть что, и дело, говорю, быть примерами доброй, трезвой и трудовой жизни на глазах темного народа, мирить в начале всякий семейный грех, о котором они узнают, пока он не привел к большему худу: мирить детей с родителями, жену с мужем, брата с сестрой, соседа с соседом; быть бескорыстными и всячески стараться приходить первыми на помощь ближнему в нужде. И будьте покойны, говорю, такой пастырь в деревне не останется без куска хлеба, ему всегда помогут и в обработке земли, помогут и добровольными приношениями. Я крестьянин и знаю крестьянскую душу, знаю ее болести и отзывчивость.

Когда я перечислял вехи церковного очищения, епископы нахмурились, не собираясь возражать, но когда стал говорить об их настоящем служении, они оживились и Ювеналий радостно сказал:

— А в Евангелии сказано: «Сие надо делать и того не оставлять», — а вы у нас весь богослужебный культ изымаете. Добро и правду и мирянин должен по мере сил делать ближнему, а богослужение — дело священников, а по-вашему, оно не нужно!

Я не сказал вам этого, говорю, церковное служение с некоторыми поправками нужно, и оно будет совершаться, но ему нужно придать правильный смысл, не богослужение — Бог в нерукотворенных храмах живет и не требует служения дел рук человеческих, — а церковнослужение для полезного и радостного отдохновения от будничного труда и забот; это будет духовная сцена для подъема и возвышения души человеческой от земли к небу, от мирского в тайну Божия бытия и жизни и смерти, и в таком понимании оно будет и ближе и радостнее для тоскующей души человека, вот что нужно, отцы, а о спасении души для жизни будущей нужно на всех углах и перекрестках твердить, что спасают не молитвы и церковные обряды, а постоянное поведение

человека, направленное на выполнение заповедей блаженства, изложенных в Евангелии. Вот когда это будет, тогда и большевики не скажут, что религия обман, а попы — эксплуататоры!

— Но это уже будет не исповедание православной веры по церковным правилам и уставам, а программа жизни по учению стоиков, — сказал епископ Никон, обращаясь ко мне.

— А я бы сказал по-другому, — возразил Бережной, — направление верное, но чтобы перейти на этот путь Православной Церкви, для этого нужно столетие и надо много работать умом.

— Вот вы бы и работали, чем бранить Толстого и отлучать от Церкви, — вызывающе вставил священник Архангельский, — рано или поздно, а на этот путь выходить надо, догмы и таинства свое время отжили и на них нам теперь не удержаться. Нельзя вечно затемнять человеческое сознание и опустошать его сердце нашей мистикой!

— Мистика только в признании вечности человеческого разумения или искры Божией, его оживляющей, — сказал я. — От этой мистики даже по разуму мы отказаться не можем, ибо перед тайною жизни и смерти продолжаем оставаться слепыми щенками.

— Это очень радостно и важно, — сказал Ювеналий, — вы признаете воскресение мертвых и будущую жизнь, а в этом основа христианской веры. Тут мы с вами родные, тут и Толстой с нами.

Я отвечал, что в основах христианского жизнепонимания и служения людям Толстой и никогда не шел против Церкви, и всего, что она включает в себя доброго и разумного, и для него в том не было соблазна и противоречия. Другое дело догмы, просительные молитвы, святая вода, чудотворные иконы, молебны о дожде и здоровье и т. п. выдумки, которые всегда служили соблазном и разделяли людей. Вот это-то и надо потихоньку да полегоньку изгнать из церковного обихода.

— Повыбросить иконы и замазать стены храма черной краской — так что ли, по-вашему? — спросил Казакевич.

Он, конечно, был атеистом и насмешником над попами больше большевиков, но в присутствии епископов и других их сокамерников не мог казать целиком свое неверие и поддерживал с ними контакт. Я сказал, что выбрасывать и замазывать ничего не нужно, а надо только назвать их настоящим именем портретов и картин, чем они были и есть, и перестать им молиться, и тогда будет все на своем месте. И большевики украшают места собраний портретами своих главков, что ж в этом худого?

— Они со своим Толстым хотят превратить храмы в концертные залы и изгнать из них все таинственное в обрядах и

культе, что только и привязывает к ним теперь верующих со своими душевными нуждами и тоской, — сказал епископ Никон, — связывают мораль и веру в один узел!

— Это будет уже не храмовое богослужение, а собрания евангелистов для назидания и морали, — сказал Казанский, — сектантское действо.

Я возразил Павлу, говоря, что в храмовых человеческих выдумках тайнодействий нет ничего таинственного и чудесного, чтобы поражало и привлекало души людей; таинственное и чудесное в нас самих, в нашей жизни и окружающем нас видимом и невидимом мире, пределам которого нет конца и начала, вот где тайна! И если, говорю, отдельная жизнь возможна в капле воды, то кто же нам скажет, что ее не может быть в продолжении жизни нашего духа или сознания после смерти тела? Отсюда наша уверенность в ее вечности. А церковные какие же чудеса и тайны, раз их любой дурак может разоблачить, как то было с мощами и явленными иконами! Самой Церкви перед лицом наших событий надо скорее от них отстать и очиститься, чтобы не делать дольше соблазна перед людьми с открытыми очами.

— Вы нам предлагаете коренную реформацию в Церкви, — сказал Ювеналий, — на которую никто из нас в отдельности не правомочен. А созывать поместные и вселенские соборы мы теперь фактически не можем, никто их нам не разрешит!

— Мы отстали от жизни, владыко, в этом и наша вина, и наша беда, — уверенно сказал Архангельский, — мы теперь плетемся в хвосте и несем кару за нашу отсталость. Люди ушли вперед и в нас не нуждаются. И если Царь Небесный их теперь не остановит, нам их никогда не догнать со своими старыми уставами и постановлениями.

— Вот тут, может быть, Толстой и прав, — робко вставил Казанский, — он напоминал Церкви об ее отсталости, а его не слушали и охаяли, а ведь как человек он был много выше наших рядовых епархиалов!

— Насчет этой высоты я с вами не согласен, — обиделся Казакевич, — помещик как помещик, и как все мы, картежный игрок и охотник!

— Неправда, неправда, — запротестовал Казанский, — вы судите о нем по его молодым годам, а во второй половине жизни он показал жизнь аскета и мученика, и осуждать тут его не в чем!

— Мучеником у жены, у семьи, так, по-вашему?

— Хотя бы и так, — огрызнулся Казанский, — нам теперь со стороны легко осуждать и смеяться, а как бы мы на его месте поступили — вопрос. Самое меньшее — из трагедии его жизни перешли на драму, если не на прямое преступление, а он и

Божеское и человеческое соединил вместе и не нарушил!

Я сказал, что Толстой, не в пример всем людям, отказался от громадного богатства, которое ему могла принести продажа его писаний, отказался от Нобелевской премии в 200 тысяч рублей, а за то, что он все же продал роман «Воскресение» и полученные 12 тысяч отдал на переселение духоборов в Америку, за это его вряд ли кто осудит. Таких примеров бескорыстия история знает мало, и тут Толстой нам не по плечу.

— Он мог бы этими деньгами помогать бедным, — возразил отец Николай (священник из Орска), и тысячи людей за него молились бы Богу!

Все другие слушатели молчали, выжидая мнения других. Молчал и генерал Казакевич, не решаясь после этого хулить Толстого.

— Не знаю, — сказал молчавший доселе князь Голицын, — такой помощью бедным занимался покойный Иоанн Кронштадтский: одною рукою брал, а другою раздавал, но даже в нашей среде его не особенно за то хвалили; насколько помню, хвалили только в церковных листках и только те, кому он помогал, а другие воздерживались!

— Это понятно, князь, — сказал Казакевич, — тут была зависть, Иоанн Кронштадтский за чужие деньги, получал спасибо, а для Толстого это были бы его собственные, заработанные писательским трудом, его нельзя было бы осудить в этом!

В этом-то и есть его подвиг, говорю, что он отказывался не от чужих денег, а от своих трудовых, удешевляя этим для всей читающей публики стоимость его произведений. А вот мы с Казанским вряд бы отказались, — пошутил я, — и натворили бы на них немало бед и себе, и людям.

— Почему же бед? — весело отозвался тот, — я бы, к примеру, года три посвятил на путешествия, разве не приятно побывать в Лондоне, Нью-Йорке, Константинополе, наконец, в Иерусалиме?

— А мы бы с князем никуда не поехали, — сказал Казакевич, обращаясь к Голицыну, — в условиях нормальной жизни мы бы купили деревеньку и жили помаленьку. От скуки в картишки бы перекидывались, на охоту ходили.

— А в теперешних что? — спросил подошедший Очеркан, не интересовавшийся нашим религиозным спором.

— В теперешних, — запнулся Казакевич, — трудно и придумать, что бы мы с ними сделали — ни земли, ни дома, ни фабрики иметь нельзя, поневоле по Толстому пришлось бы от них отказаться!

— А я бы не отказался, — усмехнулся Очеркан, — я бы чудок

помогнул отцу Архангельскому, а остальные в сберкассу из 10 годовых!

Разговор временно перешел на шутку, и вся камера стала прикидывать: кто бы что стал делать, если бы получил миллион или хотя 200 тысяч. Отказываться никто не хотел даже от чужих денег. Очеркан сказал, подумавши:

— По-моему, отказаться может только дурак, который не знает, что делать с деньгами, или святой человек, которому ничего не нужно, кроме его святости. А мы люди средние, так поступать не можем!

Переждав некоторое время, Ювеналий сказал:

— Так вы считаете, что Церковь повинна в своей отсталости? Так ли, мой друг?

Я сказал, что повинна и отсталость, но в этом не главное, отсталость действовала на более развитые слои населения, которым она ставила неперевариваемые ими соблазны святой воды, претворения хлебов, бессеменное зачатие, чудотворные иконы и т. п. чудеса, но на массу это не действовало. Масса народная в этом не разбиралась и не имела в этом нужды. Для нее был другой неперевариваемый ею соблазн: дурная и порочная жизнь с пьянством, развратом и явным корыстолюбием духовенства, вот что пошатнуло православную веру в народе!

— Это не совсем верно, — печально сказал Ювеналий, — отдельные пастыри Церкви могли быть дурными людьми, но Церковь в целом в этом не повинна, об этом соблазне лжепастырей предупреждалось еще в Евангелиях. Помните: «Слова их слушайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают».

Я отвечал, что по существу он прав, но в народе святость и истина веры определяется поведением священников. Если священник ведет себя недостойно — и отношение народа к Православию понижается, и наоборот. А я, говорю, за всю свою долгую жизнь из 17 церквей нашего благочиния не знал ни одного из них достойного своего звания. Оттого и я сам так легко отошел от их влияния и перестал иметь связь с Церковью в ее отсталости.

— Очень жаль, друг, — сказал Ювеналий, — что ты не в наших рядах. В церковном строительстве такие искренние люди очень дороги и нужны, и ты бы нашел свою дорогу.

— А он и без этой дороги вместе с нами в тюрьме, — пошутил Павел, — для таких людей дорога одна — тюрьма, где бы они ни были и чем бы ни занимались!

— Он еще к нам вернется, — сказал Казанский, — я его сагитирую, сидеть нам еще долго!

— И глупо сделаешь, — возразил Очеркан, — его место в Наркомземе, а не в попах. Надо поправлять то, что испортила революция в сельском хозяйстве, такие грамотные мужички там очень к месту, а в попах ему и не прокормиться с его характером!

— Хорошо было кормиться, когда сам народ был сыт, — раздраженно перебил Архангельский, — а теперь и городские раз в день едят, а деревенские и того реже!

— Возражений нет, принимаем единогласно, — пошутил Казакевич, — на этом и кончаем наше совещание. Кто со мной за шахматы садится?

И в этой камере, как и в нашей, вся публика, кроме духовных, не мирилась с пустотою жизни и все свободное время или читала, или резалась в шахматы, лото, домино и в другие разрешенные в тюрьме игры. Уж такова природа вышибленного из колеи интеллигента! Посмотришь, какой-либо простой человек в тюрьме лежит целый день на койке и курит или наблюдает и слушает, что говорят другие, а тронутые интеллигенты наскоро курят, как-то наскоро говорят и запойно читают и режутся в игры, точно они не в тюрьме, а на фронте войны, где дорога им каждая минута, где все время надо куда-то спешить! Была для них непосильна мука за личное оскорбление революцией, или они больнее других переносили позор и унижение Российской империи, вычеркнутой из жизни вместе с семьею царя, не знаю; видел только, что они переживают муку и тоску великую, и если бы в тюрьму был доступ спиртных напитков, все они спились бы окончательно от этой тоски. К чести духовных, которых я видел и наблюдал и в Тульской, и здесь, в Бутырской, тюрьмах, они вели себя гораздо покойнее, глядя на них, многие и многие простые люди обретали себе покой и более легко несли свой крест. Посмотришь обычно на этих батюшек, сидят они или лежат смирнехонько на своей койке, читают свои молитвенники, а то и вовсе что-нибудь чинят из белья иголками, даже штопают чулки, стараясь не замечать тюремной обстановки. Подойдет кто, спросит:

— Ну как, отец, надеетесь освободиться или в Соловки дорога?

— Божья воля, друг, Божья воля, — ответит он спокойно, и вот это-то напоминание о какой-то другой, «Божьей воле», кроме воли ОГПУ, сказанное так просто и убедительно, невольно переносит человека в область отвлеченного и наполняет его душу совершенно другими мыслями, в которых тюрьма перестает быть тюрьмой, и ее гнет и тягостная неизвестность будущего делаются совсем не страшными. Вот поэтому я и видел, что и крупные люди, и заядлые атеисты, попадая в тюрьму, всегда не прочь

поговорить с духовными, чтобы опереться на их утешение.

Оно, конечно, хорошо проповедовать добырящимся ребятам безбожие и материализм, как основу жизни в теории, и совсем другое дело, когда практика жизни ставит тебя в трудные условия на долгое время, на годы неизвестности завтрашнего дня, и тогда эти легкие и соблазнительные теории испаряются, как дым, и человек своим нутром начинает понимать, что жизнь не только материальный и физиологический процесс для животных удовлетворений, но и что-то духовное, более высокое и таинственное, в котором есть и свои обязательства перед Богом — как началом этой жизни, и оценка добра и зла, проходить между которыми в короткую человеческую жизнь не всегда по силам человеку. Отсюда и эти легонькие теорийки материализма и атеизма.

# 48

В начале этого года в большевистской партии произошел крупный раскол из-за власти между сторонниками Троцкого и Сталина. Причиною, конечно, послужила смерть Ленина, при жизни которого ни тот, ни другой не заявляли своего первенства на главные роли. В тюрьме были разрешены газеты, и их в это время прочитывали с особой жадностью.

По каким соображениям, не знаю, но сторону Троцкого держало большинство, надеясь от его власти скорее выбраться из тюрьмы и получить даже работу в его аппарате. Читали вслух и на прогулке, и в камере, и очень осторожно — не вполне доверяя друг другу — делились впечатлениями. Группа ленинградцев очень надеялась на влияние Зиновьева и Томского в рабочей среде и упорно верила, что их Зиновьев проведет и Троцкого, и Сталина и займет руководящее положение.

Старые кадровые офицеры из казачьих войск не верили ни в Троцкого, ни в Зиновьева и интересовались их борьбой в партии с другой стороны. Они надеялись, что в этой борьбе, по примеру Французской революции, будут свои Мараты и Робеспьеры, которые очень скоро съедят друг друга, и, как и там, после партийного террора скорее власть возьмут умеренные люди, и русская земля воскреснет опять от пережитых войн и уродливой социалистической политики по отношению к сельскому хозяйству.

— Одним миром мазаны что Троцкий, что Зиновьев, — говорили они, — из одной партии фанатиков <…>

Недели три назад в тюремной лавочке появился у нас новый человек из «ссученных», смуглый, похожий на цыгана, но очень важного вида и мягких, благородных манер. Этим «ссученным», как коммунистам, очень скоро давали и в тюрьме подходящую работу по канцелярии и по лавочке. Дали и этому подсчитывать заборы товаров заключенными. Своими манерами и важным видом он возбуждал большое любопытство по камерам, всем хотелось знать: кто он такой и за что сидит.

Как-то раз бомбой влетает к нам в камеру Лев Давыдович и на ходу кричит, принимая тон заговорщика:

— Узнал! Все по секрету узнал! Подручный Менжинского с Лубянки! Тоже из-за бабенки, ей-Богу! У Менжинского любовницу отбил, хотели, вишь, на пистолетах стреляться, да тот струсил и десять лет Соловков ему дал! Он тут до первого этапа на Кемь, с глаз долой убирают, боятся, бабенка-то эта придет на свидание!.. Вот потеха-то! Этот случай внес большое оживление в жизнь

рабочих коридоров тюрьмы и дал новый луч надежды крайним правым.

— Я только того и жду, что их бабы перессорятся из-за пайков в закрытых распределителях, а они из-за баб друг другу горло перегрызут, — говорил после этого генерал Казакевич князю Голицыну (отцу) <…>.

— Это само собою, генерал, — отвечал уверенно князь, при их уродливой политике в деревне каждый такой факт только усилит крестьянское озлобление, и они в его глазах потеряют всякое уважение, а на одном терроре не усидишь долго.

— Уж какое там уважение, — усмехнулся Казакевич, — когда у народа собственность отняли и самих кулаками ошельмовали. Они думают народ дурак, не понимает, что его батраком сделали!

— Народ переживет все, — рассеянно сказал князь, — жаль только, нас с вами тогда не будет. А хотелось бы хоть чуть-чуть поглядеть, как все их химеры рассеются!

— А как, Лев Давыдович, насчет Троцкого с его компанией? — спросил Посохин. — Чай, их Сталин в порошек сотрет, нелады у них из-за власти?

— Плохо, ой, плохо, — с ужимкой захихикал тот…

Однако партийная дискуссия и спор о Троцком и троцкистах продолжались недолго. Вскоре последовали и репрессии, и тот же Лев Давыдович, уже без шуток, по настоящему секрету, сообщил Куренкову и Кудрявцеву:

— Сталин всех порешил: кого в тюрьму и ссылку, трусов на колени поставил для покаяния, а моего тезку на вылет. До Керчи ему почетный конвой в сто головорезов составили, а там на пароход посадили и отплыли в неизвестном направлении.

— Такая была строгость в пути, — пояснял он на другой день, — что даже к станциям никого не подпускали, батюшку царя возили — того не было! А на пристани, говорят, скандал вышел, со скандалом и пароход отчалили; к туркам повезли на содержание!

— Этим дело не кончится, — сказал негромко Куренков, — его след надолго останется, у него своя партия, всех тоже не перевешаешь!

Николаев обвинял Зиновьева за его нападки на Троцкого и его соучастников. Он говорил:

— Вместо того, чтобы всем в один блок сплотиться, они перед Сталиным на цыпочки встали и друг друга едят и топят. Вот посмотрите, теперь Сталин повалил Троцкого, а потом повалит и Каменева с Зиновьевым, а там и за Рыкова с Бухариным возьмется. Уж раз друг друга предавать стали — их Сталин одною веревочкой всех повяжет!

— Ништо! — возражал Кулик, — все революции одною тропой ходят. Чем скорее они поедят друг друга, тем скорее вопрос о законной власти встанет. Теперешняя Россия не пропадет; была она и меньше и беднее, и тогда всех самозванцев изжила. Изживет и этих.

— Правильно, Алексей Евтихиевич, твоими бы устами да мед пить, — поддержал Кудрявцев, — жаль только, что мы-то тогда в мертвых душах будем значиться. А Чичиковых теперь нет, чтобы такой хлам скупать, так и пропадем, как черви. Теперь три года концлагеря, а там пять лет вольной высылки, так и будем до смерти мотаться!

— Назло всем врагам и супостатам выживем, — злобно сказал Кулик, — время хватит на все!

— Выживут да не все, — возразил Какунин, — как ты, такие выживут, а слабенькие, как мы, все на тот свет переберутся!

После того как в тюрьме узнали все подробности о «вывозе Троцкого», и о том, что вся остальная оппозиция им «законопачена» или подала слезницы о своем раскаянии и отречении от заблуждений, поднявшиеся было настроение и надежды на возможность перемены власти, а следовательно и перемены судьбы всех концлагерников, снова улеглись и остыли и заменились снова пессимизмом. Наоборот, умные люди поняли, что усиление Сталина и неминуемая борьба в партии со старыми большевиками надолго теперь затянется и не изменит их положения.

Первым учел это наш коридорный староста Виго и подал заявление о замене ему концлагеря высылкой в Сибирь, хотя бы и на пять лет.

— Какой же расчет три года менять на пять? — спросил его Паршин.

— Расчет тот, что после концлагеря дадут пять лет ссылки, а после того еще 3 года вольной, а после пяти лет Сибири можно сразу получить вольную, — пояснил Виго. — А в общем, надо зарываться в нети на пять лет. Это минимум, раньше которого нам ждать совсем нечего: зажимать будут, а разжимать некому!

# 49

Зиму 25 года в 48-й камере своеобразное семейное служение духовными продолжалось без всякой помехи со стороны администрации, и к этому так привыкли, что все желающие присутствовать и участвовать в нем, с обоих коридоров, сходились туда по праздникам беспрепятственно, а когда подходила Пасха, к ней стали готовиться и не в одной только 48-й камере. Даже в тюремной лавочке появились куличи и маленькие творожные «паски». Ухитрялись красить и яйца.

А в 48-й камере еще за день был сервирован и украшен цветами пасхальный стол длиною в 7 аршин. На нем красивыми горками лежали крашеные яйца с красивыми рисунками, изукрашенные крестами и вензелями куличи и паски, просфоры и белые хлебы. Об этом пасхальном приготовлении узнали во всех трех коридорах, и каждый заключенный считал своим долгом пройти мимо этой камеры в открытую дверь полюбоваться на эту красоту. Правда, публика этих коридоров была интеллигентная и, по сути дела, неверующая, но, пришибленная и угнетенная своим положением гонимых, поневоле хваталась за каждую соломинку религиозного утешения и этим демонстративно подчеркивала свой протест. Приоделись и духовные и высматривали как-то особенно ясно и прилично, без тени смущения за свое унижение и обстановку, в которой им приходилось встречать великий праздник христианской Пасхи. Даже мой сосед по койке перс Сарханов, будучи магометанином, и он несколько раз ходил на второй коридор в эту камеру и по-мальчишески интересовался приготовлениями духовных. Интересовался и меланхолик Алимитаев, и подолгу расспрашивали меня об этом празднике в цикле других православных праздников. Предполагалось, что по правилам культа епископы в 12 часов ночи отслужат потихоньку сокращенную утреню и литургию, попоют «Христос воскресе» и раздадут желающим по кусочку кулича и пасхи.

Ясно, что вокруг этих приготовлений и самого праздника в тюрьме создались особые настроения ожидания чего-то радостного, в чем так нуждаются заключенные по административному произволу, так сказать, без вины виноватые и бессрочно гонимые. Но человек предполагает, а ОГПУ располагает, и этот желанный праздник был грубо и глупо но на этот раз нарушен администрацией и нанес тяжкую обиду и оскорбление всему населению тюрьмы.

Зачем и по чьему распоряжению была дана эта пощечина и без того тяжко оскорбленным, разоренным и измученным людям,

не знал даже и Лев Давыдович, который, конечно, воспользовался этим случаем, чтобы лишний раз сочинить анекдот про попов и позлословить про пошатнувшееся Православие.

С нашего коридора многие хотели бы пойти к этой утрени, в том числе и я, и заранее нащупывали почву через старосту: не разрешат ли для этого отпереть вовремя камеры и выпустить желающих, но такого разрешения не получилось, и мы своей камерой так и пролежали на койках эту торжественную ночь. Правда, среди ночи слышали какой-то подозрительный шум на втором коридоре и торопливые шаги многих людей, но до самой утренней поверки ничего еще не знали.

А произошло этой ночью следующее.

В половине двенадцатого часа отряд гепеушников занял второй коридор, заперев предварительно двери на третий и первый. Открыв 48-ю камеру, они с наганом в руках заняли ее и приказали всем заключенным выйти в одном белье на коридор, не давши никому времени одеться и обуться. Кое-кто успел лишь захватить простыню или одеяло. После чего стали производить тщательный обыск в вещах заключенных, который и продолжали около двух часов. Затем вынесли на коридор пасхальный стол со всем его убранством и, уложив с него все съестное в ящики, унесли вон, оставивши его голым. Дальше вынесли под предлогом обыска все вещи заключенных: одежду и всю спальную принадлежность — и загнали обратно раздетых людей в пустую камеру, проморозивши их таким образом 9 часов, до утренней поверки. И только после этого разрешили одеться и взять обратно вещи. Все праздничное украшение: цветы, куличи, пасхи, яйца и хлебы — исчезло бесследно. И в таком унижении, холоде и бесчестье заставили всю камеру в 25 человек встречать свой торжественный праздник Воскресения Христова, лишив, кроме того, на всю неделю прогулки, передач и работы и продержавши всю неделю на запоре при самом строгом тюремном режиме.

Вместо радостной встречи праздника, люди эти, босые и полуголые, на холодном цементном коридоре должны были дрожать и стучать зубами целых 6–7 часов. И на это было способно большевистское правительство!

Когда утром об этом узнала тюрьма, многие предлагали устроить общую забастовку и об этом делали сигналы в форточки. Но люди были везде разные и по-разному предлагали выразить свой протест и, конечно, в условиях тюрьмы не сумели сговориться. Одни говорили, что надо отказаться от работы, другие — от обеда, третьи — не встать при проверке, и, конечно, ни на чем не решили и никакого протеста не оказали, так как надо всем этим, хотя и законным негодованием, стоял страх

перед ГПУ и возможными репрессиями уже для всей тюрьмы. Конечно, будь то уголовная тюрьма с осужденными на сроки, такая забастовка непременно бы состоялась, так как уголовным рисковать было бы нечем, срока не прибавят. Здесь же все были административно-гонимые, которым при оставлении для работы в Бутырской тюрьме было обещано досрочное освобождение за хорошую работу и поведение, и каждый понимал, что участие в такой забастовке не пройдет ему даром и сильно удлинит его срок тюрьмы. Но обида и оскорбление были тяжкие, которые долго не могли забыться. И любопытно, что это оскорбление чувствовали не только верующие, но и неверующие и даже иноверцы.

— Ведь это же звериное идиотство, — возмущался Сарханов, — нашу Персию считают полудикой и некультурной, а я вам ручаюсь головой, что в нашей стране так над людьми не издеваются, у нас могут скорее убить, засудить, а над чужой верой не издеваются! У нас все религии уважаются и защищаются законом!

— А вы мне внушаете интерес к литературе, к наукам, — говорил тоскливо Митаев, — ну разве это не есть доказательство, что все людские выдумки и сами они не стоят гроша, а тем более внимания! Мы, говорят, строим новое государство, а сами безбожники и изуверы, какое от них добро будет, когда они умеют только травить людей, с ними не согласных, и всячески над ними издеваться!

Но больнее всех переносил этот позор 48-й камеры Андрей Андреич Барановский. Мирный по характеру и благородный по душе, он не мог даже подобрать таких слов, которыми бы полнее и понятнее для других он мог выразить свое горе и протест. Он несколько дней лежал на койке и не ходил даже на прогулку. Лежал с открытыми глазами и безучастно смотрел вверх, стараясь совсем никого не замечать и ничем не интересоваться.

— Полно вам меланхолию разводить, — подступал к нему Кудрявцев, чего доброго с ума сойдете! Ну и ладно, обидели попов, и все пройдет и перемелется. Мы и сами не меньше их обижены, не вешаться же теперь от горя! Митаев ходит — тоску наводит, как курица мокрая, а тут еще и от вас слова не добьешься! Ну, выругайтесь матом, похулите черта, авось и пройдет!

— Я второй раз иду в Соловки и так не мучился за свои аресты, как сейчас, — говорил Барановский печально. — Борьбу я понимаю, но с таким бесцельным и жестоким издевательством над христианскою верой не могу помириться! Зачем это? Разве и без того священники не обижены и не ошельмованы? Ведь через

них же епископы получали передачи, а здесь надо было все это отобрать и их так унизить…

— Я вас понимаю, — отозвался Николаев, — вы хотите сказать, что христианские епископы в тюрьме ничем не заслужили, чтобы полуголыми дрожать ночь на холодном коридоре и стучать зубами вместо того, чтобы петь хвалу воскресшему Господу и хоть сколько-нибудь порадовать тоскующих людей!

Барановский молча кивнул головой в знак согласия.

— Правильно, да, правильно, — грубо подтвердил и Виго, но правильно и то, что мы — мужчины, и при любых условиях не должны впадать в мерохлюндию.

— Ну вы-то — лев! — насмешливо сказал Кудрявцев. — Но даже и львы не могут требовать, чтобы все прочие зверюшки сделались львами.

— Я бы на его месте и в тюрьме не стал сидеть, — засмеялся Климов, — выломал бы решетки в окнах, поналягнул бы плечом на ворота и был таков!

— Виго бережет силу для больших дел, — вставил Какунин, — а ворота ломать ему не к лицу!

— Время придет, мы и головы отшибать будем, надменно возразил Виго, — а решетки для других понадобятся, а теперь они нам не мешают!

Но как ни тешили себя наши сокамерники такими разговорами, однако первые три дня Пасхи всем было не по себе, и смешные и серьезные разговоры скоро обрывались и как-то сразу наступали тоскливые паузы. Пробовали петь, но и песни обрывались после одного-двух куплетов. И даже веселый Лев Давыдович, приходя в нашу камеру, не мог поднять настроения <…>

А в 48-й камере, несмотря на запрет, все же потихоньку служились коротенькие повечерия и пелись пасхальные стихиры, но, к великому горю верующих, никто из других камер не мог туда попасть и принять в них участие.

— А ваши попики поют, — сообщал нам Лева, входя к нам в камеру, — только знаете, так тихо и печально, ровно пчелки в слабеньком улье, так и думаешь: вот-вот умрут и ножками задрыгают <…> пригнулись в уголочку и так тихо-тихо: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!..»

Когда прошла эта нудная пасхальная неделя и с 48-й камеры сняли арест, ее обитатели так были угнетены и запуганы, что из деликатности никто из наших сокамерников не пошел к ним надоедать своим сочувствием, да и сами они, точно виноватые,

сторонились других и никому не жаловались. И только священник Архангельский в этот же день, встретившись со мной на прогулке, мимоходом обронил:

— Вот как нас коммунисты с праздником разделали, едва живыми остались! И все это наши архиереи сделали, хотели по-настоящему, по-богатому, а вышло совсем по-нищенски! Я говорил, что не надо пасхальный стол украшать, а с вечера раздать все по всему коридору, не послушали — вот и вышел такой конфуз. Ведь на столе-то на двести рублей всего было, так все и пропало даром! Адамсон все съел!

О самой сути нарушенного праздника он не сказал ни слова, точно это его не касалось.

## 50

В новый 1925 год на рабочих коридорах разрешили устроить сцену «клуба» с газетами, шашками, шахматами, лото и домино, и у кого в головах не было более серьезных мыслей, охотно стали посещать этот «клуб», и у всех на глазах партия на партию резались в эти игры, достигая тюремного первенства. Недоставало только буфета с винами и закусками, и хотя об этом много говорили и нащупывали почву у Адамсона, но пока что до конца моего пребывания в тюрьме этого не разрешили, хотя и подавали надежды. У администрации боролись два чувства: то, что оставалось у заключенных от их заработка и расхода по тюремной лавочке, надо было через этот буфет снова переводить из их карманов на тюремный счет и заставлять одну и ту же копеечку вертеть колесо тюремной мастерской с большими барышами. К тому же, был соблазн и получаемые со стороны от родственников денежки заключенных также ликвидировать через этот буфет. А с другой стороны, все же политическая тюрьма должна была внушать страх и трепет и вынуждать к признанию своей виновности хотя бы и в несуществующих преступлениях, а тут такое баловство и попустительство! Но борьба была недолгая и неравная, денежный расчет оказался сильнее и вскоре по моем уходе из тюрьмы к концу 1925 года такой буфет все же был открыт и Бутырская тюрьма превратилась в коммерческую гостиницу.

Для клуба была отведена просторная камера рядом с библиотекой, а для сцены конец 1-го коридора с боковой 4-й камерой. Возможность тюремной сцены приподняла настроение и работа закипела. Среди заключенных нашлись и свои художники и искусные сценарии, и за 2–3 дня сцена была так искусно расположена с туманной видимостью внутрь, что все мы восторгались ею больше, чем самими спектаклями. За актерами дело не стало, их было хоть отбавляй, каждому молодому человеку хотелось проявить себя и показаться перед тюремной публикой. На первый раз ставился «Ревизор» по Гоголю, и успех был замечательный, овациям и рукоплесканиям не было конца. Но самым интересным событием дня была речь заведующего культотделом тюрьмы (фамилии запомнить не удалось), который делал открытие нашей сцены и говорил вступительное слово. Слово это было очень туманно, однако всем понравилось и запомнилось. Приблизительный его смысл был таков, что вот мы после нашей блестящей революции хотя и строим новое царство социалистического братства и равенства, однако и в новом

пользуемся старыми тюрьмами и держим людей взаперти как скотину и что хуже всего, так это то, что держим без вины виноватых, без уверенности своей правоты. Но что это проклятие нашего времени не вечное, что мы надеемся вскоре изжить эту гнусность, и тогда все люди у нас будут равноправными гражданами.

— Я это чувствую перед вами, — говорил он, запинаясь, — и если не могу пока отворить для вас двери и удалить из окон решетки, то хоть демонстрацией этой сцены мы вам даем понять, что мы о вас помним и думаем и не считаем вас уголовным элементом и не чуждаемся вас. Вместе с вами мы будем участвовать в этих новых для вас развлечениях тюрьмы.

И по лицу и по манерам было видно, что оратору очень совестно говорить перед такою большой публикой, и он долго не мог кончить, подбирая хорошие слова. Тюрьма на него давила больше, чем на самих заключенных, и ему трудно было выпутаться из неприятного положения. Он весь вспотел и все время вытирался платком, кончивши, как-то по-детски поклонился и демонстративно уселся на первой скамейке. Раздались редкие хлопки, еще больше смутившие его. Хлопков нам было не жалко, и он мог бы их получить гораздо больше, но публика была разная и по-разному воспринимала его речь. Когда раздались эти хлопки, мы стали быстро переглядываться, но коридор был узкий и длинный, и мы никак не могли сразу понять друг друга: нужно ли приветствовать этого не по тюрьме совестливого оратора. И только уже в камерах разобрались и поняли, что он был за нас и что мы его незаслуженно обидели редкими хлопками.

— Ему было труднее говорить свою речь, чем нам в тюрьме сидеть, — иронизировал Кудрявцев, — и виноваты мы и не виноваты, и тюрьма и не тюрьма, и братство и равенство, и окна с решетками, а в общем, понимай как знаешь, только не думай, что этот чин простой смертный и такой же цербер, как и все Федорьяны!

— Вот увидите, что ему за эту речь влетит от Катаняна по первое число, — авторитетно сказал Виго, — или к ссученным посадят, или в другую тюрьму переведут!

— Это первая ласточка, которая нам весну принесла в тюрьму, — радостно сказал Посохин, — там как ни понимай его речь, а все же какой-то перелом наметился!

— О, в следующий раз сам Катанян придет и будет перед нами каяться, — засмеялся Кулик, — дожидайтесь, товарищи, милость царская велика, да не стоит она лыка!

— Ну, милость не милость, а как буфет разрешат, сам Дукис

придет с нами водочки выпить, тогда увидите, — вставил Какунин. — Уж раз Гепеу нам навстречу пошло и передом оборотилось, нам радоваться нужно, — вставил Николаев, — теперь нам досрочное обеспечено. Это нам важнее буфета!

— Давай, Боже! — отозвался Барановский. — Хорошие речи приятно слушать, хоть надежда будет — и то хорошо!

Но надежда эта осуществилась нескоро и не для всех, но с нею все же стало как-то легче. Из этой несвязной, но искренней речи мы все поняли, что вокруг нас, как заключенных за здорово живешь, плетется какая-то паутина большевистской политики, в которой у них нет общего и однообразного мнения: что с нами делать в будущем и какой режим применять в настоящем. А главное, нам было ясно, что и в среде самой администрации, несмотря на ее притворную суровость, все же было сознание своей вины перед заключенными, как ни в чем и ни перед кем не виноватыми, которых они должны содержать в унизительных условиях тюремного режима. От этого действительно у всех стало веселее на душе.

Однако на всех последующих спектаклях человека того больше никто не видел. Вместо него исправно являлись помощники Дукиса и высиживали до конца всех номеров, назначавшихся на данный вечер.

А следующими номерами наши актеры разыграли Бориса Годунова, смерть Грозного, а затем все перешло на показ силы физкультурниками, юмористической декламации, пением песен образовавшимся хором, чтением небольших отрывков из Пушкина, Некрасова, Лермонтова, показом фокусов и т. п. Наш сокамерник Виго играл, как мальчик в мячи, с двумя двухпудовыми гирями, то подбрасывая их перед собой и на лету схватывая опять в руки, то поднимая их над головой на вытянутых руках, а то брал восьмидюймовые гвозди и гнул их в восьмерку, причем эти восьмерки затем передавались по рукам публики и рассматривались желающими удостовериться, нет ли тут какого обмана. При этом говорилось много шуток.

— Это что за диво — гвозди гнуть, — говорил Степанов, — кабы ты нам из рельсы восьмерок нагнул, вот было бы диво, а гвозди гнуть и я умею, вот смотрите! И он доставал из рукава заранее приготовленные такие же восьмерки, мял их ловко в руках и улыбаясь показывал на публику, выдавая за свои.

— Степанов врет, — кричал Куренков, — он эти гвозди в тисках согнул! Дать ему новых, пускай согнет, чтобы мы видели!

Степанов брал подаваемые ему гвозди, клал в карман и благодарил:

— Они мне в стену вбить годятся!

Публика ему аплодировала за обман, а он самодовольно по-актерски кланялся при общем смехе.

Игорь Владимирович Ильинский (он оказался тут же) устроил какой-то шутовской хоровод-карнавал, который наперед долго кружился, пел смешные куплеты и подплясывал, а затем по одному разбегался. И это было так смешно, и так искусна была гримировка до неузнаваемости, вся публика захлебывалась от смеха.

Но репертуар наших вечеров скоро истощился, оказалось, что долго и трудно надо было учиться на подготовках и репетициях, а вечера были бесплатные, а потому скоро у всех участников их пропала охота возиться с ними. Пропала охота и у публики, и много стало пустующих мест на скамейках во время представлений, и наши вечера через два месяца сошли на нет.

В тюремной обстановке, как я заметил, ко всякой новинке, разнообразящей жизнь, бросаются, как к спасительному маяку, но как только проходит первая радость и впечатление от этой новинки и оказывается, что она не спасает и не изменяет твоего положения, — она так же сразу оставляется и перестает интересовать. Так произошло у нас и с нашими постановками на сцене.

— Пускай они не держат меня в тюрьме, тогда я сам позабочусь о своем развлечении, — обронил мимоходом Паршин, — а в тюрьме как ты меня ни развлекай и не утешай, что я не преступник, я все же раб, а они господа и тюремщики!

После этого разочарования сценическими постановками некоторое время интерес сосредоточился на играх в клубе, и 3–4 выходных дня он набивался полным. Одни интересовались чемпионами по шашкам и шахматам, другие лучшими игроками в лото и домино, третьи искусством декламации и чтения стихов и отрывков. Но как только это все определилось и каждый узнал: кто по каким играм оказался первым — так кончился интерес и к клубным играм.

Просили разрешения читать лекции по литературе и научным предметам силами заключенных, но этого не разрешили из боязни, что лектора не выдержат тона и скатятся в левый или правый уклон.

— Боюсь, что и буфет нам надоест так же скоро, — говорил Кулик, — выпьем раз-другой, глядь и водка опротивеет!

— Опротивеет помногу, а по две рюмочки в день хорошо, — зажмуриваясь, мечтательно смаковал Какунин, — этак никогда не надоест и тюрьма не в тюрьму будет!

— Кому как, а мне бы только на волю, я бы там и без рюмочек свой интерес нашел, — резал Куренков, — а некоторым

и тюрьма — родной дом, всю бы жизнь сидели. Я уж и вижу, что тебя прикормили на кухне, ты и рад стараться из-за двух рюмок, — упрекал он Какунина.

Одно было спасение, в тюрьме была огромная библиотека, удовлетворявшая все вкусы и требования, в которой было доступно каждому в отдельности выбрать книги по интересующим вопросам. Надоест читать в выходные дни, пойдешь бродить по камерам и видишь, что из 25 человек каждой из них большая половина читают, лежа на койках, и в том проводят свой досуг. Читают взасос, как могут читать только в тюрьме, где у человека в данный момент нет никакого другого интереса. На двух-трех столиках режутся в шашки или лото, остальные мечтательно курят и смотрят за игрой, но смотрят лениво, без интереса, смотрят только потому, что больше смотреть не на что и следить не за чем. Даже прогулки надоедают и никогда не используются от начала до конца. Смотришь, бросает человек книгу, вскакивает с койки и бежит вниз на прогулку и как шальной быстро начинает бегать по кругу. Обежит два-три раза и так же быстро бежит по лестнице обратно вверх, в свою камеру и снова схватывает книгу и бросается с ней в постель. И так иногда несколько раз в день за время продолжения прогулки. Видно было, как мучаются люди от пустоты тюремного бытия и не знают, чем и как заполнить эту пустоту.

Но и когда на прогулке затевалась игра в чехарду или состязание в беге на расстояние, и тогда из всех камер сбегалась вся читающая публика, быстро ориентировалась и желающие сейчас же по-мальчишески становились в круг и сами принимали в этом участие. Даже держались пари на деньги за того или иного бегуна и проигрывались и выигрывались партии под общий смех трехсот-четырехсот гуляющих. В таких бегах принимали участие 15–20 человек. Они снимали верхнее платье, засучали рукава и один за другим по команде пускались в бег. Из заключенных же находился и доктор, через 5–6 кругов останавливал того или иного бегуна и наскоро выслушивал сердце. Крепким разрешалось бежать снова, слабые же ретировались в толпу при общем смехе присутствующих. К 10–12-му кругу бегунов оставалось уже 5–6 человек и спорт приходил к концу. К 14–15-му кругу оставалось только двое, которые, сопя как лошади, старались обогнать друг друга. 15-й был последним, и кто приходил к условной черте первым, того награждали долго несмолкаемыми аплодисментами и торжественно уводили в камеру через всю публику. Но победитель был министром на час и по возвращении с прогулки скоро забывался, и им больше не интересовались. В хорошую погоду, когда по выходным прогулка

тянулась весь день, на двор выходили с подушками, и когда надоедало ходить, растягивались тут же по сторонам круга и отдыхали. Иногда сходились в кружки и кучи и пробовали петь. Чаще других пели украинцы, пели и наши русские. Пели туркмены и венгерцы-мадьяры на своих языках и на некоторое время развлекали всю гуляющую публику. Один раз даже упросили протодиакона Лебедева спеть хоть что-нибудь на память присутствующим, и он уважил эту просьбу и спел несколько куплетов из стихотворения «Полоса ль ты моя, полоса», вызвавши общий восторг.

— Этакий голосище, — говорили о нем в камере, — он заглушил даже городской шум, всегда слышимый через тюремные стены.

Во время его пения остававшиеся в камерах заключенные устремились на коридор, откуда были видны гуляющие, и облепили все окна, махая белыми платками, а когда он кончил, раздались дружные аплодисменты.

Конечно, всем бы хотелось послушать и еще этом редкого человека, но его стеснялись беспокоить и больше не просили. Сам же он не был расположен петь светские песни и держался как-то особо среди всей публики.

Здесь, на прогулках, от нечего делать и от скуки между совсем посторонними людьми завязывались дружеские отношения и поверялись тайны своих «дел», по которым они преследовались и находились в тюрьме; поверялись и семейные дела, которые почти у всех были приблизительно одинаковы и разнились только в своем количестве. У всех семьи переживали ужас нужды и страха от произведенных над ними арестов и разгромов. Одним было отказано от работы, другие выгнаны из собственных домов или квартир, где они проживали десятками лет, третьи были арестованы целыми семьями и теперь не знали, кто и где находится. Материально почти у всех семейные проживали свою одежду и вещи, занимали друг у друга на дневное пропитание и в страхе заканчивали свой день, не зная, чем они будут жить завтра. А «дела» их были тоже однообразны. Виноваты они были в том, что родились в семьях купцов, помещиков, чиновников, ученых, духовных и занимались работой и службой по своему наследию и, конечно, не разделяли и не могли разделять большевистских экспериментов и марксистской болтологии, иссушающей человеческий ум и сердце и лишающей жизнь человека его естественных интересов и радостей. И за это они преследовались и сживались со света.

## 51

В это же время — весной 1925 года — мы узнали, что в этой же тюрьме, в так называемом «Моке» (мужской одиночный корпус) содержались эсеровские главари, члены центрального комитета эсеровской партии: Гоц, Донской, Альбедиль, Тимофеев и еще двое, фамилий которых мы не знали, и это обстоятельство на некоторое время дало нам оживление и тему для разговоров. Их в то время судили за Ярославское восстание, приговорили к 10 годам заключения, но потом сбавили до пяти, и всех на долгое время занимал вопрос: что будет с ними после срока отбытия наказания? Отпустят ли на свободу для вольной жизни или сошлют снова куда-либо в укромное место под строгий надзор, чтобы удалить навсегда от взоров большой публики?

Между наружной стеной тюрьмы и «Моком» был узкий дворик, в который их выводили на прогулку, и здесь же им разрешили устроить грядки с цветами. Кто хотел их видеть и наблюдать за ними, приходил в угловую уборную, становился на подоконник и в форточку сверху вниз мог видеть их на прогулке и с лейками, когда они поливали свои грядки. Некоторые пытались завязать с ними сношения и бросали записочки, а на другой день опускали длинные нитки и делали им знаки для передачи обратных ответов. Но то ли за ними был строгий досмотр, при котором не было надежды подвязать незаметно скатанную папиросой бумажку, то ли они не знали, что мы не уголовные, и не считали нужным с нами связываться, но только никто не смог получить от них ответа, хотя бросаемые им записки они поднимали, что мы видели несколько раз.

— Поди за шпану нас считают, потому не дают и ответа, — сердился Куренков.

— Так им же писали из 27-й камеры, что мы политики, а не шпана, — досадовал Зенченко.

— Не политики, а контрреволюционеры, — пояснял Какунин.

— Поди они тебе на слово поверили, — вставлял Кудрявцев. — Они народ разборчивый и на слово не поверят. Теперь за ними шпионаж установлен, и они из таких пустяков не станут навлекать на себя подозрение. Что мы для них, десятая спица в колеснице!

— Да и они-то не ахти какие герои, — возражал Кулик, — вот посмотрите, все перекрасятся из эсеров в большевики и у Сталина пятки лизать станут! Другого им выхода нет. Не станут же они десятками лет в тюрьмах высиживать, какой смысл! А за границу их живыми не выпустят, да и делать им там нечего, их песня

спета, и теперь они никому не нужны.

— Ну это еще посмотрим, — злобился Виго, — еще повсячески политика повернется. Мужикам национализация не улыбается, и их не скоро угомонишь!

— Твои мужики — стадо баранов, — снова возразил Кулик, — куда пастух захочет, туда и погонит.

— В этом и дело, что стадо, — соглашался Виго, — а только и стадо на хороший корм само прет, а на пустое место и с кнутами не загонишь. А большевики как раз и задумали их на пустом месте гонять. А мужик дурак, а чутье имеет тонкое, его на мякине тоже не проведешь!

— Да, впереди еще дела всякие будут, — загадочно говорил Кудрявцев, — многие из грязи в князи выйдут, этим наша революция не ограничится!

— Эсерами началась, на них только и остановится, — уверенно сказал Виго. — Неважно, сколько лет большевики уродничать станут, жизнь свое возьмет, сто лет с палками над мужиком не простоишь, он о собственной земле думать не перестанет!

— А мы-то тут причем? — сказал Паршин. — У мужиков свой счет с властью, а мы — отрезанные ломти и вряд ли кому понадобимся!

— Ну нет, Иван Ильич, я другого мнения. Как мужик за землею потянется, так и большевикам конец, — сказал Виго. — Не они же будут настоящую жизнь мужикам устанавливать? Мы свое место найдем!

— Они ему настоящую жизнь и устанавливают, — возразил Паршин, — чтобы не было богатых и бедных, чтобы земля по едокам делилась, чтобы никаких ваших благородий не было, а это мужикам нравится! Вот спросите у него, — кивнул он на меня, — он мужик наследственный!

— Говори, мы слушаем, — сказал со смехом Кудрявцев, обращаясь ко мне и приглашая слушать других.

Я сказал, что пока в земельных делах у нас обиды не видно, ну поровняли, что за беда, против этого не возражают; имели по мужским душам, а теперь по живым едокам, какая разница! А главное, полная воля: хочешь на хутор выселяйся, хочешь вырезай отруб в одно место, не хочешь — в общине оставайся! Лучше этого не придумаешь.

— Так значит, ты большевик, — с изумлением спросил Сарханов, поднимаясь с койки и присаживаясь ко мне, — а я верил, что большевики не ваши!

— Ага, Сарханов, а ты и не знал, ты его бойся, — засмеялся Куренков, — он тоже ссученный, а ты с ним лежишь год рядом и

все не знаешь, ла-ла, да ла-ла, небось и про свою Персию все рассказал!

— Погоди, Сарханов, — возразил злобно Виго, — они им пропишут волю с землей, узнают в чем кузькина мать ходит, теперь они их пока обхаживают, Ленин ради них нэп установил, богатых мужиков разрешил ограбить, а тем временем под их хлеб мины подводит. Земля будет ихняя на бумаге, а хлеб большевики забирать станут, они свою линию не скрывают!

— Погоди, Сарханов, смеюсь в свою очередь, они не дали мне всего высказать, а тебя пугают. Мужики не могут большевиками быть, потому большевизм из них последние соки вытягивает, и мужикам совсем не нужны ихние хитрости-мудрости; по-нашему раз в год взял оброк и проваливай, не учи нас, не мешай как жить. А они нас заучили и всюду рогаток наставили: хлеб на базаре не продавай, а им отдавай чуть не даром, скотину тоже; на мельницу разрешение бери, возьмешь лишний пуд — у тебя на мельнице отнимут. Куда ни сунься — и все разрешения надо. Мы с весу хлеб есть не привыкли, а они нас заставляют голодать от своего хлеба и в ямы закапывать, чтобы не отобрали. Когда это видно было, чтобы у мужиков из амбаров хлеб отбирать. Со всем этим мы примириться не можем, этого при татарах не было, как же тут мужикам большевиками быть! Мы свободу понимаем в распоряжении землей, своим трудом и временем, а это — барщина!

— Я так и понимаю, что у крестьян с большевиками сладу не будет, — уверенно сказал Сарханов, — они заядлые теоретики и ничего не понимают о настоящей жизни народа, а народ практик, а не теоретик. Их жизнь утопий не терпит, а большевики — утописты!

— Мы тоже, Сарханов, не признаем, чтобы в этой поганой тюрьме жить, а вот живем и никто лбом стену не бьет, они тоже большевиков не признают, а живут и жить будут, и жить будут не так, как сами хотят, а как им пропишут. Уж если мы сидим и молчим, а они и совсем бессловесны. Кто палку взял — тот им и капрал!

— На кнутах далеко не уйдешь, — возразил Виго, — и сто лет не процарствуешь. Кнуты скоро надоедят не только тем, кого бьют, а и тем, кто бьет. Затоскуют и сами живоглоты!

— После нас хоть потоп, а при нас мы вряд ли того дождемся, — сказал Кудрявцев, — у живоглотов этих только аппетит приходит, головы от власти кругом пошли. Они еще десять милиен уморят, а от своих фантазий не откажутся!

— Нет, ты нам скажи, как твои мужики относятся к марксистской науке об обобществленном труде и хозяйстве? —

спросил меня Николаев. — Их установка — сравнять крестьянский труд с рабочим и сделать производство хлеба такой же промышленной фабрикой?

Я сказал, что выдумка эта кабинетная, и то не мудрыми людьми, а лишь добырящимися ребятами, которые выучили 4 правила арифметики и давай на ней играть как на балалайке, высчитывая барыши от коллективного труда и хозяйства…

— Постой, постой, — перебил Кудрявцев, — эта наука точная, и в ней не может быть ошибок!

Она точная, говорю, в арифметике на бумаге, а в жизни, у живых людей, один грех и мука. Маркс практически был никчемный человек и, делая свои бумажные расчеты, не спросил у мужиков, согласны ли они жить по его выдумке. Ведь это же, говорю, басня: как звери овцам старосту выбирали.

— Да у крестьян никогда не спрашивали, как им жить, — возразил Николаев, — а большевики и подавно не станут спрашивать. Об них всегда и разговоры не о том, как им лучше, а как с них больше шерсти настричь!

Тогда совсем и разговор другой, отвечаю, под насилием и угрозами и в тюрьме всю жизнь прожить можно, а только это так и будет тюрьма, а не вольная жизнь!

— Однако что же тут худого? — спросил Посохил, приподнимаясь на койке. — Идея общности имущества и труда — христианская идея, и ее Маркс не выдумывал, он только ее выгоды подсчитал!

С этим вполне согласен, говорю, а только не пошла она у христиан, не идет и у большевиков. Примеров уже тысячи: нынче сойдутся в коммуну, а через полгода-год и опять порознь. Это не жизнь, а волынка! Одно дело выдумать, а другое — жить и работать!

— Из монастырей убегали, а не только из большевистских коммун, — пояснил Виго, — а уж на что там для спасения души люди сходились, а твоим мужикам черт велит вместе жить, бабы друг другу глаза выцарапают!

Тут дело не в бабах, а в том, что человеку свобода нужна, чтобы он творил не чужую, а свою волю, и чтобы он своим трудом и временем сам распоряжался, тогда и интерес есть, а в коммунах какая же свобода? Там ты просто батрак и живешь под чужой командой. Даже хлеб в яму спрятать нельзя, наскачет отряд губпродкомовцев и очистит артельный амбар. Большевикам, конечно, гораздо легче и удобнее мужиков эксплуатировать в коммунах, а нам нет никакого интереса батраками быть!

— Однако этими соображениями сама идея не умаляется, — настаивал Посохин, — в твоих доводах говорит наше

несовершенство, а если бы люди поняли, что по-Божьи, по совести им же будет лучше, они бы обеими руками взялись!

— Коли бы Посохин не был военным, отличный бы из него поп вышел, — пошутил Какунин.

— Да он и военный-то по недоразумению, — согласился Виго, — казачий полковник, а про Божье толкует! Твое дело, коли и руби, а мерохлюндию не разводи!

— Дрались и рубились и до тюрьмы докатились, — шутливо сказал Посохин, — хочу теперь за Бога взяться и его законы изучить.

— Безнадежное дело, — сказал Кудрявцев, — тогда уже наверняка из тюрьмы никогда не уйдешь!

— Однако в чем же суть? — спросил Паршин, — Я тоже не пойму до конца худой стороны марксистской установки на обобществление труда и орудий производства, ведь легче же сообща любой машиной пользоваться, чем одному ее иметь.

По арифметике это верно, повторил я, хорошо и для ангелов, а для людей никуда не годится. Маркс за болванов людей посчитал, в лучшем случае за солдат, которых можно под барабанный бой заставить и вставать и ложиться, а живые люди только и хотят, чтобы их не трогали и на грех не наводили, а Маркс их кастрирует своими выдумками и отнимает их волю. Может, и невыгодно самому себе хозяином быть, зато греха меньше. А человек больше нужды греха боится. Отсюда и поговорка: «Щей горшок да сам большой»! Нужно, говорю, в мужицкой шкуре пожить, тогда только и понятно все будет, а со стороны толковать по-всячески можно!

— А как для вас эсеры, — спросил снова Николаев, — лучше бы крестьянам при них было?

— Какое же может сравнение быть, — отвечал за меня Кудрявцев, — во-первых, никакого кривлянья бы не было и разрешений и запретов дурацких, и земля бы была не государственная, а общественная. Сейчас, правда, и большевики им потворствуют, но ведь это же до поры до времени, а через год-другой и землю отнимут. Эсеры ставку на крестьян делали, чтобы им угодить, а большевики крестьян в дойную корову превращают и на чиновников и на рабочих батрачить заставят. Для них крестьяне рабочий скот, не больше!

— Ну вот, пиши им об этом записку, Куренков опустит на нитке: так, мол, и так, товарищи, мужики вас ждут, не теряйте надежды!

— А ну вас к черту! — выругался Куренков. — С вами и в тюрьме новое дело пришьют, ты думаешь поговорить с ними по чести, по совести, а они так и норовят тебя утопить и вовлечь в

разговор!

Все громко рассмеялись и прекратили разговор[2].

**notes**

# Примечания

# 1

Кроме того, в процессе этой работы 7 апреля 1929 г. я получил и от Алексея Максимовича Горького пожелание-просьбу описать свою жизнь и труды жизни, которую также принял во внимание. «Было бы хорошо, — писал он мне, — если бы вы написали книжку, подробнее пересказавши крестьянам о вашем житейском опыте, о великом труде жизни вашей. Напишите-ка!» И я пишу, делая опыт *(Примеч. автора)*.

# 2

На этом воспоминания М. П. Новикова обрываются. Ниже его рукой сделана запись: «Данные записки как мемуары прошлого писались мною, которые изъяты у меня при обыске 9 августа 1937 г. М. Новиков».